

*М. П. ЛАПТЕВА*

## ЛИЧНОСТЬ И ИДЕИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО В ВОСПРИЯТИИ ИСТОРИКОВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

---

В статье рассматривается эволюция восприятия личности и взглядов выдающегося русского историка Т.Н. Грановского представителями разных поколений одной научной школы. Автор исследует проблему социокультурных влияний на историографические оценки.

**Ключевые слова:** *исторические взгляды, личность историка, поколения научной школы, эволюция восприятий.*

---

Каждое поколение приступает  
к истории со своими вопросами.  
*Т.Н.Грановский*

В 2013 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося русского историка – Т.Н. Грановского. Красивая и внушительная юбилейная дата вдохновляет на размышления, связанные с важнейшей для историка проблемой – проблемой времени. Не менее важно и интересно найти доказательства неюбилейного внимания к личности и историческому творчеству Грановского. Его наследие зачастую актуализируется в переломные периоды жизни российского общества и в критические периоды развития исторического знания. За время, прошедшее с тех давних пор, когда Т.Н. Грановский стал влиять на умы вначале его современников – студентов, коллег, слушателей его публичных лекций, а затем и многочисленных читателей его книг, статей и рецензий разных поколений и эпох, не могли не измениться оттенки этого влияния. Неизбежно менялись даже стереотипы этого духовного процесса.

Размышляя о динамике этих изменений, я полагаю возможным опереться на мнение Л.П. Репиной, убедительно высказанное в ее капитальной монографии: она считает весьма важной проблему «перехода от индивидуальной памяти к коллективной»<sup>1</sup> и в этой связи затрагивает проблему поколений. Если рассматривать такой аспект проблемы как преемственность знания вообще и исторического знания в частности, то необходимо обратить внимание на изучение изменений, происходящих

---

<sup>1</sup> Репина. С. 426.

в функционировании научных школ и направлений. На конференциях Общества интеллектуальной истории довольно часто обсуждается проблематика изучения научных школ, особенно их роли для гуманитарного знания. В том числе специально обсуждался и вопрос о диалоге поколений внутри школы как способе научной коммуникации<sup>2</sup>. В работах Г.П. Мягкова неоднократно подчеркивалось огромное значение коммуникативных характеристик, психологии общения внутри научной школы и других подобных феноменов для ее судьбы и эволюции<sup>3</sup>.

Смею заметить, что в число «других подобных феноменов» вполне может войти не только то, что объединяет представителей той или иной научной школы, но и то, что их различает. На мой взгляд, именно различия и свидетельствуют о процессе развития научной школы. Попробую продемонстрировать этот феномен на частном примере изменения отношения к идеям и личности Т.Н. Грановского у представителей трех поколений историков Пермского университета. Определенную роль при выборе такой темы сыграли историки Омского университета В.П. Корзун и Д.М. Колеватов, предложив интересный термин – «инстинкт профессии»<sup>4</sup>. Этим понятием они объяснили непреходящий интерес к творцам исторического знания, подчеркнув при этом разницу в интересах поколенческих групп.

Основатель пермской научной школы Л.Е. Кертман стал скрупулезно изучать творчество Грановского, когда не имел еще никакого отношения к городу Перми и его университету. В 1942 г., после ранения, еще на костылях, выпускник исторического факультета Киевского университета встретился в Казани с академиком Е.В. Тарле. Вместо обычных 15-ти минут, отводимых для консультации академиком, они «проговорили два часа, учитель обрел ученика, ученик – учителя»<sup>5</sup>. Кандидатскую диссертацию с анализом исторических взглядов Грановского Кертман защитил через полтора года после первого разговора со своим научным руководителем – Тарле, предложившим эту тему. Тема оказалась на редкость удачной. Изучение исторических взглядов Грановского позволило молодому автору войти в необозримый мир классических исторических идей XIX столетия, заслужившего славу «века истории». Изучая эволюцию исторических взглядов Грановского, Кертман поставил задачу определения его места в истории русского общественного движения.

---

<sup>2</sup>См.: *Чиглицев*. 2002. С. 55–57; *Лантева*. 2002. С. 53–55.

<sup>3</sup>*Мягков*. 2000.

<sup>4</sup>*Корзун, Колеватов*. 2012. С. 273.

<sup>5</sup>*Гашева*. 1991. С. 11.

Трудно переоценить важность изучения материалов Грановского для выработки собственной позиции Кертмана в той области знания, которая и поныне именуется «всеобщей историей». Ведь Грановский считал, что «всеобщая история должна иметь предметом развитие духа рода человеческого»<sup>6</sup>. Комментируя эту мысль, Л.П. Репина подчеркивала, что речь шла о духовной биографии человечества<sup>7</sup>. Размышления о духовных ценностях были свойственны и Кертману, нисколько не мешая общей материалистической позиции ученого. «Уроки Грановского» были неоценимы в том, что касалось понимания сущности предмета всеобщей истории. И сам Кертман, и мы, его ученики, склонны воспринимать всеобщность истории как постоянно эволюционирующий итог развития исторической мысли.

При всей несхожести личностных характеристик и жизненных судеб Грановского, Тарле и Кертмана их объединяют два очень важных качества, которые, по всей вероятности, могут быть названы определяющими в профессиональной идентификации историка – это глубокая эрудиция и блестящие способности к формулированию новых идей, иначе говоря, эвристический талант. Кертману были близки не только взгляды Грановского на историю, но и сама личность Тимофея Николаевича: оба были блестящими лекторами, кумирами молодежи, властителями умов. Конечно, у Кертмана эти достоинства обнаружились позднее: не тогда, когда он писал кандидатскую диссертацию о Грановском, а когда стал преподавателем вначале Киевского, а после обвинений в космополитизме – Пермского классического университета.

Подобно Грановскому, Кертман думал историей, учился историей, опирался на исторические факты в своих публичных лекциях. Подобно Грановскому, Кертман был убежден в полезности исторического знания для общества, в возможности нравственного воздействия истории на современников. Он справедливо полагал, что невозможно понять роль Грановского как общественного деятеля вне связи с его творчеством в качестве историка. Изучив эволюцию исторических взглядов Грановского, Кертман особо подчеркивал то, как Грановский влиял на выработку научного мышления своих слушателей, которые позднее создавали свои труды на базе новых методов исследования и новых идей, воспринятых от Грановского.

На публичные лекции Кертмана в Перми приходили люди разных профессий и специальностей. Конечно, это не была «вся Москва», как,

---

<sup>6</sup> Грановский. 1987. С. 313.

<sup>7</sup> Репина. 2006. С. 17.

слегка преувеличивая, вспоминали те, кто слушал лекции Грановского, но то, что профессор Кертман стал очень известной личностью (и не только в Перми!), несомненно.

Время наложило отпечаток на отношение Кертмана к Грановскому. Я имею в виду даже не ситуацию войны, а то идеологическое давление на историков, которое существовало при советской власти. Чтобы обеспечить так называемую «проходимость темы, ни в коем случае нельзя было делать упор на либеральности взглядов Грановского. В диссертации Кертмана Грановский предстал не столько либеральным мыслителем (увы, само слово «либеральный» снова стало чуть ли не ругательным в России начала XXI века!), сколько революционером-демократом. Ссылаясь на мемуары Б.Н.Чичерина, Кертман писал, что Грановский сочувствовал даже «первым проявлениям социализма»<sup>8</sup>. Тем более важным для Кертмана было отметить, что политическая борьба (хотя и преимущественно парламентская), наряду с просвещением была для Грановского высшей формой борьбы за идеалы демократии.

Делая упор на общественной деятельности Грановского, Кертман следовал своему учителю – Тарле, который (будучи сам либералом) не стал ортодоксальным марксистом, но понимал, что без определенного «камуфляжа» цензурные органы не пропустят публикации «сомнительных» (с советской точки зрения) исследований, поэтому обучил Льва Ефимовича некоторым навыкам, необходимым для издания исторических работ сталинского периода.

Полученные от Тарле уроки с успехом передавались позже ученикам Кертмана и автору данных строк в том числе. Камуфляж хрущевского и брежневского времени, конечно, отличался от сталинской эпохи, но какие-то сущностные вещи оставались прежними. А разве эпоха Николая I, в которую жил Грановский, не ставила подобных же задач ему и его современникам?

Однако при всем камуфляже и массе подтекстов текст диссертации Кертмана о Грановском совершенно не похож на распространенные в Советском Союзе 1930–40-х гг. ремесленные поделки, точнее подделки под настоящую науку. Искренность автора подкреплена множеством фактов и аргументов. «В блестящем московском профессоре Т.Н. Грановском Л.Е. Кертман видел прогрессивного мыслителя, не укладывавшегося в образ умеренного либерала с монархическим оттенком, каким он предстал в соответствии со сложившейся историографической

---

<sup>8</sup> Чичерин. 1929. С. 44.

традицией»<sup>9</sup>. Кертман полагал, что «Грановский был очень осторожен и умел говорить лишь в допускаемых цензурой пределах»<sup>10</sup>.

Будучи ученицей Кертмана и во многом разделяя его взгляды и убеждения, его отношение к жизни, я все-таки принадлежу к другому поколению и имею возможность (пока еще?) бесцензурных высказываний. Мое отношение к Грановскому и мое осмысление его творчества складывалось в ином дисциплинарном контексте. Я не писала диссертаций о Грановском. Он заинтересовал меня только при подготовке лекционного курса о развитии методологии истории. Не будучи профессором и не имея достаточного опыта для формулирования собственных методологических идей (как это делал Л.Е. Кертман, начавший читать курс по методологии истории еще в 1960-годы), я включила в похожий курс основательный раздел по истории методологической мысли, и размышления Т.Н. Грановского также естественным образом в него вошли.

Понимая, что известность того или иного ученого не всегда прямо пропорциональна его реальному вкладу в общую сокровищницу духовного наследия человечества, я задавалась вопросом – чем больше всего определяется значимость идей исторического мыслителя – его влиянием на современников или на далеких потомков? Какая линия влияния более значима? Чем и как это можно измерить?

Мне важно было показать студентам неординарность и сложность методологических предпочтений Грановского. Методологически он был близок и к Гегелю, и к Ранке. Но как совмещались эти противоречивые подходы? Были ли они разделены временем (то, что называется «ранний Грановский» – «поздний Грановский»)? Или же влияние Гегеля и Ранке ощущается при сравнении восприятия Грановским разномасштабных процессов и явлений? Иначе говоря, на философском уровне размышлений у него, скорее, могли присутствовать гегелевские идеи (так, историю отдельных народов он рассматривал как «моменты» проявления абсолютного начала), а на конкретно-историческом – ранкеанские? Поставив для себя такие вопросы, я далеко не сразу смогла найти ответы на них.

Специалисты, изучавшие эпистолярное наследие Грановского, в какой-то степени помогли мне: так некоторые из них отметили, что он не разделял сомнения Гегеля по поводу уроков истории, в то время, как идея Л. Ранке о большой значимости воспитательной роли истории Грановскому была гораздо ближе<sup>11</sup>. Мне также казалось важным отме-

---

<sup>9</sup> Рахимир. 1991. С. 51.

<sup>10</sup> Кертман. 1947. С.114.

<sup>11</sup> Корева. 2006. С. 135.

тить, что «Грановский не возводил в абсолют тезис Ранке об объективности историка: он признавал неизбежную долю субъективности в подходе историка к прошлому, обусловленную личными пристрастиями и временем, в которое он живет»<sup>12</sup>.

Нравственное и умственное образование было, по его мнению, немислимо без понимания теоретических уроков истории<sup>13</sup>. Возможно, что именно это убеждение Грановского было для меня наиболее важным при разработке лекционного курса по методологии истории. После почти двух десятилетий чтения этого курса мне было предложено издать тексты этих лекций. В той части, которая посвящена российской методологии истории, идеи Грановского представлены более всего в теоретическом аспекте. Мне казалось интересным показать, что «Грановский учил теоретическому осмыслению истории» и именно потому «дал краткий очерк попыток – начиная с Геродота – отыскать единый принцип исторического развития человечества»<sup>14</sup>.

Я по-прежнему считаю большим достижением Грановского его попытки систематизации исторического материала. Его лекции отличали широта концепции, насыщенность историческим и историографическим материалом, внимание к социальной стороне исторического процесса, яркий, образный язык. Вводная лекция по истории средних веков, прочитанная им в сентябре 1848 года, несла на себе печать размышлений о европейских революциях, ключ к пониманию которых Грановский искал в истории. Не случайно слушатели его лекций называли Грановского «Пушкиным русской истории».

А завидовавший Грановскому Погодин зло, но метко записал в дневнике: «Это не профессор, а немецкий студент, начитавшийся французских газет». Злословие Погодина имело реальную основу: такому методу чтения лекций Грановский научился в Германии у профессора Э. Ганса, приходившего на занятия со студентами не со старинным фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Кстати, и публичные лекции Грановского имели прототипом публичные лекции Э. Ганса в Берлине<sup>15</sup>.

Я полагала, что при издании лекционного курса по теории и методологии истории очень важно показать отношение Грановского к тем

---

<sup>12</sup> Лаптева. 2006. С. 81.

<sup>13</sup> Грановский. 2006. С. 139.

<sup>14</sup> Лаптева. 2006. С. 80.

<sup>15</sup> Этой информацией я обязана С.Л. Жидковой, старшему научному сотруднику музея И.С. Тургенева в Орле.

методам, при помощи которых осуществлялось исследование исторического материала в его время. Грановский был убежден в том, что применение историко-географических, антропологических, сравнительно-исторических и статистических методов позволит сделать историю понастоящему точной наукой. Его глубоко огорчал недостаток точных методов в работе историков, именно поэтому он считал необходимым обращение к методам естествознания.

Незаурядность Грановского не давала ему возможности замкнуться в узких рамках конкретной, фактологической истории. Его интересовала проблема сущности и предмета исторической науки, ее места среди других наук, ее «полезности» для человечества. Грановский рассматривал историю «не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошлое, настоящее и будущее находятся в постоянном между собой взаимодействии». Практическое значение истории он видел в том, что она помогает «угадывать под оболочкой современных событий аналогию с прошлым и постигать смысл современных явлений, только через историю мы можем понять свое место в человечестве, она удерживает нас от отчаяния и позволяет ценить достоинство человека»<sup>16</sup>.

И конечно, работая на кафедре всеобщей истории, я особенно близко принимала суждения Грановского по поводу того, чем собственно является всеобщая история, чем она отличается от всемирной истории и от истории культуры. Он считал историю культуры «сухой», а всемирную историю «фактологической». Всеобщая же история была для него высшей формой исторического знания, своеобразным итогом развития исторической мысли. Возможно, именно поэтому представители нескольких поколений отечественных ученых совершенно разных специальностей воспитывались на лекциях и статьях Грановского. Не случайно В.О. Ключевский когда-то заметил, что «все мы» (т.е. историки – *М.Л.*) в той или иной степени ученики Т.Н. Грановского.

В иных условиях и с иными целями к творчеству Грановского обратился доцент кафедры российской истории Пермского университета К.И. Шнейдер, включивший Грановского в персональный состав «раннего либерального семейства». Еще в студенчестве Шнейдер достаточно близко познакомился с присущими Кертману особенностями исследовательской деятельности, поэтому я причисляю его к тем, кто продолжает некоторые традиции научной школы, основанной Кертманом.

---

<sup>16</sup> Грановский. 1987. С. 313.

Так же, как когда-то у Кертмана, интерес Шнейдера к Грановскому был связан с диссертационной ситуацией, однако это уже был этап написания докторской работы, посвященной проблематике раннего русского либерализма. Шнейдер включил этот феномен в контекст интеллектуальной истории, в результате чего либеральные взгляды Грановского рассмотрены им в гораздо более широком интеллектуальном пространстве, включающем как философские, так и собственно исторические аспекты наследия Грановского. Шнейдер всячески подчеркивал, какое богатое теоретическое наследие оставил Грановский<sup>17</sup>.

Грановский для Шнейдера – «ключевой персонаж в истории русского западничества»<sup>18</sup>. По словам одного из рецензентов книги Шнейдера, он сделал «попытку обнаружить не только особенные, но и схожие черты русского либерализма с другими версиями континентально-европейской традиции»<sup>19</sup>.

Опираясь на труды европейских и американских авторов, изучавших теоретическое наследие русских либералов, Шнейдер поставил ряд проблем с современным звучанием, в частности, проблему разнообразия исторических форм либерализма, проблему его ценностных идеалов и многое другое. В числе других работ он привлек и работу П. Рузвельт, посвященную творчеству Грановского. Шнейдер подчеркнул, что Грановский «пел гимн личности»<sup>20</sup> и «исповедовал веру в креативные способности индивида»<sup>21</sup>. В условиях, когда современная историческая наука все более приобретает антропологический, гуманистический характер, Шнейдеру было важно показать, насколько уже «Грановский утверждал право индивида на самостоятельную и даже определяющую роль в историческом развитии»<sup>22</sup>.

Кертман, писавший свою диссертацию в годы мировой войны, не мог акцентировать тот непреложный факт, что Германия была для Грановского территорией интеллектуального роста. Для Шнейдера (диссертация которого завершена на 70 лет позже) очевиден не только этот факт, но и то, что Грановскому «было непросто адаптироваться в немецкой социокультурной среде»<sup>23</sup>.

---

<sup>17</sup> Шнейдер. 2012. С. 44.

<sup>18</sup> Шнейдер. 2009. С. 245.

<sup>19</sup> Николаева. 2013.

<sup>20</sup> Шнейдер. 2010. С. 125.

<sup>21</sup> Шнейдер. 2011. С. 63.

<sup>22</sup> Там же. С. 52.

<sup>23</sup> Там же. С. 84.



Кертман изучал творчество Грановского в условиях назревавшей в Советском Союзе борьбы с космополитизмом и вряд ли мог бы без последствий восхищаться тем, как «движения европейской жизни находят отголоски» даже в николаевской России. Шнейдеру, в отличие от Кертмана, не нужно было опасаться лишней раз подчеркнуть монархические убеждения Грановского, считавшего, что «Монархическое начало лежит в основании всех великих явлений русской истории»<sup>24</sup> и очарованного личностью первого российского императора<sup>25</sup>.

Если попытаться подвести некоторый итог проведенного сравнения, то в кратком, лаконичном виде получается следующее: для Кертмана Грановский, прежде всего, идеолог и общественный деятель. Через призму этих приоритетов он рассмотрел его исторические взгляды. Для меня наиболее важными были теоретические и методологические взгляды Грановского, осмысление его вклада в эти сферы. Для Шнейдера Грановский – либеральный мыслитель, один из тех, кто формулировал национально адаптированную либеральную доктрину.

Сравнение поколенческих восприятий представляется мне одной из возможных иллюстраций механизма познания, идущего не только в разных социальных условиях, но и в разных культурных контекстах, в результате чего историческая наука, по словам Л.П. Репиной, выступает как форма преобразования культурной памяти<sup>26</sup>.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Гашева Н.Н.* Попытка биографии // Мир личности. Творческий портрет профессора Л.Е. Кертмана. Пермское книжное издательство. 1991. С. 3–42.
- Грановский Т.Н.* и его переписка. М., 1897. Т. 2.
- Грановский Т.Н.* Лекции по истории средневековья. М., 1987.
- Грановский Т.Н.* О современном состоянии и значении всеобщей истории // Тимофей Николаевич Грановский: идея всеобщей истории. М., 2006. С. 139–161.
- Грановский Т.Н.* Полное собрание сочинений. СПб., 1905. Т. 2.
- Кертман Л.Е.* Эволюция исторических взглядов Т.Н. Грановского // Киевский государственный университет. Ученые записки. 1947. Т. VI. Вып. 1.
- Корева Н.С.* Т.Н. Грановский в Берлине (по материалам эпистолярного наследия) // Тимофей Николаевич Грановский: идея всеобщей истории / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2006. С. 118–137.
- Корзун В.П., Колеватов Д.М.* Бои за В.О. Ключевского в советской историографии как способ самоидентификации исторического сообщества // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. / Отв. ред. О.В. Воробьева, З.А. Чеканцева. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 257–273.

<sup>24</sup> *Грановский.* 1905. Т.2. С. 358.

<sup>25</sup> Грановский к Фроловым. Москва, январь 1855 г. // Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 437.

<sup>26</sup> *Репина.* 2013. С. 197.

- Лаптева М.П.* Понимаем ли мы своего учителя? // Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении. Материалы научной конференции. М., 2002. С. 53–55.
- Лаптева М.П.* Теория и методология истории. Пермь, 2006. 254 с.
- Мяков Г.П.* Научное сообщество в исторической науке. Изд-во Казанского университета. 2000. 298 с.
- Николаева И.Ю.* Рец. на кн.: К.И. Шнейдер. Между свободой и самодержавием // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 365–367.
- Рахмисир П.Ю.* Постоянство и многообразие творчества // Мир личности. Творческий портрет профессора Л.Е. Кертмана. Пермское книжное издательство. 1991. С. 43–74.
- Репина Л.П.* Т.Н. Грановский и идея всеобщей истории: от классики к постмодерну // Тимофей Николаевич Грановский: идея всеобщей истории. М., 2006. С. 5–28.
- Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М.: Круг, 2011. 560 с.
- Репина Л.П.* Память о прошлом в пространстве культуры // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 190–198.
- Чиглинцев Е.А.* «Античный понедельник»: диалог поколений как научная коммуникация // Наука и власть: научные школы и профессиональные сообщества в историческом измерении. Материалы научной конференции. М., 2002. С. 55–57.
- Чичерин Б.Н.* Москва сороковых годов. М., 1929.
- Шнейдер К.И.* Индивидуализм и собственность в мировоззрении ранних русских либералов // Диалог со временем. 2011. Вып. 35. С. 59–76.
- Шнейдер К.И.* Исторические взгляды ранних русских либералов // Диалог со временем. 2010. Вып. 32. С. 123–141.
- Шнейдер К.И.* Между свободой и самодержавием: история раннего русского либерализма. Пермь, 2012. 230 с.
- Шнейдер К.И.* Образы Запада и России в представлениях ранних русских либералов // Диалог со временем. 2009. Вып. 27. С. 245–262.
- Лаптева Мария Петровна*, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Пермского государственного исследовательского университета; modhist@yandex.ru.

С. Л. ЖИДКОВА

## «ЛЮБИМЕЦ БЕРЛИНА И ГЕРМАНИИ»

---

В статье рассматриваются запечатленные как в мемуарах, так и в художественных образах свидетельства русских слушателей о характерных особенностях личности и лекционной деятельности профессора Берлинского университета Э. Ганса о роли. Автор проводит параллели между публичными лекциями Ганса и Т.Н. Грановского.

**Ключевые слова:** Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев, Берлинский университет.

---

И.С. Тургенев не зря повесил в своём кабинете в Спасском Диплом-удостоверение гражданина Берлинского университета – выпускнику его было чем гордиться, вспоминая свою *Alma mater*. Знаменитый Александр Гумбольдт, памятник которому возвышается теперь у входа в Берлинский университет, говорил: «Наш университет <...>, конечно, один из первых в Европе. Он богат отличными преподавателями»<sup>1</sup>. В 1876 г. в «Автобиографии» Тургенев так напишет о годах своего берлинского студенчества: «В то время Берлинский университет мог похвалиться именами Бёка, Цумпта, Ранке, Риттера, Ганса и мн. других»<sup>2</sup>. И не один Тургенев впоследствии вспоминал берлинских профессоров с благодарностью. Между тем до сих пор не существует сколько-нибудь полной работы, посвящённой замечательным представителям германской науки, преподававшим в Берлинском университете на рубеже 1830–1840-х гг., когда из его стен вышли выдающиеся деятели науки, культуры, политики.

В упомянутой беседе А. Гумбольдта с Н.А. Мельгуновым учёный с особой похвалой упоминает Ганса, назвав его самым красноречивым из преподавателей университета. И Тургенев через тридцать с лишним лет вторит ему в письме к Н.В. Ханькову, вспоминая о Гансе как о «самом красноречивом преподавателе в ту эпоху Берлинского университета»<sup>3</sup>. Как тут не вспомнить «музыку красноречия» Рудина, которую, надо думать, тургеневский герой усвоил в Германии.

Профессор права и истории Эдуард Ганс, автор ряда сочинений, из которых наиболее известным является «Наследственное право в историческом его развитии», родился в Берлине 22 марта 1798 г. в купеческой семье. Начальное образование получил в одной из берлинских гимназий, затем учился в Берлинском, Гёттингенском, Гейдельбергском

---

<sup>1</sup> Мельгунов. 1839. С. 84.

<sup>2</sup> Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Т. 11. 1983. С. 204.

<sup>3</sup> Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 11. 1999. С. 183.

университетах. В 1820 г. Ганс получил звание доктора прав и переселился в Берлин, где началась его преподавательская деятельность.

Некоторые штрихи к его портрету мы можем почерпнуть из нехронологической статьи, написанной ещё одним русским учеником Ганса Я.М. Неверовым. Неверов видит в Гансе не только учёного, проповедника науки, но и обаятельную личность, умевшую выразить общественное мнение Германии. Учителем Ганса был Гегель. Прочно усвоив его историческую методологию, Ганс со всей страстью принялся пропагандировать её, прилагая диалектику Гегеля ко всем областям науки и общественной жизни. Наука, как её понял Ганс, была чем-то близким и неотразимо притягательным для его слушателей. Он не уставал говорить о ней на лекциях, в кругу коллег и в светских гостиных. Наука представлялась ему неким дивным храмом, лучезарным святилищем, куда устремляется сознание человека. Будучи живым и эксцентричным по натуре, он желал распространить своё влияние не на одних студентов, но и в свете. «При образованности обширной, всеобъемлющей, беседа его была умна и занимательна; о чём ни говорил он с кафедры и в обществе – всегда, постоянно он этою говорливостью стремился к одной важной цели – внушению любви ко всякому полезному знанию, любви к науке, искусству, к вопросам общественным, ко всему, что составляет в человеке жизнь разумную и деятельную <...>»<sup>4</sup>.

В романе «Рудин» слышится явная переключка речи героя с характеристикой проповедей Ганса в обрисовке Неверова: «Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно <...>. Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чём шла речь, но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди»<sup>5</sup>. Оба они, и Рудин, и Ганс отличаются одной чертой – полным отсутствием схоластики, мертвящего наукообразия, напротив, они оба устремлены к действительной жизни. Судя по всему, модель поведения Ганса усваивают его ученики из России. Об этом свидетельствовал А.И. Герцен в своих мемуарах «Былое и думы»: «Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии <...>. Они сильно двинули вперёд Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учёности, учени-

---

<sup>4</sup> Неверов. 1839. С. 41.

<sup>5</sup> Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Т. 5. 1980. С. 229.

ки Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности, это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию»<sup>6</sup>.

Очевидно, и Грановский, и Тургенев слушали имевшие огромный успех публичные лекции Ганса на тему «Новейшая история от времени заключения Вестфальского мира». Будучи представителем философского направления в юриспруденции и истории, Ганс излагал не столько исторические события, сколько философский взгляд на них. Один из его слушателей вспоминал: «Когда он говорил о значении нашей эпохи, о Мирабо, о Наполеоне, он становился поэтом-философом; глаза его блистали, вся наружность принимала вид вдохновения, и речь лилась в дивных образах. Стечение слушателей всех классов, званий и возрастов было таково, что в аудитории, где было более 350 нумерованных мест, слушатели задыхались от тесноты, потому что не только были заняты все лавки, но даже пространство, оставленное для прохода, и площадка, окружающая кафедру, наполнены были стоящими посетителями»<sup>7</sup>.

Известно несколько портретов учёного, один из них представлен ниже. Существует также словесный портрет Ганса, оставленный его учеником: «<...> человек средних лет, довольно полный, с чёрными, как смоль, кудрявыми волосами, с чёрными, живыми, необыкновенно выразительными и пронизательными глазами, с румянцем на щеках. <...> В 6 часов вечера или в 12 утра он, бывало, медленно идёт из университета по липовой аллее, окружённый толпой студентов, распрашивающих его о том, что преимущественно их заняло на его лекциях; вечером вы встретите его в театре, если играет Зейдельман (лучший актёр берлинского театра) или даётся какая-нибудь новая пьеса; не то, загляните в какой-нибудь из тех кругов столицы, в коих собирается образованнейшее общество – там найдёте его сидящим на диване, окружённо толпой слушателей обоего пола (дамы очень любили его беседу)»<sup>8</sup>.

Надо думать, что вошедшие в обиход Московского университета публичные лекции, собиравшие не только студентов, но и светскую публику, имели примером публичные лекции Ганса в Берлинском уни-

<sup>6</sup> Герцен. Былое и думы. Ч. IV. 1967. С. 98.

<sup>7</sup> Неверов. 1839. С. 47.

<sup>8</sup> Там же. С. 48–49.

верситете. Судя по письмам матери Тургенева, В.П. Тургеневой, она посещала некоторые из таких, ставших вдруг модными, собраний.

Как известно, огромным успехом пользовались в Москве в 1840-е годы публичные лекции Т.Н. Грановского. Ничего подобного русское образованное общество ещё не видело. Герцен вспоминал: «Заклучение первого курса было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, – всё вскочило в каком-то опьянении, дамы махали ему платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавшими сквозь слёзы: “Браво! Браво!”»<sup>9</sup>. Герцен же привёл высказывание Чаадаева об «историческом значении» лекций Грановского.

Не однажды выступал на публичных чтениях и Тургенев. Достаточно вспомнить его лекции о Пушкине; 10/22 января 1860 года в Петербурге, а 25 января/6 февраля в Москве Тургенев выступил с речью «Гамлет и Дон-Кихот» и всюду был принят с энтузиазмом.

Проповедь «учеников» Ганса имела успех не только в столицах, но и в провинции. Об этом можно судить по эпизодам романа Тургенева «Рудин», герой которого, действуя на манер Ганса, произносит свои вдохновенные речи то в дворянской гостиной, то в гимназической аудитории и всюду оказывает одинаково сильное воздействие на своих слушателей, особенно молодых: «Но больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыхание не захватило; он сидел всё время с раскрытым ртом и выпученными глазами – и слушал, слушал, как отроду не слушал никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор её, неподвижно устремлённый на Рудина, и потемнел, и заблестал». Это гостиная Ласунской, а вот гимназия, где герой получил место преподавателя российской словесности: «Как теперь вижу лица моих слушателей, – лица добрые, молодые, с выражением чистосердечного внимания, участия, даже изумления»<sup>10</sup>.

В некрологической статье на смерть Ганса Неверов описывает грандиозные похороны профессора, состоявшиеся 6 или 7 мая 1839 г., на которых присутствовал и Тургенев: «<...> в день погребения университет явился к усопшему массой, со всеми преподавателями и учащимися. Всё, что только есть замечательного в Берлине в литературном, учёном и художническом отношении <...> всё явилось отдать последнюю честь покойному. В 8 часов утра двинулся печальный поезд,

<sup>9</sup> Герцен. Былое и думы. Ч. IV. 1967. С. 94.

<sup>10</sup> Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Т. 5. 1980. С. 225, 317.

предшествуемый хором музыки и певчих – отличие небывалое в протестантской столице, где воспрещена всякая уличная процессия, но на этот раз полиция сделала уступку общему желанию; за музыкой печальная колесница; за ней гроб, несомый избранными студентами, а за гробом до тысячи человек приглашённых и неприглашённых. <...> На кладбище могли войти только приглашённые и студенты. После умиленного хора “Христос моё прибежище” <...> старшина богословского факультета профессор-пастор Маргейнеке, личный друг усопшего, произнёс над гробом сильное и трогательное слово, в котором прекрасно охарактеризовал покойного; затем отпускная молитва “Dies irae”, исполненная хором студентов – слёзы родных и знакомых – глухой гул падавшей на крышку гроба земли – и всё кончилось. Толпа разошлась, кладбище опустело, и свежая могила стала рядом с пирамидой, на коей видно имя Фихте; ещё два шага – и вот другая могила с гранитной плитой, а на ней другое имя – Гегель... Какие имена!»<sup>11</sup>.

Невольно возникает параллель с другим печальным событием – похоронами Грановского в октябре 1855 года, которые стали, по словам Тургенева, чем-то «умилительным и глубоко знаменательным». Прежде всего бросалось в глаза большое число молодых лиц. Студенты несли гроб своего учителя до могилы и после того, как последняя горсть земли упала на его прах, медлили расходиться, не желая расстаться с кем-то очень важным для себя и бесконечно дорогим. Тургенев в статье «Два слова о Грановском» подчёркивает значение в общественной жизни России таких деятелей, каким являлся Грановский. Писатель сравнивает его с родником близ дороги, к «которому всякий подходил свободно и черпал живительную влагу»<sup>12</sup>.

Думается, мы не ошибёмся, если тот же образ применим к учителю Грановского и Тургенева – Гансу, который в своё время сумел стать для них таким же живительным источником.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

Герцен А.И. Былое и думы. Ч. IV. М., 1967.

Мельгунов Н.А. Барон Ал. Гумбольдт // Отечественные записки. 1839. № 10.

Неверов Я.М. Отечественные записки, 1839, № 6. С. 39-51.

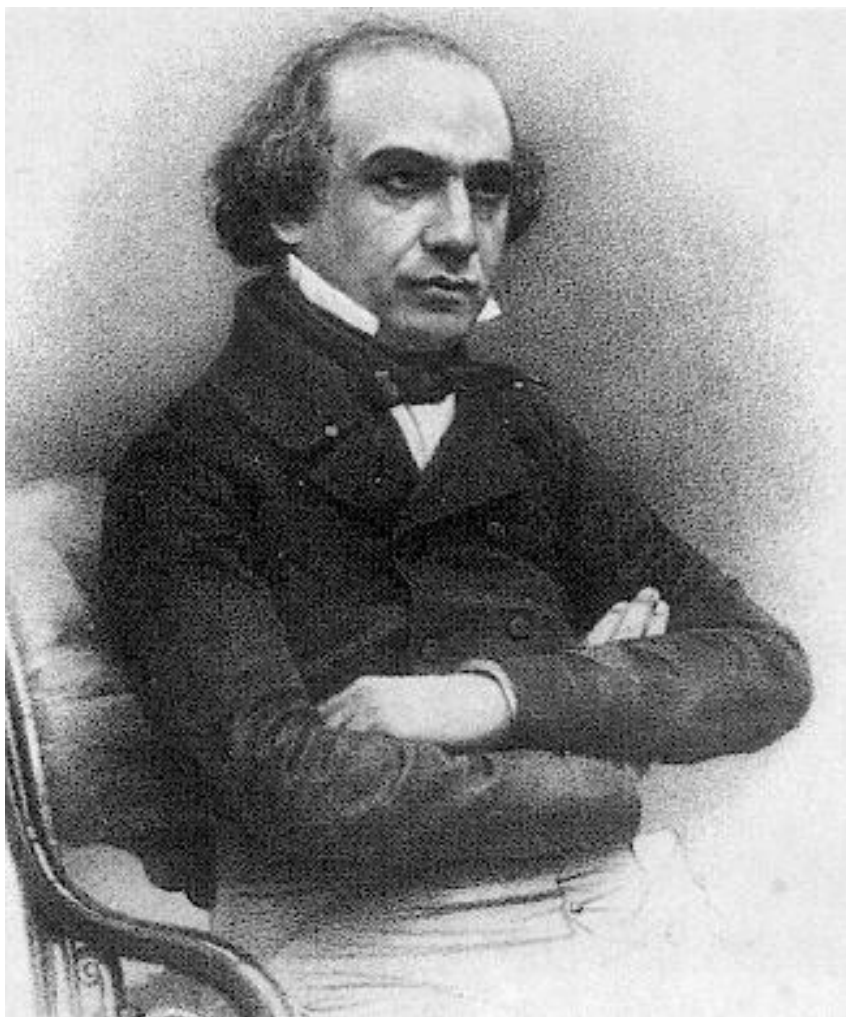
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Т. 11. М.: Наука, 1983.

Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Письма. Т. 11. М.: Наука, 1999.

**Жидкова Светлана Леонидовна**, старший научный сотрудник Литературного музея И.С. Тургенева, г. Орёл; *e\_shinkova@mail.ru*

<sup>11</sup> Неверов. 1839. С. 50-51.

<sup>12</sup> Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Т. 5. 1980. С. 325–328.



*ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРАНОВСКИЙ*





*ЭДУАРД ГАНС*

# ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

---

*И. Ю. НИКОЛАЕВА*

## НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАЛОГА ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ «СМЕНЫ ВЕХ»

---

В статье рассматриваются возможности диалога истории и литературы в свете парадигмальных методологических изменений, происходящих в пространстве современного гуманитарного знания. Показываются ресурсы литературы как исторического источника в фокусе новых методологических ориентиров истории как науки.

**Ключевые слова:** *история, литература, полидисциплинарный синтез, ментальность, идентичность, ценностные ориентации, смех, язык.*

---

Как известно, поначалу Клио была общей музой литературы и истории. Но по мере того как историческое знание обретало профессиональные опоры их пути все более и более расходились. Конечно, литература не была подвергнута полному остракизму как источник информации, но все чаще и чаще предьявлялись ей претензии, например, в субъективности авторов, в том, что они дают волю воображению, художественному вымыслу и т.д. Частичная реабилитация этой отрасли гуманитаристики произошла в 1960–70-е годы, на новом витке парадигмальных изменений в системе наук о человеке, которые ярче всего отразила «новая историческая наука». И вписывалась она в общую тенденцию антропологизации истории, имевшую множество ответвлений.

Отчасти это было связано с оценкой роли языка, его исследования для понимания истории. И хотя здесь больше шума наделала «Метаистория» Х. Уайта<sup>1</sup>, сошлюсь на мнение А. Дюпрона, кого уже по праву относят к числу классиков гуманитарной науки. Говоря о языке, как феномене, отражающем сознание, Дюпрон отмечал, что «анализ синхронных «состояний» данной эпохи или среды обнаруживает взаимосвязь между различными системами выражения мысли». Контент-анализ языковых форм и их изменений в источниках в существенной степени компенсирует однозначность письменных источников. «Количественный» анализ языка может опираться на выявление устойчивых лексем, сведение их в определенный «corpus», выявление так называемых случайных лексем,

---

<sup>1</sup> White. 1973.

которые в случае их возрастающей повторяемости будут свидетельствовать о трансформациях стоящих за ними ментальных кодов<sup>2</sup>.

К примеру, Н.И. Конрад насчитал в «Повести о доме Тайра» 33 самоубийства, при этом оговорил, что в «Повести» это явление нельзя назвать массовым. Действительно, по сравнению с более поздней самурайской литературой, где счёт самоубийств уже идёт на сотни и тысячи (в «Повести о Великом мире» их более 2,5 тысяч!), «Повесть о доме Тайра» предоставляет сравнительно скромный материал для изучения деталей сэппуку и прочих самоубийств. С другой стороны, противопоставляя цифру в 33 самоубийства отсутствию оных в «Песни о Нибелунгах», мы видим, что для японского средневекового общества времён создания «Повести о доме Тайра» сэппуку является социальной нормой. Более того, наличие данной социальной нормы и составляет саму причину самоубийств: самурай совершает самоубийство тогда, когда он **должен** это сделать, поскольку в ином случае его ожидает пожизненный позор и социальный остракизм через лишение его и всей его семьи социального статуса и имущества. Как видим, можно заключить, что на уровне ценностной ориентации, идеала самоубийство как альтернатива позорному невыполнению воинского долга утверждается уже в начале XIII столетия<sup>3</sup>. Но в это время, судя по ряду других признаков, это еще лишь внешне усвоенный императив, не интериоризованный на глубоколичностном уровне сознания.

В литературе японского средневековья с каждым следующим (в хронологическом порядке) произведением достаточно чётко прослеживается прогрессия в количестве и качестве (степени ритуализации, соблюдении деталей, выработке норм эстетики) самоубийств. Если в «Повести о доме Тайра» лишь в пяти из них совершают сэппуку, то в «Повести о Великом мире» XIVв. их уже 2640, причём 2159 случаев из них, по данным Н.И. Конрада<sup>4</sup>, это сэппуку. И хотя по-прежнему нет оснований говорить о превращении идеала в лично выбранный императив поведения, которому добровольно подчиняются, фиксация его в качестве часто повторяющейся поведенческой нормы, согласно теории установки Д. Узнадзе<sup>5</sup>, с большой вероятностью может привести именно к усвоению не на уровне необходимости беспрекословного следования социальному «заказу» общества, но на Эго-уровне.

---

<sup>2</sup> Дюпрон. 1970. С. 4-5.

<sup>3</sup> Подробнее см.: Николаева, Серкова. 2012. С. 231–234.

<sup>4</sup> Конрад. 1974. С. 327.

<sup>5</sup> Узнадзе. 2001.

Одну из новаций, которыми гуманитаристика в лице психоистории расширила возможности диалога истории и литературы, являет вошедшая сегодня в широкий научный оборот теория идентичности Э. Эриксона. Идентичность конкретного человека несет на себе печать «супер-эго» родителей, становится «проводником традиций и всех вечных ценностей, которые передавались этим путем от поколения к поколению». При этом принятие ценностей ближайшего окружения, группы зависит от возможности общества через это окружение гарантировать относительную безболезненность этого процесса. Последний перестает быть таковым, когда в самом обществе наступает кризис «организованных ценностей» и «институциональных усилий» различных сообществ «сохранить через объединенную организацию максимум свободной от конфликтов энергии во взаимно поддерживаемом равновесии»<sup>6</sup>.

В этом смысле чрезвычайно значимую роль играет заложенное в детстве чувство базисного доверия к миру, формирующееся в зависимости от отношений с родителями, начиная с самых ранних страниц жизненного цикла личности, равно как и состояния общества, к которому она принадлежит. Именно эту методологически важную для биографического анализа исследовательскую стратегию Э.Ю. Соловьев назвал в свое время одной из наиболее перспективных в современном гуманитарном знании<sup>7</sup>. Перспективность ее как исторического инструмента при анализе литературных источников во многом зависит от умелого применения исследователем ее в тандеме с другими комплементарно близкими концептами уже упоминавшейся теории установки школы Д.Н. Узнадзе, социального характера Э. Фромма, габитуса П. Бурдьё, невротической личности К. Хорни и ряда смеховых концепций<sup>8</sup>.

Уже применение теории установки позволило ученику Д. Узнадзе А. Шерозия расшифровать, какими личностно-значимыми смыслами и эмоциями был наполнен социально-психологический эфир знаменитых текстов Ф. Кафки, таких как «В исправительной колонии», «Процесс», «Замок», «Превращение» и др.<sup>9</sup> Все они пронизаны ощущением абсурда окружающего и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом. Аскетизм, неуверенность в себе, самоосуждение и болезненное восприятие окружающего мира – все эти качества писателя хорошо задокументированы в его письмах и дневниках, а особенно в «Письме отцу» –

---

<sup>6</sup> Эриксон. 1996. С. 210, 234, 235.

<sup>7</sup> Соловьев. 1981. С. 142.

<sup>8</sup> Николаева. 2010. С. 45–102.

<sup>9</sup> Шерозия. 1973.

ценной интроспекции в отношении между отцом и сыном и в детский опыт. В нем Кафка, к примеру, писал: «Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы привести в разговоре. И если я сейчас пытаюсь ответить Тебе письменно, то ответ все равно будет очень неполным, потому что и теперь, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой и его последствия и потому что количество материала намного превосходит возможности моей памяти и моего рассудка». Или же: «Ты воспитываешь ребенка только в соответствии со своим собственным характером – силой, криком, вспыльчивостью»; «Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины – ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, – вот, значит, каким ничтожеством я был для него»<sup>10</sup>.

Очевидно, что отношения Кафки с его деспотичным отцом являются важной составляющей его творчества. Идентичность Германа Кафки, выходца из чешско-еврейской семьи, оптового продавца галантерейной продукции, принадлежавшего к слою, который Э. Фромм обозначил бы как «средний класс», несла печать всех тех социально-исторических болезней Австро-Венгерской империи конца XIX – начала XX в., которые и обусловили авторитарно-деспотичный и одновременно невротичный характер его негативной идентичности. Историк, пытающийся реконструировать дальнейший ход формирования идентичности его сына, не сможет обойти вопроса природы управления империей, функционирования государственных институтов, в которых царили бюрократизм, бездушие, садистки изощренная требовательность в отношении исполнения обязанностей. Эту атмосферу и впитала в себя страдательно-ранимым образом идентичность одаренного писателя, служившего мелким чиновником в страховом агентстве всю свою короткую жизнь. На пересечении этих двух составляющих жизненных траекторий процесса социализации писателя и сформировалась идентичность Ф. Кафки, сумевшего собственные страхи-ненависть перед отцом, начальником, клиентами и сослуживцами воплотить в типичных образах его произведений, воссоздающих историко-психологическую идентичность его времени.

Формат и задачи статьи позволяют лишь лапидарно обозначить данную реконструкцию. Однако косвенные данные, сопоставимые

---

<sup>10</sup> *Кафка Ф.* Письмо к отцу [Электронный ресурс].

с закономерностями функционирования психического в самых разных его обличьях, дают материал для ее экспертной оценки. Хорошо известно, что кризисы идентичности личности сопровождаются расстройствами психосоматического характера. И в этом смысле «послужной список» его болезней (он часто страдал от мигреней, бессонницы, запоров, импотенции, нарывов и других заболеваний, а умер в 1924 г. от туберкулеза), а точнее их характера, за исключением последней четко коррелируется с психосоматикой частных состояний невроза. Можно было бы усомниться в данной закономерности, по крайней мере, в ее действии в случае Кафки, однако его интимно-личная жизнь также является маркером достоверности реконструированного образа идентичности. Множество романов Кафки не только не закончились хоть одним сколько-нибудь прочным союзом, но, напротив, носили болезненный характер, а, как известно, в гендерной идентичности личности отражаются все особенности общей структуры идентичности личности<sup>11</sup>.

Таким образом, при профессионально адекватном выборе исследовательской стратегии литературный источник может рассказать о многом, и главным образом, о том духовно-психологическом эфире, которым дышит то или иное общество или цивилизация, иными словами, о социальной психологии и культурных идеалах, без которых невозможно представить живое лицо истории. Ю.П. Малинин заметил: «Психология... сопричастна всем формам жизни и их эволюции. Поэтому исторический синтез, то есть синтез исторических знаний, возможен благодаря тщательному, всестороннему изучению именно социальной психологии, поскольку она представляет собой ту стихию, где в наиболее **концентрированном виде соединились все особенности той или иной цивилизации** (выделено мной – И.Н.)<sup>12</sup>.

При соблюдении тех же методологических презумпций литературный источник может дать эксклюзивную информацию о некоторых базовых ментальных кодах общества, равно как и их историко-культурного различия. Приведем конкретные примеры возможности такого рода реконструкции. Речь пойдет об идеале избыточного мужества, свойственного сознанию многих традиционных обществ, в том числе и средневековому. Обратимся для начала к западноевропейскому. Знаменитые два текста дают возможность проанализировать генезис этих идеалов-образов. Здесь собственно историк, вооруженный знанием других дисциплин, полагаясь на литературные источники, может сказать свое слово.

---

<sup>11</sup> Подробнее об этом см.: Соколова, Бурлакова, Лэонтиу. 2001. С. 3–16.

<sup>12</sup> Малинин. 2000. С. 4–5.

Любой ценой рыцарь должен был доказать свою силу и мужество, даже ценой жизни. В «Песни о Роланде» ее главный персонаж в критический момент отказывается протрубить в рог, чтобы позвать помощь (как советует Роланду его друг Оливье), для него важнее утвердить личную доблесть, доказать свою безоговорочную готовность сражаться до последней капли крови<sup>13</sup>. Причем постыдно прибегнуть к чьему-либо содействию. Чем сильнее и доблестней противник, тем больше собственная слава.

Этот комплекс установок, лежащий в основе рыцарского идеала, имел под собой «варварскую» составляющую – самоутверждение силы, закреплявшейся в качестве ценностного императива поведения, так как социум мог оградить себя от врагов лишь при наличии того профессионального слоя воинов, готовых, по крайней мере, в идеале, пожертвовать всем, даже жизнью, ради его благополучия. Данный идеал некоего избыточного мужества, доблести, героизма транслировался во многих других поведенческих императивах рыцарского поведения. Зазорно было сражаться со слабым или плохо вооруженным противником. И, напротив, особую честь можно было стяжать, выбирая заведомо сильного противника. Отсюда многочисленные обычаи рыцарского сословия – обычай обязательности равенства вооружения, равенства вспомогательных сил во время поединка. Во время второго крестового похода Саладин, слывший доблестным рыцарем, несмотря на принадлежность к врагам христианского мира, узнав, что под Ричардом Львиное Сердце пал конь, послал ему двух отменных скакунов.

В «Песни о Нибелунгах» Зигфрид во время состязания в беге с Гунтером и Хагеном дает им фору: «За вами гнаться сзади / Я собираюсь в полном охотничьем наряде, / На руку щит повесив, с колчаном за спиной». В то время как бургундцы сняли одежду вплоть до сорочки, нидерландец, бежавший при полном вооружении, добрался до цели первым, продемонстрировав особую доблесть. В этом же месте текста другой герой – прославленный Дитрих Бернский, ранив в поединке врага, не менее доблестного Хагена, говорит про себя: «Тебя, – подумал бернец, – усталость доконала. / С тобой покончить просто, да чести в этом мало. / Хочу, чтоб достался ты, Хаген, мне живой, / И ради этого рискну, пожалуй, голый. / Отбросив щит, он вормса руками обхватил»<sup>14</sup>.

Идеалы рыцарской героики, замешанные на необходимости постоянного подтверждения рыцарем собственной силы и мужества, имели

---

<sup>13</sup> Песнь о Роланде... 1976.

<sup>14</sup> Песнь о Нибелунгах. [Электронный ресурс].

смысловую параллель с традициями того, что именуется *рыцарской авантюрой*. В «Песни о Нибелунгах» основные герои этой рыцарской эпопеи постоянно находятся в поисках воинского самоутверждения – Зигфрид, отправляется на войну против короля саксов, затем вместе с Гунтером в Исландию, где живет воительница и красавица Брюнхильда, победа над которой сулит славу и престижный брак для бургундского короля. Рыцарь постоянно должен следить за своим положением в обществе, это требовало от него все новых и новых побед, доказательств того, что он имеет право принадлежать к этому сословию<sup>15</sup>. В романе Кретьена де Труа «Эрек и Энида» влюбленный Эрек, разомлев от любовных утех на супружеском ложе, забывает о своем предназначении. Изменившееся отношение к Эреку окружающих заставляет Эниду напомнить мужу: «Теперь судачить всякий рад, / Простой и знатный, стар и млад, / Что будто ты не так уж смел / Изнежился и оробел»<sup>16</sup>. И Эрек собирается в дорогу, совершая многочисленные подвиги в поисках славных дел, которые должны были вернуть ему честное имя.

Подобного рода демонстраций избыточного мужества мы можем найти и во многих других литературных традициях. Достаточно вспомнить поведение главных персонажей из «Одиссеи», «Слова о полку Игореве» или многочисленные примеры из индийской литературы<sup>17</sup>, либо же японской<sup>18</sup>, чтобы убедиться в смысловой идентичности данного идеала. Эта ценность-идеал находит подтверждение и в поговорках. Вспомним знаменитое «Иду на вы» Святослава, или же франкский аналог, когда противнику предлагали «выбрать поле».

Не продолжая этот бесчисленный ряд литературных примеров, попытаемся объяснить их в полидисциплинарном режиме уже упоминавшейся технологии, имеющей фокусом бессознательное. В условиях отсутствия сильной государственности (в силу ряда факторов более выраженной в средневековой Западной Европе), в обстоятельствах примитивных обществ со скудными ресурсами, социум неосознанно, путем многочисленных проб и ошибок (иными словами, опыта) вырабатывал систему ценностей/идеалов, согласно которым каждый мужчина племени должен был пожертвовать всем ради своего сообщества.

Но это далеко не исчерпывающие природу названных идеалов условия. Нельзя забывать об архаическо-витальном субстрате ментально-

---

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Кретьен де Труа. Эрек и Энида. 1980.

<sup>17</sup> Ванина. 2007.

<sup>18</sup> Кинг, Уинстон. 2002. С. 89–320.



сти личности. На обыденном языке науки в человеке скрывается зверь, что проявляется во время боевой схватки. Любопытно, что пантеон богов уловил и отразил это представление. «Деяния данов» Сакса Грамматика и «Эдда» Снорри Стурлусона сходятся на том, что боги обладают магическим даром превращаться в животных. Характер древнегерманских божеств также несет в себе черты неукротимости. Корень названия Вотан (Один) тот же, что и у слова *wut*, которое означает “неистовство, исступление, одержимость”. Адам Бременский подчеркивал: «Вотан, сиречь бешенство»<sup>19</sup>.

Если же этот обыденный дискурс перевести в научный, то вырисуется некая общая историко-психологическая модель названных ценностей. Начнем с того, что подчеркнем неразделимость природно-витального и психоэмоционального начал в конституировании воинственности на уровне единой нефиксированной установки личности<sup>20</sup>. Этот трюизм может высветиться в несколько необычном свете при введении в расшифровку отмеченной связи параметра власти. Ее «живое лицо», а не просто некий институциональный абрис афористично определил Ролан Барт: «...имя мне – легион – могла бы сказать власть... Власть гнездится везде, даже в недрах того самого прорыва к свободе, который жаждет ее искоренения»<sup>21</sup>. Э. Фромм более точно формулирует ее социально-психологическую основу: «Власть – это не качество, которое человек “имеет”, как имеет какую-либо собственность или физическое качество. Власть является результатом межличностных взаимоотношений, при которых один человек смотрит на другого как на высшего». При этом Фромм разводит понятие рационального авторитета и власти, которая не поддается адекватной рационализации субъектами отношений<sup>22</sup>.

Иными словами, законы бессознательного с его архаическими архетипами детерминировали ценностный ряд сознания их членов, к какому бы культурно-историческому ландшафту они не принадлежали. Другое дело, что природно-географические, политические, культурно-исторические реалии примитивных обществ, при всей общности неких базовых архетипов-идеалов, наряду с множеством других факторов обуславливали специфику транслируемой литературными источниками психологического интонирования этой ценности в разных социумах. Известно, например, что сами условия бытования западноевропейской

---

<sup>19</sup> Кардини. 1987. С. 79.

<sup>20</sup> Николаева. 2002. С. 233; 2006. С. 92–98.

<sup>21</sup> Барт. 1989. С. 547.

<sup>22</sup> Фромм. 1990. С. 142.

раннесредневековой цивилизации обуславливали то обстоятельство, что идеал избыточного мужества был артикулирован в соответствующих литературных источниках с предельно выраженной силой демонстрации личной воли и отваги, что коррелировало с присущим этой цивилизации выраженным наращиванием индивидуализма<sup>23</sup>.

Литература как важнейший источник для работы историка чрезвычайно важна в плане интонирования языка, смеха, других эмоций. Но этот ресурс ее как исторического источника может быть результативно использован при опять-таки определенных методологических условиях. Скажем, даже прикладывая в качестве аналитического инструментария многочисленные концепции смеха, историк не будет гарантирован от получения неверного результата. Автору данного текста уже неоднократно приходилось писать об этом<sup>24</sup>. Использование технологии, сконструированной из комплементарных концептов, имеющей фокусом бессознательное и работающей в челночном режиме корреляции результатов макро- и микроуровня исследования, при условии верно выбранной макроисторической теории дает возможность снять противоречия, существующие между различными концепциями смеха, и наладить их работу в диалогическом регистре. Отошлем читателя к подобного рода анализу такого *серийного* литературного источника как испанский плутовской роман<sup>25</sup>. Его исследование с помощью означенной технологии позволило через интонирование смеха выявить параллелизм деформации основных ценностных ориентиров испанского общества, касающихся труда, богатства, чести не только у люмпенизированных слоев общества (пикаро), но и в сознании широких слоев бюргерства. Тот широкий отклик, который нашел этот литературный жанр в среде последних, позволил сделать вывод о наличии бессознательных идентификаций этого слоя с героями пикаресного мира. Более того, используя знание закономерности того, что лишь реализуемые установки (они же ценностные ориентации) способны порождать необходимую энергию, удалось понять причины той пробуксовки модернизационных процессов, которые к концу XVI столетия набирали обороты в странах лидерах европейской мир-системы, как, впрочем, и многих других явлений<sup>26</sup>.

Подытоживая, еще раз оговоримся: столь сложная и многоаспектная проблема как тандем истории и литературы в современной ситуации

---

<sup>23</sup> Гуревич. 2005; Николаева. 2004.

<sup>24</sup> См., напр. : Николаева. 2010. С. 80–102.

<sup>25</sup> Плуттовской роман. 1989.

<sup>26</sup> Николаева. 2010. С. 308–358.

методологического реформирования многих презумпций гуманитарного знания требует более серьезного и обстоятельного разговора о перспективах науки и препомах на этом пути. Данным же текстом автор статьи всего лишь обозначил возможные линии обсуждения этой проблемы, тем самым приглашая желающих подключиться к нему.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Бессмертный Ю.Л.* Другое Средневековье, другая история средневекового рыцарства // Homo Historicus. К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного / Отв. ред. А.О. Чубарьян. Кн. 1. М.: Наука, 2003. С. 72–99.
- Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
- Ванина Е.Ю.* Средневековое мышление: индийский вариант. М.: Восточная литература, 2007. 375 с.
- Гуревич А.Я.* Индивид и социум на средневековом Западе. М.: РОССПЭН, 2005. 424 с.
- Дюпрон А.* Язык и история. Доклад // Материалы XIII Международного конгресса исторических наук. Москва, 16-23 августа 1970 г. 85 с.
- Кардини Ф.* Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987. 384 с.
- Кафка Ф.* Письмо к отцу [Электронный ресурс]. <http://www.kafka.ru/dnevnik/read/pismo-otsu>.
- Кинг, Уинстон Л.* Дзэн и путь меча. Опыт постижения психологии самурая. СПб.: Евразия, 2002. 320 с.
- Конрад Н.И.* Японская литература от «Кодзики» до Токутоми. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1974. 568 с.
- Кретъен де Труа.* Эрек и Энида. Клижес. (Серия: Литературные памятники). М.: Наука, 1980. 512 с.
- Малинин Ю.П.* Общественно-политическая жизнь позднесредневековой Франции XIV–XV века. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2000. 237 с.
- Николаева И.Ю.* Французская гендерная идентичность в историко-культурном интерьере: истоки и особенности // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2002. № 4. С. 223–254.
- Николаева И.Ю.* Архаика и гендерные коды культуры в свете исследования бессознательного // Вестник Томского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки (История. Этнология). 2006. Вып. I (№ 52). С. 92–98.
- Николаева И.Ю.* Культурные коды западноевропейского средневековья в историческом интерьере их бытования // Вестник Томского государственного университета. Серия: История. Краеведение. Этнология. Археология. № 281. 2004. С. 76–90.
- Николаева И.Ю.* Полидисциплинарный синтез и верификация в истории. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2010. 410 с.
- Николаева И.Ю., Серкова О.А.* Подчинение авторитету и социальной норме в средневековых военных сословиях Японии и Германии // Диалог со временем. 2012. Вып. 38. С. 227–240.
- Песнь о Нибелунгах [Электронный ресурс]/ пер. со средневерхненемецкого и прим. Ю.Б. Корнеева: <http://www.fbit.ru/free/myth/texty/pnibelun/home.htm>.
- Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. М.: Библиотека всемирной литературы. 1976. 656 с.
- Плутовской роман: Пер. и вступ. ст. Н.Томашевского. М.: Правда, 1989. 672 с.

- Повесть о доме Тайра: Эпос (XIII в.); пер., предисл. и коммент. И. Львовой; стихи в пер. А. Долина. М.: Художественная литература. 1982. 703 с.
- Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лэонтиу Ф. К обоснованию клинико-психологического изучения расстройства гендерной идентичности // Вопросы психологии. 2001. № 6. С. 3–16.
- Соловьев Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-философского исследования // Вопросы философии. 1981. № 9.
- Узнадзе Д.Н. Психология установки. Москва; Харьков; Минск; СПб., 2001. 448 с.
- Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990. 272 с.
- Шерозия А.Е. К проблеме сознания и бессознательного психического. Т. 2: Опыт интерпретации и изложения общей теории. Тбилиси: Мецниереба, 1973. 522 с.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. М.: «Прогресс», 1996. 344 с.
- White H. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore; L.: 1973. 448 p.

**Николаева Ирина Юрьевна** – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Томского государственного педагогического университета; [percka@mail.ru](mailto:percka@mail.ru).

З. А. ЧЕКАНЦЕВА

## ЛИКИ ВЛАСТИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ РИТМА ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

---

«Существует неразрывная связь между властью и ритмом. То, что власть предписывает в первую очередь, это ритм (ритм всего на свете – жизни, времени, мысли, дискурса)», – писал Р. Барт. В свете «ритмической организации процесса индивидуации», предложенной Паскалем Мишоном, власть предстает как «ритмический медиум».

**Ключевые слова:** *теория ритма, ритмическая организация процесса индивидуации, историческая антропология субъекта, власть как «ритмический медиум».*

---

Зигмунд Бауман, размышляя о нашей «текущей современности» отметил, что власть содержит в себе два ингредиента: государство и «мощь»<sup>1</sup>. Термин «мощь» мэтр современной социологии считает русским эквивалентом немецкого понятия *Machte* (букв. – *сила, мощь, власть, государство*), введенного в науку М. Вебером. По-французски его переводят как *pouvoir*, английский аналог – *power*. Последние термины, заметил Бауман, переводятся по-русски, к сожалению, как власть. Хотя власть включает в себя две составные части: мощь и политику. Мощь – это возможность действовать: не только думать, размышлять, но и «делать вещи, чтобы они были сделаны». Политика – это понятие, обозначающее возможность принять решение. Эти две составные части власти в течение двух столетий существовали в состоянии брака, а местом их совместного проживания являлось национальное государство. Однако за последние десятилетия этот союз распался. Значительная часть мощи переместилась в надгосударственное глобальное пространство, где нет того, кто определяет выбор вещей, которые должны быть сделаны. Но политика, как и сто лет назад, остается политикой национального государства. В результате те функции, которые государство обещало исполнить, попросту перерастают его возможности. Главной задачей XXI века Бауман считает преодоление разрыва между политикой и мощью. Их надо вновь «поженить», говорит социолог.

Французский историк и философ Паскаль Мишон, работы которого являются основным источником этого текста, полагает, что в новом глобализованном мире трансформации реальности опережают разработку теоретического инструментария для ее анализа<sup>2</sup>. В условиях то-

---

<sup>1</sup> Бауман. 2011.

<sup>2</sup> Michon. 2007.

тальной коммерциализации человеческих отношений «десистематизация», «разгосударствление», «раздисциплинирование» присутствуют во всех сферах жизни. Разобраться в этом при помощи традиционных объяснительных схем и привычных концептов «система», «структура», «индивид», «взаимодействие» удастся не всегда. Радикальная критика мирового порядка тридцати-сорокалетней давности определенно утрачивает свой освободительный заряд, превращаясь в опору неолиберализма. Это касается и всех существующих концепций власти, в том числе реляционных, во многом направленных против традиционного дуализма, который и сегодня сохраняет свои позиции и в философии, и в социальных науках. Ситуация осложняется тем, что переизбыток информации и ее доступность породили так называемый «академический фагоцитоз», проявляющийся в поверхностном переваривании критической мысли, которая является лишь поводом для получения научных степеней и бесчисленных комментариев<sup>3</sup>. Кроме того, происходит катастрофический поворот в сторону дисциплинарного знания. Междисциплинарность во всех ее формах нередко остается лишь лозунгом. В социальных науках, включая историю, по словам Мишона, «свирепствует академизм», в котором высшая ценность – эмпиризм и позитивизм. Считается, что достаточно собрать данные, а далее они вполне представляемы без всяких теоретических усилий. Все вместе взятое делает задачу обновления концептуального мышления прагматической необходимостью. Для начала, по Мишону, необходима радикальная историзация интеллектуального наследия, в том числе структуралистской и постструктуралистской критической мысли. Речь идет о том, чтобы вернуть эту мысль в контекст ее производства, с тем чтобы найти новые подходы к «текущей современности» и историческому материалу.

Одно из направлений поисков связано с переосмыслением концепта *«ритм»* и применением в исторической антропологии и политических исследованиях *ритмической теории*, разработанной в антропологии, социологии и лингвистике. Еще в начале прошлого века Марсель Мосс сформулировал тезис: «Человек – это ритмическое животное»<sup>4</sup>. Изучение темы ритма, начатое в конце прошлого века на пересечении философии, социальных наук и поэтики показало, что она содержит в себе мощный эвристический потенциал. Стало ясно, что на протяжении всего XX века с небольшими перерывами ритм являлся объектом пристального внимания не только в естественных науках и философии, но

---

<sup>3</sup> Ландольт. 2009.

<sup>4</sup> Michon. 2010.

также в социологии, антропологии, психологии, психоанализе, киневедении, литературоведении, медиологии, истории<sup>5</sup>.

Осмысление полученных результатов позволило реконструировать в духе радикального историзма генеалогию концепта *ритм* и предложить другое его содержательное наполнение. Вместо широко распространенного понимания ритма как темпа (метрон), П. Мишон предлагает вернуться к доплатоновскому концепту *rhuthmos*, (букв. *рифма*) который, как показал Э. Бенвенист, означал в Древней Греции «форму движущегося»<sup>6</sup>. Так понимаемый ритм позволяет помыслить и описать то, что раньше представлялось невидимым: не столько интеракции индивид/индивид или система/индивиды, сколько «манеры течения» (*manière de fluer*), общую организацию этих интеракций. В результате на первом плане оказывается процесс «производства» индивидов и выявление темпоральной и пространственной организации этого процесса. Концепт *индивидуация* при этом наполняется новым содержанием.

Как правило, под индивидуацией понимается формирование единичного индивида, принадлежащего самому себе и отличающегося от других. Эта концепция – основа этики и политики либерального индивидуализма и индивидуалистической методологии, которая, по мнению Мишона, во многом себя исчерпала. Считается, что модель «индивида-собственника» (*individe-possesive*) оформилась в XVII–XVIII вв. Однако в эпоху Просвещения существовала и альтернативная модель, менее заметная. В русле этой модели индивид осмысливается в терминах «манеры», способа существования. Эта модель сформировалась в артистических кругах, в практиках производства и обмена не экономического, а художественного рода. Эту модель использовал Дени Дидро при анализе художественных практик. Она позволяет критически переосмыслить процесс индивидуации. В отличие от «притяжательного индивида» или «индивида-посессива» (понятия введенного в науку Гоббсом и Локком), «индивид-манера» несводим к самому себе, он существует только во взаимодействии с публикой. Среди бесчисленных «способов течения» (*les façons de fluer*) «хорошими» можно назвать те ритмы, которые позволяют единичным и коллективным индивидам найти для себя наилучшую манеру изменения. В идеале это способен сделать творческий человек, художник, поскольку ритмы индивидуации художника не обязательно предполагают состояние борьбы, войны и проч. Один великий мастер не отменяет другого, они нормально сосуществуют.

---

<sup>5</sup> Michon. 2005.

<sup>6</sup> Benveniste. 1966.

По Мишону, процесс индивидуации (единичной и коллективной) включает как минимум три аспекта: «телесность», т.е. техники, организующие «течение тел», (Мишон вводит новый термин *течение* – *le fluement*); «дискурсивность», т.е. техники, организующие языковую деятельность (*langage*), то, что принято сегодня называть дискурсом, и «социальность», т.е. техники, определяющие формы интенсивности взаимодействий тел-языковых практик. Мишон называет это «ритмической организацией процесса индивидуации». Важно, что все три аспекта индивидуации неразрывно связаны между собой. И только в результате переплетения телесности, дискурсивности и социальности конституируются «души». «Ритм индивидуации» Мишон представляет как универсальное свойство человека. В каждый исторический период, в каждой рассматриваемой группе такие техники формируют сложный диспозитив – ритм ритмов. Получается, что индивидуация не сводится к интеракциям между нормами и существующими ценностями, с одной стороны, и сознанием уже оформившихся индивидов, с другой.

Все эти любопытные теоретические размышления позволяют переосмыслить понятия индивида и субъекта, индивидуации и субъективации. В социальных науках, да и в философии субъект, по мнению Мишона, остается неясным пятном, несмотря на то, что очень многое уже сделано. Например, историки давно изучают тело во всех его проявлениях: сексуальность, гендер, восприятие, вкус, обоняние, видение; всесторонне исследуются сансибилите, воля, разум, память, а также эмоции, чувства, воображаемое. Предпринимаются настойчивые, хотя и не всегда успешные попытки понять метаморфозы идентичности. Целый букет блестящих исследований создан в русле исторической антропологии. Но современная историческая антропология по Мишону, это «букет без вазы». Ибо единственная история, которая могла бы придать смысл этому замечательному поиску – история субъекта – до сих пор не написана<sup>7</sup>.

Основными препятствиями для понимания субъекта Мишон считает два обстоятельства. Во-первых, это абсолютизация понятия социального как в холистской перспективе, так и в перспективе методологического индивидуализма, что приводит к смешению концептов субъекта и индивида. Во-вторых, в социальных науках отсутствует лингвистическая теория, которая не сводила бы языковую деятельность к одной из сфер социального. Доминирует философская установка, в которой языковая деятельность сводится к языку, что закрепляет дуализм социального и индивидуального (т.е. индивидуальное противопоставляется социуму).

---

<sup>7</sup> Michon. 2011.



Поясню чуть подробнее. После Второй мировой войны в социальных науках понятие социального было основным, а в философии доминировал концепт *язык*. Не было интереса ни к истории субъекта, ни к исторической антропологии субъекта. Если последний изучался, то с объективистских позиций (тело, сексуальность, индивид), а также в психологическом ключе. Проблема его внутренней динамики не ставилась. Однако развитие теории речевой деятельности и поэтики открыли новые перспективы. Ряд авторов (Михаил Бахтин, Эмиль Бенвенист, Анри Мешоник) показали, что языковая деятельность (лангаж) – это не просто подсистема социума, но интерпретант социального. Это деятельность, позволяющая конституировать человеческую жизнь, взаимодействовать с миром и другими людьми. Тем не менее, социальные науки продолжают рассматривать эту деятельность лишь как один из аспектов социального. Нужна историческая антропология субъекта и социума, которая возможна, по Мишону, лишь при признании примата языковой деятельности над практиками социальными.

Какое отношение все эти идеи имеют к власти? Самое непосредственное. Политику нельзя понять без выявления отношения к миру, отношения к дискурсу, без осмысления процессов коммуникации, индивидуации и субъективации.

В современном мире, считает Мишон, традиционные концепции власти не работают. Власть больше нельзя представлять в терминах доминирования государства или борьбы классов. В действительности все социальное тело переплетено силовыми сетями и отношениями власти. Однако политическая власть и сейчас чаще всего представляется как простое следствие способности, присущей каждому индивиду. Человеческое существо наделено способностью рационально определять, что ему нужно и как ему следует действовать в соответствии со своими интересами. Политическая власть, якобы, лишь воплощает борьбу людей за сохранение и повышение их благосостояния, а государство при таком подходе предстает как институт, контролирующий эту борьбу. Микроаналитические подходы к исследованию властных отношений, сохраняя свое значение в ряде случаев, не учитывают темпоральное измерение взаимодействий на разных уровнях и во многом непригодны для анализа современных явлений и процессов.

Власть – не данность, а среда и средство: в ней и посредством нее конституируются единичные и коллективные индивиды, выстраиваются иерархии, связывающие их, а также «эффекты доминирования», проявляющиеся в недрах таких иерархий. Сегодня преобладает интеракционистское понимание власти как результата взаимодействия индивидов и

системы. Однако в концепциях такого рода проблема субъективации недостаточно продумана, хотя многие теоретики и пытались найти здесь некие основания. К примеру, Н. Элиас полагал, что базовым понятием здесь может стать человек желающий (*l'homme de desir*). Тем не менее, процесс субъективации все определеннее видится как становление актора, которое не сводится более к идентификации с самостью, что свойственно неолиберальным представлениям. Становящийся актер понимается как агент своей собственной жизни. Например, так понимает процесс субъективации английский социолог Маргарет Арчер<sup>8</sup>. Она, кстати, тоже использует понятие ритма, но опирается на старое традиционное его понимание как чередование сильного и слабого темпа.

В свете «ритмической организации процесса индивидуации» власть предстает как «ритмический медиум». Еще Ролан Барт в своей первой лекции в Коллеж де Франс, прочитанной в 1976 г., отметил: «Существует неразрывная связь между властью и ритмом. То, что власть предписывает в первую очередь, это ритм (ритм всего на свете – жизни, времени, мысли, дискурса)<sup>9</sup>. В этой лекции Барт дает конкретный пример ритмической текучести без навязывания вертикали. Это дохристианские общины монахов отшельников, живших в III в. до н.э. Характер их общежития Барт называет *идиоритмическим*. Смыслом этих коммун была полная индивидуация членов. Каждому монаху вменялось в обязанность найти свой ритм существования, в том числе для приемов пищи, за исключением одной общей трапезы в неделю. После крещения Константина в 313 г. эти сообщества были распущены. Барт комментирует это в том смысле, что идиоритмия всегда идет в разрез с властью.

Мишон ищет такой способ объяснения процессов индивидуации и субъективации, который позволил бы описать их специфику в каждый исторический момент во всех обществах. Для того чтобы понять властные отношения, ученый предлагает сосредоточиться на действии и его организации, т.е. выявить и описать «манеру течения», способы телесной, языковой и социальной активности, в ходе которой единичные и коллективные индивиды появляются, самоопределяются и исчезают. При этом Мишон проблематизирует широко распространенное объяснение происходящего сегодня общим ускорением исторического развития. Время – важная составляющая такой активности, но скорость ее течения, по мнению ученого, не является определяющей. Важнее, скорее, то, каким образом организованы «способы течения» основных видов такой

---

<sup>8</sup> Archer. 2000.

<sup>9</sup> Barthes. 2002.

активности – телесные, языковые, социальные, т.е. важно показать их ритмы, а также разнообразные качественные характеристики единичных и коллективных индивидов. При этом Мишон обосновывает примат языковой деятельности (лангаж) в этих «способах течения».

Впрочем, еще до Мишона, появились работы, в которых убедительно показана первостепенная роль дискурсивных практик в конкретных обществах. В одной из своих книг Мишон в качестве примера ссылается на известную книгу немецкого филолога Виктора Клемперера «Язык третьего Рейха», в которой он показал, как нацистской власти удалось проникнуть в индивидуально-семейный мир через контроль за ритмами языка. Например, через явную склонность к словам иностранного происхождения или придания некоторым словам уничижительного смысла. Простые немцы этих слов не понимали, но их постоянно использовали в средствах пропаганды, и это оказывало существенное влияние на восприятие происходящего<sup>10</sup>.

Можно привести еще один выразительный пример такого дискурсивного исследования. Это книга франко-швейцарского лингвиста Патрика Серю «Анализ советского политического дискурса»<sup>11</sup>, в которой он описывает «советский способ оперирования языком» на протяжении нескольких десятилетий советского строя. Дискурс советской идеологии хрущевской и брежневской поры во Франции среди знающих русский язык называли «деревянным языком» (*langue de bois*). Он предполагал особое использование языка посредством активизации некоторых его черт, а также формирование особой грамматики и правил лексики. Причем проявлялось это не только в сфере политической, по сути, формировался особый «ментальный мир».

Социальное измерение ритмических индивидуационных процессов, конечно, тоже очень важно, но в свете ритмической теории здесь многие устойчивые представления меняются. К примеру, социальная группа, рассматривается как монтаж разнообразных техник, обуславливающих манеры, в которых человеческие отношения становятся текучими, т.е. не группа предшествует техникам, а техники формируют и преобразовывают группу.

Подводя итог, можно сказать, что по новому понятый ритм представляется Мишону хорошим средством уловить индивида в его текучести. Это открывает новые возможности, в том числе в исследовании власти. А применение ритмической теории в социальных науках делает

---

<sup>10</sup> Клемперер. 1998.

<sup>11</sup> Seriot. 1985.

междисциплинарность и теоретическую рефлексию обязательной составляющей научной работы.

Еще один вопрос. Как относятся коллеги Мишона к тому, что он предлагает? Ему довольно часто приходится давать интервью, где ученый говорит, что есть очень сильное сопротивление этим идеям. В то же время на сайте, созданном в Интернете в 2010 г., уже есть тексты более 130 авторов, и среди них философы и представители всех без исключения наук. Кроме того, за последние десять лет количество и качество исследований, созданных в русле ритмической теории, выросло многократно. В этой связи, Мишон даже высказал предположение о том, что на наших глазах формируется особая ритмическая парадигма. Впрочем, в последнее время подобную фразу произносят часто. Так, например, в связи с проблематикой визуального поворота тоже говорят о новой парадигме. При этом все опираются на куновское понятие парадигмы. Однако Мишон полагает, что это понятие – продукт структуралистской эпохи в истории науки и сегодня тоже нуждается в переосмыслении, по крайней мере для социальных и гуманитарных наук. Но это особая тема.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Бауман З.* Текучая модерность: взгляд из 2011 года. [Электронный ресурс]– URL: <http://polit.ru/article/2011/05/06/bauman/> (дата обращения – 12.10.2013).
- Michon P.* Les Rythmes du politique. Démocratie et capitalisme mondialisé. Paris: Les Prairies ordinaires, 2007.
- Ландольт Э.* В ритме происходящего: Рец.: *Pascal Michon. Les rythmes du politique. Democratie et capitalisme mondialise.* Paris. Les Prairies Ordinaires, 2007 // Пушкин. 2009. № 1.
- Michon P.* Marcel Mauss retrouvé. Origines de l'anthropologie du rythme. Les Editions Rhuthmos, 2010.
- Michon P.* Rythmes, pouvoir, mondialisation. Paris: PUF, 2005.
- Benveniste E.* La notion de “rythme” dans son expression linguistique [1951] // Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1966.
- Michon P.* Comme un bouquet sans vase. Pour une anthropologie historique du sujet et de l'individu. Les Editions Rhuthmos, 2011.
- Archer M.* Being Human: The Problem of Agency. Cambridge University Press, 2000.
- Barthes, Roland.* Comment vivre ensemble. Notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1976–1977. Paris; Seuil: IMEC, 2002.
- Клемперер В.* Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М.: Прогресс-Традиция, 1998.
- Seriot P.* Analyse du discours politique soviétique. Paris: IMSECO, 1985. 362 p.
- Чеканцева Зинаида Алексеевна**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; [achekantzev@mail.ru](mailto:achekantzev@mail.ru)

А. Б. СОКОЛОВ

## КЛАРЕНДОН КАК ИСТОРИК

---

В статье рассмотрены обстоятельства создания лордом Кларендоном своего самого знаменитого труда «История мятежа и гражданских войн в Англии» и прослежена эволюция взглядов историков на это произведение.

*Ключевые слова:* Кларендон, гражданская война в Англии, роялизм, историография.

---

Эдуард Гайд, граф Кларендон, будучи одной из самых заметных фигур в бурной истории Англии XVII века, являлся, по выражению одного американского историка, «аутсайдером», то есть не был полной и гармоничной частью тех фракций, к которым принадлежал. Общаясь на протяжении жизни в основном с аристократами, он по рождению аристократом не был, хотя родился в благородной, состоятельной, обладавшей высокими связями дворянской семье в графстве Уилтшир. Если вспомнить хорошо известную антитезу британского историка Х. Тревор-Ропера о «дворе» и «стране» в стюартовской Англии, то можно сказать: он был в каком-то смысле представителем «страны» в высоких кругах, и сам говорил, что «хороший государственный деятель и придворный должен черпать свои принципы и мудрость из знания и понимания страны». Гайд занялся изучением права — стезя, привлекавшая многих людей его положения. Его интеллектуальное становление связано с участием в кружке молодых людей, который собирался в имении Грейт Тью, принадлежавшем Люсию Кэри, лорду Фолкленду. Гайд был не единственным из них, кто оказался вовлеченным в политику и гражданскую войну, но только он вошел в политику не по наивности и в эмоциональном порыве, а с осознанием необходимости компромисса, придерживаясь сформулированного в иные времена принципа «политика — это искусство возможного».

Накануне гражданской войны Гайд был противником королевского абсолютизма, но в 1642 году перешел на сторону короля, сочтя требования парламента чрезмерными. Конкретные мотивы этого перехода остаются загадкой — Кларендон в своем сочинении их не раскрыл. В общем виде, монархия была для него необходимой частью правильного баланса в управлении, и ее следовало защитить. Однако он был слишком последовательным конституционалистом, чтобы чувствовать

себя в лагере короля Карла комфортно. Карл разделял его религиозные идеи и приветствовал последовательную приверженность англиканству, но не мог принять его возражений против чрезмерного усиления монархии. Умеренная позиция Гайда в королевском совете вызывала недовольство со стороны католиков, шотландцев, ирландцев, Генриетты-Марии, эмигрантов. По словам его друга сэра Эдварда Николаса, «он обладал везением быть одинаково нелюбимым теми, кто не соглашался между собой ни в чем другом». Уже в 1645 г. Карл, тяготившийся Гайдом, был рад отослать его ко двору старшего сына принца Чарльза.

Триумф Гайда-политика пришелся на 1660 год, когда он был главным со стороны роялистов «переговорщиком» по вопросу о восстановлении стюартовской монархии. По словам американского историка Браунли, «английская история могла пойти совершенно другим путем, если бы с середины 1650-х гг., а особенно в 1660 г. главным советником Карла II был другой человек. Как ведущий переговорщик со стороны роялистов он обеспечил то, что Англия осталась монархией. В то же время его условия признавали права и участие парламента в управлении. Кроме того, он восстановил первенство закона, серьезно подорванное во время событий 1640–1660 гг. После Реставрации его настойчивость в том, чтобы, в целом, амнистировать за действия, совершенные в прошлом, заложила твердую основу долгого процесса выздоровления и объединения нации»<sup>1</sup>. Знаменитый английский писатель XVIII века Горас Уолпол назвал Кларендона «канцлером с человеческой душой». Однако его триумф был недолгим, вместо ожидаемой стабильности и процветания началась борьба фракций. Карл II, как раньше его отец, тяготился Кларендоном, считавшим, что политика и мораль неотделимы. Еще в эмиграции Гайд осуждал неправильное поведение Карла и ряда его приближенных, а после Реставрации беспрестанно ворчал по поводу пренебрежения государственными делами во имя удовольствий. В условиях острой политической и фракционной борьбы в годы Реставрации найти повод для обвинений было не сложно. Враждебная Кларендону группировка во главе с Арлингтоном возлагала на канцлера, кроме прочего, ответственность за поражения в войне с Голландией. Королю нашептывали, что он причастен к организации брака своей дочери Анны с наследником престола Джеймсом, герцогом Йоркским (будущим королем Яковом II). В 1667 г. после обвинений со стороны палаты общин и под угрозой суда отправленный в отставку Кларендон покинул Англию, и через несколько лет, в 1674 г., скончался во Франции. Историк Браунли заметил: «Как еще до Гайда

---

<sup>1</sup> Brownley. 1985. P. 106.

ощутили Бэкон и Страффорд, семейство Стюартов отличалось отсутствием способности ценить своих лучших советников»<sup>2</sup>.

Перипетии жизни Кларендона, его позиция, зачастую расходившаяся с мнением тех, кто его окружал, в том числе, его патронов, то обстоятельство, что он, по словам Браунли, «оставался интеллектуалом среди адвокатов и адвокатом и политиком среди интеллектуалов», имеют ключевое значение для понимания его как историка. К сожалению, особенности его биографии зачастую недооценивались исследователями, что приводило к односторонним и подчас несправедливым оценкам. Даже такой компетентный историк, как Н.А. Ерофеев, видел в нем исключительно представителя «крайне правого, монархического лагеря», сформулировавшего «крайне примитивную ультрареакционную концепцию», которая «весьма несложна» и сводится к тому, чтобы «вычеркнуть само понятие революции из истории Англии», вкупе со стремлением оправдать собственную политическую деятельность<sup>3</sup>. Даже принимая во внимание, когда это было написано, характер публикации и тот очевидный факт, что апология революций являлась основополагающей идеей советской историографии, все же удивляешься тому, как расставлены акценты. Впрочем, и в Англии к «Истории мятежа» Кларендона в течение длительного времени преобладало скептическое отношение.

Общепризнано, что «История мятежа» – выдающееся историческое сочинение. Немало тех, кто оказался вовлеченными в события гражданских войн и междуцарствия, оставили мемуары. Но и в этом отношении Кларендон оказался в особом положении. На его сочинение сегодня смотрят не столько как на мемуары, сколько как работу историческую, потому что он сумел в какой-то степени дистанцироваться от событий, посмотреть на них, конечно, не беспристрастно, но с долей стремления к объективности. В этом отношении обстоятельства его жизни и карьеры, положение «аутсайдера», сыграли свою роль.

Кларендон писал свой труд во время двух изгнаний, между которыми прошло двадцать лет. Он приступил к его написанию 18 марта 1646 г. На островах Скайли и Джерси в 1646–48 гг. он написал целиком первые семь книг (на самом деле их было шесть, и впоследствии, чтобы избежать пропуска в нумерации, автор разделил первую книгу на две). Они охватывают период от воцарения Карла I в 1625 г. до зимней кампании 1643/44 г. На Джерси он приступил к написанию восьмой книги. С самого начала Гайд воспринимал будущее произведение не как авто-

---

<sup>2</sup> Ibid. P. 81.

<sup>3</sup> Историография нового времени стран Европы и Америки. С. 33–34.

биографию, а как описание событий, поэтому пытался получить материалы от других лиц. Недосток таких материалов заставлял его в большей степени, чем он хотел, опираться на собственную память. Присоединившись к Чарльзу, покинувшему английские владения в 1648 г., Кларендон приостановил работу над книгой, возможно, чувствуя недостаток первичной информации.

Оказавшись во Франции во втором изгнании в 1667 г., Кларендон не имел при себе первоначального текста. В преклонном возрасте, лишенный средств, страдающий от подагры, он пишет в течение 1668–1670 гг. «Историю жизни Эдуарда, лорда Кларендона, от рождения до реставрации королевской семьи в 1660 году», т.е. автобиографию. Она предназначалась не для публикации, а только для членов его семьи, с которой он до самой смерти надеялся воссоединиться. Только в 1671 г. его сын Лоуренс (позднее граф Рочестер) получил от Карла II разрешение посетить отца, он и привез ему рукопись первоначальной «Истории», а также записки Уолкера, часть переписки Карла I и некоторые другие материалы. После этого Кларендон смог вернуться к первоначальной идее написания «Истории»; он соединил разделы, написанные на острове Джерси, с разделами «Истории жизни», добавил новые разделы с главным намерением – отойти от личной перспективы в изложении. В 1672 г. окончательный текст «Истории мятежа», состоящий из шестнадцати книг, был завершен.

Глубокое исследование структуры и принципов построения «Истории мятежа», не утратившее своего значения до настоящего времени, было осуществлено в начале XX в. Чарльзом Фиртом, хотя его интерпретация концепции Кларендона не всем представляется убедительной. Вкратце, Фирт утверждал, что окончательный вариант «Истории мятежа» был составлен Кларендоном следующим образом. Книги первая и вторая в основном взяты из автобиографии. В первой только 31 секция из 213 взята из первоначальной «Истории», во второй 48 из 130. Напротив, следующие книги в большей степени составлены на основе раннего текста: в третью книгу включено из автобиографии 82 параграфа из 271; в четвертую – 82 из 358; в пятую – 40 из 419; в шестую – 49 из 412; в седьмую – 67 из 416. Как правило, эти позднейшие вставки отражают события, не отмеченные в первоначальном тексте, но в двух случаях (шотландское восстание и Короткий парламент) в окончательном варианте оказались более полные разделы из автобиографии. Добавились также не менее 50 исторических портретов, которых не было прежде. Фирт полагал, что процесс компилирования был не всегда тщательным, он привел два примера противоречащих друг другу отрывков (о билле о милиции и о назначении Лансфорда комендантом Тауэра). Процесс



написания 8–16 книг проходил иначе. Чтобы дополнить автобиографию, Кларендону пришлось написать большое число отрывков разного объема, которые и были включены в окончательный вариант сочинения. В каждой последующей книге объем, количество и значение новейших вставок сокращалось по сравнению с тем, что было взято из «Истории жизни». По мнению Фирта, отрывки, взятые из автобиографии, «в высшей мере не заслуживают доверия».

Наиболее проверенным, академическим, до нашего времени остается издание книги Кларендона, осуществленное У. Данн Макреем в 1888 г. В его шесть томов вошли все 16 книг Кларендона. Составитель в течение четырех лет выверял предыдущее издание 1849 года по рукописи работы, хранящейся в Бодлеанской библиотеке, внося ряд уточнений и исправлений, о которых сообщил в предисловии. Были восстановлены выражения, откорректированные предыдущими редакторами, уточнено расположение параграфов, написание имен и географических пунктов, переработан индекс. Он также дал датировку описываемых событий, «когда это было возможно». Завершая предисловие, Макрей писал, что первая книга, которую он купил для себя, была «История мятежа»; через 50 лет ему «выпала удача сверяться с авторским манускриптом, испытывая от этого удовольствие, и представить публикацию этой книги в некоторых отношениях в более приемлемой форме». Фирт считал: с научными целями можно использовать только данное издание, но не предыдущие издания 1826 и 1849 гг. Издание Данн Макрея дважды переиздавалось репринтным способом в XX в.: в 1958 и 1969 гг. В первый том Макрей включил предисловия к первому трехтомному изданию (вышло в 1702–1704 гг.), написанные сыном автора лордом Рочестером. В них не только указывалось на высокие достоинства Кларендона, являвшегося верным советником Карла I и Карла II, и на достоинства его сочинения, в котором обосновывается важность гармоничных отношений между короной и народом, не только отмечалось «некоторое жестокосердие» монарха, изгнавшего из Англии человека, столь много сделавшего для устройства Реставрации. В них «История мятежа» актуализирована в историческом контексте начала XVIII века в связи с борьбой высокоцерковников и низкоцерковников и угрозой республиканизма, которую Рочестер считал реальной. Наиболее известная публикация отрывков из «Истории мятежа» и автобиографии осуществлена Г. Хунном в 1955 г. (переиздавалась в 1956, 1966 и 1968 гг.).

Цель данной статьи состоит в анализе оценок, которые давались «Истории мятежа» в историографии. Поскольку в рамках статьи невозможно сколько-нибудь полное рассмотрение самой книги, ограничимся,

в основном, обращением к тем ее местам, которые вызвали наибольшие споры историков: мотивы написания произведения, оценка политики «клики Пима», ход гражданской войны на юго-западе, причины Реставрации Стюартов. По-разному исследователи оценивали значимость историко-психологических портретов, созданных Кларендоном. Большая часть данной статьи – это «диалог» между Кларендоном и его главным оппонентом Чарльзом Фиртом, к которому затем «присоединяются» другие исследователи его творчества.

Несомненно, что историографические оценки претерпевали эволюцию. В историографии «Истории мятежа» выделяются два подхода, которые можно назвать «критическим» и «защитным». До утверждения позитивистского взгляда на историю как науку во второй половине XIX в. ее основное значение видели в нравственных уроках, которые дает знание прошлого. Поэтому неудивительно, что свидетельства Кларендона вызывали доверие, а наиболее привлекательной частью его работы считались написанные им исторические портреты многих деятелей эпохи революции. Например, один из представителей «моральной философии» начала XIX в. Уильям Бурдон утверждал, что Кларендон «превзошел всех историков в силе изображенных им характеров», и сопоставим в этом отношении только с Шекспиром<sup>4</sup>. В историографии XIX века утверждалось отношение к мемуарам как к источнику второстепенному, не заслуживающему полного доверия. Такое представление повлияло на отношение к «Истории мятежа», которая воспринималась как сочинение отчасти автобиографическое. Доминирующую роль в утверждении «критического» подхода сыграла упомянутая выше статья Чарльза Фирта. Почти через восемьдесят лет после ее появления английский историк Рональд Хаттон заметил, что «время не ослабило силы критики сэра Чарльза», утверждавшего: одни разделы «Истории мятежа» заслуживают намного меньшего доверия, чем другие<sup>5</sup>.

Фирт отмечал у Кларендона три мотива к написанию «Истории мятежа». Один заключался в сохранении памяти о гражданской войне, в том, чтобы снабдить будущих историков материалами. Другой мотив состоял в защите Карла I, в восстановлении его репутации. Фирт утверждал, что первоначально он совсем не был ведущим; только в 1671 г., в предисловии к девятой книге, автор представлял его таковым, возможно, в надежде на милость Карла II и разрешение вернуться к семье. Однако главной была *дидактическая* задача: потомки должны были

---

<sup>4</sup> Burdon. 1820. P. 92.

<sup>5</sup> Hutton. 1982. P. 70.

сделать выводы на основании анализа причин конфликта и не допустить прежних ошибок. Он заявил: «Гайд писал не просто, чтобы отметить политические ошибки прошлого, но чтобы предложить правильную политику в будущем»<sup>6</sup>. Кларендон рассматривал свое сочинение как урок королям и королевским советникам, как источник, позволяющий извлечь информацию об ошибках и получить своего рода инструкции для управления. С одной стороны, это позволяло Фирту рассматривать «Историю мятежа» не только как источник, но и как историческое сочинение. С другой стороны, это определило слабости сочинения Кларендона. Как историк-позитивист начала XX века Фирт считал, что стремление Гайда к научению следующих поколений вело к утрате объективности и снижению ценности его сочинения. Здесь уместно вспомнить критику современника Фирта французского историка Альфонса Олар в адрес Ипполита Тэна и других авторов, относимых им к «литературной школе»: «Лишь очень недавно во Франции образовалась группа писателей и профессоров, которые стараются заменить старую школу, называемую ими литературной, – школу, видевшую в истории Французской революции, прежде всего, удобный случай для назидательной проповеди или для интересного рассказа, школой, которая называется научной. Настаивая на тех фактах, которые очевидно и несомненно оказывали известное влияние, и оставляя в тени все остальные, мы желали выяснить объективно главнейшие стороны эволюции французского общества в тот период насильственных преобразований, который называется революцией»<sup>7</sup>. Хотя здесь речь идет о другой революции (и само это слово Гайдом не употреблялось), очевидно: Ч. Фирт критиковал его с тех же позиций, что и Олар своих оппонентов; он полагал, что названный и неоднократно подчеркнутый им *дидактический* подход Кларендона вредит объективности и непредвзятости.

Историки-позитивисты, казалось, искренне не замечали, что их «объективность» также служит прикрытием собственных интерпретаций, т.е. по существу тех же назиданий. Критика Фиртом Кларендона свидетельствует о его принадлежности к либерально-вигской историографии, к школе С. Гардинера, которого он обильно цитирует в своей статье; в вигской историографии выработался взгляд на сочинение Кларендона как на труд односторонний в консервативном отрицании революции. Так ли это?

---

<sup>6</sup> Firth. 1904. Part I. P. 44.

<sup>7</sup> Олар. 1902. Предисловие автора к русскому изданию.

Слово “posterity” – первое существительное в тексте книги: «Будущие поколения под влиянием торжествующего озлобления нашего времени могут не избежать мнения, что не менее чем общее соучастие и всеобщее отступничество нации от религии и верности, могло за столь короткое время привести к таким тотальным и чудовищным изменениям и смуте в целом королевстве. Память о добродетели тех немногих, кто, подвергаясь гонениям и упрекам, по обязанности и по чувству сопротивлялся ломающему течению, может быть утрачена; для их защиты может не оказаться лучшего времени, поэтому бесполезно (если не для осознания, то для любопытства) представить миру полное и ясное описание причин, обстоятельств и перипетий этого восстания»<sup>8</sup>. Кто эти люди, противостоявшие общему течению, память о которых требовалось сохранить? То ли речь идет о тех, кто стал под королевские штандарты, то ли об относительно узкой политической группировке, противостоявшей крайним радикалам из обоих лагерей, к которой Гайд себя причислял? Второе предположение кажется более подходящим, и оно никак не укладывается в представление о Кларендоне как защитнике реакции.

Основываясь на утверждении о *дидактической* направленности сочинения Кларендона, Фирт выдвигал в его адрес немало претензий, как в связи с интерпретацией конкретных событий, так и более общего и структурного свойства. Фирт утверждал: в описании многих событий и лиц Гайд руководствовался стремлением защитить себя, подтвердить правоту собственных действий. Фирт полагал, что односторонность и необъективность Гайда более всего проявилась в описании им двух первых сессий Долгого парламента. Автор «Истории» действительно полагал, что вина за то, какой ход приобрели события, лежала на фракции (им чаще всего используется слово *faction*, клика), главную роль в которой играли Пим и Гемпден. Люди, которые полгода назад (то есть в Коротком парламенте) проявляли умеренность и предлагали мягкие способы лечения, чтобы «не бередить раны глубоко», с первых же дней Долгого парламента заняли диаметрально иную позицию. Пим, по словам Гайда, говорил ему, что «теперь недостаточно прибрать пол в доме, а надо сбить паутину вверху и в углах, чтобы не оставить в нем никакой грязи». Первым объектом атак этих людей стал человек, который когда-то был защитником и поборником свобод народа, но уже давно «предал эти принципы и по природе отступничества стал великим врагом этих свобод и главным поборником тирании, каких только видели времена»<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Clarendon. V. I. P. 1.

<sup>9</sup> Ibid. P. 222–223.

Речь шла, конечно, о Страффорде. Считая лидером этой группировки Пима, «склонного к пуританской партии», Гайд указывал и на лорда Сэя, человека с замкнутым характером, способного и амбициозного, много лет «являвшегося оракулом для тех, кого называли пуританами в худшем смысле слова», отъявленного врага англиканской церкви<sup>10</sup>. Гемпден обладал особой способностью убеждать: он никогда не начинал дискуссии и не был многословен, но выступал, только выслушав других, и коротко и точно формулировал свой аргумент. Если он чувствовал, что его позиция не будет принята, то предпочитал перенести дискуссию на другое время<sup>11</sup>. Хотя Гемпден был вождем враждебной Гаиду партии в палате общин, он признавал в нем благородство, авторитет, завоеванный еще в борьбе против корабельных денег. Известный сначала приверженностью к богатой жизни и удовольствиям, он обратился «к чрезвычайной умеренности и строгости». Здесь видна характерная черта исторических портретов Гауда: он почти всегда стремился к взвешенным и сбалансированным оценкам. К герцогу Бедфорду у Гауда было более мягкое отношение: он полагал, что если бы не безвременная смерть герцога, казнь Страффорда могла быть предотвращена в случае предоставления ему и его сподвижникам постов в королевской администрации. Хотя Гайд об этом не сообщает, некоторые историки утверждали, что он мог быть одним из голосовавших за осуждение Страффорда, но позднее искал пути сохранения ему жизни.

Главным инструментом клики Пима было манипулирование чувствами и страхами парламентариев: «В палате общин было много мудрых и уравновешенных людей, богатых и состоятельных, хотя и недостаточно преданных Двору, но обладавших чувством долга к королю и привязанностью к правительству, основанному на законе и древнем обычае. Несомненно, что основная часть этих людей не помышляла нарушить мир в королевстве или внести существенные перемены в управление церковью и государством. Следовательно, в начале всего была работа с этими людьми, направленная на то, чтобы разложить их сообщениями об опасностях для всех, дорожащих свободой и собственностью, о попрании и извращении законов, утверждении абсолютной власти, благоволении папизму в ущерб протестантской вере. Одним внушали эти чудовищные идеи, других пугали, будто их прежние поступки вызывают вопросы, а защиту дадут только они, у третьих будили надежду, что сотрудничество с ними даст должности и звания и любого

---

<sup>10</sup> Ibid. P. 241.

<sup>11</sup> Ibid. P. 245.

рода поддержку в продвижении»<sup>12</sup>. Ниже Кларендон не раз возвращался к изображению негодных методов клики: «Они пользовались всеми способами, чтобы отравить сердца и чувства людей, подавить всех тех, кому, как им казалось, не нравились их действия. К тому же в наиболее населенные города и приходы были направлены священники и проповедники, известные ненавистью к церкви и государству»<sup>13</sup>. Страхи, возбуждаемые кликой Пима, были, как считал Гайд, бесосновательными: например, Карл I, «в самом деле, желая, чтобы парламенты собирались чаще, без колебаний подписал Акт о трехгодичном парламенте», хотя в нем содержались положения, ущемлявшие монархические принципы<sup>14</sup>. Армейский заговор, облегчивший парламенту суд над «несчастливым» Страффордом и создавший атмосферу подозрительности, Гайд считал плодом воображения клики и частью ее пропаганды. Чтобы ускорить вынесение обвинительного приговора королевскому министру в палате лордов, в «качестве лучшего аргумента» были вывешены бумаги с именами коммонеров, не поддержавших билль, на которых было написано «стратффордианцы, или враги своей страны». Продолжавшиеся в начале мая 1641 года в течение нескольких дней беспорядки в столице, «акты наглости и бунтовства», заставившие одних пэров не участвовать в заседаниях, а других изменить мнение в угоду толпе и палате общин, тоже произошли, по Гаиду, благодаря партии Пима. Характеризуя ситуацию, сложившуюся весной 1641 года, Гайд говорил о «превалировании клики в обеих палатах», «неистовстве и ярости народа», проповедях «схизматических священников с их алтарей», «страхах и ревности, внедренных в головы здравомыслящих людей разговорами о бывшем заговоре», о том, что «ни один честный человек не решался говорить о сочувствии королю из страха быть уничтоженным». «Безумное неистовство» народа заставляло опасаться, что «нечестивые руки» протянутся к королю, его супруге («что имело для него гораздо большее значение»), а уверенности в надежности армии не было<sup>15</sup>.

Гайд, как правило, не выдвигавший в повествовании себя на первый план, в этом случае подчеркнул свою роль в противодействии принятию «Великой Ремонстрации», которая была принята, вопреки ожиданиям, например, Кромвеля, с минимальным перевесом в одиннадцать голосов. Это привело к тому, что клика «возненавидела мистера Гаюда

---

<sup>12</sup> Ibid. P. 244.

<sup>13</sup> Ibid. P. 591.

<sup>14</sup> Ibid. P. 279.

<sup>15</sup> Ibid. P. 340.

больше всех» и хотела от него избавиться<sup>16</sup>. Так называемая «королевская партия» в парламенте, утверждал Гайд, не была связана с двором, в нее входили состоятельные люди, пользовавшиеся авторитетом в своих графствах, известные своим рвением в отстаивании законных прав и всегда противостоявшие незаконным требованиям. Принятие Ремонстрации поставило их перед выбором: замолчать, покинуть страну или оказаться под угрозой суда и Тауэра<sup>17</sup>. По сути, в этих словах кроется объяснение перехода Гайда на сторону короля. К мысли о том, что к манипулированию и угрозам со стороны Хунты (так еще называли фракцию Пима современники) добавлялось отсутствие гражданской стойкости членов парламента, как коммонеров, так и лордов, понимавших провокационный характер ее требований, Кларендон возвращался не один раз. Он «не мог найти оправдания» тем, кто с самого начала деятельности Долгого парламента «по лености, пренебрежению, непостоянству или усталости воздерживался от посещения заседаний, когда число тех, кто действительно намеревался произвести эти чудовищные перемены, было очень невелико». Автор не мог оправдать пэров, умеренная часть которых составляла в палате пропорцию 4:1, поскольку они «позволили себя надуть, убедить, испугать ничтожной группе людей, которую поначалу могли легко сокрушить»<sup>18</sup>.

Считая все эти утверждения Кларендона предвзятыми, Фирт объяснял их стремлением защитить действия маленькой партии «конституционных роялистов», лидером которой он был, партии, перешедшей на сторону короля: «Чтобы объяснить это, ему потребовалось показать, что не король, а Долгий парламент намеревался отбросить старую конституцию, и этот тезис лежит в основе презентации им фактов»<sup>19</sup>. Гайд обвинил лидеров парламента, Хунту, в организации заговора и подстрекательстве толпы. Фирт отмечал, что в этом тезисе не было ничего нового, поскольку он был в основе написанной Гайдом декларации о созыве королем парламента в Оксфорде (анти-парламента, как назвал его Фирт). Фирт не удержался от того, чтобы дать собственную интерпретацию событий, вполне совпадающую с уже утвердившейся либерально-вигской концепцией: «Какова степень правды в такой репрезентации фактов? Был ли разрыв между королем и народом просто результатом махинаций нескольких амбициозных людей? Напротив, есть всеобъем-

---

<sup>16</sup> Ibid. P. 421.

<sup>17</sup> Ibid. P. 442–443.

<sup>18</sup> *Clarendon*. V. II. P. 192.

<sup>19</sup> *Firth*. 1904. P. 35.

лющие свидетельства глубины и реальности чувств, которые Гайд хотел приписать манипуляциям парламентских лидеров. «Страхи и подозрительность», которые он считал беспочвенными, базировались на очень солидном фундаменте фактов. Двуличие короля и его повторявшиеся попытки применить силу сделали доверие невозможным, вынуждали палату общин постоянно требовать новых уступок и большей безопасности, привели общество в лихорадочное состояние»<sup>20</sup>. Пристрастность и односторонность Гаида проявилась в стремлении если не умолчать полностью, то минимизировать значение эпизодов, подтверждавших опасный и антиконституционный характер политики короля. Это касалось, например, армейского заговора, споров о коменданте Тауэра и, конечно, попытки арестовать пять членов парламента.

Другая очевидная для Фирта слабость Гаида проявилась при описании военных событий, поскольку сам он в них не участвовал и плохо их понимал. Чтобы получить нужные данные, он обращался к ряду роялистов с просьбой снабдить его меморандумами, но эти обращения редко встречали отклик. В результате «многие события гражданской войны рассмотрены им в поверхностной и небрежной манере»<sup>21</sup>. Исключение составляет лишь ход войны на западе Англии – в этом отношении он располагал нужными документами. По мнению Фирта, само по себе стремление получить свидетельства от других лиц говорит о том, что Гайд воспринимал свой труд именно как историю, а не как мемуары, однако это отнюдь не гарантировало достоверности. Так, он возлагал вину за неудачи на западе в 1645 – начале 1646 г. на лорда Джорджа Горинга (младшего) и сэра Ричарда Гренвилла, игнорируя то, что эти два командира сообщали о сложностях своего положения, рассчитывая на помощь со стороны двора.

Действительно, на многих страницах сочинения Гаида Горинг и Гренвилл удостоивались нелицеприятных оценок. Горинг предстает как отрицательный персонаж. Неудачу в осаде Таунтона автор объяснял бездеятельностью Горинга, его «природной наблюдательностью» (в этих словах видна ирония), его амбициями и стремлением получить командование войсками на западе в собственные руки. Отступление Горинга от Бриджуотера стало настоящим поражением: клобмены и местный народ буквально атаковали войско, нападая на отставших и уставших солдат. Страх и недовольство среди его людей были так велики, что половина его

---

<sup>20</sup> Ibid. P. 37. Обратим внимание на характерное для историков-позитивистов использование понятия «факт».

<sup>21</sup> Ibid. P. 46.



армии была не готова сражаться<sup>22</sup>. В начале октября 1645 года, получив деньги в Девоне от местных властей, Горинг не смог обеспечить солдат и предотвратить акты мародерства и бесчинства. В Корнуолле появление войск Горинга и его действия вызвали такие протесты, что колокольный звон призывал жителей к восстанию и изгнанию их; «такими неслыханными и нежелательными способами страна вовлекалась в ненависть к Горингу и его солдатам, жители готовы были присоединиться к восставшим, они отчуждались от духа сопротивления врагу»<sup>23</sup>. Кларендон ссылался на мнение тех, кто полагал, что вступи Горинг «в дружбу с врагом, предай он запад, это не привело бы к худшим последствиям, чем отсутствие у него интереса к прямым действиям, которые были ему по силам. Они лучше оценивали его ум, храбрость и поведение, чем совесть и честность; в последнем они и видели причины неудач»<sup>24</sup>.

Анализируя во второй части статьи автобиографию, которую Гайд писал во время второго изгнания, Фирт в качестве исходного пункта принимал то, что она составлялась исключительно для членов семьи, а не для широкого круга, поэтому автор считал себя более свободным в высказывании критики в отношении каких-то лиц. Свою роль могли играть и обиды Кларендона. Так, в описании характера Карла I он отмечал, что тот не обладал «чертами и качествами, которые делают некоторых королей великими и счастливыми». Неуверенность короля в себе вела к тому, что он принимал советы людей, которые были куда менее проницательны в делах, чем он сам. Одним из таких дурных советников Кларендон считал лорда Дигби, крайнего роялиста, который стал государственным секретарем после гибели лорда Фолкленда в 1643 г. и оставался главным советником короля в последующие годы первой гражданской войны. Гайд ценил чувства Карла к королеве, но полагал, что тот излишне доверял ей и слишком прислушивался к ее мнению. Например, под ее давлением король отправил в отставку лорда Эссекса. После этого Эссекс счел себя свободным от обязательств, перешел на сторону враждебной партии и фактически создал парламентскую армию: «У тех, кто знаком с обстоятельствами и настроением того времени мало сомнения в том, что две палаты парламента не смогли бы собрать армию, если бы граф Эссекс не согласился стать ее командующим»<sup>25</sup>. Такого же рода ошибкой было необоснованное доверие Карла к своим племянникам Руперту и Морису.

---

<sup>22</sup> *Clarendon*. V. IV. P. 62.

<sup>23</sup> *Ibid.* P. 105.

<sup>24</sup> *Ibid.* P. 101.

<sup>25</sup> *Clarendon*. V. II. P. 16.

Рассмотрим два портрета, созданных Кларендоном: Карла I – ниже – Кромвеля, главных героев смуты, фигуры которых олицетворяют обе стороны конфликта. Казалось бы, принадлежность Кларендона к роялистскому лагерю предопределяла его позицию. Однако по этим портретам видно, что автор стремился быть честным; его задача не заключалась в том, чтобы написать икону или карикатуру, а создать образ человека, каким он его представлял, со свойственными ему сильными и слабыми сторонами. Тем не менее, в литературе высказывалось мнение, что портрет короля, возможно, относится к числу самых формальных, ибо в нем черты личности не выглядят индивидуально. У Кларендона он – «честный человек», «поборник справедливости», именно чувство справедливости заставляло его поступать так, как он поступал; «от природы нежный и сочувствующий», чуждый жестокосердию, «пунктуальный в привычках и постоянный в убеждениях», бесстрашный, но не очень предприимчивый, нетерпимый к распутству и попойкам. Нежелание действовать жестко, даже в «делах кровавых», вытекало из склонности к милосердию и мягкости натуры; часто вопреки даже обоснованным советам он выбирал самый мягкий способ действия. Так, он не воспользовался возможностью жестоко подавить недовольство в Шотландии во время первого похода. Кажется, что «неумеренную любовь» к шотландцам Кларендон, относившийся к этой нации с подозрением, ставил королю в вину. «Так много удивительных обстоятельств способствовали его падению, что можно подумать, будто небеса, земля и звезды предопределили его», – замечал историк. Однако причина падения крылась в том, что верными ему остались лишь немногие, большинство слуг предало его, многие из них от страха перед теми, кто захватил власть в парламенте. Кларендон завершал характеристику Карла I так: «Он был достойнейшим джентльменом, лучшим хозяином, лучшим другом, лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим христианином из всех людей его времени. И даже если он не был лучшим королем, если ему не хватало каких-то качеств, делающих некоторых королей великими, ни один другой правитель не был бы несчастен, если бы он обладал хотя бы половиной его добродетелей и достоинств, и таким же отсутствием пороков»<sup>26</sup>. Несмотря на долю критики, образ Карла привлекает, а не отталкивает. Любопытно, что историки ревизионистского направления в современной историографии, во многих случаях «прислушивавшиеся» к мнению Кларендона, отношение к Карлу не разделяли. К. Рассел понимал характер короля иначе: его Карл упрям, он обладал «туннельным зрением», т.е. не был способен посмотреть на про-

---

<sup>26</sup> *Clarendon. Selections.* P. 309–319.

блему с разных точек зрения. Фактор характера Карла историка ревизионистского направления (за единичными исключениями) считали значимым в возникновении гражданской войны<sup>27</sup>.

Подчеркивая значение исторических портретов, созданных Кларендоном, и их привлекательность для современников, Фирт высказал мысль о том, что энтузиазм историка в этом отношении не просто вытекал из особенностей его литературного таланта, но отражал понимание им причин революции и последующего хода событий: «Не прослеживая, какие общего рода причины привели к восстанию, отвергая потребность глубже посмотреть на его истоки, он часто переоценивал влияние личностей и личных причин»<sup>28</sup>. Позиция Фирта отражает сложившуюся в либеральной историографии концепцию Английской революции, частью которой являлось представление о долговременном (по крайней мере, от воцарения Стюартов в Англии) характере ее предпосылок. Во время написания автобиографии желание автора создавать портреты участников событий было большим, чем в период работы над первоначальным текстом. Тем не менее, Фирт полагал, что автобиография заслуживает меньшего доверия по той причине, что во Франции Кларендон был уже не молод, память могла его подводить, а достоверных источников под рукой у него не было. Иначе судил о психологических портретах Кларендона М. Браунли, который отмечал, что тот отдавал абсолютный приоритет не описанию внешности, а характеристике внутренних качеств, и сумел найти возможность для включения портретов в текст таким образом, что они выглядят его важной и естественной частью. По утверждению Браунли, до Кларендона такое умение проявил только Тацит, у иных авторов, например, Светония, история превращалась в биографию. Ф. Бэкон поместил портрет Генриха VII в конце своего труда, вовсе «вырвав» его из повествования.

Как Кларендон оценивал Кромвеля? Если портрет Карла I – это портрет во всех отношениях достойного человека, но неудачливого короля, то портрет Кромвеля – это портрет человека злонамеренного, но обладавшего сильным духом. Кларендон писал: «Несомненно, не было человека более злого или способного достигать своей цели низкими средствами, с презрением к религии и морали. Однако его злонамеренность, сколь велика она ни была, не достигла бы цели, без его сильного духа, удачных обстоятельств, проницательности и удивительной решительности»<sup>29</sup>. Гайд не скрывал удивления, что Кромвель, сначала ни

---

<sup>27</sup> См.: Соколов, 2005.

<sup>28</sup> Firth. 1904. Part II. P. 253.

<sup>29</sup> Clarendon. V. VI. P. 92.

в малейшей степени не обладавший ни величием, ни умением вести разговор, никаким из талантов, привлекающих сторонников, вырос и, достигнув власти, продемонстрировал качества великого человека. Казалось, что он маскировал эти качества до того времени, пока не достиг своего поста. Кромвель сохранял приверженность закону, кроме тех случаев, когда это могло создать угрозу его власти; он предпочитал не вмешиваться в отношения между партиями. Гайд удивлялся тому, что он сумел добиться послушания «трех народов, которые сильно его ненавидели, сумел держать их в страхе и управлять ими при помощи армии, которая не была ему предана и хотела его падения. Но его величие дома было только тенью славы, которой он обладал за границей»<sup>30</sup>. Характерно, что Кларендон не считал Кромвеля кровожадным человеком; он «целиком отвергал метод Макиавелли, предписывавший как вещь абсолютно необходимую при перемене правительства отрубить головы тех, кто были друзьями прежнего режима, и истребить их семьи». Гайд обладал точной информацией: совет офицеров не раз выступал за массовое убийство лиц королевской партии как необходимое средство для обеспечения безопасности новой власти, но Кромвель никогда с этим не соглашался, возможно, добавлял историк, из-за «слишком большого презрения к своим врагам». Гайд завершал характеристику Кромвеля следующими словами: «Итак, он обладал всеми теми низкими качествами, которые можно проклинать, и за которые уготовано гореть в аду, он же обладал и некоторыми достоинствами, ценящимися во все времена и остающимся в памяти. Будущие поколения увидят в нем храброго плохого человека»<sup>31</sup>. Согласимся: такое описание Кромвеля, олицетворяющего враждебную Кларендону Англию, можно в зависимости от симпатий или антипатий считать правдивым или далеким от правды, но назвать его односторонним вряд ли справедливо.

Оба портрета, Карла I и Кромвеля, возможно, не самые яркие в галерее кларендоновских портретов. Кромвеля Гайд близко не знал, да и знакомство их относилось к короткому начальному этапу деятельности Долгого парламента. О Карле он не смог бы писать критичнее, чем он сделал, даже если бы хотел, не только из прагматических целей, но и по этическим соображениям. Как бы то ни было, оба портрета отражают стремление Кларендона писать по справедливости.

В третьей части статьи Фирт прослеживал, как Кларендон завершил свой труд после получения текста первоначальной «Истории мятежа».

---

<sup>30</sup> Ibid. P. 94.

<sup>31</sup> Ibid. P. 97.

Как отмечал Браунли, для Фирта соединение Кларендоном двух текстов стало настоящим «литературным преступлением». Фирт полагал, что разделы, посвященные годам эмиграции, большой ценности не представляют, особенно в части, относящейся к ситуации в Англии в годы протектората. У Кларендона не было источников, чтобы судить об этом, хотя тексты выступлений Кромвеля в парламенте, очевидно, были у него под рукой. Исключением, достоверной частью завершающих томов Фирт считал только описание вест-индской политики. Однако в последней книге «повествование становится более сильным и живым».

Касаясь обстоятельств Реставрации, Кларендон вообще не указывал на свою роль в ее организации. По мнению Фирта, он гораздо меньше других современников склонен отмечать и роль генерала Монка: «Не приписывая себе ничего, он приписывает Монку меньше, чем другие историки»<sup>32</sup>. В объяснении Реставрации Кларендон становился на позиции провиденциализма, считая это событие знаком, которым «Бог вряд ли удостаивал какой-то другой народ с тех пор, как он вывел свой избранный народ через Красное море». Фирт усматривал в таком взгляде на Реставрацию противоречие с оценкой причин революции, данной Кларендоном. «В изложении причин революции он преувеличивал значение личностных влияний, он слишком многое объяснял индивидуальными чертами отдельных людей: гордостью одних, угрюмостью других, амбициями третьих – будто разные атомы собрались вместе, чтобы вызвать массовые беспорядки. В рассказе о Реставрации его точка зрения поменялась. Теперь у него течение дел не определяют поступки людей. Любой индивидуальный актер, даже если ему кажется, что он направляет ход событий, в действительности – их порождение», – так Фирт характеризовал противоречия во взглядах Кларендона.

Объяснение Реставрации в контексте действительного или кажущегося противоречия в понимании роли личностей и божественного провидения определило одну из линий разногласий между историками. Кажется, что Кларендон сам удивлен той быстротой, с которой Реставрация свершилась. Еще в середине марта 1660 г. король «мог только воображать, но не ожидать, что поход генерала Монка с армией на Лондон произведет некоторые перемены, которые могут оказаться для него полезными»<sup>33</sup>. Роялистам сначала не очень верилось в сообщение о том, что в Лондоне жгли фейерверки, пили за здоровье короля, открыто говорили о его возвращении. 1 мая были оглашены письма Карла парламенту и

---

<sup>32</sup> *Firth*. 1904. Part III. P. 482.

<sup>33</sup> *Clarendon*. V. VI. P. 177.

Монку, а также Бредская декларация, и то, «как они были приняты, превосходило все ожидания и надежды. Все, что последовало потом, развивалось с той же скоростью»<sup>34</sup>. Карл II высадился в Дувре 26 мая, провел день в Кентербери, затем в Рочестере, а 29 мая въехал в Лондон, и везде, от самого Дувра, людей было так много, что казалось: «встречать его собралось все королевство». «Ликование было таким невообразимым и всеобщим, – писал Кларендон, – что Его Величество сказал кому-то рядом, улыбаясь, что засомневался, не по его ли собственной вине он отсутствовал так долго». Далее следовал завершающий абзац сочинения, который, собственно и вызвал споры историков: «Таким замечательным образом и с такой удивительной быстротой в течение одного месяца (1 мая письмо было зачитано в парламенте, а 29 мая Его Величество был уже в Уайтхолле) Бог положил конец восстанию, которое бушевало почти двадцать лет со всеми ужасами отцеубийства, убийств и разорений. Огнем и мечом самые низкие люди в мире удерживали власть, опустошив два королевства, и почти стерев и изуродовав третье. И все же милостивая рука Господа за один месяц перевязала раны и даже сделала шрамы невидимыми, насколько возможно, учитывая их глубину. Если же кому-то потребуются другие славные доказательства этого благоволения, то потомство должно знать, что вскоре, с разницей в три или четыре месяца, умерли два фаворита двух корон, кардинал Мазарини и дон Луис де Гаро, с удивлением, если не со страданием от неожиданных наших благоприятных обстоятельств. Кажется, что всемогущий Бог устранил тот вред, который они могли принести Европе, соединившись, своими махинациями»<sup>35</sup>.

Историк Р. Мак Гилливри полагал, что в противопоставлении понимания Кларендоном причин гражданской войны и Реставрации Фирт был не прав. Он предполагал, что в обоих случаях идея божественного вмешательства присутствовала в интерпретации Кларендона, только в начале восстания оно осуществлялось медленно, посредством, казалось бы, обычного действия причинности в обществе. В момент Реставрации это вмешательство произошло быстро, и «вторичные причины» оказались полностью и самым драматическим образом подчинены «божественной руке»<sup>36</sup>. Рассматривая труд Кларендона в сравнении с сочинениями других современников о гражданской войне, Мак Гилливри ставил вопрос: в какой мере его можно считать оригинальным в своих подходах? Он полагал, что говорить об оригинальности Кларендона

---

<sup>34</sup> Ibid. P. 216.

<sup>35</sup> Ibid. P. 234.

<sup>36</sup> MacGillivray. P. 221.

сложно, поскольку судить можно только по сохранившимся письменным источникам, так как устная традиция утрачена. Нам не дано знать о характере обыденных представлений об эпохе гражданских войн и междоусобиц, какие ходили слухи, сплетни, какие разговоры велись. Мнение историка состоит в том, что читатели, ознакомившиеся с первым изданием труда Кларендона, вряд ли узнали из него много нового, вряд ли увидели новизну в его интерпретации событий. В то же время и они наверняка признавали, что ему удалось высветить многие вещи, которые у других авторов оставались в тени. Мак Гилливри полагал, что Кларендон «жадно подхватил существовавшие идеи, но как мыслитель он был традиционен и даже банален; при всей широте интересов и бесподобной способности к синтезу, он не был оригинальнее любого другого отставного государственного деятеля, принявшегося писать мемуары в появившееся у него свободное время»<sup>37</sup>. Правда, историк тут же оговаривался, что он, возможно, ошибается, и в любом случае его слова не подрывают «высокого статуса» Кларендона. Будь тот оригинальнее, не стал бы, может быть, так знаменит в качестве великого историка.

Так же критичен к Кларендону английский историк Р. Хаттон. Признавая силу критики Фирта, он утверждал, что новые историографические данные об Английской революции позволяют ее усилить. Хаттон сосредоточил свою критику на тех страницах «Истории мятежа», которые прежде использовались историками для подтверждения тезиса о социальном характере конфликта, о социальном разделении общества в период гражданской войны<sup>38</sup>. Он акцентировал внимание на трех описанных Кларендоном эпизодах: неудача маркиза Хертфорда в начале войны поднять на сторону короля графство Сомерсет; инцидент в Колфорде в феврале 1643 г., когда роялистский отряд под командованием лорда Херберта подвергся нападению «сброда», остановившего его продвижение, тогда как на деле это оказался отряд парламентской армии; нападение принца Руперта на Бирмингем месяцем позднее, в ходе которого погиб граф Денби (Denbigh). В последнем случае Кларендон заметил, что в сражениях роялисты теряли людей «высокого достоинства», тогда как парламентарии – простолудинов. В принципе, в «Истории мятежа» есть места, которые можно интерпретировать как свидетельства того, что автор не игнорировал социального характера противоречий, и

---

<sup>37</sup> Ibid. P. 224.

<sup>38</sup> Замечу попутно, что с таких же позиций сочинение Кларендона критиковал и представитель современной ревизионистской историографии Дж. Моррил, отвергавший тезис о классовом конфликте в эпоху гражданской войны.

смотрел на действия низов как на проявление ненависти к представителям дворянства. Например, он рассказывал, как в августе 1642 года простой народ («несомненно, по совету своих наставников») неожиданно напал на дом сэра Джона Лукаса, «одного из лучших джентльменов графства Эссекс, известного своей приверженностью королю». Под предлогом, что он отправляется к королю, у него разграбили дом, захватили коней, а сам он не был убит только благодаря заступничеству мэра Колчестера, и отправлен в тюрьму. Тогда «такой же сброд» ворвался в дом графини Риверс под предлогом, что она была католичкой, дом подвергся разграблению, самой ей с трудом удалось скрыться. Нанесенный ущерб составил сорок тысяч фунтов, и не был компенсирован парламентом<sup>39</sup>. Попутно стоит заметить: автору «Истории мятежа» присущи негативное отношение к «толпе» и полное отсутствие интереса к аспектам социальной истории, отражавшим положение низов, и помощи бедным. Историк Дж. Моррил полагал, что примеры Кларендона не показательны; такого рода события были скорее исключением. Что касается Лукаса, то в этом случае, как и в ряде других, в основе преследования лежала не его приверженность делу короля, а противоречия с местным сообществом по поводу огораживаний<sup>40</sup>.

Хаттон также интерпретирует такого рода эпизоды как намеренное искажение Кларендоном свидетельств источников для создания впечатления, что естественной опорой парламентариев были средние и низшие сословия. Мотивы Кларендона становятся понятны читателям, когда он приступает к описанию более поздних событий гражданской войны. Дело в том, что на командных постах в королевской армии дворян, представителей местной верхушки, заменяли профессионалы-военные. Контроль над армией получили принц Руперт и его окружение. Эта влиятельная партия при дворе находилась во враждебных отношениях с группировкой, к которой относился Гайд, и которая выступала за сохранение руководства войной за гражданскими лицами. В этой связи Хаттон заключал, что «История мятежа» «показывает эту враждебность со всей очевидностью, полностью выражая неприятие Руперта и его союзников. Само по себе это не беда: историк имеет право на антипатии, если это не ведет к фальсификации источников. Но Кларендон именно это и делает, что видно по его отношению к принцу Морису. У Мориса нет шанса заслужить от Кларендона доброго слова. Во-первых, он брат и сторонник Руперта. Во-вторых, он был в ссоре с другом Кларендона маркизом Хертфордом, и

---

<sup>39</sup> Clarendon. V. II. P. 318–319.

<sup>40</sup> Morrill. P. 363–364.



Кларендон был в нее вовлечен на стороне последнего. Не удивительно, что портрет Мориса в «Истории» злобно искажен»<sup>41</sup>.

Повторяя критику Фирта, Хаттон утверждал, что Кларендон был более всего несправедлив по отношению к Горингу и Гренвиллу, фактически возложив на них ответственность за поражение королевских сил на завершающем этапе первой гражданской войны. Хаттон опровергал обвинения в адрес Горинга, прозвучавшие в «Истории мятежа», в неумении наладить отношения с местной элитой, в интригах, в потере армейской дисциплины, даже в пьянстве. Вопреки утверждениям Гайда истинная причина поражения роялистов на западе, по мнению Хаттона, крылась в «нехватке ресурсов и невозможности получить их. Роялисты могли спасти только стратегические ошибки парламентариев, но они не были совершены. Роялисты оказались, как крысы в ловушке, и, как крысы, они стали кусать друг друга. Тем не менее, сила книги Кларендона такова, что до сих пор историки принимают его вердикт, что поражения можно было избежать, что оно было следствием раздоров между командирами»<sup>42</sup>. Общий вывод, сделанный Хаттоном об «Истории мятежа», звучит критично и сурово: «Историку гражданской войны жить с “Историей” Кларендона, как и обойтись без нее, невозможно. С одной стороны, это целая система положений, вводящих в заблуждение. Тем, кто утверждает, что дидактическая природа “Истории” в какой-то мере оправдывает отношение к правде, можно по справедливости ответить: если изображение событий ложно, то такими же будут уроки, из них извлеченные. С другой стороны, этот труд включает столько фактов и мнений, он написан блестящим стилем человеком, игравшим ведущую роль в описываемых событиях, поэтому его невозможно игнорировать. Ответ состоит в том, что “История” должна быть не первым, а последним источником по данному вопросу, используемым тогда, когда все другие современные свидетельства исследованы. Только таким образом роялистское дело может быть спасено от вреда, нанесенного его репутации одним из его самых великих друзей»<sup>43</sup>.

Наряду с «критической» по отношению к Кларендону школой либеральных историков в середине XX в. сформировалась консервативная школа, представители которой выражали несогласие с концепцией Гардинера и Фирта и подчеркивали как достоверность «Истории мятежа» (хотя нюансы имели место), так и важность той роли, которую ее автор

---

<sup>41</sup> Hutton. 1982. P. 76.

<sup>42</sup> Ibid. P. 87.

<sup>43</sup> Ibid. P. 88.

сыграл в английской истории. Здесь важно отметить впервые опубликованный в 1951 г. труд кембриджского профессора Б. Уормолда «Кларендон: политика, история и религия, 1640–1660», переиздававшийся в 1976 г. в США и в 1989 г. в Англии. Этот труд сравнивали со знаменитой содержащейся в ней критикой либеральной историографии книгой Г. Баттерфилда «Вигская интерпретация истории» (1931). Сам Уормолд видел истоки своей концепции в «Истории Англии» Дэвида Юма. Он считал, что Кларендон, и Юм были людьми со схожими принципами, важнейшими для них были полномочия властей и свобода. В предисловии к изданию 1976 года английский историк приводил высказывание Юма о том, что Кларендон «всегда был другом свободы и конституции», и никогда «ни обида, ни благодарность, ни амбиции не влияли на его неподкупный разум»<sup>44</sup>. Одно из критических замечаний в адрес либеральных историков проистекало, по мнению Уормолда, из их ошибочного анализа «Истории мятежа» и автобиографии как источника для понимания взглядов Кларендона. Он писал: «Интерпретация Гардинера и Фирта в большой мере строится на заключении, что эти произведения сами по себе ключ к его концепции и прошлым политическим действиям. Из этого вытекает их следующее заключение, будто его мнения и цели не претерпели никакого развития, а были постоянными на протяжении всей жизни, и что опыт пережитых им событий не влиял на его взгляды. Такую картину создают “История” и “Жизнь”. Но такая картина, в сущности, невозможна»<sup>45</sup>. Высокую оценку Кларендону как политику и как историку дал известнейший консервативный историк Х. Тревор-Ропер в лекции, прочитанной в Оксфорде в декабре 1974 г. ода в ознаменование трехсотлетия со дня его смерти.

«Защитительный» характер имеет работа американского историка Р. Харриса, прямо вступившего в полемику с Хаттоном по поводу упоминавшихся выше трех эпизодов, якобы доказывающих предвзятость Кларендона. Харрис признавал, что исследования современных историков показали: социальное деление в годы гражданской войны не может приниматься однозначно; разделились многие семьи; кроме того, Кларендон, скорее всего, недооценивал распространенность в стране настроений нейтралитета. Тем не менее, в словах Гайда отразилась точка зрения, которая встречается и у других современников, включая Кромвеля. Относительно событий в Колфорде Харрис писал, что воспринимать слова историка можно, учитывая конкретную ситуацию – убийство

---

<sup>44</sup> *Wormald.* 1989. P. XXXII.

<sup>45</sup> *Ibid.* P. 3.

полковника Лоули и его офицеров, служивших у Херберта. Термин “country people” имел уничижительный смысл, но не говорит о предвзятости Гайда. Можно признать, что он допускал неточности в описании военных действий на юго-западе и был не совсем справедлив по отношению к Горингу и Гренвиллу, но не стоит забывать, что он сам защищался от их обвинений в адрес членов совета принца Чарльза. Гайду было еще сложнее писать о военных действиях в центре и на севере страны, но он стремился получить первичные свидетельства об этих событиях. Когда такого рода данные у него имелись (например, текст Хоптона), он был точен в деталях. Хотя в чем-то с Хаттоном можно согласиться, «но никак не с его обвинением, будто книга Кларендона – «замечательная коллекция положений, требующих опровержения», что это – «ложный портрет событий»<sup>46</sup>.

Критику Кларендона представителями либеральной историографии XIX века Г. Галламом и С. Гардинером Харрис объяснял их предвзятостью, их уверенностью в том, что только парламент был правой стороной в конфликте, их нежеланием тратить время на другую сторону. Харрис напоминал суждение Гардинера о Кларендоне как о «посредственном государственном деятеле», чьи взгляды были основаны на «отрицании». Вигские историки были неспособны признать в Кларендоне автора новой теории «смешанной монархии», которая предполагала, что король должен вернуться к конституционным основам, сохранив законную власть, но при уважении прав парламента. Поэтому Гайд не хотел полной победы ни той, ни другой стороны<sup>47</sup>. Харрис писал о несогласии с упоминавшимся ранее тезисом Фирта об «очевидном противоречии» между признанием Кларендоном роли индивидов в начале его труда и оценкой роли божественного провидения в конце. Харрис разъяснял, что тот придерживался арминьянского учения о свободе выбора, в соответствии с которым у людей есть свобода действия, но им, несомненно, придется платить за нарушение требований морали. Таким образом, Реставрация была не столько следствием усилий и действий роялистов, сколько результатом разложения протектората, то есть своего рода платой за грехи участников революции. Именно в таком контексте Харрис разъяснял слова Кларендона о Монке, который «был инструментом того, что могло произойти, не имея ни мудрости, чтобы это предвидеть, ни мужества, чтобы это совершить, ни понимания, чтобы это устроить». Именно этим и объясняется тот, на первый взгляд, не

---

<sup>46</sup> Harris. 1982. P. 396–397.

<sup>47</sup> Ibid. P. 397–398.

очень понятный факт, почему в «Истории» Кларендон вообще ни словом не упомянул о своей роли в Реставрации<sup>48</sup>.

Р. Оллард отмечал значение «блестящей» работы Уормолда, доказавшего несправедливость суждения Фирта, будто бы «заслуги Кларендона-историка проистекают из его недостатков как мыслителя». Напротив, он глубок и индивидуален в стремлении понять причины и ход исторического процесса. Даже «История мятежа», в которой он более всего стремился к объективности, «не стала убежищем безличных глаголов, пассивного залога, дистиллированной воды – всего того, чем современные исследователи пытаются очиститься от порока человечности. Как для большинства современников, исторический процесс для Кларендона ассоциировался с божественной волей, к которой он и в самом деле часто взывает; но у читателя нет сомнения в личности и разуме того, кто обращается к ней»<sup>49</sup>.

Оллард счел нужным специально остановиться на критике концепции Кларендона крупнейшим либеральным историком С. Гардинером, стоявшим на таких же методологических и идеологических позициях, что и Фирт. Касаясь уже затрагивавшейся темы причин революции и факторов исторического процесса, Оллард писал: «Если Кларендон был прав и гражданская война с ее последствиями: казнью короля, военной диктатурой Кромвеля, не были неизбежными отклонениями – взгляд Гардинера на эти события лишается драматизма и яркости. Текст Кларендона призван подтверждать постоянно: война не была неизбежной в том смысле, что несчастливые обстоятельства, дурные поступки и глупость разрушили преобладавшую вероятность договориться. Из этих обстоятельств наихудшим и самым глупым был роспуск Короткого парламента, что зависело от людей, влиявших на короля тогда, и от того, чем они руководствовались. Он не оставлял сомнения в том, что члены этого парламента были в гораздо большей степени, чем те, кто за ними непосредственно последовал, готовы добиться реформ и конституционной законности, что они были более преданы королю, чем придворные. Возможно, он был неправ. Возможно, представители многих исторических школ будут стоять на том, что причинность событий нельзя грубо связывать с поступками и целями индивидов, а надо искать ее в слепых безличных силах, будто в движении звезд. Но даже если мы не принимаем такие объяснения – а Гардинер, безусловно, не принимал – прежде чем отвергать интерпретацию Кларендона, надо помнить, что он знал людей, о которых писал, и

---

<sup>48</sup> Ibid. P. 394–395.

<sup>49</sup> Ollard. 1988. P. 330–331.

присутствовал в сценах, которые описывал»<sup>50</sup>. Кларендон считал, что компромисс и соглашение давали Короткому парламенту шанс предотвратить гражданскую войну; Гардинер считал иначе. Явно не симпатизируя взглядам Гардинера, Оллард ссылался на Конрада Рассела, показавшего, что лежало в основе его концепции. В эпоху Ч. Дарвина Гардинер рассматривал прошлое в эволюционной перспективе, и воплощение ее видел в парламенте. К этому добавлялась подспудно гордость от собственного происхождения: Гардинер был прямым потомком Кромвеля.

М. Браунли в духе «лингвистического поворота» уделил больше внимания, чем другие историки, особенностям литературного стиля Кларендона. Избегая апологетики, этот американский историк писал, что, несмотря на слабости, присущие историографии того времени и трудности своего собственного положения, «Гайду удалось создать структурированный исторический синтез анналов, мемуаров, полемики и апологии в работе, которая являлась величайшей, возможно, единственной литературной историографией в Англии XVII века»<sup>51</sup>. «История мятежа» не объективна, она содержит оценки, отражавшие приверженность роялистской партии, которую Кларендон считал более правой в конфликте, чем парламентарии; он давал описание событий так, как он их понимал. Тем не менее, он избрал не тот способ защиты, «которого желал Карл I, поощривший своего советника к написанию. Устремления Гайда определялись его приверженностью к исторической правде и верой в то, что история должна давать урок. Он с болью признавал, что роялисты допустили много ошибок, и считал, что часть его обязательств как историка состоит в том, чтобы назвать и проанализировать эти ошибки. Более того, он верил, что его партия преуспеет в будущем, только если извлечет уроки из прошлого, и он был готов обучать. Он не жалел никого»<sup>52</sup>.

Чем написанная Кларендоном «История мятежа» могла не понравиться Карлу I? Вероятно, прежде всего, тем, как Гайд объяснял причины гражданской смуты. Ее истоки он видел в первых годах царствования Карла I: «Чтобы открыть, где был вход в эти печальные обстоятельства, я никого не поведу в этом путешествии дальше, чем к началу правления этого короля. Я не настолько зрячий, как те, кто различает, что восстание происходит от времени смерти королевы Елизаветы, если не раньше, и разжигалось несколькими правителями и великими государственными министрами христианского мира, пока оно

---

<sup>50</sup> Ibid. P. 51–52.

<sup>51</sup> Brownley. 1985. P. 18.

<sup>52</sup> Ibid. P. 21.

не вспыхнуло. Я не заглядываю так далеко, чтобы обнаружить замысел к восстанию». Свою задачу он видел в том, чтобы «наблюдать нравы, настроения и привычки двора и страны в то время, различать взгляды людей, одни из которых были готовы что-то делать, другие терпеть; все, что с того времени произошло: гордость этого человека и популярность другого, легкомыслие одних и угрюмость других; излишества двора в условиях величайшей нужды и экономия и бережливость страны в величайшем избытке; дух искусства и утонченности некоторых и грубая и невежливая прямота у других, доходящая до презрения к мастерству и искусству; будто так много атомов соединилось, чтобы породить беспорядок, который мы сейчас переживаем»<sup>53</sup>.

Трудно не заметить, что отрицание Кларендоном долговременных предпосылок революции корреспондирует с идеями представителей современного ревизионистского направления в британской историографии. Суть этого подхода Конрад Рассел выразил следующим образом: чтобы ответить на вопрос, что в 1642 г. привело к гражданской войне, нет надобности в рассмотрении долгой истории отношений между королями и парламентами; надо решить, почему собравшиеся в ноябре 1640 г. депутаты Долгого парламента и в страшном сне не могли представить, что будут воевать против своего короля, но уже через несколько месяцев оказались в состоянии войны с ним. Ответ можно найти путем анализа конкретных обстоятельств, личных и групповых интересов, обнаружившихся в первые недели и месяцы революции. Но ведь это и есть та самая идея, которую отстаивал Кларендон. Например, у Рассела можно прочесть, что рассмотрение «приближения гражданской войны как некоего отдельного события является «логическим заблуждением», тогда как на самом деле «это была некоторым образом непредсказуемая последовательность произошедших и не произошедших событий (non-events). Поскольку война была не просто результатом этих событий и не-событий, но и того порядка, в котором они расположились, затруднительно выстроить организованную последовательность долговременных причин, приведших к тому, что король поднял свой штандарт в Ноттингеме. Тем не менее, если мы задумаемся об объяснении последовательности событий, то, вероятно, придем к открытию, что разные события в этой последовательности имели и разные причины»<sup>54</sup>.

В методологическом отношении ревизионисты близки Кларендону в том, что видят истоки исторических событий не в законах, носивших

---

<sup>53</sup> *Clarendon*. V. I. P. 3–4.

<sup>54</sup> *Russel*. 1990. P. 10.

долговременный характер, а в конкретных, даже случайных обстоятельствах, в позициях и амбициях отдельных людей. Как и Кларендон, Рассел и другие историки-ревизионисты отстаивают мысль о том, что настоящим толчком для конфликта стала политика Карла I в Шотландии, внедрение англиканского молитвенника. О такой связи концепции Кларендона и идей историков-ревизионистов и напомнил Р. Оллард.

Разумеется, не все историки, которых принято относить к ревизионистскому направлению, одинаково оценивают значимость сочинения Кларендона. Так, Джон Моррил обвинял историка Б. Мэннинга, что для подтверждения своей концепции о классовом характере революционного конфликта тот некритически и часто цитировал Кларендона и других «хронистов». Между тем, «Кларендон, в особенности, так часто демонстративно неправ в изображении фактов и в преследовании особых целей в написании своих трудов, в изображении хода революции, в желании заставить поверить в его объяснение, что его нельзя назвать искренним и проникательным наблюдателем»<sup>55</sup>. Кажется, что эти слова вполне могли принадлежать Фирту или Хаттону. В то же время у Рассела есть такой пример: «в связи с епитимьей недоверия» по отношению к свидетельствам Кларендона считалось, что его сообщение о пребывании в Шотландии Натаниэля Финнса (Fiennes) в 1639 г. не соответствовало действительности. Однако недавнее архивное исследование одного историка показало: Кларендон был прав, память его не подвела<sup>56</sup>.

Конечно, концепция ревизионистских историков не является простым повторением Кларендона; между ними есть большие отличия: во-первых, это относится к оценкам политики Карла I в годы, предшествовавшие конфликту; во-вторых, к личности самого короля. Кларендон осуждал «резкие и недостойные» роспуски первых парламентов Карла I (ропуск первого парламента ставился в вину Бэкингэму, второго – Уэстону) и склонялся к более критичной оценке действий королевской администрации и положения страны в условиях правления без парламента в 1629–1640-м годах, чем это видно в работах историков ревизионистского направления. В свою очередь они гораздо критичнее к королю Карлу, чем мог позволить себе Кларендон. По его мнению, из всех решений, осуществленных в отсутствие парламента, доход в королевскую казну давали только корабельные деньги, но «это слово надолго останется в памяти королевства». Чтобы подкрепить эти «экстраординарные меры», Звездная палата и Высокая комиссия (Council-table)

---

<sup>55</sup> Morrill. 1993. P. 216.

<sup>56</sup> Russel. 1990. P. 28.

преследовали любое неповиновение, никогда прежде критика актов или неуважение к государственным персонам не вели к наказаниям. Все люди, ценившие свою безопасность, не могли не чувствовать, что она подвергается разрушению. Кларендон замечал: «Я снова должен воспользоваться правом, чтобы сказать: обстоятельства и преследования во всех этих новых экстраординарных случаях, уловки и обложения, были неблагоразумными и разрушительными даже для того, чему они должны были служить»<sup>57</sup>. Заметим, что эта часть концепции Кларендона, содержащая критику политики Карла I в дореволюционные годы, ближе всего к либерально-вигской интерпретации причин Английской революции. Не потому ли она не вызвала особой критики у Фирта?

Возвращаясь к Браунли, отметим, что он не согласен с Фиртом в плане противопоставления «Истории мятежа» и автобиографии; по его мнению, в них преобладают общие черты, проистекающие, прежде всего, из стремления сохранить память об участниках великих и трагических событий, особенно о тех, кто погиб, сражаясь за ту или другую сторону. В духе своего времени Кларендон избегал излишеств риторики и искусственной драматичности и предпочитал простой, «утилитарный» стиль. Согласно Браунли, богатый идеологический и психологический контекст событий создавался автором умелым балансированием между дискурсом и рассказом, путем структурирования нарратива как совокупности диалектических и личностных конфликтов. Браунли отмечал: «Историю мятежа» делает произведением искусства сила воображения автора, придающая описываемым событиям и тематическим разделам смысловую ценность. Собственный опыт и опыт других людей, внимательный анализ документов и свидетельств позволили создать «комплексную концепцию того, что было для него истинной сущностью гражданских войн и их значения в истории английской нации»<sup>58</sup>.

В заключение отметим, что анализ главного сочинения Кларендона актуален не только в плане углубления представлений о его взглядах или оценивания тех или иных деятелей и событий Английской революции, но и в современном методологическом и историографическом контексте. Действительно ли сформулированный в XIX веке принцип историзма, объясняющий ход истории действием «объективных» сил, должен оставаться «священной коровой» и табуированным для критики? Как видим, обсуждение исторических взглядов Кларендона связано с этой проблемой напрямую.

---

<sup>57</sup> Clarendon. V. I. P. 86.

<sup>58</sup> Ibid. P. 64.



Актуализирован в современном контексте и вопрос об истории как инструменте «социального научения». Извлекаемы ли из истории уроки, которые так хотел передать потомству Кларендон, или были правы его позитивистские критики, видевшие в этом стремлении «ахиллесову пяту» истории, исключаящую «истинно научный» подход? Может ли в принципе существовать история, свободная от дидактических функций? Что лежит в основе эволюции взглядов на труд Кларендона в историографии? Чем объяснить очевидную актуализацию определенных пластов исторического знания в отличном от первоначального историографическом контексте, как это произошло с Кларендоном в современной ревизионистской историографии, по меньшей мере, в определенном ее спектре? Какова, наконец, та мера воображения, которая не только допустима, но и необходима в творчестве историка, придавшая, по выражению Браунли, книге Кларендона смысловую законченность, а его самого поставившая в ряд самых великих историков прошлого?

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Brownley M.W.* Clarendon and the Rhetoric of Historical Form. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985.
- Burdon W.* Materials For Thinking. L.: Effingham, 1820.
- (*Clarendon*) The History of Rebellion and Civil Wars in England begun in the Year 1641, By Edward, Earl of Clarendon / Ed. by W. Dunn Macray. In 6 volumes. Oxford: University Press, 1969. (В сносках: Clarendon).
- (*Clarendon*) Edward Hyde, First Lord of Clarendon. Selections From the History of Rebellion and Civil Wars and Life of Himself / Ed. by G. Huehn. Oxford: University Press, 1968. (В сносках: Clarendon. Selections).
- Firth C.H.* Clarendon's History of Rebellion // English Historical Review. 1904. V. XIX: Part I: LXXIII. P. 26–54; Part II: LXXIV. P. 246–262; Part III: LXXV. P. 464–483.
- Harris R.W.* Clarendon and the English Revolution. L.: Chatto and Windus, 1982.
- Hutton R.* Clarendon's History of Rebellion // English Historical Review. 1982. January. V. XCVII. Issue CCCLXXXII.
- MacGillivray R.C.* Restoration Historians and the English Civil War. Hague: Martinus-Nijhoff, 1974.
- Morrill J.* The Nature of the English Revolution. L.: Longman, 1993.
- Ollard R.* Clarendon and His Friends. Oxford: University Press, 1988.
- Russell C.* The Causes of the English Civil War. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Wormald Br.* Clarendon: Politics, History and Religion 1640–1660. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Историография нового времени стран Европы и Америки. М.: МГУ, 1967.
- Олар А.* Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789–1804). М. 1902.
- Соколов А.Б.* Карл I Стюарт // Вопросы истории. 2005. № 12.

**Соколов Андрей Борисович**, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского; sokolov\_1457@mail.ru

В. В. ВЫСОКОВА

## ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ ДЭВИДА ЮМА

---

Автор показывает вклад Дэвида Юма в развитие принципа историзма и ключевых проблем исторического познания в эпоху Просвещения, таких как критика исторических источников и теория исторического процесса. В статье рассматриваются «неоримский» характер концепции истории Юма, а также применение им логико-рационалистического метода французских янсенистов. Особое внимание автор статьи уделяет представлениям Юма о месте и значении истории в современном ему обществе, а также – в политической жизни страны.

**Ключевые слова:** Дэвид Юм, «История Англии», принцип историзма, Просвещение, национальная идентичность, «неоримская» традиция.

---

Восемнадцатый век в истории Великобритании был отмечен бурным процессом формирования британской нации. Однако вызывает удивление, что все те авторы, которые разрабатывают проблематику британской идентичности, не уделяют должного внимания тому, какое значение в этом процессе имели исторические сочинения XVIII века<sup>1</sup>. В то же самое время существующие исследования показывают, что основой формирования национального сознания была именно консенсусная концепция «общего прошлого»<sup>2</sup>. Прежде всего в этом заключается значимость «Истории Англии» Дэвида Юма. Именно он дал ясную, непротиворечивую, доступную для массового читателя версию национальной истории, и сделал это с блеском. Первый том «Истории Англии» Юма, посвященный первым Стюартам, появился в 1754 г. Последние тома, покрывающие период от вторжения Цезаря до 1485 г. вышли в свет в 1762 г. Это сочинение Дэвида Юма определило на следующие сто лет место и значение истории как в британском обществе, так и в традиции историописания. Этот факт является общепризнанным как в отечественной, так и зарубежной историографии<sup>3</sup>. Однако феномен «Истории» Д. Юма в отечественной историографии еще не подвергался тщательному анализу.

Прежде всего, следует обратить внимание на представление Юма о месте и роли истории в обществе эпохи Просвещения. Создавая свой

---

<sup>1</sup> Colley. 1992; Kidd. 1996; Hobsbawm. 1992; Хобсбаум. 1998.

<sup>2</sup> Андерсон. 2001. С. 173–180.

<sup>3</sup> Барг. 1987; 1993; Нарский. 1973; Лабутина, Ильин. 2012.

труд, он сознательно формировал новый читательский рынок и внес огромный вклад в расширение круга чтения для публики середины XVIII в. Это касалось представителей среднего класса и женщин<sup>4</sup>. Их излюбленным чтением до Юма был новый жанр романа: любимым чтением стали романы Сэмюэла Ричардсона «Памела» и «Кларисса», которые появились соответственно в 1740 г. и в 1748 г.<sup>5</sup> Однако уже в 1741 г. Юм ясно осознавал, что исторические сочинения могут вытеснить роман: «Нет ничего, что я мог бы более рекомендовать моим дамам-читательницам, чем исторические сочинения, как занятие, наилучшим образом соответствующее как их полу, так и образованию, гораздо более поучительное, чем их обычные книжки ради забавы, гораздо более развлекательное, чем те серьезные сочинения, которыми забиты их шкафы»<sup>6</sup>. Только женщина, которая знакома с историей ее собственной страны и античных Греции и Рима может поддержать приятную и осмысленную беседу в обществе. Более того, история обеспечивает самый лучший способ «познакомиться с человеческими деяниями не умаляя ни в малейшей степени самых деликатных чувств добродетели». Что же на самом деле может дать нам руководство в реальной жизни. Поэзия? Поэты «часто становятся защитниками порока». Философия, которая по большей части, редко имеет дело с чувствами и страстями? Только историки – они «одни истинные друзья добродетели»<sup>7</sup>. Как истинный друг добродетели, конкурирующий с романистами, Юм сознательно стремился «вызвать слезу» у читателя рассказом о казни Карла I. Несомненно, в этом он преуспел: у нас есть письма от его поклонниц, свидетельствующие о том, как его история вызывала их страсти и чувства<sup>8</sup>. Здесь уместно также упомянуть об «Истории» Кэтрин Маколей, имевшей огромный успех у читательской публики в 60-е годы XVIII века.

Уже в 1757 г. Юм мог утверждать, что история – «наиболее популярный вид чтения среди всех прочих»<sup>9</sup>, а в 1770 г.: «Я верю, что наш век – это век истории, а шотландцы – историческая нация»<sup>10</sup>. Юм и его друг Уильям Робертсон внесли наибольший вклад в популяризацию истории, особенно написанной шотландцами для английских читателей<sup>11</sup>. Юм по-

---

<sup>4</sup> *Christensen*. 1987.

<sup>5</sup> *The Letters*. 1932. Vol. 2. P. 269.

<sup>6</sup> *New Letters*. 1954. P. 80–82; *Davis Zemon*. 1988.

<sup>7</sup> *Hume*. 1987. P. 1, 5, 7, 563, 566–567.

<sup>8</sup> *The Letters*. 1932. Vol. 1. P. 210, 222, 344; Vol. 2. P. 347, 366–367.

<sup>9</sup> *Ibid.* Vol. 1. P. 244.

<sup>10</sup> *The Letters*. 1932. Vol. 2. P. 230.

<sup>11</sup> *Fearnley-Sander*. 1990. P. 323–338.

лучил беспрецедентный гонорар за свою «Историю», в целом не менее 3200 фунтов<sup>12</sup>. Однако он рассчитывал на больший успех, считая, что рынок для исторических книг потенциально очень широк, и полагал, что его книга недостаточно хорошо продается<sup>13</sup>. Тем не менее, в последние годы жизни Юм мог спокойно констатировать, что в Англии «...история – излюбленный вид чтения»<sup>14</sup>.

Юм рано разглядел центральную роль истории в современном ему обществе. Он долго вынашивал мысль написать историю и руководствовался убеждением, что почетное место историка на английском Парнасе пока вакантно. По мнению Юма, предшествовавшим историкам, даже наиболее почитаемому из них Полю де Рапин-Туайяру, не достает «стиля, суждений, беспристрастности и деликатности»<sup>15</sup>. Только современный историк мог надеяться возместить эти недостатки. В 1741 г. Юм писал: «Первое прозаическое произведение [на английском языке. – В.В.], которое отличает изысканный слог, было написано человеком (Свифтом), который все еще жив»<sup>16</sup>. Таким образом, в современном ему британском пространстве не наблюдалось примеров для подражания.

Хорас Уолпол полагал, что стиль Юма сложился под влиянием Вольтера, но «Век Людовика XIV» Вольтера вышел не ранее 1751 года<sup>17</sup>. Образцами для Юма были более отдаленные во времени авторы. Он говорит нам, что писал «наподобие древних», по меньшей мере, это относится к жанру короткого рассказа<sup>18</sup>, который Юм заимствовал у своих любимых античных авторов. Скорее всего, именно «Анналы» Тацита были примером для него, именно у него Юм перенял манеру описания различных типов людей в переломные моменты истории.

Личные предпочтения Юма проявляются в апологии определенного круга авторов: «Я был соблазнен примером всех самых лучших среди новых историков, таких как Макиавелли, Фра Паоло, Давила, Бентивоглио; хотя практика ссылок возникла позже того времени в котором они жили, но предложенная однажды, она стала теперь обязательной для каждого писателя»<sup>19</sup>. Макиавелли, был самым старшим из них, он ро-

<sup>12</sup> The Letters. 1932. Vol. 1. P. 193, 255, 266, 314.

<sup>13</sup> Ibid. Vol. 2. P. 106, 229, 233, 242.

<sup>14</sup> Ibid. Vol. 2. P. 196.

<sup>15</sup> The Letters. 1932. Vol. 1. P. 170. Первый том «Истории Англии» Рапина появился в 1724 г., и сразу в английском переводе в 1725 г. *Rapin*. 1724.

<sup>16</sup> *Hume*. 1987. P. 8, 91.

<sup>17</sup> The Letters. 1932. Vol. 1. P. 226.

<sup>18</sup> Ibid. Vol. 1. P. 170.

<sup>19</sup> Ibid. Vol. 1. P. 284.

дился в 1469 г. Самым молодым – Бентивоглио, который умер в 1644 г. Особенно высоко Юм ценил вклад Фра Паоло Сарпи (1552–1623) в развитие новых историографических практик. Адресная аудитория «Истории Тридентского собора» (1619) Фра Паоло была намного шире круга венецианских политиков. По мнению Юма, анализом перипетий споров на Триденском соборе Фра Паоло разрушил веру образованной публики во Вселенский собор как выразителя «воли Господней». Его сочинение было восхитительным примером исторического анализа, столь эффективного, считал Юм, что католическая церковь никогда больше не сможет созвать новый Вселенский Собор<sup>20</sup>. Таким образом, Сарпи один без всякой посторонней помощи смог изменить ход истории. Не исключено, что Юм надеялся на подобный результат в своем предприятии<sup>21</sup>.

Макиавелли, Сарпи, Энрико Давила («*Historia delle guerre civili di Francia*», 1630), и Гвидо Бентивоглио («*Della guerra di Fiandra*», 1632–1639) – все находились под сильным влиянием Тацита. Все они были итальянцами, принимали активное участие в политической жизни и писали о событиях, которые были живы в памяти современников. Для них история имела практическую значимость в объяснении того, как функционирует политическая власть и необходимым средством для образования тех, кто планировал принять участие в политической жизни. Их аудитория определялась представителями политической элиты. Для того, чтобы стать таким же историком, как они, Юм намеревался обзавестись соответствующими политическими и юридическими знаниями в период службы у генерала Сент Клера / St. Clair в 1748 г.<sup>22</sup> Но «История» Юма, в том виде, как она в конце концов была написана, мало внимания уделяет интригам двора и воинской доблести. Он рассматривает события, прежде всего, с точки зрения умного стороннего наблюдателя, но не участника, и предлагает своим читателям занять такую же позицию. Юм для своей «Истории» искал новую читательскую аудиторию: не политиков, не антикваров, а тех, кто хотел участвовать в обсуждении проблем текущей жизни. Это придавало историческому тексту новую роль: пересказ уже некогда рассказанной истории. Значительный вклад в формирование нового круга читающей публики, по-видимому, внес журнал «*The Spectator*» Аддисона и Стила, на страницах которого кристаллизовалась модель морально-политического эссе. Именно этого ожидал вдумчивый читатель, в котором так был заинтересован Юм. Можно предположить,

---

<sup>20</sup> *Hume*. 1983. Vol. 4. P. 388–389. note 9.

<sup>21</sup> *Wootton*. 1983.

<sup>22</sup> *The Letters*. 1932. Vol. 1. P. 109, *New Letters*. 1954. P. 23.

что для английских читателей второй половины восемнадцатого века «История» Юма была неким подобием романа, умным досужим чтением.

Особо надо сказать о формировании в этот период нового отношения к *анализу исторических источников*. Незадолго до того, как Юм задумывал свой труд, французский историк Шарль Роллен опубликовал «Римскую историю» (*Histoire Romaine*, 1738–1741) в девяти томах. Это была одна из первых попыток переписать историю древнего Рима для современной аудитории<sup>23</sup>. До этого любой, кто хотел изучать римскую историю, должен был прямо обращаться к чтению великих историков древнего Рима: Гая Саллюстия Криспа (86–35 гг. до н.э.), Тита Ливия (59 г. до н.э.–17 г. н.э.) и Тацита (56–120 гг. до н.э.). Подобная практика распространялась и на английскую историю. В письме Хорасу Уолполу Юм пишет, что «лучше зародить сомнение, чем поучать; разве является излишним переписывать английскую историю или публиковать что-то по вопросу, о котором ранее уже шла речь в печати?». Более того, Юм настаивает на том, что по каждому сколько-нибудь значимому историческому сюжету накопилось так много материала, что задача историка – просеять его: «Подлинники, которые повествуют нам о царствовании Елизаветы I, потребуют шесть месяцев чтения со скоростью десять часов в день»<sup>24</sup>. Историк, таким образом, дает краткое изложение событий и стремится сформулировать их суть, содержание. Именно так поступал Юм в своей «Истории» и в этом был залог ее поразительного успеха. Его труд выдержал семь полных изданий при его жизни, и еще 175 за сто лет после его смерти<sup>25</sup>.

Успехом у читателей благодаря краткости изложения пользовалась именно его история гражданской войны середины XVII века, а не труд великого историка и государственного деятеля той эпохи Эдварда Гайда, лорда Кларендона, хотя именно Кларендон, а не Юм, воплотил традиционный идеал историка – интеллектуального участника событий, которые он описывает. Юм настаивал на том, что большинство людей при чтении первоисточников могли «получить очень смутное представление о событиях». Проблема заключалась не столько в количестве материалов, сколько в трудности их осмысления: «Поэтому утверждение, что обилие исторических памятников заменяет создание истории, кажется не намного убедительней, чем призыв не строить дом около каменного карьера»<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> *Rollin*. 1730–1738. Английский перевод начал выходить в 1739 г.

<sup>24</sup> *The Letters*. 1932. Vol. 1. P. 285.

<sup>25</sup> *Berman*. 1976. P. 101–112, 110; *David Hume*. 1965. P. 109, 413–417.

<sup>26</sup> *The Letters*. 1932. Vol. 1. P. 285.

Таким образом, по мысли Юма, труды современников описываемых событий уже не должны больше рассматриваться как самодостаточные «истории» – они только исторические источники, материал для историка.

К этому времени уже существовала достаточно хорошо известная литература по тем аспектам методологии истории, которые так интересовали Юма. основополагающим текстом этого круга было сочинение двух богословов-янсенистов Антуана Арно и Пьера Николя «Логика, или Искусство мыслить»<sup>27</sup>, впервые анонимно опубликованное в 1662 году<sup>28</sup>. В этой работе Арно фактически открывает современную теорию вероятностей, утверждая, что ряд, казалось бы, несхожих «дел» – азартные игры, проверка подлинности документов в суде, вера в чудеса – были одинаково относительны в философском смысле, потому что во всех этих случаях присутствует допущение вероятности. Историки, когда они сообщают нам о том, что Святой Августин был свидетелем чуда, согласны верить этому свидетельству, несмотря на невероятность описываемых событий: непрерываемая репутация Августина, казалось бы, исключает обман, заблуждение или ошибку.

В своем сочинении Арно сформулировал правила, которым историку нужно руководствоваться на практике при оценке свидетельств. Если свидетельства нескольких независимых очевидцев совпадают, то им следует отдавать предпочтение перед теми свидетельствами, что им противоречат. Свидетельствам непосредственных участников и очевидцев нужно доверять больше, чем информации из вторых рук. Непосредственным следствием этих умозаключений янсенистов было снижение авторитета устной традиции. Подобная точка зрения формировалась в протестантской историософии Джоном Локком и другими мыслителями, которые показывали, что и католическое, и протестантское богословие базируются на одной и той же традиции<sup>29</sup>.

Новая (в основном французская) литература в отношении критики исторических источников поставила ряд ключевых вопросов, которые в свою очередь стремился решить Дэвид Юм. Одним из принципиальных был следующий. Как можно доверять «Запискам о Галльской войне» Юлия Цезаря и другим подобным документам, если они передавались в рукописной традиции, как мы можем быть уверенными в передаче точности информации летописцами? По древнему периоду истории вообще в этом смысле до нас не дошел ни один источник.

<sup>27</sup> *Arnauld, Nicole*. 2011; *Арно, Николь*. 1991.

<sup>28</sup> *Wootton*. 1990. P. 191–229.

<sup>29</sup> *Woolf*. 1988; *Wootton*. 1990. P. 198, 222–223.

В «Трактате о человеческой природе» Юм делает заключение о том, что этот скептический аргумент только вводит в заблуждение: летописцам и печатникам, как правило, можно доверять<sup>30</sup>. Самым авторитетным автором (наверняка известным Юму) в этой области был Николя Фрере, чьи «Размышления» (1729)<sup>31</sup> были ответом на скептические аргументы его друга Жана Левека де Пуийи<sup>32</sup>. Фрере настаивал на том, что мы можем доверять таким историкам как Тит Ливий, даже в том случае, когда не имеем возможности проверить их показания по независимым источникам. Его главный аргумент заключался в том, что древние историки имели доступ к источникам не дошедшим до нас<sup>33</sup>.

Однако такое заявление заставило Фрере сделать оговорки в отношении Тита Ливия, который свободно пишет о необычных явлениях природы и даже чудесах. Фрере приходит к заключению, что следует скептически относиться к первым, не доверять – вторым, но можно смело полагаться на оценки Ливия в отношении военных и политических событий. В эссе «О чудесах» Юм выступил в защиту систематического скептицизма в отношении подобных «чудесных» сообщений со сходных с Фрере позиций. Это эссе Юма сосредоточено на вопросе относительности сведений источников по древней истории. Он считал, что безупречное свидетельство очевидцев является единственным аргументом в пользу «свершившегося чуда». Кроме того, это «чудо» нужно соотносить с естественным ходом вещей, определенным самой природой. Таким образом, «внешняя» и «внутренняя» логика доверия к историческим источникам будут идеально сбалансированы. К примеру, в отношении «чудес» первых веков христианства следует помнить, что христианские писатели были заинтересованными свидетелями и их свидетельства нельзя принимать за чистую монету. И что очень важно, по мысли Юма, «внутренняя» логика доказательности всегда преобладает над «внешней».

В своем блестящем эссе «О многочисленности народов древности» (впервые опубликовано в 1752 г.), Д. Юм демонстрирует проникательность в критике исторических источников. Он находит в надежных источниках по древней истории упоминание о городах с огромным количеством населения или о сражениях с участием «неисчислимых» армий. Казалось бы, здесь легко сделать вывод, что древний мир был гораздо более густонаселенным, чем современный ему. Однако он решил дока-

---

<sup>30</sup> Hume. 2007. Book 1. Part 3. Section 13. P. 6; Юм. 1996. Т. 1. С. 68–70.

<sup>31</sup> Freret. 1729.

<sup>32</sup> Pouilly de Levesque. 1723.

<sup>33</sup> Wootton. 1990. P. 200–203.



зять, что это суждение, по своей сути, является невероятным, исходя из «внутренней» логики: у рабов было мало возможностей размножаться и воспитывать детей; массовые убийства и разрушительные войны были обычным явлением; небольшое территориальное пространство городов было несоразмерно с заявленной в источниках численностью населения; примитивность экономики древних обществ свидетельствует об их неспособности к поддержанию жизнедеятельности большого количества людей. Таким образом, посредством синтеза различных типов суждений и доказательств, извлеченных из огромного круга источников, Юм показал, что сообщения источников по численности населения в древний период были совершенно ненадежными. К такому же умозаключению можно прийти в отношении свидетельств о чудесах, где будет работать своя система доказательств относительно их маловероятности. Развернутая аргументация Юма явно переросла рамки антикварианизма: он убедительно доказывал, что современная цивилизация превосходила в своем развитии древние цивилизации. Юм вышел победителем из дискуссий с Робертом Уоллесом / *Robert Wallace* по вопросу о восходящем и нисходящем характере развития человеческой цивилизации. Юм придавал историческому процессу прогрессивный характер и констатировал постепенное улучшение жизни<sup>34</sup>.

Остановимся еще на одном аспекте мировоззренческой позиции Юма как историка. Речь идет о понимании им *значимости истории в текущей политической ситуации*. Критика исторических источников в его «Истории Англии» была призвана развенчивать мифы о прошлом, что имело решающее значение для современных Юму дебатов между вигами и тори, а также между протестантами и католиками.

Политические дебаты, как и конфессиональные споры, зависели от оценок прошлого. Назначение истории Юм видел в разрешении этих спорных вопросов посредством беспристрастного внепартийного анализа авторитетных исторических источников. Детальное рассмотрение соответствующих интерпретаций историком, полагал Юм, поможет разумному человеку не ставить под сомнение очевидные ценности и руководствоваться ими как в повседневной, так и в политической жизни. Он также считал важным развенчание риторики политических экстремистов (например, в случае с радикалом Дж. Уилксом). Юм определил три ключевых эпизода в современной ему исторической мифологии: «Есть действительно три события в нашей истории, которые можно рассматривать как пробные камни для политика. Английский виг, который

---

<sup>34</sup> См.: *Jones*. 2009.

настаивает на реальности папистского заговора, Ирландский католик, который отрицает резню 1641 года, и Шотландский якобит, который придерживается точки зрения о невинности королевы Марии... если посмотрят на эти обстоятельства как обычные люди, то они будут вынуждены оставить свои предрассудки»<sup>35</sup>.

Одним из самых ярких примеров политической пропаганды в английской истории стало сочинение «*Basilike Eikon*»<sup>36</sup>, духовная автобиография, приписываемая предположительно Карлу I и изданная сразу после его казни в 1649 г. Король здесь изображен как благочестивый, честный человек, заботящийся о благополучии своих подданных. Небывалый успех публикации этого сочинения сыграл решающую роль в Реставрации Стюартов, но разве это сочинение, вопрошает Юм, действительно дает представление о тайных замыслах короля, или может быть это была, как многие утверждали, лицемерная стряпня роялистского священника доктора Гоудена / *Gauden*<sup>37</sup>?

Юм, хотя и был на стороне Карла I, проявлял заинтересованность в поиске адекватного ответа на вопрос об авторстве этого произведения: «Доказательства, написал или нет король это сочинение, в равной степени настолько убедительны, что если беспристрастному читателю посмотреть на противоположную точку зрения с одной из сторон, он будет думать, что невозможно привести более убедительных аргументов и доказательств. И когда он сравнит эти точки зрения, он будет некоторое время в замешательстве, чтобы определиться. Если абсолютное решение найти трудно или оно разочарует нас в таком интересном вопросе, я должен признаться, что я очень склонен отдавать предпочтение аргументам роялистов. Свидетельства, которые они приводят в пользу авторства короля, являются более многочисленными, определенными и прямыми, по сравнению с аргументами противоположной стороны. Это даже в том случае, если мы берем во внимание внешние доказательства. Но когда мы взвешиваем внутренние доказательства, вытекающие из анализа стиля и композиции [сочинения – *B.V.*], нет сомнения. Эти раз-

---

<sup>35</sup> *Hume*. 1983. Vol. 4. P. 395. Папистский заговор, или дело Титуса Оутса – воображаемый заговор католиков с целью убить короля Карла II и ввести католицизм в Англии, является примером антикатолической истерии в 1678–1681 гг. и гонений на католиков. Несколько тысяч протестантов были убиты во время Ирландского восстания осенью 1641 г. и более десятка тысяч изгнаны из Ирландии; карательная компания Кромвеля 1649 года в Ирландии рассматривалась протестантами как акт мести. Королева Шотландии Мария Стюарт, мать короля Англии Якова I, была замешана в убийстве своего второго мужа, лорда Дарнли.

<sup>36</sup> *The Eikon Basilike*. 1649.

<sup>37</sup> *Trevor-Roper*. 1966. P. 211–220.

мышления... так не похожи на напыщенный, бестолковый, риторический и ангажированный стиль доктора Гоудена, которому они приписываются, что, кажется, ни одно человеческое суждение не убедит нас в том, что он был их автором»<sup>38</sup>.

Здесь Юм показывает реальную историографическую ситуацию, когда две конфликтующие линии убедительных доказательств находятся в идеальном равновесии. Хотя впервые он обращает внимание на подобную ситуацию в эссе «О чудесах». Как там, так и здесь, Юм продолжает настаивать на превосходстве «внутренней» критики над «внешней»: в одном случае, невероятность «чудес» житийной литературы, противоречащих законам природы, а в другом – невероятность того, что стиль доктора Гоудена мог так преобразиться. Такие доказательства могут быть настолько сильны, что никакие противоположные свидетельства не опровергнут их. Доказательства невероятности авторства доктора Гоудена были точно так же сильны, как доказательства невероятности чудес. Юм показывает и убеждает, что неподготовленному человеку, даже если он нашел время и силы для изучения памятников прошлого, нет смысла пускаться в толкование истории. У вступающего в спор должна быть надлежащая подготовка, владение историческим методом и понимание философских принципов, используемых в оценке существующих доказательств.

Такое понимание Юмом «работы» историка вытекало из нового представления о развитии человеческой истории. Да, Дэвид Юм обратился к написанию истории, отчасти, намереваясь достичь литературной славы, о чем он говорит в своей автобиографии. Хотя едва ли это был его главный мотив. Многочисленные эссе Юма уже принесли ему известность. Сильным его желанием было исследовать посредством исторического нарратива философские, политические и моральные вопросы, которые лежали в основе его предыдущих морально-этических и философских изысканий. Что же нового хотел донести до своих читателей Дэвид Юм? Свое представление о *теории исторического процесса*.

Наиболее авторитетными авторами в этом вопросе для Юма были Дж. Гаррингтон (1611–1677), Ш.-Л. Монтескье (1689–1755) и Ж. Тюрго (1727–1781). Джеймс Гаррингтон был важной фигурой для Юма в анализе английской истории по следующим обстоятельствам. Во-первых, Гаррингтон написал философско-политический трактат «Республика Океания»<sup>39</sup>, в котором дал описание «идеального» государства всеоб-

---

<sup>38</sup> *Hume*. 1983. Vol. 5. P. 547–548.

<sup>39</sup> *Harrington*. 1656.

щего благоденствия (*commonwealth*). Это государство, покоящееся на принципах свободы, может и должно быть создано людьми, говорит Гаррингтон. Исходя из «эталона идеального государства» можно формировать будущее, а также «проинспектировать» английскую конституцию восемнадцатого века, полагал Юм. Во-вторых, Гаррингтон считал, что на основе концепции идеального государства, основанного на принципах личной выгоды, он создал новую науку о политике. Хотя он и признавал, что в этом отношении был многим обязан Макиавелли и Гоббсу. В-третьих, он пришел к выводу, согласно которому политический кризис середины семнадцатого века в английской истории был неизбежным результатом предшествующего достаточно длительного периода социальных изменений. В-четвертых, адепты Гаррингтона после Реставрации подвергали постоянной критике два аспекта текущей политики Великобритании: развитие профессиональной, или «регулярной», армии и увеличение доходов короля и королевской бюрократии, что вело к усилению влияния короны на политический процесс и разрастанию взяточничества и коррупции.

Дэвид Юм занимался всеми четырьмя аспектами концепции Гаррингтона и его интерпретаторов<sup>40</sup>. В эссе «Идея совершенного государства» (*Idea of a Perfect Commonwealth*, 1752) он симпатизирует модели идеальной республики Гаррингтона, а также предлагает ее улучшение. В сочинениях «О том, как политика может стать наукой» (*That Politics may be reduced to a Science*, 1741) и «Независимость парламента» (*The Independency of Parliament*, 1741) он разделяет позицию сторонников Гаррингтона, что политические институты были созданы людьми в соответствии с их интересами. Это позволяет судить о поведении людей в принципе и прогнозировать, исходя из этого, политические решения. Данный прогноз основан на убеждении, что люди всегда действуют из эгоистических побуждений. Ключ к политике, таким образом, лежит в первую очередь в изучении институтов, а не в поведении людей, – хорошо организованные институты заставят людей придерживаться лучшего поведения и разумной общественной организации.

В эссе «О порядке наследования протестантской династии» (*Of the Protestant Succession*) Дэвид Юм в целом разделил оценку Гаррингтоном социальных изменений, которые объективно способствовали усилению влияния палаты общин к середине семнадцатого века. Однако в эссе «Независимость парламента» он стремился показать, что Гаррингтон был не прав, когда говорил о необходимости отмены монархии.

---

<sup>40</sup> Moore. 1977.

Наконец, в вопросе «склоняется ли английское правительство больше к абсолютной монархии или республике», он разделял оценку неогаррингтонианцев о растущей мощи короны.

Юм всегда был критичен по отношению к Гаррингтону, но остался его доброжелательным критиком<sup>41</sup>. В «Океании» Гаррингтон первым пришел к выводу о том, что перераспределение земельной собственности в XVI – начале XVII столетия привело к перераспределению налогового бремени и военных обязательств. Это, в свою очередь, вызвало политический конфликт середины XVII века. Идеи Гаррингтона требовали расширения представлений о собственности – наряду с земельной собственностью он предлагал учитывать коммерческие доходы. В этом можно обнаружить зарождение экономического детерминизма. Юм, в свою очередь, приходит к убеждению, что коммерческая деятельность обладает цивилизующей функцией, он формулирует экономическое объяснение прогресса и свободы.

Адам Смит утверждал, что этот аргумент можно найти в «Истории» Дэвида Юма. Об этом Смит так написал в своем главном сочинении «О богатстве народов»: «Торговля и мануфактуры постепенно вводят порядок и хорошее управление, а с ними свободу и безопасность личности среди жителей страны, которые до этого жили почти всегда в постоянном состоянии войны со своими соседями и в рабской зависимости от своей знати. Это, хотя данный процесс трудно увидеть воочию, на сегодняшний день является наиболее важным из всех последствий [развития торговли и мануфактур – *В.В.*]. Мистер Юм является единственным писателем, кто, насколько я знаю, до сего времени обратил на это внимание»<sup>42</sup>. Юм уже в 1741 г. писал: «Вплоть до минувшего столетия торговля никогда не рассматривалась как государственное дело, и едва ли есть хоть один политический писатель древности, который касается ее. Даже итальянцы сохранили глубокое молчание в этом вопросе, хотя торговля сейчас занимает центральное место как для государственных министров, так и [для простого человека – *В.В.*] в связи с возможностью сделать состояние. Огромное богатство, величие и военные достижения двух морских держав [Англии и Голландии], кажется, стали первыми примерами значимости в человеческой истории обширной торговли»<sup>43</sup>.

Таким образом, взявшись за перо практически век спустя после Гаррингтона, Юм придавал коммерции гораздо большее значение. Одна

<sup>41</sup> *Hume*. 1987. P. 32–37.

<sup>42</sup> *Smith*. 2007. P. 413; *Stockton*. 1976. 296–320.

<sup>43</sup> *Hume*. 1987. P. 2, 88–89.

из магистральных тем «Истории Англии» и ряда его эссе – проследить, как коммерческая экспансия Англии влияла на рост богатства и величия страны. По мысли Юма, здесь порядок причинности был следующий – необходимость развития торговли и коммерции неизбежно вела к расширению политических свобод<sup>44</sup>. Прогресс человечества, замечал Юм, был в частности связан с развитием денежного хозяйства. Именно денежное обращение в городах сделало личную зависимость от сеньора анахронизмом, здесь лорды не видели смысла ее сохранять; а рост личной свободы «проложил путь к расширению политических или гражданских свобод»<sup>45</sup>.

Дэвид Юм хорошо представлял глубокую связь экономического развития с общим ходом истории и способствовал формированию экономического объяснения истории. Юм, как и Гаррингтон, видел в подъеме джентри главную причину сдвига в балансе социальных сил, что в свою очередь подтачивало положение монархии в первой половине семнадцатого века. Если гаррингтонианский характер его анализа не всегда очевиден, то это потому, что Юм видит в подъеме джентри объяснение не гражданской войны, а конституционной революции, которая предшествовала гражданской войне. Лишь длительными социальными изменениями (в сочетании с тем фактом, что только в парламенте как органе институционального характера эти изменения могли найти свое политическое выражение) можно объяснить события 1640–1641 гг.

Гаррингтон рассматривал казнь короля как естественный результат предшествующего политического процесса. Юм же объяснял неспособность парламента прийти к соглашению с королем только религиозным фанатизмом коммонеров.

Влияние идей Монтескье на концепцию исторического развития Юма не представляется столь очевидным по той простой причине, что он высказывает суждения, сходные с идеями главного сочинения Монтескье «О духе законов» (1748), совершенно независимо<sup>46</sup>. В одном принципиальном вопросе он не согласен с Монтескье. В эссе «О национальных характерах» (*Of National Characters*, 1748) он опровергает точку зрения Монтескье о роли климата в формировании политической и культурной жизни народов. Конечно, не исключено, что Юм мог знать что-то из аргументов «О духе законов» до их публикации<sup>47</sup>. Оба вы-

<sup>44</sup> См.: *Hume*. 1987. P. 6, 10, 17–19, 92–93, 113, 265–266.

<sup>45</sup> *Hume*. 1983. Vol. 2. P. 524.

<sup>46</sup> *Montesquieu*. 1989. P. 18, 22, 156–166, 197, 325–333, 388, 456, 608.

<sup>47</sup> *Chamley*. 1975.

страивают троичную типологию политических режимов: деспотия, гражданская монархия и конституционный строй (наподобие английского, основанного на принципах свободы).

Англия является для них обоих редчайшим примером свободы, когда-либо существовавшей в мире. Оба используют слово «свобода» в нескольких смыслах, но в первую очередь связывают его с «личной» или «гражданской» свободой, когда представительное правление служит средством ее обеспечения<sup>48</sup>. Монтескье определил «политическую свободу» как «то спокойствие духа, которое проистекает из убеждения, что каждому обеспечена его безопасность; эта свобода должна быть обеспечена правительством так, чтобы один гражданин мог не бояться другого гражданина»<sup>49</sup>. Юм писал: «Правление, которое, по общему заключению, получает наименование свободного, это такое, при котором проведено разделение властей..., чья соединенная власть не меньше, или обычно больше, чем у любого монарха; но кто, в обычном управлении, должен руководствоваться общими и равными для всех законами, которые были ранее известны всем членам и по всем этим вопросам. В этом смысле, должно быть признано, что свобода является наивысшим проявлением гражданского общества»<sup>50</sup>.

Таким образом, оба считали ключевым моментом английской свободы установление принципа разделения полномочий между законодательной и исполнительной властями. Оба придавали большое значение следующим необходимым конституционным элементам: Хабеас корпус акт, независимая судебная система, суд присяжных заседателей, свобода прессы в качестве одного из гарантов свободы. Конкурирующие интересы законодательной и исполнительной власти обязательно должны создать конфликтующие партии в поддержку различных интересов. Эти партии неизбежно будут стремиться переписать историю, чтобы оправдать свою политику<sup>51</sup>. Наконец, оба – и Монтескье, и Юм считали характерной чертой эволюции английской истории, начиная с норманнского завоевания, борьбу феодалов за власть, которая проложила дорогу деспотизму. Оба были согласны в том, что в Англии никогда не было гражданской монархии, отчасти потому, что она зависит от сильного дворянства, в то время как английская знать была чрезвычайно слаба до появления сильной монархии.

<sup>48</sup> Miller. 1975. P. 125–192.

<sup>49</sup> Montesquieu. 1989. P. 157; New Letters. 1954. P. 196.

<sup>50</sup> Hume. 1987. P. 7, 40–41.

<sup>51</sup> The Letters. 1932. Vol. 1. P. 138.

Сочинение Монтескье «О духе законов» напоминает нам о центральной проблеме, с которой столкнулся Дэвид Юм при написании своей «Истории». Классические модели исторического письма того времени существовали почти исключительно в виде повествовательного нарратива. Монтескье, однако, показал, что можно было анализировать конституции и культуры в виде «идеального типа», целостного образа. В самом деле, он должен был это делать, если хотел представить предмет своего внимания в целостности и понять логику его развития. По той же самой причине Юму приходилось делать пространные отступления, объясняя характер конституции (например, пассажи о достижениях в области искусства и науки), которые выходили за рамки традиционного повествования. В более поздних изданиях «Истории» он переместил часть из них в сноски<sup>52</sup>. Юм понимал, что конституционные институты и практики имеют решающее значение для объяснения исторического развития народов, однако он никогда не шел так далеко как Монтескье, чтобы пытаться объяснять события политической жизни достижениями в культуре. Юм никогда не заявлял о существовании единого духа нации, пронизывающего все аспекты его жизни в определенную эпоху.

Взгляды Тьюрго на исторический процесс, в отличие от Гаррингтона и Монтескье, не оказали, по-видимому, никакого влияния на Юма. Интерес представляют его реакции на сочинение Тьюрго «О всеобщей истории» (*Discours sur l'histoire universelle / On Universal History*, 1751). Преисполненный оптимизма Тьюрго утверждал, что вся история есть история прогресса. Юм же крайне пессимистично оценивал события в Англии – радикальные требования «свободы» Дж. Уилксом – в письме к Тьюрго в 1768 г.: «Я знаю, вы один из тех, кто способен занять приятно и похвально, если бы не слишком оптимистичная надежда, что человеческое сообщество находится в постоянном движении вечного Прогресса на пути к совершенству ... Молитесь, не видите ли некоторые противоречия в последних событиях в этой стране [Англии – В.В.] вашей системе?». Юм был убежден, что опасная политика – прежде всего рост государственного долга – может поставить под угрозу мир и цивилизацию.

Дэвид Юм даже не был убежден в том, как полагал Тьюрго, что «с момента открытия книгопечатания нам больше не нужно бояться возвращения варварства и невежества»<sup>53</sup>. Напротив, читая первый том Эдварда Гиббона «Закат и падение Римской империи» (1776), Юм высказал суждение о «признаках упадка» в Англии, где «распространены

---

<sup>52</sup> The Letters. 1932. Vol. 1. P. 294.

<sup>53</sup> The Letters. 1932. Vol. 2. P. 180.



предрассудки... предсказывают падение философии и нравов»<sup>54</sup>. Он предвидел «новое и внезапное нашествие невежества, суеверия и варварства»<sup>55</sup>. Уверенность Тюрго в том, что прогресс был гарантирован провидением, по-видимому, казался Юму изощренным интеллектуальным предрассудком. Ему был больше по душе «Кандид» Вольтера (1759): «Он полон веселья и непристойностей, и на самом деле это сатира на Провидение, под предлогом критики системы Лейбница»<sup>56</sup>.

История сама по себе, по мнению Юма, не предусматривает никаких оснований для какой-либо веры в провидение, даже в виде секуляризованной веры в неизбежность прогресса.

\*\*\*

Таким образом, Юму удалось добиться признания в широких слоях британского общества и, прежде всего, среднего класса, определявшего конъюнктуру политического и культурного развития Великобритании в XVIII веке. Ему также удалось актуализировать в общественном сознании представление о «прошлом» и «настоящем» отечества. Его востребованность была задана процессами рождения британской нации и формирования «публичной сферы» в британском обществе<sup>57</sup>. «Общества мысли» определяли ее формирование. Такое «общество» составляли британские интеллектуалы, сосредоточившие свои усилия на воссоздании целостной картины «национального прошлого». Несомненно, самым ярким из них был Дэвид Юм. Его вклад в развитие историзма очевиден. В его «Истории Англии», а также в ряде философских эссе поставлены и в значительной степени решены ключевые проблемы познания истории – проблема критики и интерпретации исторических источников, а также предложена непротиворечивая и продуктивная теория исторического процесса.

Историографический контекст формирования концептуальных оснований «Истории» Юма позволяет сделать вывод о «неоримском» характере историософии автора. Тацит и его адепты раннего Нового времени – Н. Макиавелли, Фра Паоло Сарпи, Э. Давила, Г. Бентивоглио – определили высокий гражданский стиль мышления Дэвида Юма. Строго рационалистическая «логика Пор-Рояля» в сочинениях А. Арно, П. Николя, Н. Фрере, Ж. Левека де Пуий позволила Юму мыслить «идеальными типами», и тем самым преодолеть средневековую традицию

---

<sup>54</sup> Ibid. P. 310.

<sup>55</sup> New Letters. 1954. P. 199.

<sup>56</sup> Ibid. P. 53.

<sup>57</sup> *Айзенштат*. 2009. С. 71–91.

исторического повествования, отбросив без колебаний «невероятное» в прошлой истории человечества. Но при этом, в отличие от своих современников-французов Ш.-Л. Монтескье и Ж. Тюрго, он был скептиком, каждый раз показывая тонкую грань цивилизованности эгоистичной природы человека. В этом смысле история – по мысли Юма, она одна – заставляет помнить «глубины» человеческого грехопадения.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Айзенштат М.П.* Власть и общество Британии 1750–1850 гг. М., 2009.
- Андерсон Б.* Ангел истории // Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
- Арно А., Николь П.* Логика, или Искусство мыслить. М., 1991.
- Барг М.А.* Юм как методолог истории // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 70–82.
- Барг М.А.* Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987.
- Лабутина Т.Л., Ильин Д.В.* Английское Просвещение. Общественно-политическая и педагогическая мысль. СПб., 2012.
- Юм Д.* Трактат о человеческой природе / Юм Д. Сочинения в двух томах. М., 1996.
- Нарский И.С.* Дэвид Юм. М., 1973.
- Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.
- Arnauld A., Nicole P.* La logique, ou L'art de penser. P., 2011.
- Berman D.* David Hume on the 1641 Rebellion in Ireland // Studies: An Irish Quarterly Review. № 65. 1976.
- Chanley P.E.* The Conflict between Montesquieu and Hume / Essays on Adam Smith. Ed. By A. S. Skinner and T. Wilson. Oxford, 1975. P. 274–305.
- Christensen J.* Practicing Enlightenment: Hume and the Formation of a Literary Career. University of Wisconsin Press. 1987.
- Colley L.* Britons: Forging the Nation 1707–1837. L., 1992.
- David Hume: Philosophical Historian* / Ed. D.F. Norton and R.H. Popkin. Indianapolis, 1965.
- Davis Zemon N.* History's Two Bodies // American Historical Review. 1988. No 93. P. 1–30.
- The Eikon Basilike.* The Pourtrature of His Sacred Majestie in His Solitudes and Sufferings. 1649.
- Fearnley-Sander M.* Philosophical History and the Scottish Reformation // Historical Journal. № 33. 1990.
- Forbes D.* Hume's Philosophical Politics. Cambridge, 1975.
- Freret N.* Reflexions sur l'étude des anciennes histoires et sur le degre de certitude de leurs preuves. P., 1729.
- Jones R.F.* Hume on the Arts and «The Standard of Taste»: Text and Context // The Cambridge Companion to Hume / Ed. by D.F. Norton and J. Taylor. 2 ed. Cambridge, 2009. P. 414–447.
- Harrington J.* The Commonwealth of Oceana. L., 1656.
- Hobsbawm E.* Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. L., 1992.
- Hume D.* Of Civil Liberty (1741) / Hume D. Essays Moral, Political, and Literary / Ed. by E.F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.
- Hume D.* Of Commerce (1752) / Hume D. Essays Moral, Political, and Literary / Ed. by E.F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.

- Hume D.* Essays Moral, Political, and Literary, ed. E. F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.
- Hume D.* Of the First Principles of Government (1741) / *Hume D.* Essays Moral, Political, and Literary / Ed. E. F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.
- Hume D.* The History of England (first published 1754-62), 6 vols. Indianapolis: Liberty Classics, 1983.
- Hume D.* Of the Origin of Government (1777) / *Hume D.* Essays Moral, Political, and Literary / Ed. by E.F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.
- Hume D.* Of Refinement in the Arts (1752) / *Hume D.* Essays Moral, Political, and Literary / Ed. by E.F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.
- Hume D.* Of the Study of History. L., 1741; withdrawn after 1760 / *Hume D.* Essays Moral, Political, and Literary / Ed. by E.F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, rev. ed., 1987.
- Hume D.* A Treatise of Human Nature (first published 1739–1740). Oxford, 2007.
- Kidd C.* North Britishness and the nature of eighteenth-century British patriotisms // *The Historical Journal*. Volume 39. Is. 2. June, 1996.
- The Letters of David Hume, ed. J. Y. T. Greig, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1932.
- Meek R. L.* Smith, Turgot and the 'Four Stages' Theory // *History of Political Economy*, № 2. 1971.
- Miller D.* Philosophy and Ideology in Hume's Political Thought. Oxford, 1981.
- Moore J.* Hume's Political Science and the Classical Republican Tradition / *Canadian Journal of Political Science*. № 10. 1977. P. 809–839.
- Montesquieu C.-L. de Secondat, baron de.* The Spirit of the Laws / Transl. and ed. by A.M. Cohler and others. Cambridge, 1989.
- New Letters of David Hume / Ed. by R. Klibansky and E.C. Mossner. Oxford: Clarendon Press, 1954.
- Pouilly de Levesque J.* Dissertation sur l'incertitude de l'histoire des premiers siècles de Rome. P., 1723.
- Rapin de P.* L'Histoire d'Angleterre. Hague: Durand and Dupard. 1724.
- Rollin C.* Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. P., 1730–1738.
- Skinner A.* Hume's principles of Political Economy / *The Cambridge Companion to Hume* / Ed. by D.F. Norton and J. Taylor. 2 ed. Cambridge, 2009.
- Smith A.* An Inquiry into the Causes of the Wealth of Nations / Ed. by M.S. Soares. Digital edition. 2007.
- Stockton C. N.* Economics and the Mechanism of Historical Progress in Hume's History / *Hume: A Re-evaluation* / Ed. by D.W. Livingston and J.T. King. New York, 1976.
- Trevor-Roper H.* «Eikon Basilike»: The Problem of the King's Book / *Trevor-Roper H.* Historical Essays. New York, 1966.
- Woolf D.* The 'Common Voice': History, Folklore and Oral Tradition in Early Modern England // *Past and Present*. 1988. No. 120. P. 26–52.
- Wootton D.* Hume's 'Of Miracles': Probability and Irreligion // *Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment* / Ed. by M.A. Stewart. Oxford, 1990.
- Wootton D.* Paolo Sarpi: Between Renaissance and Enlightenment. Cambridge, 1983.

**Высокова Вероника Витальевна** – кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского федерального университета (Екатеринбург).  
vysokova@mail.ru

Н. В. РОСТИСЛАВЛЕВА

## ДИСКУРСЫ СВОБОДЫ В ВОСПРИЯТИИ МАКСОМ ВЕБЕРОМ РОССИИ В 1905-1906 ГОДЫ<sup>1</sup>

---

В статье рассматриваются особенности концепта свободы, ставшего основой восприятия Вебером событий Первой русской революции. Автор показывает укорененность в семье Вебера евангелических и либеральных ценностей, его убежденность в приоритетности протестантского дискурса свободы. В такой интерпретации свобода не могла найти воплощение в России без разрыва с традицией.

**Ключевые слова:** Макс Вебер, Первая русская революция, свобода, традиция, ранне-либеральная фаза, либерализм.

---

Масштаб личности Макса Вебера продолжает поражать исследователей, а утвердившиеся клише не всегда раскрывают тонкое понимание им важнейших событий современного ему мира. М. Вебер был человеком своего времени и обстоятельств. «Творческий путь Вебера становится “зеркальным отражением” социальных условий и противоречий Германской империи времен Бисмарка, нарождавшейся немецкой буржуазии, вынужденной противостоять не только рабочему классу, но и отчаянно борющемуся за свои права юнкерству»<sup>2</sup>, – пишет Е. Кравченко.

Порывистый нрав Вебера предопределил изучение его жизни в курсе психоаналитического исследования. Стремление разгадать его самобытную масштабную личность, «расколдовать» его мир стало импульсом для многих трудов о Вебере, в том числе А.И. Патрушева<sup>3</sup>. Обширный комплекс исследований о Вебере можно представить в виде айсберга, в котором публикации на русском языке составляют лишь его верхнюю часть. В данной статье поставлена задача показать как веберовский ситуативный анализ событий 1906–1906 годов в России, нашедший отражение в его работах 1906 года, был связан с освоением им наследия германского либерализма.

Американский социолог Льюис Козер писал: «Выбор ученым конкретной проблемы и уровень научного объяснения, к которому он стремится, как утверждает Вебер, зависит от ценностей и интересов исследователя. Выбор проблем исследования всегда является “ценностно-

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке Программы стратегического развития Российского государственного гуманитарного университета.

<sup>2</sup> Кравченко. 2002. С. 6.

<sup>3</sup> См., например: Патрушев. 1992.

зависимым»<sup>4</sup>. Формирование М. Вебера как личности, как исследователя во многом позволяет объяснить, почему события Первой русской революции так сильно его заинтересовали. По Веберу, то, что считается «стоящим изучения и понимания» зависит от ориентации исследователя.

Либерально-патриотические начинания семьи Веберов прослеживаются еще с начала XIX века. Дед Макса по линии матери Фридрих Фалленштейн во время освободительных войн с Наполеоном был в составе корпуса Лютцова<sup>5</sup>, его отличала любовь к свободе и тевтонским идеалам, как писала в своей книге Марианна Вебер<sup>6</sup>. Из-за его демократичности и свободолюбия прусское начальство не продвигало Фалленштейна по служебной лестнице. Он выступил с критикой правительства, пережил судебный процесс, но в итоге был оправдан<sup>7</sup>.

Бабушка по линии матери, гугенотского происхождения была очень глубокой и незаурядной женщиной, незаурядностью отличались и все ее пять дочерей, включая мать М. Вебера Елену (1844 г.р.). Семья жила в собственном доме в Гейдельберге на берегу Неккара. Наверху в доме жил Георг Гервинус, друг Ф. Фалленштейна, ученик Ф. Шлоссера, к тому же известный либерал, один из участников бунта геттингенской семерки (1837)<sup>8</sup> в защиту конституции Ганновера. В годы революции 1848–49 гг. он был членом Франкфуртского парламента, где представлял либеральные силы<sup>9</sup>. Гервинус сильно повлиял на развитие Елены, ее интересы, но в итоге женатый Гервинус воспылал к юной девушке страстью, стремился подчинить ее себе, даже среди своих учеников нашел ей мужа. Елена была вынуждена уехать в Берлин к своей старшей сестре Иде, бывшей замужем за историком Германом Баумгартеном, известным либералом эпохи революции 1848–49 гг. Таким образом, мать М. Вебера формировалась под влиянием идеалов раннего либерализма (преимущественно немецкого Юго-Запада), и ценности свободы

---

<sup>4</sup> Козер. 2006. С. 73. «Не существует абсолютно “объективного” анализа культурных или социальных явлений, не зависящих от индивидуальных или пристрастных взглядов, в соответствии с которыми они (явления) – явно или скрыто, сознательно или бессознательно – выбираются, анализируются, организуются для их обьяснения». Цит по: Козер. 2006. С. 73.

<sup>5</sup> Корпус Лютцова вошел в историю не только как активный участник борьбы с Наполеоном, но и благодаря тому, что его состав был обмундирован в черную форму, отделанную золотыми пуговицами и красными лампасами. Эти цвета стали цветами германского триколора и сейчас являются цветами флага Германии.

<sup>6</sup> Вебер, Марианна. 2007. С. 9.

<sup>7</sup> Там же. С. 10–11.

<sup>8</sup> О бунте геттингенской семерки см. подробнее: Ростиславлева. 2010.

<sup>9</sup> В книге Е. Кравченко Гервинус ошибочно назван Ф. Шлоссером.

выбора. Именно в Берлине состоялась встреча Елены с ее будущим мужем Максом Вебером: через несколько недель знакомства состоялась их помолвка<sup>10</sup>. Дед Макса по линии отца был билефельдским торговцем полотном, семью отличала протестантская религиозность.

Конец 1850-х гг. – время, когда германский либерализм претерпевал серьезную трансформацию: он преодолевал мартовские «руины», т.е. последствия поражения революции 1848–49 гг., в рамках которой либералам было не суждено создать единое немецкое государство. Гетерогенность раннего либерализма, где присутствует и присущий Пруссии бюрократический дух, и стремление построить гражданское общество, опираясь на инициативу снизу, сглаживалась под влиянием прусской версии либерализма. В 1850-е гг. состоялось выступление Людвиг Августа Роху с книгой «Реальная политика», в которой он призывал либералов в движении к единству опираться на мощь сильного государства<sup>11</sup>. Макс Вебер-старший занимал в это время должность в Берлинском муниципалитете, редактировал либеральный еженедельник и активно интересовался политикой<sup>12</sup>. Начало 1860-х гг. – время конституционного конфликта в Пруссии, в котором Бисмарк сыграл роль злого демона, пренебрегшего стремлением либералов прусского ландтага не допустить увеличения военного бюджета. Бисмарк управлял Пруссией до 1866 г. за пределами поля, обозначенного ее конституцией. Эту ситуацию иногда в литературе называют псевдоконституционализмом<sup>13</sup>. Макс Вебер-старший входил в одну из фракций правого крыла либерализма: эта партия стремилась к сильной королевской власти Гогенцоллернов и одновременно к предоставлению народу гарантированных прав.

21 апреля 1864 г. у четы Веберов родился первый сын, Макс. Его кормилицей, поскольку мать не могла кормить ребенка, была жена столяра, социал-демократа, и в семье позже шутя говорили: «Макс впитал свои политические воззрения с молоком кормилицы»<sup>14</sup>. Мать Макса стремилась в нем развить христианское благочестие. В возрасте 18 лет Макс Вебер поступил на юридический факультет Гейдельбергского университета, в котором в свое время работали Шлоссер и Гервинус. Гейдельберг – это один из крупнейших городов наиболее либерального региона Германии – великого герцогства Баден (немецкий Юго-Запад). В университете Макс наряду с юриспруденцией изучал экономику,

<sup>10</sup> Вебер, Марианна. 2007. С. 25–27.

<sup>11</sup> См.: *Langewische*. 1988.

<sup>12</sup> Вебер, Марианна. 2007. С. 31.

<sup>13</sup> См.: *Либерализм Запада*... С. 84.

<sup>14</sup> Вебер, Марианна. 2007. С. 35.

средневековую историю, философию и римское право. По окончании трех семестров Вебер оставил университет и поступил на военную службу в Страсбурге. Здесь проживала семья его тети Иды, и Макс попал под сильное влияние ее мужа Германа Баумгартена, который оставался верен «неомраченному либерализму своей юности»<sup>15</sup>. Со времени пребывания в Страсбурге вплоть до кончины Баумгартена в 1893 г., как об этом свидетельствуют письма М. Вебера, дядя оставался его главным наставником и доверенным лицом – как в политических делах, так и в интеллектуальных интересах. Также на него сильное влияние оказали бескомпромиссные религиозные принципы его тетки Иды.

В 1884 г. Вебер вернулся в Берлин и продолжил учебу в Берлинском университете. Необходимо заметить, что еще с середины XIX века Берлин и Гейдельберг были своеобразными антиподами, как в плане освоения традиции<sup>16</sup>, так и в контексте интерпретации индивидуальной свободы и гражданского общества, что, на наш взгляд, повлияло на некоторую противоречивость личности и творчества Вебера.

В Берлине Вебер защитил докторскую диссертацию, опубликовал ряд работ о положении сельскохозяйственных рабочих, приобрел популярность и в 1896 г. получил приглашение стать профессором экономики в Гейдельберге. В 1897 г. он перенес сильное потрясение в связи со смертью отца. В течение 5 лет он не мог работать и только в 1904 г. после возвращения в Гейдельберг из Гарварда написал ряд важных сочинений по методологии в социальных науках. В 1905 г. была опубликована его «Протестантская этика и дух капитализма», а за ней последовали исследования о развитии политических событий в России – «Исторический очерк освободительного движения в России и положение буржуазной демократии», более известный под названием «К положению буржуазной демократии в России (*Zur Lage der burgerlichen Demokratie in Russland*) и «Переход России к мнимому конституционализму» (*Russlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus*)<sup>17</sup>. Обе работы были опубликованы в «Архиве социальной науки и социальной политики» (*Archiv für Sozialwissen-*

---

<sup>15</sup> Козер. С. 98.

<sup>16</sup> Так, в Гейдельбергском университете школа Тибо ориентировалась на принципы естественного права, направленного на разрыв с традицией, тогда как в Берлине процветала линия «исторической школы права» во главе с Савиньи, не признававшей разрыва с ней. В баденском либерализме общество не уравнивалось с государством и подразумевалось, что импульсы эмансипации должны исходить снизу, тогда как в прусской версии, по Гегелю, общество уравнивалось с государством, и это выразилось в итоге в склонности прусского либерализма к компромиссам с государством.

<sup>17</sup> Weber. 1989. Русский перевод: Вебер. 1906.

schaft und Sozialpolitik), редактором которого был Вебер вместе с В. Зомбартом и Эдгаром Яффе. В предисловии к собранию сочинений ученого эти труды названы В. Моммзенем «важными свидетельствами развития политического мышления Макса Вебера»<sup>18</sup>.

В историографии вопрос о русских штудиях Вебера всегда упоминается в трудах о нем<sup>19</sup>, но их анализ удалось обнаружить только в работах А. Кустарева «Начало русской революции: версия Макса Вебера», «Макс Вебер о модернизации русского самодержавия»<sup>20</sup>. Он же он написал предисловие к сборнику «О России», где содержатся сокращенные версии эссе и статей Вебера о России<sup>21</sup>.

В монографии А.Б. Рахманова «Социальная философия Макса Вебера. Метаморфозы и кризисы»<sup>22</sup>, один из параграфов посвящен анализу работ Вебера «К положению буржуазной демократии в России» и «Переход России к мнимому конституционализму». Анализ «русских штудий» Вебера можно обнаружить также в книге Юрия Давыдова и Пиамы Гайденко «Россия и Запад»<sup>23</sup>, представляющей собой публикацию на немецком языке цикла лекций о Максе Вебере, прочитанных в Гейдельберге в 1992 г. (Heidelberger Max Weber Vorlesungen). В вышеназванных работах присутствуют различные интерпретации восприятия М. Вебером России 1905–1906 гг.

А.Б. Рахманов утверждает, что «Вебер рассматривал события революции как результат противоречий между классами крупных полупфеодальных землевладельцев (помещиков), буржуазии, крестьянства и рабочего класса», что в этой работе Вебер близок к материалистическому пониманию истории Маркса и Энгельса<sup>24</sup> и не рассматривает религию в качестве детерминанты общественной системы, в чем Рахманов видит главное отличие данного труда от «Протестантской этики» и отмечает: «Возникает ощущение, что эти работы написаны разными людьми»<sup>25</sup>.

А.С. Кустарев по поводу штудий Вебера о России пишет: «На примере России Вебер оценивает возможности зарождения идеологии и практики «свободы не в сфере религиозного переживания, как это было в Европе в эпоху раннего модерна, а в сфере политической программы и

---

<sup>18</sup> Mommsen. 1989. S. VII.

<sup>19</sup> Kaesler. 2011. S. 68.

<sup>20</sup> Кустарев. 1990; 2006.

<sup>21</sup> Кустарев. 2007. С. 5–14.

<sup>22</sup> Рахманов. 2011. С. 165–192.

<sup>23</sup> Davydov, Gaidenko. 1995.

<sup>24</sup> Рахманов. 2011. С. 173.

<sup>25</sup> Там же. С. 183.



политического процесса», а также обращает внимание на переход Вебера в его оценках от осторожного оптимизма к пессимистическим тонам<sup>26</sup>.

В очерке Ю. Давыдова «Шансы свободы в России. Взгляд Макса Вебера на проблемы революции 1905 г.», опубликованном в книге Ю. Давыдова и П. Гайденко «Россия и Запад», утверждается противоположное: работы Вебера о России. плодотворно рассматривать в контексте социальной философии Вебера, основные черты которой проявились уже в серии статей 1906 года. По мнению Давыдова, их Вебер задумывал как часть «Протестантской этики» и именно это обстоятельство нашло выражение в веберовской хронике русской революции<sup>27</sup>.

Обращение Вебера к событиям русской революции может быть обозначено, используя веберовскую терминологию, как ценностно-рациональный подход. Вебер устремил свой интеллектуальный взор к событиям в России сразу же после начала революции 1905 года. За два месяца он выучил русский язык так, что смог читать в оригинале русские газеты и журналы. В Гейдельберге в его распоряжении была богатая читальня с периодическими изданиями: газеты «Новое время», «Русь», «Право». Наконец, свою роль сыграла помощь Богдана Александровича Кистяковского, бывшего тогда в Гейдельберге и ориентировавшего Вебера в сложных вопросах. Как уже отмечалось, книга Вебера «К положению буржуазной демократии в России» была впервые переведена на русский язык в 1906 г. и опубликована в Киеве. На эту работу в 1906 г. был представлен отзыв в журнале «Былое», где отмечалось, что автор использовал все имевшиеся в его распоряжении материалы и «пытается, хотя это далеко не всегда ему удается, относиться возможно объективно к ним. Он обнаруживает хорошее, хотя и одностороннее знание русской жизни и в интересных примечаниях к тексту своей работы дает много любопытных даже для нас характеристик русских политических деятелей, органов печати, наконец, различных общественных организаций, например Вольного русского экономического общества»<sup>28</sup>.

Попробуем разобраться, являлась ли категория свободы основой для восприятия Вебером первой русской революции, и, если да, то какой ее ракурс был для ученого ведущим в изучении событий в России.

Семья Вебера была либеральной ориентации, приветствовал либеральный взгляд и Макс. Но в его уже зрелых либеральных взглядах, как отмечает В. Моммзен, национальное превалировало над либеральным.

---

<sup>26</sup> Кустарев. 2007. С. 7.

<sup>27</sup> Davydov, Gaidenko. 1995. S. 73.

<sup>28</sup> Вебер. 1906. форзац.

Вебер был очень обеспокоен раздробленностью немецкого либерализма, поэтому в его политической системе ценностей главную роль играли нация, власть, культура<sup>29</sup>, и с этих позиций он критиковал либерализм вильгельмовской Германии и классический либерализм также.

Вебера называют идейным лидером группы «либеральных империалистов»<sup>30</sup>. На такой же платформе стоял и его близкий друг Ф. Науман, который стремился возродить либерализм, поставив под его контроль рабочее движение, для этого был создан «Национал-социальный союз». Но если для Наумана сильное национальное государство в первую очередь средство для социальных реформ, то для Вебера социальная политика проистекала из национально-политических соображений<sup>31</sup>. Германия должна быть сильным и мощным государством (*Machtstaat*) и быть причастной к решению вопросов о будущем земли<sup>32</sup>. В конце 1890-х гг. Вебер поддерживал идею создания национальной партии буржуазной свободы, что соответствовало задачам масштабного индустриального развития Германии. Политика подчинения либерализму социального вопроса не удалась. К 1905 г. Веберу уже стало ясно, что шансы на самостоятельную и успешную либеральную деятельность в Германии утеряны. «Это трагично и символично для фатального положения немецкого либерализма начала XX в., что человек (имеется в виду М. Вебер – *H.P.*) с такими превосходными навыками глубокого политического анализа... отрекся от активной политической деятельности в Германии»<sup>33</sup>. В свою очередь Фридрих Зелл отмечал: «В личности и судьбе Макса Вебера выражается символическое величие и провал духовного либерализма в Германии около 1900 года, углубленное понимание, твердая воля к истине и неспособность эти познания перевести в действия»<sup>34</sup>. Неспособность перевести свои познания в действия была во многом присуща германской раннелиберальной фазе<sup>35</sup>. Вполне корректно утверждать, что в либеральных идеях Вебера, в его представлениях о свободе находят отзвуки элементы раннего германского либерализма. Учитывая это, можно более точно интерпретировать особенности восприятия Вебером России. Подход к России в рамках комплекса идей и понимания категории свободы раннелиберального

---

<sup>29</sup> *Mommsen*. 1974. S. 90–96, 132–133.

<sup>30</sup> *Патрушев*. 1995. С. 87.

<sup>31</sup> *Mommsen*. 1974. S. 136–137.

<sup>32</sup> *Ibid.* S. 69.

<sup>33</sup> *Ibid.* 140.

<sup>34</sup> *Sell*. 1953. S. 310.

<sup>35</sup> См.: *Ростиславлева*. 2010. С. 41–162, 322–367, 411–424.

периода плодотворен и в том плане, что Россия по уровню своего политического развития в 1905 г. соответствовала примерно уровню политического развития Германии первой половины XIX в., которая тогда уже начала переживать индустриальную фазу. В России начало индустриализации датируется обычно 1880-ми годами<sup>36</sup>.

Классическое выражение свободы в протестантском духе принадлежит эпохе раннего капитализма, в свою очередь зрелый капитализм объективирует эту свободу в формальные и бюрократические структуры, когда капитализм перестает быть способом свободного решения личности. Но свободе требуется также творческое напряжение, благодаря которому Запад являлся классической манифестацией свободы выбора и самостоятельности действия, подлинного демократического порядка общественной жизни<sup>37</sup>. Действительно, Вебер отмечал реальность формализации и бюрократизации общественно-политических отношений и писал в работе «К положению буржуазной демократии»: «Все экономические знаки указывают на направление растущей несвободы»<sup>38</sup>. Таким образом, свобода и капитализм, по Веберу, противоположности, и давление зрелого капитализма на демократические институты, на свободную личность повышается. Поэтому Вебер в работе «К положению буржуазной демократии в России» не случайно позитивно высказывается о проекте конституции партии кадетов: этот проект «является симптомом определенного политического образа мыслей наиболее деятельных русских идеалистов патриотов, лично которым принадлежат все наши симпатии, безотносительно к конечным результатам их труда»<sup>39</sup>.

Вебер отдавал себе отчет в том, насколько сложны были в тот период отношения России и Германии. Он писал: «Одинаковую ненависть к нам питают как русская бюрократия со времен Берлинского конгресса, так и русская демократия без различия оттенков, и это настроение будет продолжительным, потому что внешнее могущество Германии должно надолго остаться досадным бюрократическому национализму, а ее территориальные владения – демократическому федерализму»<sup>40</sup>.

Объективно цель этой революции в России – достижение свободы. Ю. Давыдов назвал эту ситуацию вокруг свободы в годы Первой русской

---

<sup>36</sup> См.: *Грегори*. 2003. С. 18. Автор статьи писал: «В России индустриализация началась по-настоящему только в 1880-е гг.».

<sup>37</sup> *Davydov*. 1995. S. 74.

<sup>38</sup> *Weber*. Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Russland // *Weber*. 1989. Bd. 10. S. 270.

<sup>39</sup> *Вебер*. 1906. С. 8.

<sup>40</sup> Там же. С. 9.

революции «драмой свободы», «трагедией опоздавшей свободы» и подчеркивал ее антитезу к экономической необходимости<sup>41</sup>. Действительно, Вебер отмечал: «В русском обществе действуют импортированные новейшие силы крупного капитала, тогда как это общество все еще покоится на фундаменте архаического крестьянского коммунизма. Из истории России были исключены все те стадии развития, на которых сильные экономические интересы собственников служили буржуазному движению за свободу... Нигде борьба за свободу не велась в таких трудных условиях, как в России. Нигде она не велась с таким самопожертвованием, и немцы, сохранившие еще какие-то остатки идеализма наших отцов, должны испытывать естественную симпатию к этой борьбе»<sup>42</sup>.

Вспомним доктринерский, оторванный от индустриализма либерализм К. фон Роттека и К.Т. Велькера, Ф.К. Дальмана и В. фон Гумбольдта. Роттек и Велькер вообще понимали свободу как принцип теории естественного права, В. Гумбольдт отождествлял свободу с безопасностью и акцентировал необходимость зрелости индивидуума для свободы, Дальман связывал свободу с традицией и главной ее гарантией считал конституцию. Только в индустриально развитой Рейнской области понимание свободы корреспондировалось с собственностью, промышленностью и утверждением среднего класса, но и там стремились к конституции<sup>43</sup>. Таким образом, между утверждением идеалов свободы и активным процессом индустриализации в Германии пролегает интервал в несколько десятилетий. Свобода должна утверждаться постепенно, а ее главный гарантом в представлении представителей раннего либерализма является конституция.

Вебер понимал, что для России начала XX в. свобода – это еще иллюзия, тогда как для западного общества она стала к тому времени повседневностью во многом благодаря раннелиберальной фазе. Если опираться на методологию самого Вебера, то по мере развития капитализма идет неуклонный процесс общей рационализации жизни и бюрократизации, поэтому в отношении утверждения свободы в России может звучать и пессимизм. Так, А. Кустарев подчеркивает, что утверждение свободы в начале XX в. не имеет в России никаких перспектив, возможны лишь благожелательные желания, которые лишены любой основы<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Davydov. 1995. S. 75, 76.

<sup>42</sup> Вебер. 2007. С. 103–104.

<sup>43</sup> См. об этом подробнее: Ростиславлева. 2010.

<sup>44</sup> А. Кустарев в своей статье пишет: «Российский конституционализм сразу на пороге кризиса, «машина продолжает, как если бы ничего не случилось... офици-

Поиском крупниц свободы в России и занимался Вебер. По его мнению, Союз освобождения и земское движение – это те органы, которые выступали за либерализацию и подготовку конституции. Ученый замечал: «...насколько неуверенно в то время либеральное движение и как после развили его съезды»<sup>45</sup>. На этих съездах в 1904 г. была принята конституционная резолюция «11 пунктов» (свобода личности, союзов, собраний, и печати, равноправие граждан, особенно для крестьян). Эти элементы свободы приветствовались Вебером. Он писал: «В земских съездах рядом с либеральными помещиками находим цвет русской университетской интеллигенции и политической публицистики. По степени своего либерализма и по составу съездов, поскольку возможны такие сравнения, они представляют и самым близким образом напоминают собой предварительный парламент 1848 г. и Франкфуртское, не Берлинское Национальное собрание»<sup>46</sup>. Здесь снова обнаруживается вызов раннегерманского либерализма, ведь именно деятельность Франкфуртского собрания в годы революции 1848–49 гг. стала кульминацией развития раннелиберальной фазы. Однако известно, что Франкфуртское собрание не смогло утвердить на германском пространстве идеалы свободы. Социальный состав Франкфуртского парламента аналогичен земским съездам. Вебер замечал: «Собственно буржуазия, именно крупная промышленная в земствах имела мало влияния. Земские либералы были лица обеспеченные, они были носителями социального идеализма, который не легко поддается организации в общественную силу. Т.е. это так называемый второй элемент, но есть еще пролетарская интеллигенция на земских должностях. Это по выражению Плева, “третий элемент”. Этот третий элемент образует многочисленную бюрократию и на нем лежит совместно с Управой регулярная работа в земствах»<sup>47</sup>.

Каково отношение Вебера к конституционному проекту группы «Освобождения»? Он «неисторичен» заявлял ученый. Вебер задавался вопросом, а что же собственно в настоящей России «исторического». «Исключая церкви и крестьянские общины ... может быть еще абсолютная власть царя, воспринятая от татарских времен, которая в настоящее время после распада всех органических форм, определивших Россию XVII-го и XVIII-го столетий, висит воздухе и стала совершенно неисторичной. Страна, которая по своим учреждениям едва ли больше,

---

ально даруются свободы. А когда ими хотят воспользоваться, выясняется, что эти свободы – иллюзия». *Кустарев*. 2006. С. 74.

<sup>45</sup> Вебер. К положению буржуазной демократии. С. 15.

<sup>46</sup> Там же. С. 18.

<sup>47</sup> Там же. С. 19.

чем столетие назад, представляла собой сильное сходство с империей Диоклетиана, не может в действительности предпринять никакой исторически обоснованной и при этом все же жизнеспособной реформы»<sup>48</sup>, – писал ученый. Вебер явно склонялся к разрыву с традицией. Именно разрыв с традицией – краеугольный камень юго-западного раннего либерализма в Германии. Но в этом же тексте можно обнаружить и отчетливо выраженное уважение им традиции в процессе продвижения к свободе. Так, Вебер высоко ценил земства за их готовность к денежным пожертвованиям для «идеальных целей» и писал о том, что они «совершенно одинакового происхождения с действиями наших восточно-пруссских представителей сословий 1847 г.»<sup>49</sup>. Уважение Вебера к прусскому либерализму с его выраженным уважением к традиции – также особенность понимания им свободы.

Либеральная линия проекта – это упор на самоуправление, и Вебер это акцентировал, поскольку в основе этого проекта «самоуправление во всех областях государственной жизни, за исключением тех отраслей управления, которые при настоящих условиях государственной жизни необходимо должны быть сконцентрированы в руках центральной власти»<sup>50</sup>. Самоуправление – важная часть проекта конституционного либерализма в Германии, точнее немецкого Юго-Запада, где оно выступает как основа создания гражданского общества<sup>51</sup>.

Очень сложен для анализа вопрос о всеобщем избирательном праве проекта группы Освобождения. Вебер отмечал, что это выгодно отличает данный проект от сторонников цензового и непрямого начала и от антибюрократических славянофильских групп Шипова с их идеей образования из земств совещательного народного представительства, контролирующего финансы. Всеобщее избирательное право Вебер рассматривал как «исторический» устой. Он писал: «В России развитие городского среднего сословия в западноевропейском смысле является слабым не только в силу исторических причин, но также и потому, что капитализм также и здесь проник во все слои и всякая попытка выступления за цензовое начало означает для реформистского агитатора: офицера без солдат. Городские рабочие, само собой понятно, никогда не дали бы себя обмануть в этом отношении. Кроме того, в деревнях, где еще сохранилась община, цензовое начало можно было провести только

---

<sup>48</sup> Там же. С. 21.

<sup>49</sup> Там же. С. 22. Имеется в виду прусский соединенный ландтаг 1847 г.

<sup>50</sup> Там же. С. 25.

<sup>51</sup> См.: Ростиславлева. 2000. С. 178–184.

при посредстве самого большого произвола»<sup>52</sup>. Таким образом, казалось, что по Веберу введение всеобщего избирательного права – это защита либерализма, так как не охваченные им рабочие и крестьяне могли бы пользоваться реакцией в борьбе с либерализмом. Но объективно это совсем не так. Ю. Давыдов отмечает, что в той ситуации идея всеобщего избирательного права не соответствовало духу либеральной буржуазно-демократической программы<sup>53</sup>. Можно обнаружить это и у Вебера, который замечал, что «самый убежденный демократ или социал-демократ отнесся бы с большим сомнением к вопросу о введении именно этого избирательного права впервые в этой стране и именно в настоящий момент», «...в действительности непосредственным последствием была бы полная бюрократизация земского самоуправления и при всем признании выдающихся заслуг земцев, так называемого третьего элемента, оно бы все-таки могло быть только предвестником централизации на французский манер»<sup>54</sup>. Именно всеобщее избирательное право в данном контексте – угроза свободе и правам человека.

Права человека связаны и с вопросом о национальностях. Но он в проекте не отражен, хотя очень волновал Вебера, поскольку ученый размышлял о том, что сделало либеральное движение России для демократического разрешения национального вопроса и приветствовал программу польской прогрессивно-демократической партии, которая была родственна программе русского либерализма и выступала за национальную автономию Польши при условии неделимости русского государства<sup>55</sup>. Этот сложный вопрос с трудом коррелируется с программой раннего германского либерализма, который, увы, не занимался решением польского вопроса в Германии.

В проекте конституции не затрагивался вопрос о православной церкви, но Вебер размышлял об этом. Его скепсис относительно православной церкви отчетливо выражен: «...прошлое и форма организации православной церкви делает совершенно невероятным – как бы ее не перестраивать – чтобы она наподобие римской церкви смогла проявить себя защитницей свободы против власти полицейского государства. Она удовлетворилась бы большей широтой самоуправления и эмансипацией от бюрократии. Идея Третьего Рима является для нее порождением цезарепапизма»<sup>56</sup>. По Веберу, совершенно невероятно, чтобы она

<sup>52</sup> Вебер. К положению буржуазной демократии. С. 27.

<sup>53</sup> Davydov. 1995. S. 84.

<sup>54</sup> Вебер. К положению буржуазной демократии. С. 30–31.

<sup>55</sup> Там же. С. 37–39.

<sup>56</sup> Там же. С. 54–55.

удовлетворилась парламентским цезарепапизмом наподобие греческой или румынской церкви. Эти размышления ученого заставляют нас вновь вспомнить, что именно в 1905 г. была опубликована его «Протестантская этика», где прослеживается связь религиозности и свободы. Православная церковь, по мнению Вебера, не была союзницей либералов в борьбе за свободу. Он ссылается на П. Милюкова, заявлявшего, что россиянин безразличен к своей церкви<sup>57</sup>. Во многом мысли о союзе либерализма с протестантской церковью навеяны были личностью пастора Ф. Наумана, друга М. Вебера, но в целом – существованием прочной связи индивидуализма и протестантизма.

Довольно много внимания Вебер на страницах данного сочинения уделил аграрному вопросу, но приветствовал такую аграрную реформу, которая обеспечит неизбежное развитие западноевропейской индивидуалистической культуры<sup>58</sup>. Либералы должны прежде всего обеспечить «этическое уравнивание» жизненных шансов, поэтому они должны замедлять аграрную реформу.

Размышления Вебера о России не могли не затронуть отношения либерализма и чиновников. Этот вопрос был актуален для раннегерманской либеральной фазы. В отдельных регионах Германии, в Пруссии, чиновники проводили либеральные реформы, например в 1807–1810 гг., но эти реформы получили оценку как реформы «бюрократического либерализма»<sup>59</sup> и объективно способствовали укреплению прусского абсолютистского государства.

Хотя фразы Вебера о том, что политика провинциального чиновничества привела в дальнейшем к дискредитации всего освободительного движения, в особенности буржуазно-конституционного антицентралистского либерализма, звучат довольно пессимистично, но это, видимо, общее место для либерального движения в России и Германии.

В истории борьбы за свободу в Германии, были случаи, в ходе которых двор и чиновничество принимали покровительство либералов, например в годы революции 1848 г. в Пруссии, когда было создано «мартовское», либеральное министерство Кампгаузена-Ганземана. Но век его оказался короток: в июне 1848 г. ушел в отставку Кампгаузен, а в сентябре 1848 г. Ганземан. В отличие от России прусская бюрократия в те годы не была преисполнена презрением к либералам, поскольку и бюрократия, и либерализм довольно неплохо обеспечивали потребно-

---

<sup>57</sup> Там же. С. 58–60.

<sup>58</sup> Там же. С. 128–129.

<sup>59</sup> *Langewische*. 1988. S. 18; *Wehler*. 1996. Bd. 1. S. 397.



сти нарождавшегося индустриализма. Однако этот пример репрезентативен только наполовину, поскольку в Пруссии сотрудничество с бюрократией не всегда было оптимальным, и бизнес искал также и иные возможности для реализации идеологии индивидуализма<sup>60</sup>. В России это было неприемлемо. Вебер писал: «В настоящем же случае, даже самому умеренному конституционному земскому либерализму не представлялось вообще никакого случая и поэтому, очевидно, не в его силах было изменить судьбу. Точно также как это мало зависело от Беннигсена, который... отклонил вступление в министерство Бисмарка. Ибо как Людовик XVI не пожелал бы быть спасенным Лафайетом, точно также нет ничего более верного, что двор и его чиновничество скорее бы приняли покровительство черта, чем земского либерализма»<sup>61</sup>.

По мнению Вебера, свободе и России, и Германии мешал династический принцип. Он замечал, что «хотя положение России кричит о новом государственном муже, но династическое честолюбие при определенном составе правительства оставляет там так же мало места для великого реформатора, – а если бы он нашелся, как где бы то ни было, например у нас»<sup>62</sup>. В работе «Переход России к псевдоконституционализму» он добавлял, что чиновники не выдвигают из своей среды «государственных деятелей, способных осуществить большие реформы. «Этому мешают уже одни династические амбиции, точно так же, как и у нас в Германии»<sup>63</sup>. На заре либеральной эры чиновники провели реформы в Пруссии. Но это были реформы бюрократического либерализма, защищавшие интересы нации, не подразумевавшая разрыва с традицией. Германские реформаторы 1848 года сумели только задекларировать свой план, но не реализовать его, опять таки в силу проснувшегося династического честолюбия Гогенцоллернов.

Вывод Вебера в целом довольно пессимистичен: «...без сомнения верно, что Россия “незрела” для истинно конституционной реформы, но причиной этого не являются либералы. Ибо при подобных отношениях придется все же сказать, что до тех пор, пока не будут даны совершенно другие “гарантии”, не имеет в действительности никакого политическо-

---

<sup>60</sup> Например, довольно интересно сохранял возможности для утверждения индивидуализма Д. Ганземан. Несмотря на то, что он был в составе двух министерств Пруссии и возглавлял до 1849 г. Прусский банк, в итоге он вынужден был для финансирования нараставших потребностей индустриализации создать независимую от прусской бюрократии структуру. См. об этом подробнее: *Ростиславлева*. 2010.

<sup>61</sup> *Вебер*. К положению буржуазной демократии. С. 137.

<sup>62</sup> Там же. С. 138–139.

<sup>63</sup> *Вебер*. Переход России к псевдоконституционализму. С. 102.

го смысла мысль о «соглашении» земского либерализма с правительством»<sup>64</sup>. Представители российского либерализма не могли поступить бы иначе, как «хранить в чистоте свое знамя». Поэтому победа российских либералов и не была возможной, поскольку не пройдена так называемая «идеалистическая фаза» в истории русского освободительного движения. Возникает в этой связи вопрос, насколько можно считать раннелиберальную фазу развития, например на Юго-Западе, тупиком, как утверждал известный германский историк Л. Галл<sup>65</sup>. В свете рассуждений Вебера о России следует признать, что раннелиберальная фаза была необходима и следовательно продуктивна для утверждения свободы.

В веберовской интерпретации свобода не могла найти воплощение в России, поскольку исходная точка его представлений о ней – протестантский дух. Усложняло бытие российской свободы и нараставшее развитие капитализма. Именно опора на ценности протестантизма позволяла в Германии сохранить значение свободы при капитализме как свободы выбора и самостоятельности действия, что в силу имеющейся традиции было невозможно в России<sup>66</sup>. Отсутствие в России раннелиберальной фазы также делает невозможным утверждение свободы без разрыва с традицией.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Вебер М. Исторический очерк освободительного движения в России и положение буржуазной демократии. Киев: Типография И.И. Чоколова, 1906. 149 с.
- Вебер М. Переход России к псевдоконституционализму // Вебер М. О России. М.: РОССПЭН, 2007. С. 56–104.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Электронный ресурс. URL: [sbiblio.com/biblio/download.aspx?id=2427](http://sbiblio.com/biblio/download.aspx?id=2427).
- Вебер, Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М.: РОССПЭН, 2007. 653 с.

<sup>64</sup> Вебер. К положению буржуазной демократии. С. 140.

<sup>65</sup> Gall. 1968. S. 46.

<sup>66</sup> В работе «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер писал: «...я придаю большое значение влиянию хозяйственного развития на судьбы религиозных идей и в дальнейшем попытаюсь показать, как в рамках нашей темы складывается процесс взаимного приспособления этих двух факторов и их взаимоотношения. Дело, однако, заключается в том, что религиозные идеи не могут быть просто *дедуцированы* из экономики. Они в свою очередь, и это совершенно бесспорно, являются важными пластическими элементами «национального характера», полностью сохраняющими автономность своей внутренней закономерности и свою значимость в качестве движущей силы. Что же касается *важнейших* различий – различий между лютеранством и кальвинизмом, то они сверх того обусловлены преимущественно *политическими* причинами, поскольку, вообще здесь играют роль не религиозные моменты». См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Электронный ресурс. URL: [sbiblio.com/biblio/download.aspx?id=2427](http://sbiblio.com/biblio/download.aspx?id=2427).

- Грегори П.* Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.) Новые подсчеты оценки. М.: РОССПЭН, 2003. 253 с.
- Козер Л.А.* Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте. М.: Норма, 2006. 513 с.
- Кравченко Е.* Макс Вебер. М.: Изд-во «Весь мир», 2002. 221 с.
- Кустарев А.С.* Макс Вебер о модернизации русского самодержавия // Полис. 2006. № 2. С. 66–76.
- Кустарев А. С.* Начало русской революции: версия Макса Вебера // Вопросы философии 1990. № 8. С. 119–130.
- Кустарев А.С.* Предисловие// О России. М.: РОССПЭН, 2007. С. 5–13.
- Либерализм Запада. XVII – XX века /* Под ред. В.В. Согрина, А.И. Патрушева и др. М.: Институт всеобщей истории, 1995. 227 с.
- Патрушев А.И.* Пути и драмы немецкого либерализма // Либерализм Запада. XVII–XX века... С. 74–90.
- Патрушев А.И.* Расколдованный мир Макса Вебера. М.: Изд-во МГУ, 1992. 208 с.
- Рахманов А.Б.* Социальная философия Макса Вебера. Метаморфозы и кризисы. М.: УРСС, 2011. 559 с.
- Ростиславлева Н.В.* Либерал Давид Ганзман – поборник единства Германии и свободного предпринимательства (середина XIX века) // Новая и новейшая история. 2010. № 6. С. 192–206.
- Ростиславлева Н.В.* Либерализм и формирование гражданского общества в Германии в первой половине XIX в. // Право на свободу: материалы междунар. конф. М.: РГГУ, 2000. С. 178–184.
- Ростиславлева Н.В.* Германские либералы первой половины XIX в. М.: РГГУ, 2010. 424 с.
- Davydov Jurij, Gaidenko Piama P.* Russland und der Westen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. 244 S.
- Gall L.* Der Liberalismus als regierende Partei. Wiesbaden, 1968. 524 S. (Veröffentlichung des Institut für europäische Geschichte Mainz).
- Kaesler D.* Max Weber. München: Verlag C. H. Beck, 2011. 128 S.
- Langewische D.* Liberalismus Deutschland. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1988. 381 S.
- Mommsen W.* Max Weber und die deutsche Politik. 1890–1820 . Tübingen: JCB MORA, 1974. 442 S.
- Mommsen W.* Vorwort // Max Weber. Gesamtausgabe. Bd. Abteilung I. Tübingen, 1989. S. VII–X.
- Sell F.* Die Tragödie des deutschen Liberalismus. Stuttgart: Deutscher Verl. – Anst., 1953. 478 S.
- Weber M.* Russlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus// Weber M. Gesamtausgabe. Bd. 10. Abteilung I. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1989. 855 S.
- Weber M.* Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Russland // Weber M. Gesamtausgabe. Bd. 10. Abteilung I. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1989. 855 S.
- Wehler H.-U.* Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 1700–1815. München; Beck, 1996. Bd. 1. 676 S.
- Ростиславлева Наталья Васильевна** – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, со-директор Российско-германского учебно-научного центра РГГУ; [ranw@mail.ru](mailto:ranw@mail.ru)

Т. А. СИДОРОВА

## АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ МЕЙТЛЕНДОВЕДЕНИЕ XX ВЕКА

---

Статья посвящена исследованию формирования и развития мейтлендоведения как коллективной памяти по реконструкции жизненного пути и научного наследия выдающегося британского историка и юриста Ф.У. Мейтленда (1850–1906) в англо-американской историографии XX века.

**Ключевые слова:** *Ф.У. Мейтленд, мейтлендоведение, англо-американская историография, коллективная память.*

---

Проявления коллективной памяти исключительно разнообразны. Ее историографический вариант в англо-американской научной традиции XX века – мейтлендоведение – свидетельствует об устойчивом исследовательском интересе к изучению жизненного пути и научного наследия Фредерика Уильяма Мейтленда (1850–1906), одного из крупнейших историков и правоведов XIX столетия, родоначальника критического направления в британской исторической науке. Коллективная память в ее историографическом выражении понимается как форма и способ аккумуляции, хранения и трансляции информации по реконструкции прошлого в формате исторического времени.

Профессиональный интерес к личности и творчеству Мейтленда на его родине и в США не ослабевает на протяжении всего более чем столетнего периода. За это время в англо-американской историографии оформилось особое направление – мейтлендоведение, начало которому было положено в середине 1880-х гг. Понятие «мейтлендоведение» является новым в отечественной и зарубежной исторической науке и предлагается автором статьи впервые. Мейтлендоведение, как направление в историографии, обладает необходимыми квалификационными характеристиками: имеет объект исследования – Ф.У. Мейтленд и его научное наследие; предмет исследования – взгляды, ключевые проблемы истории английского средневековья и нового времени, методы, технические приемы британского историка, характеризующие его отношение к истории как научной дисциплине и процессу; устойчивую продолжительность и преемственность традиций (середина 1880-х гг. – первая декада XXI в.); динамику развития, обусловленную закономерностями «всплесков» исследовательского интереса к творчеству Мейтленда – в связи с памятливыми датами (по случаю кончины, в связи со столетием со дня рождения, столетием публикации «Истории английского права») и потребностями

исторической науки; историографическую традицию – наличие монографий, статей, лекций, рецензий на его работы, некрологической литературы; фигура и наследие Мейтленда анализируются в трудах обобщающего характера по истории исторической науки Европы, Великобритании и США, а также – в солидных справочно-энциклопедических изданиях.

В мейтлендоведении можно выделить две основные аналитические линии, условно названные «апологетической» и «критической». Следует подчеркнуть, что апологетически настроенные историки отнюдь не относились к числу беспрекословно разделявших все без исключения научные позиции Мейтленда, но в своем критическом анализе проявляли взвешенность, известную умеренность и объективность: критикуя Мейтленда, они неизменно обращали внимание на «сильные стороны» его научного наследия и огромный вклад в развитие исторической науки. «Критики» великого критика сконцентрировали свое внимание преимущественно на «ошибках», «недостатках», «заблуждениях», «слабых сторонах» трудов Мейтленда, но и они, правда, в гораздо меньшей степени, нежели «апологеты», признавали значимость того, что было сделано им для развития научных знаний в области истории.

Наиболее «апологетически» относились к взглядам Ф.У. Мейтленда: У. Бакленд, Г. Белл, П.Г. Виноградов, А. Дайси, Э. Кэм, Дж. Кэмерон, А. Макфарлейн, Ф. Поллок, Г. Ричардсон, А.Н. Савин, Дж. Сейлс, А.Л. Смит, Дж.М. Тревельян, С. Файфут, Г. Фишер, Г. Холлонд, Р.Л. Шуйлер, Дж.Р. Элтон. К числу критически и гиперкритически настроенных аналитиков в оценке наследия Мейтленда относятся: М. МакКолл, Р.С. Монпенсье, С.Ф.Ч. Милсом, Д.М. Раббан, Дж. Раунд, Дж. Тейт, П. Уормолд, Дж. Хадсон, Б. Уилкинсон. Названия обеих линий в мейтлендоведении носит, главным образом, технический характер, а в их персональный состав со временем будут внесены уточнения и корректировки.

В развитии англо-американского мейтлендоведения прослеживаются четыре основных этапа. Первый период совпадает с появлением первых откликов на публикации Мейтленда и до его кончины охватывает около двух десятилетий (середина 1880-х – 1906 г.). В этот период были опубликованы практически все известные научные труды Мейтленда, за исключением вышедших посмертно<sup>1</sup>. Эти публикации почти на девять десятилетий пережили автора: первая увидела свет в 1875 г., последняя – в 1995 г.<sup>2</sup>, т.е. в общей сложности печатались в течение сто двадцати лет.

---

<sup>1</sup> Полная библиография трудов Мейтленда составляет 24 тома, представить ее здесь в полном объеме невозможно, поэтому будут указаны лишь отдельные работы.

<sup>2</sup> *Maitland*. 1911. Vol. I. P. 7–79. *The Letters of Frederic William Maitland*. 1995.

Блестящему перу британского историка и правоведа принадлежит 164 публикации, включая избранные очерки, два тома изданий эпистолярного наследия, трехтомное Собрание сочинений: из них – одна диссертация (конкурсная работа), четыре объемных монографии; более ста статей (восемь – в энциклопедических изданиях); сорок рецензий на работы коллег; 17 томов архивных материалов по истории английского средневекового права, подготовленных и изданных персонально или в соавторстве, и содержавших пространные аналитические введения (из 21 тома публикаций «Селденского общества» восемь были изданы Мейтлендом лично, 9-й был практически завершен и подготовлен к печати накануне его смерти); перевод труда О. Гирке; четыре лекционных курса, опубликованных при жизни автора и посмертно; два тома очерков, являющихся, по сути, монографическими исследованиями; восемь отдельных лекций разных лет.

Мейтлендоведение первого периода представлено 55 рецензиями и 5 некрологами (три из них посвящены Мейтленду и два – М. Бейтсон)<sup>3</sup>.

Второй период (1907–1960-е гг.) – постмейтлендовский.

В эти годы продолжали выходить труды Мейтленда, многие из которых находились в печати или были подготовлены к публикации еще при его жизни. С 1907 до 1965 гг. было опубликовано 22 его работы: три тома Годичных книг; четыре курса самых известных лекций, пространный очерк по истории английского права, шесть статей, три внушительных по объему тома избранных трудов Мейтленда, подготовленных к изданию Г.П. Хэзлтайном, Э. Кэм и Р.Л. Шуйлером; в 1911 г. Г. Фишер опубликовал трехтомное Собрание сочинений Ф.У. Мейтленда, 1965 год был ознаменован выходом в свет коллекции эпистолярного наследия Мейтленда, опубликованного С. Файфутом.

Ф.У. Мейтленд скончался в ночь с 19 на 20 декабря 1906 г., поэтому основной массив некрологов был опубликован в течение следующего года. Их много, из разных стран, но мне удалось отыскать, а главное прочитать семнадцать из них<sup>4</sup>.

Постмейтлендовский период – время интенсивного осмысления его наследия в англо-американской историографии, начало формирования «критической» линии при сохранении общей «апологетической» направленности исследований. Нижняя граница этого периода вполне понятна и не требует дополнительных объяснений. Верхнюю границу уместно свя-

---

<sup>3</sup>Основная часть исследований английских и американских историков четырех периодов в мейтлендоведении указана в Библиографии данной статьи.

<sup>4</sup>Некрологи на немецком, французском и итальянском языках, к сожалению, недоступны по лингвистическим соображениям.

зять со столетием со дня рождения Мейтленда, в связи с чем, всё последующее двадцатилетие в зарубежной историографии было ознаменовано публикацией глубоких и разносторонних исследований, посвященных его жизненному пути и вкладу в развитие истории английского средневековья. За это время были написаны 8 книг о нем, включая публикацию его избранных работ, содержащих глубокие аналитические введения, среди которых – первые биографии ученого и первые исследования. Это – рекордное количество монографий, посвященных Мейтленду за всю историю мейтлендоведения. Солидно также представлена периодика: 11 специальных статей в ведущих научных журналах и специализированных энциклопедических изданиях, 55 рецензий, из них 13 авторских.

Первое специальное исследование в англо-американском мейтлендоведении принадлежит современнику Мейтленда профессору Оксфордского университета А.Л. Смигу. Оно состоит из двух лекций и первой библиографии историка. В жанровом отношении работа носит смешанный характер: в ней органично сочетаются отдельные элементы жизненного пути Мейтленда, в частности его приход в науку из практической юриспруденции; анализ некоторых исследовательских методов, научных подходов и проблем; а также фундаментальных положений концепции, касающихся понимания сущности истории права как истории идей<sup>5</sup>.

Близкий друг Мейтленда, Г. Фишер вошел в историю мейтлендоведения как его первый биограф. Ему принадлежит первая монография биографического жанра<sup>6</sup>, из которой исследователи черпали информацию о жизненном пути и образе жизни Мейтленда, круге общения и научных контактах, включая переписку с коллегами, о работе с источниками и их издании на протяжении последующих 60-ти лет.

Главы книги известного американского историка профессора Дж.Р. Кэмерона<sup>7</sup> – «Мейтленд как историк», «Memoranda de Parlamento», «Возникновение судов общего права», «Общее право в Англии», «Сельская община и город», «Возникновение деревни», «Источники английского права», «Годичные книги Эдуарда II», «Спустя полвека», «Библиография Ф.У. Мейтленда» и др. – позволяют составить представление о направлениях исследования научного наследия Мейтленда. Монография Кэмерона, по справедливой оценке Дж. Элтона, содержит лучшую библиографию трудов британского историка<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Smith. 1908. P. 61–71.

<sup>6</sup> Fisher. 1910.

<sup>7</sup> Cameron. 1961.

<sup>8</sup> Elton. 1985. P. 105.

От многих работ о Мейтленде статья У. Бакленда, представляющая собой текст лекции, прочитанной им в 1921 г. в Кембридже, отличается тем, что ее автор был близким другом британского историка, часто бывал в доме Мейтлендов, много времени проводил с ним и его семьей на Канарских островах, что позволило Бакленду нарисовать очень живой и привлекательный портрет его учителя. Статья богата деталями из частной жизни Мейтленда и его научной биографии<sup>9</sup>.

Аналитическая статья Р.С. Монпенсье, в которой автор подробно рассматривает «Историю английского права» и «Книгу Страшного суда и то, что вне ее», позволяет оценить вклад Мейтленда в развитие методологических основ историописания: автор анализирует его методы и подходы к написанию истории; изучает Мейтленда как вигского интерпретатора истории; раскрывает его взгляды о сущности и предмете истории права; рассуждает об авторских ролях Мейтленда как историка, историка права, правоведа, философа, философа права и др.<sup>10</sup>

Р.Л. Шуйлер, президент Американской Ассоциации историков в статье, представляющей собой адрес, с которым он выступил на торжественном обеде Ассоциации в Нью-Йорке, посвященном 100-летию юбилею со дня рождения Мейтленда, раскрывая роль английского историка в развитии исторических знаний, представил его как выдающегося ученого, оставившего послание историкам последующих поколений. Шуйлер цитирует высказывания о Мейтленде известных юристов, историков и экономистов – Ф. Поллока, Дж. Тревельяна, Р. Пауэла, У. Хоулдсуорта, Дж.Б. Адамса, Ф.М. Роуика, – характеризующих заслуги кембриджского ученого как историка. Подробно анализируются основные труды Мейтленда. Статья представляет особый интерес с точки зрения обсуждения в историографии профессионального статуса Мейтленда<sup>11</sup>.

Третий период в развитии мейтлендоведения (1970-е – 2000-е гг.) – аналитически-ревизионистский – в англо-американской историографии отмечен появлением ряда критических оценок как научного наследия Ф.У. Мейтленда, так и конкретных положений его интерпретации истории английского средневековья.

Историографическим событием 1990-х гг. стало последнее посмертное издание писем Мейтленда, осуществленное хранителем отдела рукописей библиотеки Кембриджского университета П. Зутши<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> *Buckland*. 1923. P. 279–301.

<sup>10</sup> *Montpensier*. 1966.

<sup>11</sup> *Schuyler*. 1952.

<sup>12</sup> *The Letters of Frederic William Maitland*. 1995.



В 1970 – 2000-е гг. о Ф.У. Мейтленде вышли в свет 4 книги, разные по жанру, объему, авторским позициям в отношении к британскому историку. Но, по сравнению с более многочисленными статьями, эти труды сохраняют приверженность апологетико-аналитической традиции предшествующего периода, их авторы придерживаются, взвешенных, объективных позиций, несмотря на то, что в их исследованиях содержится корректный критический анализ отдельных положений исторической концепции Мейтленда.

Из монографической литературы о Мейтленде своей обстоятельностью и высоким уровнем компетентности выделяется книга Дж. Элтона, состоящая из четырех глав: «Человек», «Историк», «Четыре сюжета», «Святой покровитель». Элтон ставит и исследует несколько актуальных проблем, связанных с судьбой научного наследия Мейтленда: причины продолжительного влияния его взглядов; личностные черты и позиции историка, которые стали предметом восхищения его поклонников; правы ли его обожатели, восхищающиеся им; вопрос, волновавший многих мейтлендоведов – насколько великим историком был Ф.У. Мейтленд?<sup>13</sup>

Большой интерес представляет также книга С. Файфута<sup>14</sup>, который разносторонне исследует жизненный путь и творчество Мейтленда – как великого ученого, учителя, историка права. Мейтленд показан в окружении его семьи и друзей. В монографии представлены фрагменты неопубликованных писем друзей Мейтленда, его личные материалы, бумаги, копии рукописей. Автор особенно подчеркивает заслугу Мейтленда в утверждении нового понимания сущности истории права как части истории, раскрывает его многогранную деятельность по изданию архивных материалов, созданию и развитию «Селденского общества», прослеживает историю написания основных трудов Мейтленда.

В 1970–2000-е гг. в англо-американской историографии о Мейтленде было написано 12 статей. Значительная их часть сосредоточена в юбилейном сборнике, опубликованном в 1996 г. профессором истории права университета Св. Эндрюса Дж. Хадсоном по итогам работы симпозиума, посвященного столетию публикации классического труда Ф. Поллока и Ф.У. Мейтленда «История английского права»<sup>15</sup>. В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты по истории английского средневекового права, являющейся общепризнанным исследовательским доменом Мейтленда, – П. Уормолд, Дж. Хадсон, Дж. Холт, П. Бранд,

---

<sup>13</sup> Elton. 1985. P. 5.

<sup>14</sup> Fifoot. 1971.

<sup>15</sup> The History of English Law. Centenary Essays on «Pollock and Maitland». 1996.

С. Уайт, Г. Саммерсон, Р. Хелмхолз, Дж. Гарнетт, П. Хаймс, С.Ф.Ч. Милсом. Авторы очерков исследовали рабочие методы и стиль Мейтленда, его отношение к предшественникам и современникам, источники, которые он использовал и не использовал, подчеркнули его концентрацию внимания исключительно на Англии и игнорирование других территорий, которыми управляли английские монархи. Они также проанализировали проблемы и спорные вопросы, которым, по их мнению, британский историк уделил недостаточно внимания. Критические замечания содержатся во всех статьях, хотя и не являются бесспорными. Вместе с тем, авторы воздали должное Ф.У. Мейтленду как родоначальнику в области изучения английской истории права и признали его огромный вклад в развитие научных знаний. По замыслу организатора симпозиума Хадсона, предполагалось исследовать научное наследие Мейтленда в обстановке XIX в. и в отношениях с его современниками – английскими и континентальными учеными. Но авторы редко обращались к этим вопросам, и это ценное издание получилось узкоспециальным<sup>16</sup>.

Значительный интерес представляет статья П. Уормолда, посвященная «разоблачению», по его словам, «ереси» Мейтленда и доказательству ошибочности его взглядов по ряду вопросов. Он утверждал, что Мейтленд не сумел по достоинству оценить заслуги англосаксонских королей, создавших выдающуюся английскую правовую традицию. Уормолд сделал критический обзор трех подходов Мейтленда, на основе которых тот исследовал вопросы управления в государстве англосаксонского периода. Усилия автора этой статьи были сосредоточены на опровержении устоявшейся характеристики Мейтленда как уникального историка, занимавшего в историографии столь же высокое положение, что Гиббон, Беда и Стеббс, и на доказательстве того, что он был «одним из нас»<sup>17</sup>.

1970–2000 гг. были наиболее продуктивным этапом в изучении научного наследия Ф.У. Мейтленда.

Четвертый период (с начала XXI в. – по настоящее время) в англо-американском мейтлендоведении отличается сложностью и противоречивостью: на фоне публичного признания заслуг Мейтленда (в 2001 г. он был признан не только выдающимся, но единственным историком Великобритании, достойным чести быть увековеченным в Вестминстерском Аббатстве) наблюдается заметный спад в количественных показателях публикуемых трудов о нем – в начале III-го тысячелетия появилась лишь

---

<sup>16</sup> Ibid. P. 3.

<sup>17</sup> Wormald. 1998. P. 3.

одна монография А. Макфарлейна и его же лекция о Мейтленде, размещенная в YouTube<sup>18</sup>. Этот факт может быть объяснен, во-первых, высоким уровнем и плотностью исследований его биографии и творчества в предшествующие периоды; во-вторых, сменой поколений ученых, историков и правоведов в англо-американском мейтлендоведении XX в., уходом из жизни тех, кто знал, понимал и писал о Мейтленде: в 1922 г. умер А. Дайси, в 1924 г. – А.Л. Смит, в 1937 – Ф. Поллок, в 1940 – Г. Фишер, в 1946 – У. Баккенд, в 1963 – сэр Ф.М. Поуик, в 1965 – Т.Ф.Т. Плакнетт, в 1968 – Э. Кэм, в 1975 – С. Файфут, в 1994 – Дж. Сэйлс и Дж. Элтон, в 2004 г. – П. Уормолд. Из ныне здравствующих специалистов, знатоков наследия Ф.У. Мейтленда, следует назвать А. Макфарлейна, С.Ф.Ч. Милсома, Дж. Хадсона и Д. Раббана.

Монография почетного профессора антропологии Кембриджского университета, одного из ведущих мейтлендоведов современности, Алана Макфарлейна, стала своего рода итоговой в истории мейтлендоведения. Автор глубоко и всесторонне проанализировал состояние англо-американской историографии за несколько десятилетий, посвященной Мейтленду, и пришел к выводу, что его научное наследие, как историка идей и институтов, вошедшее в золотой фонд мировой историографии, традиционно изучается в слишком узком историко-интеллектуальном контексте и преимущественно английскими и американскими историками и юристами. Они, как правило, видят в Мейтленде только английского историка и только историка Англии, что, разумеется, справедливо. Но при этом совершенно упускается из виду европейский масштаб его интеллектуальных достижений и не учитывается его влияние в «протяженном временном формате, его метаистория Англии с VII до XIX вв.»<sup>19</sup>.

Ф.У. Мейтленд же, по выражению К.Б. МакФарлейна, «возвышается над технической историей английского средневекового права и является гораздо большим, нежели великим издателем английских источников, хотя он был велик и в том, и в другом»<sup>20</sup>. Грань этого величия кроется в обосновании грандиозной социально-философской идеи «создания современного мира». Соавторами этого глобального проекта Алан Макфарлейн называет Ш. Монтескье, А. Смита, А. де Токвиля, Э.А. Геллнера, Ю. Фукудзаву и Ф.У. Мейтленда.

Критический анализ, предпринятый А. Макфарлейном, по существу оборачивается апологетикой Мейтленда. Эта апологетика доказательна,

---

<sup>18</sup> *Macfarlane*. 2002; 2001.

<sup>19</sup> *Macfarlane*. 2002. P. 90.

<sup>20</sup> *McFarlane*. 1965; *Macfarlane*. 2002. P. 90.

аргументирована и является результатом тщательного изучения трудов около двух десятков известных историков, в том числе и участников юбилейного симпозиума (Дж. Кэмерон, Г. Белл, Дж.Р. Элтон, П.Г. Виноградов, Дж.Г. Хекстер, Р.Г. Коллингвуд, Д. Хей, Э. Кэм, Дж. О. Сейлс, Дж. Барроу, К.Б. МакФарлейн, С.Ф.Ч. Милсом, П. Уормолд, Дж.С. Холт, Дж. Кэмпбел), в результате которого он пришел к выводу, что исследователям творчества Мейтленда удалось обнаружить лишь несколько технических погрешностей, которые не могут повлиять на высочайшую оценку его вклада в изучение средневековой истории Англии. Но даже те авторы, которые отыскивали, по выражению А. Макфарлейна, «маленькие ереси» (С.Ф.Ч. Милсом и П. Уормолд) в объеме пяти тысяч страниц текстов британского историка, вынуждены были отказаться от своих претензий и признать правоту его выводов, завершая свои изыскания громкими и заслуженными эпитетами в адрес Мейтленда – «непревзойденный», «величайший», «бессмертный», «неподражаемый», «карлик должен перестать ворчать, удобно устроившись на плечах великана»<sup>21</sup>.

Из всех работ о Мейтленде своей гиперкритичностью отличается статья С.Ф.Ч. Милсома, созвучная его предыдущим работам и оценке взглядов Мейтленда Уормолдом. К обоим критикам вполне применимо слово – «еретики» (как они себя именовали), а ересь, как известно, является формой протеста против ортодоксии, которая и вменялась ими в вину Мейтленду. Статья представляет собой текст адреса, с которым должен был выступить Милсом на торжественном открытии мемориальной плиты в Вестминстерском Аббатстве по случаю увековечения памяти Мейтленда- историка. Смысл же статьи состоит в опровержении профессионального статуса Ф.У. Мейтленда как историка.

Статья профессора Техасского университета Д. Раббана раскрывает сложную гамму отношений и научных дискуссий между Ф.У. Мейтлендом и Г. Мейном, а также содержит обширный материал о Гарвардской школе права, ее знаменитых представителях М. Бигелу, О. Холмсе, Дж. Аймсе, Дж. Тэйере, с которыми Мейтленда связывали узы дружбы и профессионального сотрудничества. Показано влияние этих ученых на формирование научных взглядов Мейтленда; представлены доказательства использования результатов их исследований в его трудах<sup>22</sup>.

В англо-американском мейтлендоведении XX века достигнуты высокие исследовательские результаты: изданы все труды Мейтленда, его эпистолярное наследие; реконструирована его биография; в русле кри-

---

<sup>21</sup> Macfarlane. 2002. P. 80–81.

<sup>22</sup> Rabban. 2009.

тического анализа и ревизии взглядов ученого изучены ключевые аспекты его исторической концепции. Этим объясняется очевидный количественный «спад» исследований в современном мейтлендоведении. Его дальнейшее развитие пойдет по пути детализации и пересмотра отдельных положений научного наследия Мейтленда. Тенденция такого «пересмотра» обозначилась со второй половины 1960-х гг.: она прослеживается в работах Монпенсье, Милсома и Уормолда, проложивших путь к анализу методологических основ трудов Мейтленда через призму чуждой его времени постмодернистской парадигмы истории, что привело к усилению «критицизма» в их оценке его наследия.

Таким образом, коллективной памятью английских и американских историков был создан яркий, сложный и многосторонний историографический образ Ф.У. Мейтленда, человека и ученого.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Andrews C. M.* Domesday Book and Beyond // *The American Historical Review*. 1897–1898.
- Andrews C. M.* [Review]. The Constitutional History of England // *The American Political Science Review*. 1909. Vol. III. P. 616.
- Ashley W.* Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I // *The Economic Journal*. 1895. P. 581–585.
- Barker E.* Maitland as Sociologist // *Sociological Review*. 1937. XXIX.
- Bell H.E. F.W.* Maitland. A Critical Examination and Assessment. Cambridge. 1965.
- Bigelow M. M.* Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I // *The American Historical Review*. 1895. Vol. I. P. 112–120.
- Bracton's Note-Book / C. Elton // *English Historical Review*. 1889. Vol. IV. P. 134–161.
- Buckland W.W.* F.W. Maitland // *Cambridge Law Journal*. 1923. Vol. 1. № 3. P. 279–301.
- Cam H. M.* Introduction // Maitland F. W. Selected Historical Essays. Chosen and Introduced by H. M. Cam. Cambridge. 1957. P. XXIX.
- Cameron J.R.* Frederic William Maitland and the History of English Law. Norman University of Oklahoma Press. 1961. 214 p.
- Delany V.* Frederic William Maitland Reader. Cambridge. 1957.
- Domesday Book and Beyond. By J. Tait // *The English Historical Review*. 1897. Vol. XII. P. 768–777.
- Domesday Book and Beyond // *The Academy*. 1897. P. 396–397. Domesday Book and Beyond. By C.M. Andrews. 1897. Vol. III. P. 130–133.
- Elton G.R.* Frederic William Maitland. London. 1985. 118 p.
- Fifoot C.H.S.* Pollock and Maitland. Glasgow. 1971.
- Fifoot C.H.S.* Frederic William Maitland. A Life. Cambridge, Massachusetts. 1971. 327 p.
- Fisher H. A.L.* Frederic William Maitland, Downing Professor of Laws of England. A Biographical Sketch. Cambridge. 1910. 179 p.
- Frederic William Maitland. By A.L. Smith // *The Oxford Magazine*. 1907. January 23. P. 150–151.
- Frederic William Maitland. By Sir Frederic Pollock // *The Law Quarterly Review*. 1907. April. Vol. XXIII. P. 401–419.
- Frederic William Maitland. By Th. Seccombe // *The Bookman*. February. 1907. P. 216–221.

- Frederic William Maitland. By C.H. Haskins // Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 1916. Vol. LI. № 13. P. 504–505.
- Frederic William Maitland. A Memorial Address by H. A. Holland. Selden Annual Lecture. 1953. 18-th March. London. 1953.
- Frederic William Maitland. 1850–1906. In Memoriam. By W.S. Holdsworth // The Law Magazine and Review. 1913. Vol. XXXIX. P. 8 f.
- F. W. Maitland. 1850–1906. By Sir Frederic Pollock // Proceedings of the British Academy. 1906. Vol. II. (1905–1906). P. 455–456.
- Hazeltine H. D.* Maitland, Frederic William // Encyclopedia of the Social Science. 1-st ed. 1923. Vol. X. New York.
- The History of English Law. Centenary Essays on «Pollock and Maitland» / Ed. by J. Hudson // Proceedings of the British Academy 89. Oxford: Oxford University Press. 1996.
- Holt J.C.* Foreword to Frederic William Maitland. Domesday Book and Beyond. Three Essays in the Early History of England. Cambridge etc., 1987.
- In Memoriam. F.W. Maitland. By O.W. Holmes // The Law Quarterly Review. April. 1907. Vol. XXIII. P. 136–150.
- The Letters of Frederic William Maitland. Publications of the Selden Society. Vol. II. Ed. by Dr. P. Zutshi, Keeper of Manuscripts, Cambridge University Library. Cambridge. 1995.
- Macfarlane A.* Lecture on F.W. Maitland (1850–1906). Cambridge. 2001.
- Macfarlane A.* The Making of the Modern World: Visions from the West and East. Palgrave. 2002.
- MacMillan H.P.* [Review]. The Constitutional History of England // Juridical Review. 1909. Vol. XXI. P. 277.
- Maitland F.W.* A Historical Sketch of Liberty and Equality as Ideas of English Political Philosophy from the Time of Hobbes to the Time of Coleridge. Submitted as a Dissertation for the Fellowship at Trinity and Privately Printed in 1875 // The Collected Papers of F.W. Maitland. By H.A.L. Fisher. Cambridge. 1911. Vol. I. P. 7 – 79.
- Maitland. By Murno Smith // The Political Science Quarterly (New York). 1907. P. 282 ff.
- Maitland. By D.P. Heatley // The Juridical Review. 1907. April.
- Maitland: A World More. Signed *A.J.B.* (1 col.) Athenaeum, 1907, p. 47. Lond., la. 8vo.
- Maitland. By G.T. Lapsley // The Green Bag. 1907. Vol. XIX.
- Maitland. By John Horace Round // Peerage and Pedigree. 1910. Vol. I. P. 143–147.
- Maitland. By T.F. Tout // The Scottish Historical Review. 1911. P. 73–75.
- Maitland, Ermingard.* Frederic William Maitland. A Child's Eye View. London, 1957.
- Maitland F.W.* Selected Historical Essays. Introd. by H.M. Cam. Boston. 1962.
- McFarlane K. B.* Mount Maitland // New Statesman. 1965. 4 June.
- Milsom S.F.C.* Maitland // The Cambridge Law Journal. Vol. 60. № 2. Jul. 2001. P. 265–270.
- Montpensier de R.S.* Maitland and the Interpretation of History // The American Journal of Legal History. 1966. Oct. Vol. 10. № 4. P. 259–281.
- Morris J. H. C.* [Review]. Equity: A Course of Lectures // The Law Quarterly Review. 1937. Vol. LIII. P. 429.
- On the Death of Professor F. W. Maitland // The Times. 22 Dec. 1906. P. 6.
- On the Death of Professor Maitland. By *J. Butler* // The Athenaeum. 1907. P. 13–16.
- Pleas of the Crown for the County of Gloucester. Rev. by *F.P[ollock]*. (1 ¼ pp.) (Law Quart. Rev., 1885, pp. 117–119). Lond., 1884 la. 8vo.
- Plucknett T. F.T.* Maitland's View of Law and History // The Law Quarterly Review. 1951. Vol. 67. April.

- Poole R. L.* Mary Bateson // *The English Historical Review*. 1906. Vol. XXII. № LXXXV.
- Pollock F.* The Mirror of Justice // *The Law Quarterly Review*. 1895. Vol. XI. P. 534–536.
- Pollock F.* Political Theories of the Middle Ages // *The Law Quarterly Review*. 1901. Vol. XVIII. P. 95–96.
- Pollock F.* Year Books of Edward II // *The Law Quarterly Review*. 1904. Vol. XX.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I. By Sir E. Fry // *The English Historical Review*. 1895. Vol. X. P. 760–768.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I. By T.C. Williams // *The Juridical Review*. 1895. July.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I. By J.J. Halsey // *The Dial*. 1895. Vol. XX. P. 44.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I. By G.A. Adams // *The Yale Review*. November. 1895.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I // *The Edinburgh Review*. 1896. P. 428–448.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I. By H. Brunner // *The Political Science Quarterly*. 1896. P. 534–544.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I // *The Oxford Magazine*. 1896. Vol. XV. P. 300–301.
- Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I // *The Notes and Queries*. 1896. Vol. XI. P. 259.
- Political Theories of the Middle Ages. Rev. By W. G. P. Smith. (2 pp.) (*Eng. Hist. Rev.*, 1901, pp. 370–372). Lond., la. 8vo.
- Powell F. G.* Roman Canon Law in the Church of England // *The Law Quarterly Review*. 1898. P. 310–314.
- Rabban D.M.* From Maine to Maitland via America // *The Cambridge Law Journal*. Vol. 68. No. 2. July 2009. P. 410–435.
- Rashdall H.* Roman Canon Law in the Church of England // *The English Historical Review*. 1899. Vol. XIII. P. 144–147.
- Reynell S. C.* Frederic William Maitland // *The Cambridge Law Journal*. 1953. II.
- Roman Canon Law in the Church of England. By F.Y. Powell. 1898. P. 311–314.
- Roman Canon Law in the Church of England. By C. M. Andrews // *The Political Science Quarterly*. 1898. P. 707–711.
- Roman Canon Law in the Church of England. Rev. By J. Hopwood. (23 ½ pp.) (*Dublin Rev.*, 1900, pp. 67–90). Lond., 8vo.
- Roman Canon Law in the Church of England. By M. Smith // *The Political Science Quarterly*. 1900. P. 158–162.
- Saleys G. O.* Frederic William Maitland // *International Encyclopedia of the Social Science*. 2-nd ed. London, 1968.
- Sayre P. L.* [Review]. A Sketch of English Legal History // *The Independent Law Journal*. 1928. Vol. III. P. 339.
- Schuyler R. L.* The Historical Spirit Incarnate: Frederic William Maitland // *The American Historical Review*. 1952. Vol. LVII. № 2. January. P. 303–322.
- Schuyler R.L.* Frederic William Maitland Historian. Selections from his Writings. Cambridge; London. 1960.
- Scott A.W.* [Review]. Equity: A Course of Lectures // *The Brooklyn Law Review*. 1937. Vol. VI. P. 499.

- Select Pleas of the Crown. Vol. I. (Seld. Soc.) Rev. By *L.O. Pike* // The Law Quarterly Review. 1886. Vol. IV. P. 462–466.
- Select Pleas of the Crown. Vol. I. (Seld. Soc.) Rev. By *J. H. Round*. (1/2 pp.) (Eng. Hist. Rev., 1888, pp. 788–9). Lond., la, 8vo.
- Select Pleas in Manorial Courts. Rev. By *J. H. Round*. (2 pp.) (Eng. Hist. Rev., 1890, pp. 586–587). Lond., la, 8vo.
- Severns R. L.* [Rev.]. Selected Essays // The Chicago-Kent Review. 1938. Vol. XVI. P. 209.
- Simpson S. P.* [Review]. The Forms of Action at Common Law // The Harvard Law Review. 1937. Vol. L. P. 710.
- Simpson S. P.* [Review]. Equity: A Course of Lectures // The Harvard Law Review. 1937. Vol. L. P. 710.
- Smith A. L.* Frederic William Maitland. Two Lectures and Bibliography. Oxford. 1908. 71 p.
- Smith M.* Pollock and Maitland's History of English Law before Edward I // The Political Science Quarterly. 1902. P. 718 – 719.
- Tait J.* Domesday Book and Beyond // The English Historical Review. 1897. Vol. XII. № LVIII.
- Thorne S. E.* [Review]. Equity: A Course of Lectures // The American Bar Association Journal. 1937. Vol. XXIII. P. 983.
- Township and Borough. By *C. Gross* // The American Historical Review. 1898. Vol. IV. P. 143–145.
- Township and Borough. Rv. By *J. Tait*. (2 ½ pp.) (Eng. Hist. Rev., 1899, pp. 344–346). Lond., la, 8vo.
- The Making of the Modern World: Visions from the West and East by *Alan Macfarlane*. Palgrave. 2002. 336 p.
- Vinogradoff P.* Frederic William Maitland // The English Historical Review. 1907 Vol. XXII. № LXXXV. April. P. 280 – 289.
- Vinogradoff P.* [Review]. The Collected Papers of Frederic William Maitland // The Nation. 1911.
- Warren J.* [Review]. A Sketch of English Legal History // The Harvard Law Review. 1916. Vol. XXIX. P. 351.
- Wigmore J. H.* [Review]. The Collected Papers of Frederic William Maitland // The Illinois Law Review. 1911. Vol. VI. P. 418.
- Williams T. C.* [Review]. The Collected Papers of Frederic William Maitland // The Law Quarterly Review. 1911. Vol. XXVII. P. 474.
- Wormald P. F.W.* Maitland and the Earliest English Law // Law & History Review. 1998. Vol. 16. No. 1.
- Wright C. A.* [Review]. Equity: A Course of Lectures // The Canadian Bar Review. 1937. Vol. XV. P. 386.

**Сидорова Тамара Анатольевна** – доктор исторических наук, профессор, Российский государственный социальный университет, филиал в г. Сочи; *sidorova-05@mail.ru*.



О. Л. АКОПЯН

## ЧТО ТАКОЕ «ГУМАНИЗМ»? ОТ РЕНЕССАНСА К СОВРЕМЕННОСТИ<sup>1</sup>

---

Статья посвящена сущности историографических споров о термине «гуманизм», преимущественно между итальянской и американской школами изучения Ренессанса, и о его постепенной трансформации в новоевропейской культуре.

**Ключевые слова:** *Ренессанс, гуманизм, достоинство человека, «древняя теология».*

---

Вопрос о том, что такое «гуманизм», стоит перед учеными, занимающимися итальянским Возрождением, примерно столько же лет, сколько существует сам термин «Ренессанс». И хотя любые обобщающие термины условны, трудно себе представить современного ученого, обходящегося без них. У всех исследователей проблемы ренессансного или просто новоевропейского гуманизма, от Дж. Джентиле до Дж. Хенкина и С. Туссена, не вызывает сомнений, что он имел непосредственное отношение к «возрождению» античной культуры, однако степень его воздействия на тот тип культуры, который сейчас принято называть Ренессансом, до сих пор вызывает споры. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время интерес к Возрождению, особенно среди молодых исследователей, несколько ослаб. В частности, это можно объяснить тем, что в последние десятилетия радикальным образом было пересмотрено отношение к Средневековью. Однако это не единственная причина. Определенную роль сыграло то стандартное объяснение термина «гуманизм», которое прививается со студенческой скамьи.

Проблема гуманизма разрабатывалась преимущественно в трудах европейских ученых первой половины XX в. и прежде всего на итальянском материале. Это объясняется не только тем, что обе концепции, о которых речь пойдет ниже, были созданы учеными-«итальянистами», но и первостепенным значением культуры Италии в этот период. Неудивительно, что апробированные на итальянской почве представления о гуманизме и, в целом, о Ренессансе затем были перенесены на культуры заальпийских территорий. Поэтому и наши дальнейшие рассуждения будут непосредственно касаться творчества некоторых видных мыслителей итальянского Возрождения.

---

<sup>1</sup> Я хотел бы поблагодарить И.И. Тучкова (МГУ) и А.В. Доронина (Германский Исторический институт в Москве) за помощь в подготовке этой статьи.

На пути решения вопроса о сущности гуманизма в значительной степени повлияли актуальные тогда философские течения (прежде всего экзистенциализм) и политическая обстановка. В сложные годы перед войной и после ее окончания европейские интеллектуалы чувствовали глубокий кризис традиционной культуры, что привело к особенному интересу к истории Средневековья и Ренессанса как времени формирования цивилизации Старого Света. Обращаясь к прошлому, они не только пытались понять, каким образом западноевропейская цивилизация умудрилась встать на кровавый путь, но и создали несколько идиллическую картину конкретной эпохи, в которой человеческое достоинство и безграничные возможности творца были целью созидания, а не уничтожения.

Одновременно на эти же вызовы, но под своим углом зрения, стремились ответить философы; и доказательством тому, что исследования ренессансного гуманизма шли параллельно с современными им интеллектуальными спорами, может служить простой факт: в те же годы, когда появились монографии Эудженио Гарэна и Пауля Оскара Кристеллера, свои, не связанные с научными поисками, работы о том, что такое «гуманизм», публикуют два видных философа XX века – М.Хайдеггер («Письмо о гуманизме», 1947)<sup>2</sup> и Ж.-П. Сартр («Экзистенциализм – это гуманизм», 1946)<sup>3</sup>. Это хронологическое совпадение заставляет поставить два принципиальных вопроса: насколько сильным было влияние философии на научный анализ гуманизма эпохи Возрождения, и были ли прочтения этих «гуманизмов» в чем-то идентичными?

Две важнейшие концепции «ренессансного гуманизма» принадлежат итальянскому ученому Э. Гарэну и американскому историку немецкого происхождения П.О. Кристеллеру. В отечественной литературе к трудам этих авторитетнейших ученых обращались неоднократно, хотя, очевидно, симпатии исследователей были в целом на стороне Гарэна в силу как политических (не стоит забывать о тесных связях Коммунистической партии Италии с советскими коммунистами), так и личных причин (многие отечественные историки были лично знакомы с ним)<sup>4</sup>. Поэтому неудивительно, что в СССР, а затем и в России, взгляды итальянского ученого часто находили и находят поддержку<sup>5</sup>. С другой стороны, отдавая должное таланту Кристеллера, советские и российские ученые считали его видение Ренессанса и в особенности гуманизма

---

<sup>2</sup> Хайдеггер. 2007. С. 266–306.

<sup>3</sup> Сартр. 1953.

<sup>4</sup> На русском языке был издан сборник статей итальянского ученого: Гарэн. 1986. До сих пор ни одной работы Кристеллера по-русски не опубликовано.

<sup>5</sup> См.: Баткин. 1995. С. 45–55; Брагина. 2002. С. 7–16.

однобоким и бесперспективным<sup>6</sup>. Не столько для реабилитации Кристеллера в глазах российского читателя, в которой он несколько не нуждается, сколько для уяснения реального положения вещей, обратимся еще раз к трудам Гарэна и его американского друга и оппонента.

Начнем с позиции Гарэна, которую он изложил в книге «Итальянский гуманизм: гражданская жизнь и философия в эпоху Возрождения», вышедшей в 1947 г. на немецком языке<sup>7</sup>. Как следует из названия, для Гарэна не существует дихотомии между гуманизмом и философией. Ренессанс, а вместе с ним и гуманизм, как представление о человеке, прошли последовательные стадии «гражданского гуманизма»<sup>8</sup>, который не избегал моральной и этической философии, но концентрировался и на политических вопросах. Примерно с середины XV в., по мнению Гарэна, наметился переход к платонизму как новому витку философской мысли, а XVI век ознаменовался поворотом в сторону натурфилософии. Надо признать, что подобная хронология, при всей своей понятной условности, тем не менее, принята в научном сообществе. Она позволяет подтвердить главный тезис Гарэна: гуманизм и Возрождение — понятия неразрывно связанные, тесно сплетенные в истории мысли эпохи, которая, в свою очередь, характеризуется резким изменением сознания человека, представлений о себе и об окружающем мире. Именно антропологическая составляющая стала центром концепции Гарэна, что позволяло говорить о гуманизме не только в философии, но и прежде всего в искусстве.

Гарэн разработал свою теорию при значимом участии двух людей, Дж. Джентиле и Э. Грасси, которые покровительствовали молодому ученому<sup>9</sup>. Грасси, бывший ученик Хайдеггера, занимался в фашистской Италии исследованиями Возрождения, уделяя особое внимание национальным аспектам. Одной из основных задач своих научных изысканий он считал утверждение исключительности итальянского Ренессанса с националистических позиций. Справедливости ради надо отметить, что книга Гарэна в целом лишена подобного псевдопатриотического пафоса. Однако очевидно, что заказав Гарэну книгу «Итальянский гуманизм: гражданская жизнь и философия в эпоху Возрождения» еще до начала Второй мировой войны, Грасси рассчитывал на нужный себе результат.

---

<sup>6</sup> Л.М. Баткин, правда, предлагает сочетать «узкое» прочтение гуманизма Кристеллера с более «широкими» взглядами Гарэна: *Баткин*. 1995. С. 55.

<sup>7</sup> *Garin*. 1947. См. также новейшее итальянское переиздание: *Garin*. 2008.

<sup>8</sup> Сам термин «гражданский гуманизм» был впервые использован в фундаментальной работе Х. Барона, которая чрезвычайно важна для понимания культурных и политических процессов раннего Возрождения: *Baron*. 1966.

<sup>9</sup> Об этом см.: *Hankins*. 2003; *Fubini*. 2007.

Второй же наставник Гарэна, неогегельянец Джентиле воспринимал Ренессанс как поворотный момент в истории европейской духовности. Он считал, что сущность Возрождения теснейшим образом связана с идеей свободы человека. По мнению Джентиле, историческая ценность Ренессанса заключается именно в том, что был осуществлен решительный поворот к изучению человека. Поэтому в его трудах выкристаллизовалось мифическое представление о «достоинстве человека» как основе трудов флорентийских мыслителей конца XV в., в особенности Джованни Пико делла Мирандола. Согласно этой точке зрения, которая впоследствии была поддержана не только Гарэном, но и множеством его последователей и учеников, «Речь о достоинстве человека»<sup>10</sup> – центральное сочинение Пико делла Мирандола, в котором будто бы представлено совершенно новое видение свободы и позиции человека как «узла мира» в универсуме. В подобном контексте остальные труды Пико становятся вспомогательным инструментарием, который лишь дополнительно подтверждает главный тезис его творчества. Учитывая антропологическую ориентацию гуманизма Гарэна, неудивительно, что в таком контексте именно «Речь о достоинстве человека» получила особенный статус как апофеоз новой, обращенной к человеку культуры.

Однако каждый читатель «Речи о достоинстве человека» – этого выдающегося образца ренессансной словесности – обратит внимание на то, что вопросу о свободе человека посвящена лишь незначительная, пусть и крайне выразительная, часть произведения. Более того, воля и преобразовательные способности человека, согласно Пико, носят ярко выраженный магический характер, что подчеркивается прямыми ссылками на герметическую и каббалистическую традиции<sup>11</sup>. А в самой идее человека как «узла мира» вряд ли можно усмотреть какую-либо революцию – ведь молодому графу Мирандолы наверняка были известны средневековые теологические размышления о микрокосме.

Тем не менее, идея Джентиле оказалась чрезвычайно живучей. Под эгидой неогегельянства, а затем и неокантианства в лице крупного немецкого философа Эрнста Кассирера<sup>12</sup> это узкое прочтение творчества Пико нашло серьезных сторонников. Надо ли удивляться тому, что первое крупное самостоятельное исследование Гарэна было посвящено творчеству Пико, и идея свободы стала сквозной темой книги<sup>13</sup>?

<sup>10</sup> Доступен русский перевод этого важного текста: *Пико делла Мирандола*. 1981.

<sup>11</sup> О магии в эпоху Возрождения см. фундаментальную работу: *Иейтс*. 2000.

<sup>12</sup> *Кассирер*. 2000. См. также: *Cassirer*. 1942. P. 123–144; P. 319–344.

<sup>13</sup> *Garin*. 1937.

Отечественная традиция безоговорочно переняла этот весьма спорный тезис и, к сожалению, до сих пор продолжает его тиражировать, хотя в западных исследованиях он уже был в значительной степени пересмотрен<sup>14</sup>. Следование за безусловным авторитетом итальянского ученого привело к искажению в сознании широкого круга читателей представления о цели творчества, которую поставил перед собой сам Джованни Пико делла Мирандола: органично соединить разнообразные философские и теологические учения в рамках универсальной доктрины, христианской по своей сути. Именно этому посвящена большая часть «Речи о достоинстве человека», которая, к слову, не была широко известна при жизни самого философа, должна была служить всего лишь введением к его фундаментальному труду «900 тезисов по философии, теологии и каббалистике» и вдобавок получила дополнение «о достоинстве человека» лишь спустя 50 лет после смерти автора. Из этого можно сделать вывод, что Гарэн, вслед за Джентиле избравший «Речь» одним из центральных текстов всего Ренессанса, преувеличил значение данного трактата, а следовательно и его роли в становлении ренессансной антропологии. Но чрезмерно «прогрессивная» интерпретация «Речи о достоинстве человека» стала лишь частью сложившейся в СССР концепции Ренессанса. Акцентирование индивидуализма Возрождения, личностного начала и – чаще всего – их противопоставления с коллективным мышлением Средних веков, очевидно, искажало облик всей эпохи.

При этом было бы неверно говорить о том, что подобный подход не принес существенных научных результатов: труды Л.М. Брагиной и Л.М. Баткина, некогда открывшие совершенно новые горизонты в изучении Ренессанса, до сих пор представляют большую ценность благодаря глубокой пронизательности их авторов. Однако, несмотря на свои выдающиеся достоинства, написанные под влиянием концепции Гарэна, в то время, казалось бы, полностью удовлетворявшей научное сообщество, сейчас эти труды не могут полностью соответствовать меняющемуся вектору историографии, в первую очередь в разделах, посвященных гуманизму и связанной с ним антропологии. Но не будем забывать, что, кроме отечественных ученых, по пути, намеченному Гарэнном, пошли многие коллеги из европейских стран, прежде всего Италии и Франции.

Научный путь Кристеллера был не менее тернист<sup>15</sup>. Студент университетов Гейдельберга, Берлина и Фрайбурга, Кристеллер первоначально намеревался заниматься отнюдь не гуманизмом и Ренессансом,

---

<sup>14</sup> См. важные в методологическом плане статьи: *Copenhaver*. 2002a; 2002b.

<sup>15</sup> *Monfasani*. 2001; *Kristeller*. 1994.

а позднеантичным неоплатонизмом. Его магистерская работа, защищенная в 1928 г., была посвящена творчеству Плотина. Однако во Фрайбурге ему довелось учиться у Хайдеггера, который посоветовал молодому талантливому студенту обратиться к изучению наследия итальянского мыслителя и переводчика Марсилио Фичино. Как вспоминает Кристеллер, Хайдеггер испытывал серьезный интерес к Фичино, хотя его познания в этой области не были особенно значительными. Разумеется, Хайдеггер сам имел некоторые виды на Фичино и несомненно был заинтересован в качественных результатах работы Кристеллера, поскольку столь ценное немецким философом платоновское наследие возродилось прежде всего благодаря титаническим стараниям Фичино.

Правда, безмятежные занятия под руководством знаменитого философа продолжались недолго: в 1933 г. Кристеллер вынужденно покинул Германию и перебрался в Италию, где был с радостью принят итальянскими интеллектуалами. Усилиями Джентиле он получил место преподавателя Высшей нормальной школы в Пизе, подружился с Гарэном и В. Бранка. Надо заметить, что, несмотря на научные споры, Гарэн с Кристеллером оставались близкими друзьями до смерти последнего в 1999 г.

Но и в Италии Кристеллер не задержался. После начала преследования евреев режимом Муссолини он бежал в США и стал преподавателем Йельского университета, где вел семинар, посвященный Плотину. Позже его охотно принимали в Гарварде и Принстоне, а затем он получил место профессора в Колумбийском университете в Нью-Йорке. К 1943 г. ему, наконец, удалось издать американский вариант своей книги о Марсилио Фичино, хотя рукопись на немецком языке была готова еще в 1937 г. С этого момента начинается формирование американской школы изучения Ренессанса, которая до сих пор хранит «заветы» Кристеллера. Одна из центральных тем научного творчества Кристеллера – гуманизм.

Кристеллер четко разделял философскую составляющую Ренессанса и гуманизм, который, по его мнению, не может иметь ничего общего с философией<sup>16</sup>. По Кристеллеру, развитие философии было тесно связано с рациональной метафизикой (или «вечной философией»), которая прошла последовательный путь от античности до Канта и Гегеля, и на этом пути Фичино занимал особое место как переводчик Платона и неоплатоников<sup>17</sup>. Кристеллер сознавал, что на этом большом временном отрезке гуманизм и прочие интеллектуальные течения оказывали сильное воздействие на философию, но они так и не поглотили метафизику.

---

<sup>16</sup> Fubini. 2007. P. 511-512.

<sup>17</sup> Hankins. 2003. P. 583; Fubini. 2007. P. 510.

Концепция Кристеллера сформировалась под значительным влиянием так называемого неогуманизма немецкого мыслителя Фридриха Нитхаммера и трудов Вернера Йегера, чьи лекции молодой Кристеллер посещал в Берлине. Будучи идейным последователем Нитхаммера (которому, собственно, принадлежит сам термин «гуманизм» в современном его значении), Йегер придерживался идеи непрерывности культур с преобладающей ролью греческого наследия, считая, что между греческой и германской культурами «существует мистическая связь»<sup>18</sup>. Для ощущения этой близости было необходимо изучать греческих авторов, и здесь Йегер и его окружение шли по стопам Нитхаммера, видевшего в идее «гуманизма» исключительно филологические аспекты. Идеи неогуманистов глубоко затронули немецкую культурную и университетскую среду, и Кристеллер не был исключением.

По мнению Кристеллера, под понятием *studia humanitatis* стоит понимать только тот набор профессиональных занятий, который пришел на смену средневековым тривиум и квадривиум<sup>19</sup>. Признавая влияние филологических штудий, этики и педагогики на формирование новой культуры, Кристеллер, тем не менее, не видел ее сугубо прогрессивного характера и меньше, чем Гарэн, акцентировал внимание на антропологии. Многие отечественные исследователи ставят Кристеллеру в упрек то, что его концепция, в отличие от гарэновской, не дает целостного представления о Ренессансе и гуманизме. Однако, на мой взгляд, подобная критика не совсем справедлива. Как уже было сказано выше, один из главных текстов, будто бы подтверждающий основной тезис Гарэна, в действительности не может быть интерпретирован столь прямо, а представление всей культуры Ренессанса от XIV до XVII в. как постоянной эволюции представлений о человеке приводит, наоборот, к узости восприятия всего периода. Так, неудивительно, что абсолютный акцент на светской по духу антропологии исключает из поля зрения отечественных исследователей многие ключевые проблемы, прежде всего связанные с восприятием христианства и Библии. Не получили должного освещения также вопросы магии, астрологии и прочих оккультных наук, а также мало вяжущееся с прогрессивным характером гарэновского «гуманизма» возрождение скептицизма еще в конце XV в. в той же Флоренции, где идея человеческого достоинства как будто получила столь мощную поддержку.

С другой стороны, подход Кристеллера при более внимательном взгляде оставляет большое поле для исследований, не втиснутых в рамки

---

<sup>18</sup> См.: *Toussaint*. 2008. P. 107-145 (P. 111)/

<sup>19</sup> Хотя Кристеллер видел в этом процессе преемственность: *Witt*. 2006.

антропологии и светской культуры. Гуманизм Кристеллера, в гораздо большей степени связанный с античным восприятием термина *homo humanus*, подразумевает широкую образованность, эрудированность и высокую культуру гуманиста как знатока древности и языков, стремящегося к самосовершенствованию. Но пути философии, хоть и пересекающиеся с гуманистическим течением, независимы, а это побуждает не выискивать черты абсолютизации человеческой свободы в трудах каждого мыслителя эпохи Возрождения, но смотреть на проблемы шире. Концепция Кристеллера, как это ни покажется странным его критикам, оказывается более универсальным средством для описания всей целостности культуры Ренессанса, ибо в ней под одним ярлыком невозможно объединить Лоренцо Валлу, Марсилио Фичино и Франческо Патрици. В системе координат Кристеллера Фичино становится гуманистом только тогда, когда занимается профессиональным переводом с греческого на латынь; во всех остальных случаях он «философ». И подобный подход позволяет избежать острых углов, когда сама фигура мыслителя не укладывается в классические рамки нашего восприятия Возрождения. Наиболее характерный пример – философ Пьетро Помпонаци. Изучая его творчество в терминах Гарэна, придется признать, что Ренессанс не знал менее гуманистического мыслителя. Но при этом ни у кого не возникнет сомнений, что Помпонаци — один из наиболее ярких мыслителей Возрождения. Таким простым способом Кристеллер снимает проблему «гуманистической философии» или еще более абсурдной «гуманистической теологии»: в установленных им координатах такие понятия существовать не могут, в отличие, например, от «христианского гуманизма», ориентированного на новое прочтение и комментирование Библии. Поэтому было бы верным признать гуманизм одним из наиболее влиятельных явлений в интеллектуальной жизни Ренессанса, однако сама эта эпоха, многообразная и разносторонняя, никоим образом не может быть сведена только к гуманизму, пусть даже в самом широком его значении.

В последнее время, особенно после смерти Гарэна в 2004 г., стереотипы о гуманизме пересматриваются. Подтверждением тому можно считать рост числа публикаций о гуманизме<sup>20</sup>. И приходится признать, что некогда разделенный на две части научный мир постепенно переходит к единству. Сложившаяся и укрепившаяся в англосаксонском мире концепция Кристеллера постепенно выходит на первый план в европейском ареале, ранее по преимуществу «гарэновском». Надо сказать, что в этом

---

<sup>20</sup> Наиболее яркое подтверждение тому сборник статей об «интерпретациях гуманизма»: *Interpretations of Renaissance Humanism...* 2006.



велика заслуга учеников Кристеллера – Дж. Хенкинса, Дж. Монфазани и некоторых других крупных ученых, верных заветам своего учителя. Наиболее ярким тому подтверждением служит двухтомный сборник статей Хенкинса «Гуманизм и платонизм в итальянском Ренессансе», где автор четко проводит границу между *studia humanitatis* и философией. И хотя ценность трудов Гарэна, выдающегося историка и педагога, несомненна, безусловное следование его авторитету, когда современный научный мир в целом принял кристеллеровскую трактовку «гуманизма», только увеличивает отставание отечественной школы изучения Ренессанса.

Однако и Гарэн, и его оппонент Кристеллер сконцентрировали свое внимание на термине *studia humanitatis*, который лежал в основе «новой» культуры и противопоставлялся *studia divinitatis*, т.е. средневековой схоластике, и «проглядели» другое понятие – *humanitas*, которое при кажущейся близости к *studia humanitatis* имеет совершенно иную природу и тесно связано с путями европейской философии и с современностью.

*Humanitas* впервые упоминается в античных источниках, где связывается прежде всего с вечным противопоставлением римской культуры варварам. Другим важным фактором древнего «гуманизма» стало усвоение римлянами эллинистической традиции: только тот, кто перенял греческую «пайдею» и органично связал ее со своим римским происхождением, именовался гуманистом. Суть античного «гуманизма» емко выразил Хайдеггер: «Отчетливо и под своим именем *humanitas* впервые была продумана и поставлена как цель в эпоху римской республики. “Человечный человек”, *homo humanus*, противопоставляет себя “варварскому человеку”, *homo barbarus*. *Homo humanus* тут – римлянин, совершенствующий и облагораживающий римскую “добродетель”, *virtus*, путем “усвоения” перенятой от греков “пайдеи”. Греки тут – греки позднего эллинизма, чья культура преподавалась в философских школах. Она охватывала “круг знаний”, *eruditio*, и “наставление в добрых искусствах”, *institutio in bonas artes*. Так понятая “пайдеия” переводится через *humanitas*. Собственно “римскость”, *romanitas* “человека-римлянина”, *homo romanus*, состоит в такой *humanitas*. В Риме мы встречаем первый “гуманизм”. Он остается тем самым по сути специфически римским явлением, возникшим от встречи позднего латинства с образованностью позднего эллинизма»<sup>21</sup>. Именно такой взгляд на «гуманизм» под видом *studia humanitatis* был перенят европейским Ренессансом. Но в конце XV в. Марсилио Фичино предложил иное прочтение термина *humanitas*, которое выходило за указанные рамки.

---

<sup>21</sup> Хайдеггер. 2007. С. 271–272.

В нескольких своих трудах, в первую очередь в письме к Томмазо Минербетти<sup>22</sup> и в I главе VIII книги своего главного сочинения – «Платоновского богословия о бессмертии душ»<sup>23</sup> – Фичино дает исчерпывающее определение *humanitas*: это триада *eruditio*, *philanthropia* и *unitas*. Под первым членом этой триады Фичино со всей очевидностью разумел *studia humanitatis* – широкую интеллектуальную образованность, выраженную в знании древних языков и всего спектра филологических и философских предметов. Термин *philanthropia* не кажется сложным для объяснения. При этом «человек любящий», по Фичино, не может находиться в отрыве от третьего члена *humanitas*: все человечество есть братство индивидов, которые «в равной степени красивы и добры»; и подобная *humanitas* существует извечно, объединяя живых, мертвых и еще не рожденных<sup>24</sup>. Только при сочетании этих трех компонентов, которые в единстве придают термину *humanitas* такую глубину, выводя его за рамки просто метафизики, этики или антропологии<sup>25</sup>, возникает естественная гармония человеческого существования. Предложенная Фичино теория оказывается намного шире любых рассуждений о «достоинстве человека», остающихся в рамках ренессансной антропологии, и не более того.

Разумеется, необходимо уяснить, каким образом Фичино пришел к такому пониманию *humanitas*. По всей видимости, выработка подобной философско-богословской конструкции находится в прямой связи с его попыткой реформирования христианского учения, насыщения его новыми источниками. Ко второй половине XV в. в духовной культуре Италии наметился существенный кризис<sup>26</sup>. Прежний, средневековый духовный опыт более не устраивал как интеллектуалов, так и широкие массы; и нельзя сказать, чтобы позиция и поведение Церкви способствовали разрешению конфликта. Одним из ответов на веяния времени стали ереси и стремительно распространявшиеся апокалиптические настроения, которые папство пыталось пресечь гонениями.

<sup>22</sup> *Ficino*. 1990. P. 107.

<sup>23</sup> *Ficino*. *Platonic theology*. Vol. II. P. 263–272.

<sup>24</sup> *Ibid*. P. 266: «Ergo in his tribus una est communis humanitas per quam aequae sunt homines, una pulchritudinis natura, una etiam bonitatis, per quas aequae pulchri sunt et aequae boni. Humanitas ipsa quae his communis est, innumerabilibus quoque aliis qui sunt, fuerunt eruntque, quocumque in tempore et quocumque in loco nascantur, communis existit; similiter pulchritudo et reliqua: sed quod loquor de humanitate, de reliquis etiam dictum puta. Si ergo humanitas singulis personis, locis, temporibus se aequae communicat, nulli est astricta personae, nulli loco, nulli etiam tempori».

<sup>25</sup> *Toussaint*. 2008. P. 47.

<sup>26</sup> Об этом см.: *Vasoli*. 1974; 1968.

В среде же философов ко второй половине XV в. четко наметилась тенденция привести христианское учение к согласию с древними языческими текстами, и особое место среди представителей этой тенденции занял Марсилио Фичино. После знаменитого Ферраро-Флорентийского собора 1438–39 гг. и последовавшего в 1453 г. падения Константинополя на Запад бежали многие греки, которые привезли с собой многочисленные рукописи. Фактический правитель Флоренции Козимо Старый, будто бы по настоятельному предложению философа-неоплатоника Георгия Гемиста Плифона, одного из членов греческой делегации на Соборе, решил восстановить в своем городе Платоновскую Академию, разрушенную еще при императоре Юстиниане I. Но для осуществления честолюбивого замысла было необходимо прежде всего перевести труды самого Платона и – желательно – его последователей<sup>27</sup>. Для этой цели среди всех флорентийских гуманистов был избран сын придворного медика семейства Медичи Марсилио Фичино. И если реальное существование Платоновской Академии во Флоренции сегодня зачастую подвергается сомнению<sup>28</sup>, то перевод всего платонического корпуса был сделан. Еще до начала работы над ним Фичино последовательно перевел так называемых «Халдейских оракулов», «Орфические гимны» и «Герметический свод». В эпоху Возрождения считалось, что эти оккультные, магические тексты были написаны задолго до Платона и прочих греческих мыслителей и потому были провозвестниками настоящей философии. Нас также не должна удивлять последовательность переводов: они выполнены так, будто каждый следующий текст продолжает предыдущий.

Уже после публикации всего платоновского корпуса в 1484 г. Фичино переходит к неоплатоникам и в 1492 г. публикует первый латинский перевод «Эннеад» Плотина. Но его переводческий энтузиазм не угасает: после работы над «Эннеадами» он обращается к трудам самого христианского неоплатоника — Псевдо-Дионисия. И хотя «Ареопагитики» уже неоднократно переводились<sup>29</sup>, Фичино не может пройти мимо этого важного звена в своей хронологической иерархии: вскоре он выпускает в свет новые переводы двух трактатов Псевдо-Дионисия — «О божественных именах» и «О мистическом богословии». Так Фичино собственной переводческой деятельностью выстроил хронологию «древнего богословия», идущего от «Халдейских оракулов» и герметизма до Псевдо-Дионисия

---

<sup>27</sup> О переводах Фичино и его программе см.: Кудрявцев. 2008.

<sup>28</sup> *Hankins*. 1991; 2001.

<sup>29</sup> В Средние века Иоанном Скотом Эриугеной, в эпоху Возрождения — Амброджио Траверсари.

Ареопагита. Неудивительно, что следующим и последним гуманистическим опытом Фичино стал перевод Посланий апостола Павла — учителя Дионисия Ареопагита.

По убеждению флорентийского мыслителя, многие положения этих учений «древних» находят отражение в христианстве, а это естественно подводит к выводу, что христианское учение уходит корнями в глубокую древность. С другой стороны, Фичино, а вслед за ним и Пико, заключают, что на основе разных религиозных традиций может быть создана универсальная религия (разумеется, под ней они все равно понимают христианство), в которой найдут отражения верования других народов. Только в подобном контексте можно понять универсальный характер третьего члена триады *humanitas*: под *unitas* Фичино разумел единство всего человечества под эгидой христианского вероучения, столь близкого, по его мнению, иным богословским и философским учениям древности.

После смерти Фичино, а особенно после религиозного раскола в Европе сама идея триады не могла продолжать свое существование. Третье звено утратило актуальность (возможно, навсегда), а судьба двух первых сложилась по-разному. *Eruditio* в западной культуре после Реформации нашла своих сторонников среди неогуманистов, о которых речь шла выше. Верные античным заветам, Нитхаммер и Йегер обратили все свои усилия на возрождение *Homo humanus* Сенеки. В этом же направлении двинулись Кристеллер и его ученики, связавшие *eruditio* со *studia humanitatis* ранних деятелей Ренессанса.

А вот судьба второго элемента — *philanthropia* — сложилась печально. На философском уровне смена взгляда на данную категорию была «санкционирована» некоторыми мыслителями первой половины и середины XX века, прежде всего Хайдеггером и Сартром — авторами упомянутых выше влиятельнейших трактатов о «гуманизме». Оба философа, выступавшие будто бы в роли сторонников гуманизма, в действительности оказались в ином статусе. В отличие от Фичино, который наделил человека воистину космическим положением за границами метафизики, этики и всех прочих философских дисциплин, Хайдеггер и Сартр сделали все для того, чтобы отныне человек был подчинен некоей «сверх-Идее». В первом случае это Бытие, во втором — атеистический экзистенциализм. Именно этот переворот позволил С. Туссену назвать философов XX века «антигуманистами». И надо сказать, что подобная тенденция продолжается и в наши дни, когда *humanitas* и самого человека заменили только его «права» и пресловутая политкорректность.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Виллани Дж.* Новая хроника или история Флоренции. Перевод, статья и примечания М. А. Юсима. М.: Наука, 1997. VI. 26. С. 150.
- Пико дела Мирандола Дж.* Речь о достоинстве человека / Пер. Л.М. Брагиной // Эстетика Ренессанса / Под ред. В.П. Шестакова. Т. 1. М., 1981. С. 248–265.
- Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М.: РГГУ, 1995.
- Брагина Л.М.* Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М.: МГУ, 2002.
- Гарэн Э.* Проблемы итальянского Возрождения / Сост. Л.М. Брагина. М.: Прогресс, 1986.
- Йейтс Ф.А.* Джордано Бруно и герметическая традиция. [1964] М.: Новое литературное обозрение, 2000.
- Кассирер Э.* Индивид и космос в философии Возрождения. [1927] М.; СПб.: Университетская книга, 2000.
- Кудрявцев О.Ф.* Флорентийская Платоновская Академия. Очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М., 2008.
- Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм – это гуманизм / Пер. с фр. М. Грецкого. М.: Издательство иностранной литературы, 1953.
- Хайдеггер М.* Письмо о гуманизме // *Его же.* Время и бытие / Пер. с нем. В.В. Библихина. СПб.: Наука, 2007. С. 266–306.
- Baron H.* The Crisis of the Early Italian Renaissance. Princeton: P.U.P., 1966.
- Cassirer E.* Giovanni Pico della Mirandola: a Study in the History of Renaissance Ideas // Journal of the History of Ideas. Vol. 3. № 2–3. 1942. P. 123–144; P. 319–344.
- Copenhaver B.* Secret of Pico's *Oration*: Cabala and Renaissance Philosophy // Midwest Studies in Philosophy. XXVI. 2002 (a). P. 56–81.
- Copenhaver B.* Magic and the Dignity of Man: De-Kanting Pico's *Oration* // The Italian Renaissance in the Twentieth Century. Acts of an International Conference. Florence, Villa I Tatti, June 9–11, 1999 / Ed. by A.J. Grieco, M. Rocke, F.G. Superbi. Firenze, 2002 (6). P. 295–320.
- Ficino M.* De humanitate // Idem. *Lettere. Epistolarum liber I* / A cura di S. Gentile. Firenze: Leo S. Olschki editore, 1990. P. 107.
- Ficino M.* Platonic theology. 6 vol. / English translation by M. J. B. Allen with J. Warden. Latin text ed. by J. Hankins with W. Bowen. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press, 2001–2006.
- Fubini R.* L'umanesimo italiano. Problemi e studi di ieri e di oggi // Studi francesi. LI. III. 2007. P. 504–515.
- Garin E.* Der italienische Humanismus, Philosophie und bürgerliches Leben in Renaissance. Bern: A. Francke, 1947.
- Garin E.* Giovanni Pico della Mirandola: vita e dottrina. Firenze: Le Monnier, 1937.
- Garin E.* L'umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento. Roma; Bari: Laterza, 2008.
- Hankins J.* Humanism and Platonism in the Italian Renaissance. Vol. I. Humanism. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2003. P. 573–590.
- Hankins J.* The invention of the Platonic Academy of Florence // Rinascimento. Serie 2. 2001. Vol. XLI. P. 325–334.
- Hankins J.* The myth of the Platonic Academy of Florence // Renaissance Quarterly. 1991. Vol. XLIV. № 3. P. 429–475.

- Interpretations of Renaissance Humanism / Ed. by A. Mazzocco. Leiden; Boston: Brill, 2006.
- Kristeller P.O., King M.L.* Iter Kristellerianum: The European Journey (1905–1939) // Renaissance Quarterly. 47. 4. 1994. P. 907–929.
- Monfasani J.* Paul Oskar Kristeller, 22 May 1905 – 7 June 1999 // Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 145. № 2. June 2001. P. 208–211.
- Toussaint S.* Humanismes / Antihumanismes. De Ficin à Heidegger. T. 1. Paris, 2008.
- Vasoli C.* Profezie e profeti nella vita religiosa e politica fiorentina // Magia, astrologia e religione nel Rinascimento. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, 1974. P. 16–29.
- Vasoli C.* Temi mistici e profetici alla fine del Quattrocento // Idem. Studi della cultura del Rinascimento. Manduria: Lacaita, 1968. P. 180–240.
- Witt R.G.* Kristeller's Humanists as Heirs of the Medieval *Dictatores* // Interpretations of Renaissance Humanism / Ed. by A. Mazzocco. Leiden; Boston: Brill, 2006. P. 21–35.
- Акопян Ованес Львович*, аспирант, Центр по изучению Ренессанса, Уорикский Университет (Великобритания); [ovanes.akopyan@gmail.com](mailto:ovanes.akopyan@gmail.com)

# ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ В XX ВЕКЕ

---

*А. И. КЛЮЕВ, А. В. СВЕШНИКОВ*

## МИГРАЦИЯ ИЛИ ЭМИГРАЦИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СОВЕТСКИХ МЕДИЕВИСТОВ В 1920–1930-е гг.

---

Статья посвящена изучению феномена географической мобильности советских медиевистов межвоенного периода. Опираясь на материал биографий около 130 ученых, авторы прослеживают основные тенденции мобильности, определяют направления и причины миграций ученых.

**Ключевые слова:** *советские историки, географическая мобильность, медиевистика, университеты, научное сообщество.*

---

Банальный переезд чаще всего для профессионального ученого оказывается не только фактом личной биографии, но и событием, фактором его профессиональной деятельности. Как правило, это означает трансформацию профессионального поля, в рамках которого реализуется исследовательская деятельность, или изменение положения самого ученого в рамках этого поля, переконструирование интеллектуальных сетей, в которые ученый вписан, приводит к изменению профессионального и социального статуса, порой радикальным образом меняет характер и тематику научной работы. Иной раз, на новом месте ученому приходится «начинать жизнь заново», выстраивая все от профессии до быта. Народная мудрость, сопоставляющая переезд с пожаром, имеет отношение и к профессиональным ученым. Тем не менее, ученые переезжают. И делают это достаточно часто. На определенных этапах истории переезд оказывается важнейшим условием продолжения профессиональной деятельности или академической карьеры. Многим ученым для того чтобы оставаться таковыми приходится переезжать<sup>1</sup>.

Мы попытаемся выявить основные тенденции мобильности представителей одной научной дисциплины в ограниченный временной период. Речь пойдет о динамике географической мобильности советских медиевистов в 1920–1930-е гг., точнее говоря с 1917 по 1941 гг. Под медиевистами в данном случае мы понимаем профессиональных ученых-гуманитариев, занимавшихся изучением западноевропейского средневе-

---

<sup>1</sup> В статье речь пойдет о так называемой географической мобильности. См.: Лоскутова. 2009.

ковья. Само выделение достаточно условно, хотя бы в силу того, что есть масса дисциплинарных пересечений и пограничных областей, к тому же тот или иной историк мог менять тематику своих исследований или быть в профессиональном плане «многостаночником». Между тем, думается, что профессиональное исследование средневековья для первой половины XX в. требовало определенных специальных навыков (например, умение читать тексты на средневековой латыни), условий (наличие соответствующим образом укомплектованных библиотек) и набора специфических знаний (например, умение ориентироваться в актуальной историографии). Не случайно именно в начале XX века термин *медиевистика* начинают применять для обозначения специфической, отличной от других, научной дисциплины. Количество *медиевистов* в последние годы существования Российской империи было невелико. Преимущественно, они были связаны с крупными (не только в научном плане) центрами – Москвой, Петроградом, в определенной степени, Киевом. Институциональной базой для развития *медиевистики*, в отличие от других исторических дисциплин, связанных с музеями, архивами, Историческими обществами или структурами Академии Наук, служили преимущественно университеты. Соответственно, под *медиевистами* по отношению к этому периоду мы понимаем профессиональных ученых, писавших научные работы, посвященные западноевропейскому средневековью, читавших учебные курсы по этой тематике или оставленных при кафедре для приготовления к профессорскому званию и ориентированных на изучение западного средневековья. Поэтому понятно, что в ранг *медиевистов* попали историки литературы, историк права, историки театра и философии и другие.

Выделение межвоенного периода в качестве самостоятельного вряд ли нуждается в каком-то отдельном обосновании. Понятно, что, во-первых, это время политических потрясений: войн, смены политического режима, формирования новой политической системы и т.д. А во-вторых, время радикальной перестройки самой системы науки в институциональном, содержательном и персональном плане. Особенно значительными были изменения, коснувшиеся системы гуманитарного знания, что чаще всего в советской историографии именовали как «период формирования нового типа науки».

В научной литературе, посвященной истории отечественной *медиевистики* этого периода, как в общих работах<sup>2</sup>, так и в работах, посвященных отдельным персоналиям, вопрос о географической мобильности или не затрагивается вовсе или затрагивается вскользь.

---

<sup>2</sup> См.: *Косминский*. 1937; *Вайнштейн*. 1968; *Гутнова*. 1974.



Итак, в ходе анализа около 130 биографий профессиональных советских медиевистов этого периода мы можем выделить несколько трендов географической мобильности. Понятно, что и понятие «научная деятельность», и понятие «переезд» должны рассматриваться конкретно-исторически. В различных условиях, различных контекстах сам факт географического перемещения профессионального ученого с одного места на другое осуществляется, оценивается и интерпретируется по-разному. Хотя конкретный казус, безусловно, позволяет нащупать и некоторые значимые для истории науки в целом моменты. Конечно, при этом необходимо учитывать, что с одной стороны, сообщество небольшое, и его легко «обсчитать», но с другой, любая пара «случайных переездов» уже влияет на общую картину.

В дореволюционный период в целом преобладающей была тенденция, отмеченная М. Лоскутовой: молодые ученые из столичных университетов в поисках рабочих мест отправлялись в провинциальные<sup>3</sup>. Особенно это было характерно для университетских преподавателей, имевших в столичных университетах должность приват-доцента. Для медиевистов этот вариант является в данный период доминирующим. С «трудоустройством по специальности» в столицах были большие проблемы. Университетские кафедры были заняты достаточно прочно, преимущественно учеными так называемого «старшего поколения», т.е. ученых, чей пик научной деятельности пришелся на самое начало XX века. Молодые ученые уезжают из столиц или на вакантные кафедры уже существовавших провинциальных университетов или во вновь открывающиеся университеты. Так, например, В.Э. Крушман, сдав магистерские экзамены в Санкт-Петербурге, переезжает на вакантную кафедру в Одессу, получив после защиты магистерской диссертации должность экстраординарного профессора<sup>4</sup>. В Дерпт отправляется медиевист А.А. Васильев<sup>5</sup>. В силу разных обстоятельств вакантной долгое время была кафедра Казанского университета<sup>6</sup>. Кто-то рассматривал свое пребывание в провинции как временное и при первой же возможности возвращался в столицы, а кто-то прочно оседал в провинции и «пускал там корни». В качестве примера первой стратегии поведения можно указать постоянно державшего руку на пульсе событий в Московском университете и при первой возможности уехав-

---

<sup>3</sup> См.: Лоскутова. 2009.

<sup>4</sup> Свешников. 2010. С. 134.

<sup>5</sup> Дубьева. 2005. С. 84–85.

<sup>6</sup> Мягков. 2005. С. 162.

шего туда из Одессы Р.Ю. Виппера<sup>7</sup> или А.А. Васильева, раздражавшего частыми отлучками в Петроград дерптскую университетскую администрацию<sup>8</sup>. В качестве второго, можно вспомнить того же Крусмана: «Лекции получил и сам не думал, что студенческая аудитория будет так действовать на меня и так поднимать энергию. С практическими занятиями тоже все хорошо, но сколько участников и такое горячее участие, что, вероятно, придется во втором полугодии брать дополнительные часы. Языки (новые) знают здесь, пожалуй, получше, чем в Питере»<sup>9</sup>.

Конечно, нужно отметить и обратные случаи, например, переезд в 1915 г. в Москву выпускника Варшавского университета Е.А. Косминского<sup>10</sup> или переезд в Санкт-Петербург заслуженного киевского профессора И.В. Лучицкого<sup>11</sup>, но это скорее исключение из общего правила.

До войны функционировала сложившаяся система зарубежных стажировок лиц, оставленных при кафедре для приготовления к профессорскому званию, в ходе которой выпускники российских университетов могли посетить за казенный счет зарубежные научные и образовательные центры<sup>12</sup>. Единицы из числа российских медиевистов сумели реализовать себя профессионально за рубежом, хотя большинство сознательно перед собой такой задачи не ставило. В качестве примера успешного «трудоустройства» в Европе можно назвать профессора Оксфордского университета П.Г. Виноградова<sup>13</sup> и профессора Римского университета В.Н. Забугина<sup>14</sup>. Но это воспринималось в условиях «национальной системы науки» как исключительный шаг.

Существовала и практика переезда из одного провинциального университета в другой (так сказать, «горизонтальная мобильность»), связанная преимущественно с наличием или отсутствием «ставок», но в численном отношении она «погоды не делала». Наиболее известным примером подобно рода является успешная деятельность в Казани переехавшего сюда из Нежина В.К. Пискорского<sup>15</sup>.

В годы войны отмеченная доминирующая тенденция сохраняется во многом благодаря тому, что в эти годы начинается реализовываться

---

<sup>7</sup> Сафронов. 1976. С. 38–42.

<sup>8</sup> Дубьева. 2005. С. 96–99.

<sup>9</sup> Цит по.: Свейников. 2010. С. 134–135.

<sup>10</sup> Гутнова, 2000. С. 167.

<sup>11</sup> Таран, 2000. С. 273.

<sup>12</sup> См.: Свейников. 2012; Дмитриев. 2012.

<sup>13</sup> Антоценко. 2010.

<sup>14</sup> Tamborra. 1977. P. 211–218.

<sup>15</sup> Мяжков. 2005. С. 165–166.

подготовленный Министерством народного просвещения еще до войны план открытия новых провинциальных университетов<sup>16</sup>. Так, во вновь открытый университет в Перми, действующий в течение первого года в качестве филиала Петроградского университета, приезжает из столицы молодой медиевист Н.П. Оттокар<sup>17</sup>.

Кроме того, на динамику миграции начинают влиять и внешние по отношению к науке, чисто политические факторы. В связи с войной ряд западных университетов (Варшавский и Дерптский) были эвакуированы. Так, в 1917 г. в Ростов, став профессорами Ростовского университета, переезжают из Варшавы медиевисты Л.Н. Беркут и Н.Н. Любович<sup>18</sup>.

В период гражданской войны многие, преимущественно молодые, столичные медиевисты по прежнему отправляются в провинцию, но не столько в поисках вакантных мест, т.е. сознательно выстраивая профессиональную карьеру, но и часто для обеспечения более спокойного существования, порой – просто спасаясь от голода. В октябре 1917 г. в Пермь, вскоре за Оттокаром, перебирается его близкий друг В.В. Вейдле. «С чего же это? – вспоминал позднее Вейдле. – Или для чего? Прокормиться? Отчасти, в самом деле, и для этого. В Петербурге была дороговизна, недобхват продуктов, длинные хвосты; а в Перми, когда мы прибыли туда, пара рябчиков стоила пять копеек, жарилось все на топленом масле, в котором все жареное – к ужасу моему – плавало, а пельмени, звавшиеся тут, как и сами пермяки, солеными ушами, изготавливались по-прежнему из трех сортов мяса, плавали в жирнейшем бульоне и три часа подряд обновлялись в кастрюльке, подававшейся к столу, – “горяченькие, свеженькие, отдайте, водочку не забудьте”. Молоко тут зимой продавалось на вес, его рубили топором. Хлеб выпекали расчудесный. Снедь была на базаре в изобилии, казавшемся нам сказочным»<sup>19</sup>.

В Саратовском университете читал курс истории средневековой западноевропейской литературы филолог-романист Н.С. Арсеньев, будущий академик В.М. Жирмунский вел семинарий, а также практические занятия по древневерхненемецкому языку, а средние века – ученик И.М. Гревса Г.П. Федотов<sup>20</sup>. В Томском университете с 1917 по 1920 г. работает историк зарубежного театра А.А. Гвоздев<sup>21</sup>. В Воронеж, хотя и

<sup>16</sup> Расписание перемен. 2012. С. 80.

<sup>17</sup> *Клюев, Свешников.* 2009. С. 350–356.

<sup>18</sup> *Тункина.* 2009. С. 501, 660.

<sup>19</sup> *Вейдле.* С. 27.

<sup>20</sup> *Галямичев.* 2007. С.4–5; *Лысков.* 2007. С. 10; *Аврус.* 2002. С. 16–19; *Антощенко.* 2008.

<sup>21</sup> Профессор А.А. Гвоздев (1887–1939). 1939; *Шнейдерман.* 1987. С. 4.

не надолго, отправляется специалист по средневековому праву В.Э. Грабарь. В Твери работает московский медиевист Н.И. Радциг.

Кроме того, в годы гражданской войны самые разные политические силы действительно открывают в провинции новые учебные заведения, тем самым создавая для медиевистов возможность профессионального трудоустройства<sup>22</sup>. Во вновь созданном Симферопольском университете служит ученик Гревса молодой медиевист М.Э. Шайтан<sup>23</sup>.

В целом этот период характеризуется тем, что значение политического фактора заметно усиливается. В условиях войны ученые бегут, прячутся, переезжают, причем часто не по своей воле. Бегут от белых, красных, националистов и т.д. При этом в силу запутанности политической ситуации часто бежали от войны, а попадали в самое пекло. Эта тенденция сохраняет примерно до середины 1920-х гг., когда ситуация меняется. На первый план выходят другие тенденции миграции.

Во-первых, в связи с реорганизацией высшего образования, в первую очередь с реформированием ФОНов медиевисты в провинции оказались практически без работы. Часть недавно открытых вузов оказались закрытыми или переформированными так, что в специалистах по средним векам уже не нуждались. Приходилось или «бросать медиевистику» и «переквалифицироваться в управдомы» или возвращаться в столицы, где возможностей профессионального трудоустройства было больше, благодаря наличию библиотек, музеев, научно-исследовательских структур разного уровня и статуса, типа ГАИМК или Института истории науки и техники в Ленинграде<sup>24</sup>. Настоящим центром медиевистических исследований стал в 1920-е гг. отдел Рукописей в Публичной библиотеке в Ленинграде. В центр переезжают как бывшие выпускники столичных университетов, так и те, кто в свое время получил образование в провинции. В 1921 г. возвращается в Петроград из Перми Вейдле<sup>25</sup>, из Симферополя Шайтан<sup>26</sup>, из Саратова Г.П. Федотов<sup>27</sup>, из Костромы Н.С. Цемш<sup>28</sup>. Среди лиц, впервые переехавших в этот период в Москву, можно назвать молодого, но уже известного казанского медиевиста Н.П. Грацианского<sup>29</sup>, перебравшегося в столицу в 1922 г. Схожий процесс идет на Украине, где

---

<sup>22</sup> Расписание перемен. 2012. С. 404–434.

<sup>23</sup> Гревс. 1927. С. 1; Вольфцун. 2012. С. 383–384.

<sup>24</sup> См. Вольфцун. 2008. С. 7–17; Свешиников. 2010. С. 198–227.

<sup>25</sup> Клюев, Свешиников. 2009. С. 358.

<sup>26</sup> Гревс. 1927. С. 1; Вольфцун. 2012. С. 384.

<sup>27</sup> Галямичев. 2007. С. 4.

<sup>28</sup> Вольфцун. 2008. С. 82.

<sup>29</sup> Иванов. 2007. С. 382–384.

в качестве центра выступает Киев. Сюда, например, перебирается в 1922 г. из Ростова Л.Н. Беркут<sup>30</sup>. Но и в столицах вплоть до середины 1930-х гг. реализовать себя профессионально становится все сложнее. Многим медиевистам, как молодым, так и представителям более старшего поколения приходится заниматься вещами весьма далекими от медиевистики. Так, патриарху ленинградской медиевистики И.М. Гревсу и ряду его учеников (Н.П. Анциферову, Г.Э. Петри) приходится переключиться на краеведение<sup>31</sup>, другая его ученица А.И. Хоментовская работает заведующим библиотекой и архивом наблюдений в Главной геофизической обсерватории<sup>32</sup>, а ученик Д.М. Петрушевского А.И. Неусыхин в Москве работает научным сотрудником во Всесоюзной ассоциации сельскохозяйственной библиографии. Классификатором в Ленинской библиотеке служит и медиевист С.П. Моравский. М.А. Гуковский в 1920-е гг. чередовал работу в Публичной библиотеке и БАНе, а также работу в качестве техника в акционерном обществе «Севзапорг»<sup>33</sup>. Выпускник Казанского университета В.Т. Дитякин, помимо того, что работал в 1920-е гг. в Казанском политехническом институте и в других заведениях Казани, работал в политотделе штаба Западной армии Республики<sup>34</sup>.

Во-вторых, гораздо более массовый характер приобретает эмиграция из Советской России. Уезжают в первую очередь по политическим соображениям, те, кто критически настроен по отношению к советской власти. В 1920 г. с частями белой армии вынуждены были уехать из Одессы медиевисты П.М. Бицилли<sup>35</sup> и К.В. Флоровская<sup>36</sup>, а из Крыма бывший профессор Симферопольского, а перед этим Киевского университета Н.М. Бубнов. Во Францию уезжает ученица Гревса А.М. Петрункевич, в Ригу, сделав там впоследствии вполне успешную карьеру, другой его ученик А.А. Тентель, а И.В. Пузино, не имея официального разрешения, рискуя жизнью, переходит по льду Финский залив. Иной раз этот отъезд был вынужденным, как высылка профессора Петроградского университета Л.П. Карсавина, и порой воспринимался самим эмигрантом как временный. В 1920 г. был командирован в Германию и впоследствии не вернулся филолог-романист Ф.А. Браун. Командировку с «научными целями» получают оставшиеся на Западе Н.П. Отто-

<sup>30</sup> Тункина. 2009. С. 501.

<sup>31</sup> Каганович. 2007. С. 48–54; Свешиников. 2010. С. 57–59, 163–165, 182–185.

<sup>32</sup> Каганович. 2008. С. 125–126.

<sup>33</sup> Вольфшун Л.Б. [http://www.nlr.ru/nlr\\_history/persons/info.php?id=70](http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=70)

<sup>34</sup> Профессора Казанского университета. 1999. С. 23–25.

<sup>35</sup> Каганович. 2007. С. 166; Бирман. 2006. С. 661–662.

<sup>36</sup> Свешиников. 2010. С. 129.

кар<sup>37</sup>, Г.П. Федотов<sup>38</sup>, В.В. Вейдле<sup>39</sup>, византинист А.А. Васильев<sup>40</sup>. Частото такой отъезд создавал серьезные проблемы для продолжения профессиональной деятельности. Многим медиевистам, не сумевшим в эмиграции встроиться в профессиональное научное сообщество западных стран, подобно упомянутым Г.П. Федотову, К.В. Флоровской и В.В. Вейдле, пришлось уйти из профессии. Часть оказалась связана с академическими учреждениями русской эмиграции, и лишь немногим удалось интегрироваться в мир западной науки<sup>41</sup>. В качестве редких примеров удачной профессиональной научной реализации можно назвать профессора Флорентийского университета Н.П. Оттокара и профессора Парижского Католического университета И.В. Пузино.

Ситуация меняется с середины 1930-х гг. и вновь в силу преимущественно политических причин. Нуждаясь в исторической науке как форме идеологического обоснования и легитимации правящего режима, советская власть «возвращает» историю в среднюю и высшую школу. Открываются исторические отделения и факультеты, как в старых, так и в новых университетах и педагогических институтах. Соответственно, возникает потребность в медиевистах, способных обеспечить квалифицированное чтение курса истории средних веков в этих учебных заведениях. Это изменение положения медиевистики как дисциплины, естественно, изменило и направление миграции медиевистов.

Во-первых, с конца 1930-х гг. прекращается эмиграция за рубеж. Сама связь с эмигрантской наукой после пресловутого дела Жебелева и Академического дела становится «порочающим пятном», а контакты с западной, «буржуазной», наукой резко сокращаются и ставятся под жесткий контроль со стороны власти и академической бюрократии.

Во-вторых, часть профессионального сообщества медиевистов, подвергшись арестам или высылкам, должна была отправиться в провинцию не по своей воле, хотя многие из них и здесь продолжали свою профессиональную деятельность, пытаясь заниматься научными исследованиями. В 1934 г. в Оренбург выслан из Ленинграда как «социально опасный элемент» расстрелянный впоследствии палеограф С.А. Ушаков<sup>42</sup>. В 1935 г. арестована и выслана в Саратов А.И. Хоментовская<sup>43</sup>.

---

<sup>37</sup> Клементьев, Клементьева, 2006. С. 385–386; Ключев. 2011. С. 253–254.

<sup>38</sup> Антощенко. 2003. С. 291.

<sup>39</sup> Дороченков. 1996.

<sup>40</sup> Куклина. 1995.

<sup>41</sup> О стратегиях поведения ученых русской эмиграции см. Дмитриев. 2003.

<sup>42</sup> Вольфицун. 2008. С. 78.

<sup>43</sup> Каганович. 2008. С. 126.

В 1937 г. были повторно арестованы и отправлены в лагерь проходивший ранее по Академическому делу А.Г. Вульфius<sup>44</sup> и проживавший в Калининe медиевист-палеограф В.В. Бахтин<sup>45</sup>.

В-третьих, вновь доминирующим становится вектор «из столицы в провинцию». Да и число переездов из одного провинциального города в другой явно увеличивается. Провинциальные учебные заведения, нуждаясь в квалифицированных кадрах, активно принимают и привлекают сотрудников и выпускников столичных вузов, способных прочесть курс истории средних веков. При этом здесь можно выделить несколько вариантов. Иногда провинциальные вузы, расположенные недалеко от Москвы или Ленинграда, приглашают преподавателей столичных вузов для чтения курсов и работы по совместительству. Так, в Новгороде курс средних веков читает ленинградский медиевист Н.С. Масленников, в Калининe с 1939 г. – Н.И. Радциг. Первый заведующий кафедрой истории средних веков ЛГУ Н.Н. Розенталь, заведует в 1933–1934 гг. кафедрой истории в том же Новгороде, а после увольнения и лишения всех должностей он год работает заведующим кафедрой в Алма-Ате, перебираясь затем в Одессу. Чаще всего в этом случае курс средних веков читался «наездами». В Горьком и Вологде преподает, правда, историю СССР, один из первых «красных» медиевистов, выпускник института красной профессуры А.И. Гуковский. Иногда провинциальные вузы берут выпускников столичных истфаков или аспирантуры на постоянную работу в штат. Так, в Сталинградском педагогическом институте читает курс истории средних веков выпускник Московского ИФЛИИ М.А. Алпатов<sup>46</sup>. В Саратове получают работу А.С. Бартнев и С.М. Пумпянский<sup>47</sup>, туда же, но уже после войны, отправляется С.М. Стам<sup>48</sup>. После защиты диссертации в 1938 г. в Воронежский педуниверситет отправляется ученик О.А. Добиаш-Рождественской Б.Я. Рамм. В 1932 г. начал работать в Ивановском педагогическом институте специалист по средневековой истории Франции А.В. Конокотин<sup>49</sup>. Новую историю в Горьковском и Ярославском пединститутах в эти годы читал В.М. Лавровский.

Эта тенденция усиливается после первого выпуска исторических факультетов в столицах и впоследствии ведет к формированию системы централизованного распределения выпускников. Эта система по отно-

---

<sup>44</sup> Груздева. 2012. С. 162.

<sup>45</sup> Вольфиун. 2008. С. 54.

<sup>46</sup> Науменко. 2005. С. 36.

<sup>47</sup> Галямичев. 2007. С. 7–11.

<sup>48</sup> Там же. С. 11–13.

<sup>49</sup> Москаленко. 1980. С. 407.

шению к историческим факультетам окончательно сформируется уже после Великой Отечественной войны, которая, конечно, внесет свои радикальные изменения в характер и направления внутрисоюзной академической мобильности профессиональных медиевистов.

Подводя предварительные итоги проведенного нами анализа миграционных процессов среди профессиональных советских медиевистов 1920–1930-х гг. следует обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, важнейшим фактором, определяющим мобильность профессиональных медиевистов 1920–1930-х гг., оказывается их принадлежность к институциональной системе исторической науки. И, соответственно, та радикальная трансформация, которую переживает эта система в рассматриваемый период, в значительной степени определяет подвижки среди профессионального сообщества медиевистов. Хотя, с другой стороны, значимым оказывается и тот момент, что с точки зрения значимых для политической власти идеологических функций этой системы медиевистика явно занимает периферийное положение. До определенного момента никакого интереса к изучению западного средневековья советская власть не испытывала<sup>50</sup>. Не было громких компаний в медиевистике со всеми вытекающими последствиями. Специально не громили, но и не «подкармливали».

Во-вторых, географическая мобильность медиевистов в этот период была «академической» в весьма малой степени. Часто причиной переезда становились внешние по отношению к самой науке факторы, такие как безопасность, материальное положение и другие. Профессиональный исследователь решался на переезд, порой, будучи готовым при этом пожертвовать профессией, иногда, чтобы банально выжить.

В-третьих, переезд далеко не всегда оказывается результатом сознательного выбора самого переезжающего. Часто он осуществляется стихийно под давлением внешних сил или обстоятельств. И высылка, и эмиграция были явлениями достаточно распространенными, но в качестве примеров стихийного переезда далеко не единственными.

В-четвертых, медиевисты, мигрировавшие «сознательно», как и представители других дисциплин, в плане географической мобильности делятся на «номадов», часто менявших места работы и проживания, и «соседных», вся профессиональная биография которых связана с одним научным центром. Вторых больше. В значительной мере их профессиональная деятельность в данный период развивалась в столицах, предоставлявших больше возможностей для профессиональной самореализации.

---

<sup>50</sup> См. Свешников А.В., 2008.



В-пятых, значимыми для определения основных тенденций географической мобильности советских медиевистов оказываются структурирующие пространство миграции оппозиции «центр – провинция» и на определенном этапе – «Советская Россия или заграница». Понятно, что в данном случае советская медиевистика предстает совершенно уникальным феноменом в контексте общего развития медиевистики (для немецкой медиевистики, например, первая указанная оппозиция в принципе невозможна). Подобная структура пространства задает, с одной стороны, централизованный в географическом плане характер организации научной дисциплины (Москва и Ленинград играли и играют ведущую роль, там основные центры, кадры, фонды, издания), а с другой стороны обеспечивает циклический характер миграционных трендов. Хотя стоит отметить, что в очень малой степени имеет место миграция из одной «столицы» в другую.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Антощенко А.В.* «Евразия» или «Святая Русь»? Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории. Петрозаводск. 2003. 390 с.
- Антощенко А.В.* Долгие сборы в Саратов (К биографии Г.П. Федотова) // Историко-географический сборник. Вып. 23. Саратов, 2008. С. 72–82.
- Антощенко А.В.* Русский либерал-англофил Павел Гаврилович Виноградов. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2010. 344 с.
- Бирман М.А.* П. М. Бицилли (1879–1953). Штрихи к портрету ученого // Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / Сост. Ф.Б. Успенский. М: Языки славянских культур, 2006. С. 633–718.
- Вайнштейн О.Л.* История советской медиевистики. 1917–1966. Л., Наука, 1968. 425 с.
- Вейдле В.В.* Воспоминания / Публ. и коммент. И. Дороченкова // Диаспора: новые материалы. Вып. 3. СПб.: Феникс, 2002. С. 7–159.
- Вольфиун Л.Б.* Матвей Александрович Гуковский // [http://www.nlr.ru/nlr\\_history/persons/info.php?id=70](http://www.nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=70)
- Она же.* Михаил Эммануилович Шайтан. Из истории петербургской медиевистики 1920-х годов. // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2012. С. 379–396.
- Она же.* От Корбийского скриптория до века Просвещения. Из истории изучения западноевропейской культуры в России. СПб.: Феникс, 2008. 248 с.
- Галамичев А.Н.* Медиевистика в Саратовском университете: основные вехи истории // Средневековый город: Межвуз. науч. сб. Вып. 18. Саратов: Изд-во Саратовского государственного университета, 2007. С. 3–22.
- Гардонио С., Сульнассо Б.* Осколки русской Италии: исследования и разработки. Кн. 1. М.: Викмо-М; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына; Русский путь, 2011. 456 с.
- Гревс И.М.* Памяти В.Э. Крусмана // *Анналы*. Пг., 1923. № 2. С. 255–258.
- Гревс И.М.* М.Э. Шайтан (Некролог) // *Летопись занятий постоянной историко-археологической комиссии* за 1926. Вып. 1. Л., 1927. С. 1–2.
- Груздева Е.Н.* Александр Германович Вульфийус (1880–1941) // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 152–162.

- Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. М., Высшая школа, 1974. 400 с.
- Гутнова Е.В. Евгений Алексеевич Косминский (1886–1959) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. М.; Иерусалим., 2000. С. 167–176.
- Дмитриев А.Н. Эмиграция как фактор национализации науки: русские гуманитарии в Германии 1920–1930 гг. // Ab imregio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2003. № 2. С. 317–349.
- Дмитриев А.Н. Заграничная подготовка будущих российских профессоров накануне Первой мировой войны // Профессорско-преподавательский корпус российских университетов: исследования и документы / Под ред. Н.В. Грибовского, С.Ф. Фоминых. Томск: ТГУ, 2012. С. 65–76.
- Дороченков И.А. Владимир Вейдле. Путь к книге // Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. СПб., 1996.
- Дороченков И.А. [Вступительная статья] В. Вейдле. Воспоминания // Диаспора: новые материалы. Вып. 3. СПб.: Феникс, 2001. С. 24–46.
- Дубьева Л.В. Профессор всеобщей истории Юрьевского университета 1904–1912 гг. А.А. Васильев // Биографика. I. Русские деятели в Эстонии XX века / Сост. и отв. ред. С. Исаков. Тарту, 2005. С. 79–103.
- Иванов Ю.Ф. Профессор Н.П. Грацианский // Одиссей. Человек в истории. 2007. М., 2007. С. 376–396.
- Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины XX века. СПб.: Гиперион, 2007. 244 с.
- Каганович Б.С. А.И. Хоментовская в последние годы жизни (по материалам ее переписки) // Всеобщая история и история культуры: петербургский историографический сборник. СПб., 2008. С. 125–147.
- Клементьев А.К., Клементьева В.А. Три университета Николая Петровича Оттокара (Санкт-Петербург – Петроград – Пермь – Флоренция) // Русские в Италии: культурное наследие эмиграции: международная научная конференция. М.: Русский путь, 2006. С. 377–404.
- Клюев А.И., Свеишников А.В. Представители петербургской школы медиевистики в Пермском университете в 1916–1922 гг. // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2009. С. 350–364.
- Клюев А.И. Из истории одной книги: Н.П. Оттокар и его книга «Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи // Диалог со временем. 2011. Вып. 34. С. 249–270.
- Косминский Е.А. Итоги изучения истории средних веков в СССР за двадцать лет // Известия АН СССР. Отд. общ. наук. № 5. М., 1937.
- Кужкина И.В. А.А. Васильев: «труды и дни» ученого в свете неизданной переписки // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И.П. Медведева. СПб., 1995. С. 313–338.
- Лоскутова М.В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей российских университетов второй половины XIX в.: постановка проблемы и предварительные результаты исследования // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в. / Под ред. А.Ю. Андреева. М: Российская политическая энциклопедия, 2009. С. 183–211.

- Лысков А.П.* Николай Арсеньев: вдали от родины, но сердцем с ней // Вестник Московского университета. 2007. Серия 7. № 3. С. 3–33.
- Москаленко А.Е.* Научные труды А.В. Конокотина // Средние века. 1980. Вып. 43. С. 407–410.
- Мязов Г.П.* Медиевистика в Казанском университете // История и историки в Казанском университете. К 125-летию общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Ч. 2. Казань, 2005. С. 160–171.
- Науменко Г.И.* Алпатов, Михаил Антонович // Историки России XX века: Библиографический словарь / Автор-составитель А.А. Чернобаев. Под ред. В.А. Динеса. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2005. Т. 1 (А-Л). С. 36.
- Профессор А.А. Гвоздев (1887–1939) // Учёные записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Л., 1939;*
- Профессора исторического факультета Казанского университета (1939–1999): библиографический словарь. Казань, 1999.*
- Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е гг.) / Под ред. А.Н. Дмитриева. М.: НЛЮ, 2012.*
- Сафронов Б.Г.* Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 223 с.
- Свешиников А.В.* Советская медиевистика в идеологической борьбе конца 1930–1940-х годов // Новое литературное обозрение. 2008. № 90. С. 86–112.
- Свешиников А.В.* Петроградская школа медиевистики начала XX века. Попытка историко-антропологического исследования научного сообщества. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2010. 408 с.
- Таран Л.В.* Иван Васильевич Лучицкий (1845–1918) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. М.; Иерусалим, 2000. С. 267–275.
- Тункина И.В.* Биографический словарь-указатель // Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. М.: Индрик, 2008. С. 477–831.
- Шнейдерман И.И.* Алексей Александрович Гвоздев // Гвоздев А.А. Театральная критика / Сост. и прим. Н.А. Таршис. Л.: Искусство, 1987. С. 3–17.
- Tamborra A.* Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917. Bari: Laterza, 1977. 272 p.

**Ключев Артем Игоревич** – аспирант кафедры всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; [kluevartem@mail.ru](mailto:kluevartem@mail.ru).

**Свешиников Антон Вадимович** – доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; [pucholik@rambler.ru](mailto:pucholik@rambler.ru).

А. В. ХРЯКОВ

## МЕДИЕВИСТ П.Э. ШРАММ И ПЕРИПЕТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ИСТОРИКОВ В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

---

Перси Эрнст Шрамм (1894–1970), специалист по истории средневековых коронаций и политического символизма, является одним из основоположников «новой политической истории». В условиях господства в Германии национал-социализма серьезно изменились представления о научном международном сотрудничестве, сделав контакты ученых небезопасными. Актуальная для немецкого историка коммуникативная сеть была уничтожена, а сам он был вынужден разорвать многие контакты.

**Ключевые слова:** П.Э. Шрамм, научное сообщество, международные научные связи, библиотека Варбурга, немецкая историческая наука.

---

Международные научные связи привлекают к себе внимание исследователей, занимающихся изучением истории исторической науки. Этот интерес оправдывается разными причинами, во-первых, тем, что научные связи являются формой межкультурных и межгосударственных контактов. Во-вторых, зарубежные поездки или знакомства с зарубежными учеными часто оказывают определяющее воздействие на формирование собственной оригинальной концепции. В-третьих, международные связи и признание за рубежом, действительно являются неотъемлемой частью существования научного сообщества и одним из механизмов функционирования и развития науки.

Если вспомнить такой примечательный феномен как «республика ученых», то международное сотрудничество, персональные контакты представителей научного сообщества и трансляция идей являлись необходимыми элементами существования европейских интеллектуалов еще до формирования исторической науки в середине XIX в. Историография, возникшая в рамках национального государства и тесно связанная с его потребностями, также не отказалась от транснационального сотрудничества, что связано с основополагающим принципом существования любого научного сообщества – признанием. По словам одного из классиков современной социологии науки Роберта К. Мертона: «Поскольку признание со стороны коллег есть базовая форма *внешнего* вознаграждения в науке, все прочие внешние награды, такие, как денежный доход от научной деятельности, продвижение к вершинам научной иерархии и расширение доступа к человеческому и материальному научному капиталу,

являются производными от нее... Наряду с *внутренним* удовлетворением, которое ученый получает от самой работы над научной проблемой и от решения ее, такого рода система внешних вознаграждений дает мощный стимул к ревностному и напряженному труду и получению результатов, которые привлекут внимание знающих специалистов и найдут применение в работах некоторых из них»<sup>1</sup>.

В борьбе за пресловутый «социальный капитал» (Бурдье) международное признание является аргументом, позволяющим укрепить свою репутацию в рамках национального сообщества. Наднациональная «эйкумена историков»<sup>2</sup> уже в XIX в. включала в себя международные союзы, членство в международных академиях, специальные журналы, конференции и конгрессы. И участие в жизни транснационального научного сообщества, а также отождествление себя с ним было очень важной частью личной идентификации многих историков конца XIX – начала XX в.

Первая мировая война справедливо считается ключевым событием в крушении как транснационального сообщества, так и его идеалов, а сама историческая наука в годы войны стремительно национализировалась<sup>3</sup>. Поле международных контактов и принадлежность к транснациональному научному сообществу стали восприниматься не из потребностей науки в наличии взаимовыгодного «рынка» профессионального признания, а исходя из потребности национального государства в укреплении собственного престижа и отстаивании своих внешнеполитических интересов. И попытки немецких историков в 1920–30-е восстановить былые международные контакты и возвратиться в лоно мировой науки были продиктованы не только желанием отдельных ученых, но и поддержаны ревизионистским устремлением немецких властей вернуть себе былое лидерство в научной сфере<sup>4</sup>. Это создавало известную напряженность в понимании целей и задач подобного международного обмена, особенно в тех случаях, когда национальные идеалы вступали в противоречие с идеалами *scientific community*. И многим историкам, чья деятельность получала признание и находила поддержку за границей, приходилось в конечном итоге жертвовать своим международным авторитетом и идти на сознательный разрыв былых коммуникативных сетей.

Мы рассмотрим научную деятельность выдающегося немецкого медиевиста XX в. Перси Эрнста Шрамма (1894–1970), чьи исследования по

---

<sup>1</sup> Мертон. 1993. С. 271.

<sup>2</sup> Erdmann. 1987.

<sup>3</sup> Дмитриев. 2001. С. 196–235.

<sup>4</sup> Советско-германские... 2001.

истории средневековых коронаций и политического символизма стали основополагающими для формирования так называемой «новой политической истории»<sup>5</sup>. Работая в рамках европейской сравнительной истории, занимаясь сюжетами из истории Германии, Франции, Англии немецкий историк всегда был заинтересован в сотрудничестве с коллегами из других европейских стран, в свободном обмене научными достижениями, обмене, не связанном национальными рамками, вознаграждением чему стало его международное признание. Но, вместе с приходом к власти в Германии нацистов и разрушением интернациональной коммуникативной среды изменилось и отношение к международному сотрудничеству, что потребовало от многих ученых разорвать былые научные связи. Предметом нашего рассмотрения станут несколько эпизодов научной биографии Шрамма, наглядно демонстрирующих этот процесс.

П.Э. Шрамм родился 14 октября 1894 г. в ганзейском Гамбурге в потомственной купеческой семье, принадлежавшей к высшему слою местного общества, в котором торговцы всегда занимали главенствующие позиции. Предки историка могли похвастаться не только славной родословной, но и значительными капиталами, что приносила им торговля. Родственники по материнской линии основали торговое представительство в Африке, а интересы предков по отцовской линии были связаны с Бразилией. Его отец, будучи юристом, сохранил верность семейным купеческим традициям, участвуя капиталами в деятельности ряда местных фирм, и, кроме того, активно занимался политической деятельностью на местном уровне и даже был избран одним из сенаторов Гамбурга.

Богатая талантами и выдающейся родословной семья стала для молодого Шрамма первым толчком к занятиям историей. Хотя никто не сомневался, что он, как и его уважаемые предки, выберет купеческую или юридическую карьеру, его любимым занятием стало собирание сведений о предках и составление семейной генеалогии. Отец по роду своей деятельности был не чужд истории. Так к его ближайшему кругу общения принадлежал историк Эрих Маркс, работавший с 1908 г. в «Колониальном институте», основанном в Гамбурге. Но, пожалуй, наибольшее влияние на будущее молодого Шрамма оказало знакомство с выдающимся культурологом Аби Варбургом (1866–1929) – ближайшим знакомым родителей, охотно откликнувшимся на их просьбу помочь юному Перси в его страстном увлечении семейной историей. Дружба с Варбургом, начавшаяся в 1911 г., определяла научное поведение Шрамма и после смерти культуролога.

---

<sup>5</sup> *Ле Гофф*. 1994. С. 182-183.

Сегодня Аби Варбург считается признанным родоначальником современной культурологии<sup>6</sup>. Он родился в Гамбурге, в богатой еврейской семье. Являясь первенцем своих родителей, Аби Варбург должен был унаследовать семейное дело – Банк Варбургов. Но будущий ученый отказался от банковской карьеры, уступив право первенства следующему брату Максу, со слов которого и стало известно о заключенном между двумя братьями договоре: в обмен на первенство в семейных банковских делах, младший брат обязывался предоставлять старшему брату средства на покупку любых книг, которые Аби Варбург сочтет нужными – так началась история знаменитой «Библиотеки Варбурга»<sup>7</sup>.

Страстное увлечение Шрамма средневековьем не было результатом дружбы с Варбургом, тем более что сам Варбург интересовался, прежде всего, античным наследием в современном мире, а его интерес к поздней готике был лишь очередным сюжетом на пути к главной цели – прояснению античного наследия в эпоху Возрождения<sup>8</sup>. Именно от Варбурга Шрамм перенял желание и умение воспринимать изображения в качестве источника не только вдохновения, но и фактической информации.

Общественно-политическую актуальность средние века приобрели задолго до прихода нацистов к власти. С конца XIX в. европейское средневековье становится предметом широкого общественного интереса, выйдя за узкие рамки профессиональной историографии в мир искусства, философии, поэзии<sup>9</sup>. Но если первоначально очарование средневековьем было вызвано разочарованием в модернизации и ее последствиях, то после поражения в Первой мировой войне и «позорного» Версальского мира, средневековье в Германии стало синонимом антиреспубликанизма и антизападничества. Однако как в первом, так и во втором случае, «воображаемое средневековье осмысливалось в его соотношении с современностью и было предназначено для отрицания современности»<sup>10</sup>.

Летом 1914 г. Шрамм был зачислен в университет города Фрайбурга, но учебу пришлось отложить на неопределенное время – началась война, в которой будущий историк принимал участие. Как и для подавляющего большинства молодых людей его поколения, участие в войне, включая ее катастрофический исход, было решающим фактором в формировании его личности и мировоззрения. Аби Варбург не разделял восторженного отношения своего взрослого ученика к войне,

<sup>6</sup> Дороченков. 2008.

<sup>7</sup> Warburg. 1979. S. 26.

<sup>8</sup> Gombrich. 1992. S. 136, 177, 245–248, 412–417.

<sup>9</sup> См. об этом: Oexle. 1997. S. 338–348; Oexle. 1992. S. 125–153.

<sup>10</sup> См.: Эжле. 1996. С. 215.

критикуя его в письмах за согласие с аннексионистскими стремлениями германских властей. В одном из писем на фронт он писал: «Ты должен снова мало-помалу учиться рассматривать мир как историк»<sup>11</sup>. В годы войны психическое состояние Варбурга резко ухудшилось, переживания по поводу случившейся катастрофы привели его сперва в лечебный санаторий, а спустя несколько лет в психиатрическую больницу<sup>12</sup>. Пока было возможно, Шрамм навещал своего друга и учителя, гуляя с ним, обсуждал исторические проблемы, стремясь вывести его из болезненного мира иллюзий. Дружба с великим культурологом привела будущего историка в его библиотеку, где он познакомился с Фрицем Заклем, постоянным сотрудником и будущим директором библиотеки, и Эрвином Панофски – руководителем библиотечного семинара.

После демобилизации Шрамм учился в Мюнхене и Гейдельберге, В Гейдельберге под руководством Карла Хампе (1869–1936), на тот момент самого известного и выдающегося медиевиста Германии, он защитил в 1922 г. свою первую диссертацию «Исследование по истории императора Оттона III», а через два года вторую – «Империя, Рим и Античность с конца IX по XII вв.».

Его вышедшее в 1928 г. двухтомное сочинение «Немецкие императоры и короли в изображениях собственных эпох», фактически является первым в мировой историографии исследованием визуальной информации о средневековых правителях с привлечением самых разных источников от монет и печатей до произведений искусства<sup>13</sup>. Почти одновременно вышло в свет двухтомное сочинение, сделавшее имя Шрамма известным за пределами национального исторического сообщества<sup>14</sup>. Значимость этой книги для самого историка демонстрирует тот факт, что спустя четверть века после издания работы, он продолжал представляться как «автор Императора, Рима и Возрождения»<sup>15</sup>.

С 1929 г. и вплоть до самой смерти Шрамм являлся профессором средневековой и новой истории и вспомогательных исторических дисциплин Геттингенского университета. Благодаря покровительству геттингенского профессора Карла Бранди (1868–1946), председателя Союза немецких историков<sup>16</sup>, молодой медиевист стал членом Центрального

---

<sup>11</sup> *Grolle*. 1989. S. 13.

<sup>12</sup> О реакции А. Варбурга на войну и связанной с этим болезни см.: *Gombrich*. 1992. S. 280–294.

<sup>13</sup> *Schramm*. 1928.

<sup>14</sup> *Schramm*. 1929.

<sup>15</sup> *Kamp*. 1987. S. 352.

<sup>16</sup> *Petke*. 1987. S. 287–320.



комитета Союза. Кроме того, с подачи все того же Бранди, члена правления Международного исторического комитета, Шрамм стал участником Международной иконографической комиссии, призванной способствовать распространению практики привлечения изобразительных материалов в качестве исторических источников. Он был избран в редколлекции ведущих исторических журналов Германии: «Прошлое и настоящее» и «Исторический журнал».

Здесь же в Геттингене, Шрамм принял самое активное участие в политической жизни города и страны. В ходе президентских выборов 1932 года он возглавлял местное отделение так называемого «Комитета Гинденбурга» – внепартийной организации, стремившейся к переизбранию П. Гинденбурга президентом Германии. Парадоксальность этих выборов состояла в том, что для всех кто не желал победы радикально настроенных А. Гитлера и Э. Тельмана, противник демократии Гинденбург превратился в единственного защитника Веймарской республики и конституции. Шрамм скептически относился к парламентской системе и партийной борьбе как ее составляющей, поэтому лидера национал-социалистов он воспринимал именно как образец партийного политика, действующего исключительно в интересах собственной партии. Национальный же консенсус мог обеспечить лишь человек надпартийный, не связанный клановыми корыстными интересами.

Приход Гитлера к власти Шрамм наблюдал из-за океана, находясь с января 1933 г. в Соединенных Штатах по приглашению Принстонского университета. Несмотря на прошлые предубеждения в отношении нацистов он, как и большинство немецкой буржуазии, с воодушевлением встретил приход Гитлера в правительство. Более всего он восторгался активностью и энергичностью гитлеровского «движения» и возможностью его соединения с чаяниями национально-консервативных сил.

После выборов в Рейхстаг, когда нацисты получили 44% голосов, а все правые получили 52%, он писал жене: «52 % – это же счастье»<sup>17</sup>. В своих письмах на родину он приветствовал все начинания нацистов, несколько не сомневаясь в необходимости применения полицейского террора в отношении противников нового режима, и прежде всего коммунистов. Политические перемены он оценивал как возвращение к идеалам, за которые он сражался в годы Первой мировой войны. «Я уже не надеялся, что черно-бело-красное знамя вернется... Я приветствую это всем сердцем»<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> *Grolle J.* 1989. S. 22–23.

<sup>18</sup> *Ibid.* S. 23.

В Америке Шрамм столкнулся со скептическим отношением научной общественности и средств массовой информации к «революционным» событиям в Германии. Скепсис американцев, немецкий историк объяснял плохой информированностью о ситуации в Германии. Он пытался исправить это положение вещей, развернув активную агитационную деятельность в рамках собственных лекций и встреч в американских университетах<sup>19</sup>. Назначение Гитлера канцлером и дальнейшие события он идентифицировал как революционные, главной целью которых являлось укрепление единства Рейха. Ограничение политических свобод и насилие в отношении еврейского населения, на что, прежде всего, обращали внимание за границей, Шрамм списывал на издержки революционного времени, считая их вторичными и преходящими. Поведение Шрамма не является сколько-нибудь особенным на фоне других представителей исторического цеха. За небольшим исключением, историки Германии воодушевленно и искренне приветствовали начавшиеся политические перемены.

Но находясь вдалеке от родного дома и получая информацию исключительно из газет и редких писем, Шрамм довольно плохо представлял себе истинное положение вещей в горячо любимой и защищаемой им Германии. За время его отсутствия в родном университете изменилось очень многое, в том числе и в его жизни – местные нацистские активисты сделали отсутствующего профессора мишенью для своих нападок. Американская командировка и, как следствие, неучастие в событиях «национальной революции» выглядело в глазах сторонников национал-социализма подозрительным.

Поводом послужило принятие 7 апреля 1933 г. знаменитого закона о «Восстановлении профессионального чиновничества», который содержал не только так называемый «арийский параграф», запрещавший преподавать представителям еврейской национальности, но и «политический параграф», позволявший увольнять с государственной службы политически неблагонадежных, «кто своей предыдущей политической деятельностью не гарантировал безоговорочную преданность национальному государству». Шрамму припомнили его активное участие в избирательной компании 1932 года, что грозило ему потерей места профессора. Это заставило его покинуть Соединенные Штаты раньше намеченного срока и спешно вернуться в Германию.

Шрамму удалось сохранить место, заверив университетские власти в своей полной лояльности новому правительству, но с рядом близких

---

<sup>19</sup> Ibid. S. 24–28.

людей, в том числе другом юности историком Отто Вестфалем, принявшим самое активное участие в травле Шрамма пришлось прекратить дружеские отношения. Несмотря на формальную победу и полученную со стороны руководства поддержку, Шрамм серьезно отнесся к этой истории, понимая насколько уязвимо его положение. Международные связи и активные контакты историка стали явно небезопасными и грозили серьезными проблемами ему и его покровителю К. Бранди. Отныне международные встречи стали восприниматься исключительно как арена борьбы и место отстаивания собственных политических интересов, где международное признание скорее создает проблемы, а не является доказательством научного авторитета.

Одной из таких встреч, в которой П.Э. Шрамм принимал участие, стал VII Международный исторический конгресс в Варшаве, который проходил в польской столице в августе 1933 г. и был посвящен истории Восточной Европы. Проведение конгресса во враждебной Польше требовало от немецких историков, по словам К. Бранди, «признания того факта, что немецкие ученые-историки должны сосредоточить свое внимание, главным образом, на национальных вопросах современности»<sup>20</sup>. В качестве тренировочной площадки для выработки единой немецкой позиции по «спорным» вопросам был выбран Геттинген, где в августе 1932 г. состоялся XVIII съезд Союза немецких историков, на котором обсуждались разнообразные сюжеты восточно-европейской истории<sup>21</sup>. В связи с тем, что само существование независимой Польши подвергалось немецкими властями сомнению из-за ее связи с ненавистным Версальским договором, на полном серьезе рассматривался вопрос о возможности участия немецких историков в этой международной встрече. Помимо представителей Союза немецких историков, ряда исторических комиссий, специалистов по истории «восточного вопроса», в выработке общей позиции участвовали чиновники Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел<sup>22</sup>.

Учитывая, изменившуюся ситуацию внутри Германии, связанную с приходом к власти нового правительства во главе с Гитлером, от немецкой делегации требовалось единство и сплоченность в деле защиты и отстаивания немецких национальных интересов. Для этих целей, один из руководителей «остфоршунга» Альберт Бракман, составил так называемый «Путеводитель» (*Vademecum*), содержащий ряд воображаемых

---

<sup>20</sup> *Brandi*. 1934. S. 214.

<sup>21</sup> *Petke*. 1987. S. 302-303.

<sup>22</sup> *Erdmann*. 1987. S. 197.

диалогов-споров между гипотетическими представителями польской историографии, с одной стороны, и немецкой, с другой. Судя по «Путеводителю», немецкая сторона готовилась к обсуждению таких политически злободневных и актуальных вопросов как: этническая принадлежность лужицкой (иллирийской) цивилизации бронзового века; расправа немецких рыцарей над жителями Данцига в 1308 г.; соответствии границ Польши в XX и XVIII веках; этническая принадлежность кашубинцев; национальная принадлежность Коперника и др.<sup>23</sup>

Но участие даже в санкционированных свыше международных мероприятиях не было гарантией от нападков со стороны своих националистически настроенных коллег, рассматривавших любые интернациональные контакты как национальную измену.

В начале 1934 года, т.е. через несколько месяцев после окончания конгресса, Шрамм оказался в центре университетского скандала, поводом к которому послужила речь геттингенского археолога, яркого националиста, профессора Ульриха Карштедта. Он обвинял немецкую делегацию, участвовавшую в Международном съезде историков в Варшаве в предательстве национальных интересов. Выступление содержало недвусмысленный намек на всех сторонников международного сотрудничества: «Зададим себе вопрос. Если на французов наложить Версальский диктат, Францию искалечить, истощить, обезоружить и обосновать это вердиктом о моральной неполноценности французов, а университет Гренобля ответит на это приглашением автора этого вердикта в качестве оратора. Что случится тогда? Если большая часть Англии будет оккупирована вражескими войсками, мужчины избиты, женщины обесчещены, семьи изгнаны, а университет Кембриджа ответит на это, чествованием граждан оккупационных держав как дорогих гостей. Что случится тогда? Если от Италии отделить значительные провинции и в них запретить итальянские школы, а профессура в Палермо решит раздавать комплименты угнетателям, что случится тогда? Я думаю, мы знаем что произойдет. Студенты возьмут дубины и забьют профессоров насмерть. И ничего больше...»<sup>24</sup>.

В присутствии бургомистра, ректора, профессуры университета, а также многочисленного студенчества Карштедт под одобрительные возгласы предложил принести торжественную клятву: «Мы отказываемся от интернациональной науки, мы отказываемся от интернациональной республики ученых, мы отказываемся от исследований ради

---

<sup>23</sup> *Burleigh*. 1988. P. 59–61.

<sup>24</sup> *Ulrich Kahrstedts Festrede...* 1996. S. 366.

исследований. У нас историю преподают и изучают не для того чтобы сказать как это было на самом деле, но для того чтобы немцы из того как было, учились... <немецкий ученый> принадлежит только немецкому народу, а не интернациональной республике ученых»<sup>25</sup>.

Некоторые из геттингенских историков, в том числе Шрамм, оскорбленные подобными обвинениями, сразу же после окончания речи вызвали зарвавшегося коллегу на дуэль. Археолог был вынужден принести извинения, а ректор выразил сожаление о случившемся<sup>26</sup>. Конфликт был исчерпан через несколько дней, после заключения Пакта о ненападении с Польшей в том же январе 1934 г.; позиция Шрамма и всех участников конгресса в Варшаве была подкреплена официально.

Однако, несмотря на такой исход конфликта Шрамм и Бранди прекрасно понимали, что в случае повторения ситуации, исход будет менее благоприятным. Ведь Карштедт лишь выразил общее мнение о существовании единственно возможной формы международных отношений в науке – *соперничество*. Черно-белое манихейское восприятие окружающего мира, в котором есть либо друзья, либо враги, значительно облегчает понимание происходящего вокруг, не требует серьезных усилий для ориентации в настоящем и прошлом. Стремление к полному безусловному единству, не признающее саму возможность существования «Другого» сплачивает сообщество вокруг ненависти к мифическому противнику, дает чувство общности и укрепляет собственную значимость.

Подобная картина мира вела и к особому пониманию научного сообщества как сплоченного коллектива боевых товарищей, противостоящего враждебному окружению. Любые, даже самые безобидные контакты с учеными других стран объявлялись предательством интересов нации. Исходя из данных представлений, нацистское правительство активно финансировало привлечение к сотрудничеству дружественных, германоориентированных историков из соседних стран, опиравшихся в своих изысканиях схожие, прежде всего, националистические подходы. Но искусственная самоизоляция в итоге способствовала лишь одному – исчезновению продуктивных теоретических споров и дискуссий в науке и отсутствию движения вперед.

Как следствие, былая активность Шрамма в международном сотрудничестве, и прежде всего его работа в Иконографической комиссии, постепенно сошла на нет, а его отношения с зарубежными историками претерпели серьезные изменения. Он был вынужден отказаться от по-

---

<sup>25</sup> Ulrich Kahrstedts Festrede... 1996. S. 368.

<sup>26</sup> Wegeler. 1996. S. 156–157.

вторного приглашения в США, от поездки в Италию. Исходя из собственных представлений о лояльности и национальном интересе, он стал чаще выступать с апологией немецкой позиции, стремясь защитить ее от любой критики извне.

Кроме того, ощущая постоянную угрозу собственному положению в университете, Шрамм предпринял ряд шагов, которые должны были оправдать его в глазах новых властей: в 1934 г. он вступает в СА, а в 1937 г. подает заявление о приеме в нацистскую партию, которое было удовлетворено в 1939 г. Конечно, со стороны подобное поведение немецкого профессора выглядит как банальный оппортунизм и желание обезопасить себя, но взаимоотношения Шрамма с нацизмом гораздо сложнее и противоречивее, что зачастую упускали из виду его критики, как из лагеря убежденных нацистов, так и его бывшие коллеги и друзья по Библиотеке Варбурга. Он действительно симпатизировал нацистам и был воодушевлен теми переменами, что произошли со страной в первые годы их пребывания у власти. Военные переживания 1914–1918 гг. детерминировали многие из его мировоззренческих установок, определяя его основополагающие устремления, к которым относились сильная нация во внешней политике и сплоченная нация во внутренней.

Но противостоя таким «оппортунистическим» образом внешним угрозам, Шрамм не мог ничего поделать с изменением, а точнее с разрушением той коммуникативной среды, в которой протекала его научная жизнь в 1920-х – начале 1930-х гг., средой, которая не только оценивала «по гамбургскому» счету все, что делал историк, но также питала и способствовала развертыванию многих оригинальных научных идей. Фактическое разрушение Института универсальной истории при Лейпцигском университете, привело к исчезновению среди прочего и Немецкой иконографической комиссии, членом которой являлся Шрамм. Не меньшим потрясением для Шрамма стало увольнение и последовавшая эмиграция близкого друга – Эрнста Канторовича, одного из немногих ученых занимавшихся схожей проблематикой.

Но, пожалуй, наибольшее воздействие на Шрамма оказала эмиграция Библиотеки Варбурга, с которой его связывала не только научная деятельность, но и личная дружба с сотрудниками и общая память об Аби Варбурге. Планы о переводе Библиотеки за границу, обсуждавшиеся еще до прихода Гитлера к власти, в 1933 г. стали стремительно воплощаться в жизнь. Шрамм к тому моменту уже вернулся из США и пробовал уговорить сотрудников Библиотеки, и прежде всего Фрица Заксля, сохранить собрание книг в Германии, наивно полагая, что в ско-

ром времени ситуация исправится в лучшую сторону<sup>27</sup>. Однако, несмотря на уговоры, в декабре 1933 года сотрудники Библиотеки со всем инвентарем и 60 000 томами книг на нескольких кораблях покинули Гамбург, чтобы основать в Лондоне «Институт Варбурга».

Многолетнее сотрудничество Шрамма с Библиотекой и личная дружба с Закслем прервались в начале 1935 года когда Шрамм выступил в качестве рецензента изданной Библиотекой «Библиографии», посвященной античному наследию в современной культуре<sup>28</sup>. Надо отметить, что Шрамм оказался в очень сложной ситуации, когда ради собственной безопасности и возможности вести прежнюю жизнь пришлось жертвовать дружбой и идти на сделку с собственной совестью. Выбор, с которым столкнулся немецкий историк, при любом решении ставил его в незавидное положение, и власти «Третьего рейха» были большими мастерами в предоставлении человеку подобного «сатанинского выбора».

Еще будучи сотрудником «Исторического журнала», Шрамм согласился рецензировать готовившуюся к публикации библиографию, тем более что имел к ней непосредственное отношение, участвуя в обсуждении концепции издания и консультировании ряда авторов. Но с момента предварительной договоренности произошли принципиальные перемены, и давать официальную рецензию на издание эмигрировавшего в Англию Института, руководимого вдобавок ко всему евреем, для Шрамма было небезопасно, тем более что оппоненты использовали любой повод для его диффамации. 5 января 1935 года в «Фелькише беобахтер» вышла пропитанная ненавистью рецензия некоего Мартина Раша с примечательным названием «Евреи и эмигранты творят немецкую науку», в которой автор всячески подчеркивал еврейское происхождение авторов «Библиографии» и поносил книгу как коммерческую халтуру банды дельцов<sup>29</sup>.

Вместо того чтобы отказаться от рецензирования книги и попытаться объяснить бывшим коллегам всю серьезность и шаткость своего положения, Шрамм в частном письме руководству Варбургского института высказал собственное мнение относительно предложенной ему для рецензии книги<sup>30</sup>. В начале и в конце своего письма, Шрамм подчеркнул, что развернутая на страницах нацистской прессы травля «Библиографии» никак на него не повлияла, более того он считает, что «тон, уровень и суть» этой полемики не достойны обсуждения.

---

<sup>27</sup> *Grolle*. 1991. S. 99.

<sup>28</sup> Kulturwissenschaftlichen Bibliographie. 1934.

<sup>29</sup> *Rasch*. 1989. S. 295–298.

<sup>30</sup> Гроле подробно анализирует данное письмо, см.: *Grolle*. 1991. S. 102–104.

Однако, в то же время, Шрамм высказался вполне определенно, что он не желает, чтобы его имя как одного из соавторов и рецензентов, опубликованной «Библиографии» соседствовало с именами людей, позволявшими себе «высказываться в антинемецком смысле»<sup>31</sup>. Речь шла об историке Раймонде Клибанском, который в ответ на одно из частных приглашений в Германию заявил, что больше никогда не посетит дом немецкого профессора. Это заявление никоим образом не касалось профессора Шрамма и было адресовано другим лицам, да и слышал он об этом высказывании лишь в пересказе. Письмо привело не только к прекращению всех контактов историка с Библиотекой и Институтом Варбурга, но и к разрыву с людьми, с которыми он был связан многолетней дружбой и памятью о покойном Аби Варбурге. Этот случай показывает, что Шрамм перестал делать различия между Германией и национал-социалистическим режимом, считая своим патриотическим долгом защищать нацистскую Германию от любой критики.

Как и большинство его сограждан, Шрамм целиком и полностью поддерживал проводимые правительством Гитлера мероприятия и прежде всего активную внешнюю политику. Как человек прошедший через невзгоды Первой мировой войны, немецкий историк более всего ценил «мирный» характер гитлеровских инициатив, но надо признать, что подобную ошибку допускали и куда более изощренные европейские политики. Не желая повторения ужасов мировой войны, бывший фронтовик Шрамм искал то общее, что связывает европейские народы и страны. Именно идея об общности европейских монархий стала основой для всех его работ написанных в первые годы нацистского правления в Германии, с 1933 по 1939 гг. Если в начале карьеры историка в центре его внимания находилась сама королевская власть (по преимуществу германская), то постепенно его интерес сосредотачивался на так называемых *Ordines* (коронационных чинах) в разных странах Европы. Хотя в каждой из стран они имели свои отличительные черты и специфические формы, Шрамма привлекало в коронациях то, что они являлись общим для Европы сюжетом, понять который в полной мере можно лишь в условиях общеевропейского международного сотрудничества.

Его исследования получили европейское признание и даже приобрели политическую актуальность. В январе 1936 г. в Англии скончался король Георг V, наследовать которому должен был его сын Эдуард VIII. Учитывая предстоящую коронацию, английский исследователь Остин Лан Пол обратился к Шрамму с предложением написать историю

---

<sup>31</sup> Ibidem.



английской коронации. Так как до торжеств оставалось еще около года, а основной материал уже был собран, немецкий историк с воодушевлением откликнулся на это предложение. Кроме того, было решено, что книга выйдет одновременно на двух языках: немецком и английском. Книга была закончена весной 1937 года и поступила на книжные рынки обеих стран непосредственно перед коронацией... но уже Георга VI<sup>32</sup>.

Книга, вышедшая одновременно в Англии и Германии, являет собой очень удачный, но крайне редкий для того времени пример международного сотрудничества. Удачный маркетинговый ход в виде коронации нового короля обеспечили ей внимание британской общественности, а немецкому историку славу знатока английских традиций и ритуалов и личное приглашение на коронацию.

Не желая отказываться от своей идеи об общности западного мира, опасаясь возможной новой войны и потому поддерживая все «мирные» инициативы Гитлера, Шрамм мучительно пытался перестроить свои исследования таким образом, чтобы найти в них место и преклонению перед национальными особенностями Германии, и уважению к общеевропейским культурным ценностям. В таком контексте международные научные связи для него действительно были не пустым звуком, а проявлением извечной общности европейских народов, восходящей к средневековью. Но если в средние века и даже еще в начале XX века, вполне можно было сочетать ученый интернационализм со служением национальному государству, то в 1930-е гг. это стало категорически невозможно. Следствием нового понимания смысла и значения международного сотрудничества стало замыкание немецкой исторической науки в себе и ее все более возрастающая провинциализация.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Дмитриев А.Н.* Мобилизация интеллекта: Первая мировая война и международное сообщество // Интеллигенция в истории: образованный человек в представлении и социальной действительности. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 196–235.
- Дороченков И.* Аби Варбург: Сатурн и Фортуна // Аби Варбург. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности / Пер. с нем. Е. Козиной. СПб: Азбука-классика, 2008. С. 7–50.
- Ле Гофф Ж.* Является ли все же политическая история становым хребтом истории? // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 177–192.
- Мертон Р.К.* Эффект Матфея в науке, II: Накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 256–276.
- Советско-германские научные связи времени Веймарской республики.* СПб: Наука, 2001. 368 с.

---

<sup>32</sup> *Schramm.* 1937 (a); 1937 (b).

- Эксле О.Г.* Немцы не в ладу с современностью. «Император Фридрих II» Эрнста Канторовича в политической полемике времен Веймарской республики // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 213–235.
- Brandi K.* Der Siebente Internationale Historikerkongress zu Warschau und Krakau 21.–29. August 1933 // Historische Zeitschrift. Bd. 149. 1934. S. 213–220.
- Burleigh M.* Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich. Cambridge: University Press, 1988. 363 p.
- Erdmann K.D.* Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1987. 495 S.
- Erickson R.R.* Kontinuitäten konservativer Geschichtsschreibung am Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte: Von der Weimarer Zeit über die nationalsozialistische Ära bis in die Bundesrepublik // Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus: das verdrängte Kapitel ihrer 250-jährigen Geschichte / Hrsg. von H. Becker, H.J. Dahms, C. Wegelen. München, London, New York, Oxford, Paris: Saur, 1987. S. 219–245.
- Gombrich E.H.* Aby Warburg. Eine Intellektuelle Biographie. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1992. 478 S.
- Grolle J.* Der Hamburger Percy Ernst Schramm – ein Historiker auf der Suche nach der Wirklichkeit. Hamburg: Verein f. Hamb. Gesch., 1989. 63 S.
- Grolle J.* Percy Ernst Schramm – Fritz Saxl. Die Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft // Aby Warburg. Akten des internationalen Symposions Hamburg 1990 / Hrsg. von H. Bredekamp, M. Diers, Ch. Schoell-Glass. Weinheim: VCH, Akta Humaniora, 1991. S. 95–114.
- Kamp N.* Percy Ernst Schramm und die Mittelalterforschung // Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe / Hrsg. von H. Boockmann, H. Wellenreuther. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1987. S. 344–363.
- Kulturwissenschaftlichen Bibliographie zum Nachleben der Antike.* Bd. 1: Die Erscheinungen des Jahres 1931 / Hrsg. von Bibliothek Warburg. Leipzig, Berlin, 1934.
- Oexle O.-G.* Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne. Mittelalterbeschwerden in der Weimar Republik und danach // Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus / Hrsg. von S. Burghartz. Sigmaringen: Thorbecke, 1992. S. 125–153.
- Oexle O.-G.* Die Moderne und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche Problemgeschichte // Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt / Hrsg. von P. Segel. Sigmaringen, 1997. S. 307–364.
- Petke W.* Karl Brandt und die Geschichtswissenschaft // Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe / Hrsg. von H. Boockmann, H. Wellenreuther. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1987. S. 287–320.
- Rasch M.* Juden und Emigranten machen deutsche Wissenschaft // Kosmopolis der Wissenschaft. E.R. Curtius und das Warburg Institute. Briefe 1928 bis 1952 und andere Dokumente / Hrsg. von D. Wuttke. Baden-Baden: Körner, 1989. S. 295–298.
- Schramm P.E.* Geschichte des englischen Königums im Lichte der Krönung. Weimar: Böhlau, 1937 (a). XVI, 301 S.
- Schramm P.E.* A History of the English Coronation, translated by Leopold G. Wickham Legg. Oxford: Clarendon Press, 1937 (6). XV, 283 p.
- Schramm P.E.* Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit. I Teil: Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts (751–1152). Mit 144 Lichtdrucktafeln. 2 Bde. Leipzig, Berlin: B.G. Teubner, 1928. XII, 240 S., 135 S.

*Schramm P.E.* Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit. 2 Bde. Leipzig, Berlin: B.G. Teubner, 1929. 490 S.

*Ulrich Kahrstedts* Festrede zur Reichsgründungsfeier der Göttinger Universität am 18. Januar 1934 // *Wegeler C.* „...wir sagen ab der internationalen Gelehrtenrepublik“. Altertumswissenschaft und Nationalsozialismus. Das Göttinger Institut für Altertumskunde. 1921–1962. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1996. S. 357–368.

*Warburg M.* Rede, gehalten bei der Gedächtnis-Feier für Professor Warburg am 5. Dezember 1929 // *Mnemosyne*. Beiträge von Klaus Berger, Ernst Cassirer u.a. zum 50. Todestag von Aby M. Warburg / Hrsg. von St. Füssel. Göttingen: Gratia, 1979. S. 23–28.

*Wegeler C.* „...wir sagen ab der internationalen Gelehrtenrepublik“. Altertumswissenschaft und Nationalsozialismus. Das Göttinger Institut für Altertumskunde. 1921–1962. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1996. 427 S.

*Хряков Александр Васильевич*, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского; *alexchrjakov@yandex.ru*

В. В. ТИХОНОВ

## «ТУТ ЯВНО СКВОЗИТ ДУХ ОБЪЕКТИВИЗМА...» СОЗДАНИЕ «ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ БАШКИРИИ»\*

---

Статья посвящена истории написания «Очерков по истории Башкирии» в 1940-е начале 50-х гг. На архивных документах рассматривается процесс ее создания, выявляются причины, по которым книга так и не была опубликована. Показано, что идеологические кампании и дискуссии послевоенного времени оказали определяющее влияние на содержание книги.

**Ключевые слова:** «Очерки по истории Башкирии», советская историография, идеологические кампании, национальная политика.

---

Разработка истории народов СССР была заявлена советской властью как одна из центральных задач советских историков. Партия, руководившая многонациональной страной, где межэтнические отношения в условиях радикальных социальных преобразований 1930-х гг. приобретали особую остроту, требовала создания политически верных текстов, которые отвечали бы быстро меняющемуся идеологическому контексту.

В 1920-е гг. описание истории нерусских народов строилось по незатейливой схеме: национальная политика Российской империи – априорное зло, а любые выступления «националов» против царского режима – борьба с колониализмом, которую необходимо оценивать исключительно положительно. В 1930-е гг. происходит постепенный отказ от такой точки зрения<sup>1</sup>. Так, во время конкурса на новый учебник жюри в составе И.В. Сталина, А.А. Жданова и С.М. Кирова в оценке присоединения к России национальных окраин ввело в историко-идеологический дискурс формулу «наименьшего зла», по которой вхождение в состав России Украины и Грузии было меньшим злом, чем если бы они оказались под властью Польши или Турции<sup>2</sup>. Данная идея заставила историков по-новому рассмотреть историю национальных окраин. В таких условиях развернулось написание обобщающих трудов по истории национальных республик, задачей которых было стать основой для конкретно-исторической разработки специалистами отдельных сюжетов и ориентиром в преподавании местной истории в вузах и школах. Среди многочисленных проектов, запущенных в конце 1930-х гг., были и «Очерки по истории Башкирии».

---

\* Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых (проект № МК–2627.2013.6)

<sup>1</sup> Подробнее см.: Мартин. 2011.

<sup>2</sup> Постановление жюри Правительственной комиссии... 1946. С. 37.

Для написания книги был создан авторский коллектив под руководством Ш.И. Типиева. Авторы подбирались из разных научных центров: Москвы, Ленинграда, Уфы. Основным учреждением, выполняющим функцию координации и контроля, стал Институт истории АН СССР. Параллельно с написанием текста шло издание «Материалов по истории Башкирии», которые готовил Р.М. Раимов<sup>3</sup>. Книга была написана еще до войны, а уже после возвращения Института из эвакуации текст был набран, сверстан и представлен в аппарат ЦК ВКП (б) на экспертизу<sup>4</sup>.

Такая предосторожность была не случайной. Помимо важности и идеологической заостренности самой темы приходилось держать в уме и разворачивающиеся события, связанные с «Историей Казахской ССР», вышедшей под редакцией А.М. Панкратовой в 1943 г. Авторы этой книги, во многом следуя сложившемуся историографическому канону, показали, что антицаристские выступления казахов носили прогрессивный характер и являлись зримым примером борьбы с колониализмом. Книга даже была выдвинута на Сталинскую премию<sup>5</sup>. Но идеологический поворот, связанный с пропагандой дружбы народов, строящих коммунизм и сражающихся против фашизма во главе с «великим русским народом», сделал такие утверждения неуместными и даже политически вредными. Книга была подвергнута критическому обсуждению на совещании историков в ЦК ВКП (б) весной-летом 1944 года.

Конечно же, авторы «Очерков по истории Башкирии», имея перед глазами печальный пример, решили не рисковать. И не зря. Работники аппарата ЦК обнаружили в тексте серьезные ошибки, связанные с нарушением новых идеологических ориентиров в освещении истории нерусских народов. Вышло специальное постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в башкирской партийной организации». По мнению идеологов, авторы идеализировали историю башкир до их присоединения к России: «В подготовленных к печати “Очерках по истории Башкирии”, в литературных произведениях “Идукай и Мурадым”, “Эпос о богатырях” не проводится разграничения между подлинными национально-освободительными движениями башкирского народа и разбойничьими набегами башкирских феодалов на соседние народы, недостаточно показывается угнетение трудящихся башкир татарскими и башкирскими феодалами, идеализируются

---

<sup>3</sup> В Отдел экономических и исторических наук и вузов КПСС. О работе над «Очерками по истории Башкирии» // НА ИРИ РАН). Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 11.

<sup>4</sup> Там же. Д. 776. Л. 19.

<sup>5</sup> Архив РАН. Ф. 1577 (Институт истории АН СССР). Оп. 2. Ед.хр. 83. Л. 1.

патриархально-феодалное прошлое башкир». Правда, в других произведениях ошибки оказались еще страшнее: «В пьесе “Кахым-Туря” извращается история участия башкир в Отечественной войне 1812 года, противопоставляются друг другу русские и башкирские воины...»<sup>6</sup>.

Итоговое требование было следующим: «Считать важной задачей научных работников и писателей Башкирии создание произведений, правдиво отображающих историю башкирского народа, его лучшие национальные традиции, совместную с русским народом борьбу против царизма и иноземных поработителей, достижения башкирского народа за годы советской власти...»<sup>7</sup>. Попутно заметим, что появление данного постановления не было единичным примером: несколько ранее появилось схожее по Татарстану. От историков требовалась радикальная ревизия концепций национальных историй.

Дальнейшую переработку книги поручили Башкирскому научно-исследовательскому институту языка, литературы и истории им. М. Гафури, работавшему при Совнарком Башкирской АССР. За Институтом истории АН СССР оставили координирующую роль и помощь в написании текстов и их обсуждении. Для этого 14 июня 1945 г. была сформирована специальная комиссия по оказанию помощи в составе: специалиста по истории Кавказа В.И. Лебедева, ставшего председателем; Н.В. Устюгова, занимавшегося тогда исследованием Башкирских восстаний XVII и XVIII в.; Р.М. Раимова, докторанта Института и специалиста по новейшей истории Башкирии. В марте 1946 г. в состав комиссии вошли А.П. Кучкин, специалист по истории Казахстана, и Ш.И. Типеев. В силу нехватки кадров к работе были привлечены молодые историки: Г.Е. Грюндберг, Е.И. Каменцева, Ю.А. Красовский, А.П. Николаенко и др. В феврале 1946 года было созвано специальное совещание авторов. На нем критически был рассмотрен старый текст и намечен план переработки<sup>8</sup>. Функции были распределены следующим образом: «Разделы, посвященные общей истории Башкирии, перерабатывались в Москве под общим руководством Башкирской комиссии Института истории АН СССР, разделы по истории культуры Башкирии перерабатывались в Уфе под общим руководством Дирекции Башкирского института»<sup>9</sup>.

В июле 1947 г. в Уфе прошла научная сессия, посвященная истории Башкирии, на которой историки продемонстрировали понимание новых

---

<sup>6</sup> О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной организации // Пропаганда и агитация... 1947. С. 480.

<sup>7</sup> Там же. С. 481–482.

<sup>8</sup> НА ИРИ РАН. Оп. 1. Д. 776. Л. 20.

<sup>9</sup> Там же. Л. 21.

идеологических ориентиров. Ключевую роль играл доклад директора Башкирского научно-исследовательского института А.Н. Усманова. В духе яфетической теории Н.Я. Марра в нем подчеркивалось, что в этногенезе башкир приняли участие не только тюркские и угро-финские племена, но и «древнейшие племенные объединения, населявшие Башкирию и находившиеся на яфетической стадии развития», что к XV–XVI вв. «Башкирия представляла собой уже типичную феодально-раздробленную кочевую страну, разделенную на феодальные владения, с собственной феодальной знатью»<sup>10</sup>. Особый акцент делался на «добровольном» присоединении к Московскому государству. Докладчик подверг критике мнение тех историков, которые говорили о русском завоевании Башкирии, он обосновывал положительное влияние на экономику и культуру башкир их присоединения к Москве<sup>11</sup>.

Не менее важны и показательны доклады московского историка Н.В. Устюгова, крупнейшего специалиста по отечественной истории XVII в. Всего им было сделано два доклада: один был посвящен башкирскому восстанию 1662–64 гг., второй – восстанию 1737–39 гг. Новым в них стало признание того, что в восстаниях были как прогрессивные, так и реакционные стороны. Так, борьба против гнета московского правительства – прогрессивная черта, а отказ от московского подданства являлся «шагом назад и в экономическом, и в политическом, и культурном отношениях»<sup>12</sup>, поскольку отторгал башкирский народ от русского.

В выступлении Устюгова заметно, что советская историография все еще находилась на перепутье: отказа от концепции антиколониальной борьбы против царского правительства еще не произошло, но присоединение к России уже признавалось безусловно прогрессивным. Любопытно отметить и тот факт, что все еще находились историки, которые продолжали придерживаться того мнения, что восстания – абсолютно прогрессивные явления. Такую позицию занял П.Ф. Ищериков<sup>13</sup>, жестко раскритикованный другими выступавшими. Более того, очевидно, что в опубликованном отчете не нашлось места выступлениям сторонников Ищерикова, которых было немало, поскольку впоследствии Устюгов признался в 1952 г.: «...Многие товарищи, в особенности в Уфе, подчеркивали безусловную прогрессивность этих движений и закрывали глаза на реакционные моменты в башкирских восстаниях»<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Гузаирова. 1947. № 11. С. 141.

<sup>11</sup> Там же. С. 142.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> О нем см.: Нигматуллина. 2012. № 2. С. 179–182.

<sup>14</sup> НА ИРИ РАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 800. Л. 8.

Сессия, без сомнения, подстегнула написание очерков. Продолжилась работа над главами и публикация отдельных документов. Разделы и главы, по мере их написания, рецензировались членами Башкирской комиссии и обсуждались на заседаниях, после чего поступали на доработку авторам. К 1949 г. значительная часть очерков были написаны. Тем не менее, трудности вызвали разделы, посвященные XIX веку. Главы, написанные С.Н. Нигматуллиним и Ш.И. Типеевым, были признаны неудовлетворительными. Судя по всему, столкновения вновь произошли из-за оценки политики царского правительства. Неясно было, в какой мере ее нужно считать прогрессивной, а в какой реакционной.

Было принято решение отредактировать имеющиеся статьи и выпустить первую часть очерков. Для этого создали редакционную коллегию первого тома в составе: В.И. Лебедев (отв. редактор), А.П. Смирнов, А.Н. Усманов и Н.В. Устюгов<sup>15</sup>. Впрочем, обстановка не способствовала работе: в стране проходила кампания по борьбе с «безродным космополитизмом», менялись сложившиеся исторические представления. Тем не менее, был собран материал объемом 30 а.л. В феврале 1950 г. в Уфе прошло обсуждение первого тома, книга была одобрена. Были получены положительные отзывы А.А. Новосельского и Л.В. Черепнина. Но очередной идеологический поворот вновь спутал все карты.

В 1950 г. прошла дискуссия, в ходе которой было разгромлено учение Марра о языках и генезисе этносов. Учитывая то, что авторы очерков в описании древнейших периодов башкирской истории опирались именно на учение Марра, пришлось переписывать эти страницы. Кроме того, в журнале «Большевик» вышла статья близкого к Л.П. Берии Д.М. Багирова «К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля», в которой антирусское движение Шамиля оценивалось как реакционное<sup>16</sup>. Было очевидно, что появление этой публикации носит директивный характер и является ориентиром в пересмотре всей истории взаимоотношения между Россией и нерусскими национальностями. От предшествующих непоследовательных оценок требовалось отказаться. Редакция очерков обратилась в Дирекцию Института истории АН СССР с просьбой «возвратить ей текст Очерков для нового пересмотра и уточнения вопроса о башкирских восстаниях»<sup>17</sup>. Итак, именно оценка восстаний стала очередным камнем преткновения. Разные позиции оказались у московских и уфим-

---

<sup>15</sup> НА ИРИ РАН. Ф.1. Оп. 1. Д. 776. Л. 22.

<sup>16</sup> Багиров. 1950. № 13.

<sup>17</sup> НА ИРИ РАН. Ф.1. Оп. 1. Д. 776. Л. 23.



ских авторов. Показательным является совместное обсуждение, состоявшееся 19 апреля 1952 г. в московском Институте истории.

На нем председательствовал Л.В. Черепнин. В качестве основного докладчика выступил В.И. Лебедев. Он кратко осветил историю создания очерков, подчеркнув, что главная трудность на очередном этапе создания книги заключается в описании башкирских восстаний. Докладчик указывал: «Несколько сложнее дело обстоит с оценкой башкирских восстаний в III и IV главах: восстание 1662–64 гг., Сейтовское восстание, восстание Алдар-Кусюма, Карасакала и восстание Батырши. Несмотря на большую убедительность конкретного материала в главах, посвященных этим восстаниям, не мобилизован еще достаточный материал, показывающий прогрессивное значение выступлений народных масс. Приводятся материалы, относящиеся к башкирским феодалам, которые стремились выйти из подданства России, имели связи с соседними народами, в частности, эти восстания шли из Крыма и из Турции и преследовали цель отторжения от России... Нужно показать, что в этих восстаниях были и некоторые черты прогрессивности народных масс в их борьбе против русских помещиков, а также против своих местных угнетателей-феодалов, тарханов. Последний материал об участии народных масс недостаточно у нас мобилизован...»<sup>18</sup>. Таким образом, автор все еще признавал концепцию переплетения в восстаниях прогрессивных и реакционных черт.

Следом выступил Н.В. Устюгов. Он кратко обозначил суть возникших разногласий между московскими и башкирскими историками. Так, в вопросе о характере зависимости башкир от Москвы сотрудники московского Института истории настаивали на вассалитете, то башкирские коллеги максимум на что соглашались – это признание зависимости в форме «свободного вассалитета», когда вассал может разорвать свои зависимые отношения<sup>19</sup>. Многие историки вообще считали, что вопрос подданства необходимо решать не через призму вопроса о вассалитете, а сделать акцент на то, что «характер башкирского подданства нужно рисовать так, что вот башкиры оценили преимущества централизованного государства и добровольно пошли к нему в подданство и, так сказать, старались войти как полноправные члены и целиком слиться с Россией». При этом докладчик язвительно заметил: «Но какими материалами это можно было бы аргументировать – товарищи не указали»<sup>20</sup>. Коснулся Устюгов и вопроса о башкирских восстаниях. Он напомнил: «Мы пытались встать на точку зрения, чтобы расценить эти восстания как движе-

<sup>18</sup> Там же. Д. 800. Л. 3–4.

<sup>19</sup> Там же. Л. 5.

<sup>20</sup> Там же. Л. 3.

ния феодальные, как движения антирусские. Конкретных материалов на эту тему сколько угодно. Следовательно, это движения, где реакционная сторона преобладала...»<sup>21</sup>. Но многие башкирские историки встретили в штыхы такой подход. С ними частично солидизировался В.И. Лебедев, продолжавший отмечать прогрессивную сторону восстаний. По мнению самого Устюгова, прогрессивные черты можно обнаружить только в XVIII в., с восстания 1747 г. Докладчик вынужден был признать: «Таким образом, вопрос об оценке башкирских восстаний продолжает оставаться спорным, он остается спорным даже внутри самой редакции»<sup>22</sup>.

Следом выступил директор Института Истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР М.Я. Янгиров. Он указал, что книга требует дальнейшей переработки с учетом публикаций И.В. Сталина по вопросам языкознания. Кроме того, в разделе, посвященном истории башкир под властью Золотой Орды, необходимо показать реакционную сущность татаро-монгольского ига. Страшным упущением является то, что «не показана борьба башкирского народа против этих завоевателей, не подчеркнута ведущая роль русского народа в разгроме татаро-монгольского ига...». М.Я. Янгиров напомнил и об идеологической важности оценки башкирского эпоса «Идукай и Мырадым»: «...Авторы ограничились только констатацией этого эпоса. Между тем, всем известно, что в свое время ЦК партии справедливо и резко осудил ошибки некоторых писателей и историков Татарии, которые идеализировали буржуазный эпос и патриархально-буржуазное прошлое. Уже это одно обязывало авторов и редакторов тома дать исчерпывающую политическую оценку этому эпосу, что усилило бы воспитательное значение нашей работы»<sup>23</sup>. Выступил он и против теории «свободного вассалитета»: «Эта теория дает неправильное представление широкому читателю о расстановке классовых сил внутри башкирской общины..., наводит тень на прогрессивный характер присоединения башкир к русскому государству»<sup>24</sup>. В духе борьбы с буржуазным объективизмом выступавший заявил: «Авторы в плену архивных документов, вместо того, чтобы по партийному критически на основе марксистско-ленинской методологии подходить к оценке этих документов. Тут явно сквозит дух объективизма, который веет аполитичным подходом...»<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Там же. Л. 8.

<sup>22</sup> Там же. Л. 9.

<sup>23</sup> Там же. Л. 28 – Л. 28 об.

<sup>24</sup> Там же. Л. 29.

<sup>25</sup> Там же. Л. 29–29 об.

Почему же концепция «свободного вассалитета» не устраивала? Ответ находим ниже: «Присоединение башкир к русскому государству имело, как известно, глубоко прогрессивное значение. Об этом правильно указывается в “Очерках”, но это получается несколько декларативно... Здесь не показывается истоки складывающейся дружбы башкирского народа с великим русским народом. А теория свободного вассалитета не помогает раскрытию процесса складывания этой дружбы (участие башкирских полков в иноземных походах, в ополчениях Минина и Пожарского...). Вместо этого том пестрит примерами борьбы башкир против русских. Свободный вассалитет служит оправданием политической борьбы башкирских феодалов против русского государства...»<sup>26</sup>. Таким образом, задача авторов заключалась во всяческом подчеркивании связи русского и башкирского народов, а теория «свободного вассалитета» этому только мешала. Янгиров остановился и на необходимости описания реакционности ислама и мусульманского духовенства. Но, также как и предыдущие выступавшие, коснулся он и царской политики, назвав ее колониальной и потребовав, чтобы авторы не мазали ее розовой краской<sup>27</sup>.

Итак, совещание вновь не показало единства мнений среди историков. Складывается устойчивое ощущение, что новые идеологические ориентиры понимались по-разному, либо вообще не понимались. Работа авторского коллектива проходила на фоне постоянных разногласий и страха сделать фатальную ошибку.

После этого обсуждения рукопись вновь была направлена на переработку. Два исследовательских центра (Москва и Уфа) постоянно перенаправляли друг другу многострадальный текст, раз за разом находя многочисленные ошибки и несоответствия текущей политике на «историческом фронте». Наконец, в ноябре 1952 года Дирекция Института истории АН СССР окончательно отказалась от подготовки очерков, гриф института был снят. Теперь это издание должно было стать головной болью только Башкирского филиала АН. За собой Институт истории оставил только консультирование<sup>28</sup>.

«Очерки по истории Башкирии» так и не увидели света в том виде, в котором они были подготовлены в 1940-е – начале 1950-х годов. Смерть Сталина и очередная скорая смена идеологических координат потребовали иначе взглянуть на тему. В истории с изданием очерков,

---

<sup>26</sup> Там же. Л. 30 об.

<sup>27</sup> Там же. Л. 34.

<sup>28</sup> Там же. Д. 776. Л. 24.

помимо самого сюжета, наглядно показывающего «кухню» создания обобщающих трудов в годы «позднего сталинизма», нам важно подчеркнуть, что идеологические директивы носили неопределенный характер, позволяя историкам по-разному рассматривать те или иные острые вопросы. Современный исследователь А.Л. Юрганов назвал это «метафизикой» сталинизма: «Метафизика обладает одним универсальным свойством: она никогда не позволяет узнать истину до конца, но допускает бесконечное приближение к ней, и на пути этого приближения всегда остается неопределенность»<sup>29</sup>.

В данном случае конфликт интерпретаций возник по нескольким причинам. Во-первых, из-за историографической инерции в вопросе оценки восстаний. Специалисты, особенно башкирские, не спешили с отказом от концепции прогрессивности антирусских восстаний. А во-вторых, из-за частых смен руководящих идей, неопределенных и вносящих сумятицу в научно-историческое сообщество.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- АРАН – Архив Российской академии наук. Ф. 1577 (Институт истории АН СССР). Оп. 2. Ед.хр. 83.
- НА ИРИ РАН 1 – Научный архив Института российской истории РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7.
- НА ИРИ РАН 2 – Научный архив Института российской истории РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 776.
- НА ИРИ РАН 3 – Научный архив Института российской истории РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 800.
- Багиров Д.М.* К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля // *Большевик*. 1950. № 13. С. 21–37.
- Гузаирова Т.* Научная сессия, посвященная вопросам истории Башкирии и истории культуры башкирского народа // *Вопросы истории*. 1947. № 11.
- Мартин Т.* Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
- О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной организации // *Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП (б)*. М., 1947.
- Нигматуллина И.В.* Петр Федорович Ищериков – 120 лет со дня рождения // *Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии*. 2012. № 2.
- Постановление жюри Правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 3 и 4-го классов средней школы по истории СССР // *К изучению истории*. М., 1946.
- Юрганов А.Л.* Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.
- Тихонов Виталий Витальевич**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН; [tihonovvitaliy@list.ru](mailto:tihonovvitaliy@list.ru)

---

<sup>29</sup> Юрганов. 2011. С. 677.

Н. А. СЕЛУНСКАЯ

## КОММУНИКАЦИЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ШКОЛ И PATH DEPENDENCE РОССИЯ И ИТАЛИЯ

---

В статье рассматриваются характеристики органически связанных, хотя и разделенных в пространстве и времени историографических школ: в России и Италии. Рассматриваются исследования как специалистов из Италии, для которых объектом изучения была их отечественная история, так и итальянцев в России, бывшем Советском Союзе, анализируются подходы к исследованию общества периода появления массовых источников. Прослеживаются возможные взаимосвязи и параллели.

**Ключевые слова:** школа в историографии, научные коммуникации, path dependence.

---

Объяснению парадоксов успешной коммуникации историографических дискурсов России и Италии в настоящий момент не посвящено ни одного исследования, несмотря на всю очевидность параллелей.

По мнению автора данной работы, и сам образ исторической науки, и возможности создания коммуникативных сред во взаимодействии как отдельных специализаций внутри национальной школы историографии, так и предпосылки коммуникативных процессов между различными национальными историографиями во многом определяются не просто базовыми традициями этих школ, а традициями активными и формирующими, проявляющимися вне зависимости от некоторой исторической конъюнктуры, т.е. тем, что в современной историографии получило название зависимости от пройденного пути: *path dependence*<sup>1</sup>. Понятие это возникло в недрах экономической истории, но совершенно непонятно, почему оно до сих пор там и остается. Этот концепт нужен историографии, поскольку он содержит коннотации, отличные от представления о традиции. Зависимость пройденного пути проявляется тогда, когда исчерпываются объективные предпосылки формирования и поддержания традиции, а приверженность ей остается ощутимой.

При сходе этих зависимостей от накопленного опыта, взаимодействие двух социальных институтов, как и взаимодействие научных школ, является возможным. Именно такое взаимодействие между итальянской исторической наукой и исторической дисциплиной, развивавшейся в русскоязычной среде в СССР и особенно советской России по темам

---

<sup>1</sup> См.: интересный анализ этой проблемы в статье: Торстендаль. 2011.

постоянно актуальным для обеих историографий, на мой взгляд, следует отметить как весьма интересный сюжет в истории науки.

Речь идет и о взаимодействии по линии изучения итальянистики (в приоритетный период социокультурного доминирования Италии в Европе – Средневековье и Ренессанс, прежде всего), и об общем интересе к методикам изучения и фиксации массовых источников ввиду того, что практика исторических исследований в каждой из стран базировалась на описательной парадигме, и был накоплен грандиозный массив первичных данных, требовавших новых методик (или же полной смены парадигм, чего не могло произойти благодаря влиянию той самой зависимости от пройденного пути).

В данной работе акцентируются как общие тенденции развития историографии и университетской культуры обеих стран, так и частные случаи, точки соприкосновения историографических полей: например, методика описания ряда кризисных моментов итальянской истории, активно изучавшихся не только в Италии, но и в России.

Обратим внимание на то, что взаимодействие двух научных культур могло бы быть доказано самим фактом идеальной интеграции российского ученого в итальянскую научную среду после революции 1917 года, и его успешной влиятельной деятельности. В своих исследованиях начала прошлого века Н.П. Оттокар разработал широкую панораму развития коммуны на протяжении нескольких столетий. Повторим, что полный расцвет творчества этого ученого пришелся на годы эмиграции и оказал гораздо большее влияние на развитие медиевистики в Италии, чем в России, о чем свидетельствует тот факт, что статью «коммуна» для первой многотомной итальянской энциклопедии XX столетия было доверено подготовить именно Н.П. Оттокару<sup>2</sup>.

Мы же обратимся к послевоенному периоду развития историографии средневековой коммуны в нашей стране и сравним ее основные направления с итальянскими исследованиями того же периода. Именно в советский период тема коммун стала одной из приоритетных, и целая плеяда историков проливали свет на страницы истории итальянской общины города и деревни. Причем следует отметить, что в 1960–70-е гг. контакты отечественных историков с итальянскими коллегами были весьма успешными и плодотворными. Не случайно среди авторов многотомной энциклопедии истории Италии есть имена российских медиевистов. В советской школе историографии, как и в любой другой, господствовали определенные схемы, тем не менее, итальянисты, которые

---

<sup>2</sup> *Ottokar*. 1948.

работали в 1960–70-е гг., существенно различались по исследовательской манере. Вклад российских ученых действительно был самобытным, и в то же время тесные контакты российских и итальянских историков открывали новые возможности научного обмена, результаты которого сказывались на протяжении десятилетий.

Несмотря на то, что в отечественной историографии коммунальное движение было одним из излюбленных сюжетов, именно вопрос о происхождении средневековой итальянской коммуны, черты преемственности в ее истории, на мой взгляд, не получили четкого отражения.

Мне хотелось бы подробнее рассмотреть вклад Л.А. Котельниковой в изучение истории сельских и городских общин Севера и Центра Италии X–XV вв.<sup>3</sup>, который весьма высоко оценивался международной научной общественностью, прежде всего в самой Италии, в 1970–80-х гг. В своих исследованиях Котельникова справедливо обращала внимание на то, что одним из наиболее примечательных фактов итальянской истории периода расцвета феодализма было повсеместное существование не только городских, но и сельских коммун. Котельникова отстаивала идею преемственности между общиной и сельской коммуной как социальными явлениями. Во многом видная представительница отечественной историографии закрепляла в российской науке определенный стиль трактовки данной проблемы, характерный для первой половины XX века в Италии, в частности в ее работах чувствуется влияние некоторых работ представителей школы экономико-юридических исследований, о которых будет подробнее сказано ниже. Вообще следует отметить, что многие годы индекс цитируемости итальянских авторов был выше, чем показатели обращения советских авторов к любой другой иностранной историографии, и даже к собственным истокам – представителям дореволюционной науки.

Интенсивные контакты реализовались между двумя странами и в годы холодной войны, и процветали до середины 1970-х – начала 1980-х гг. Общим для двух школ было фокусирование внимания на перестройке социального фундамента жизни городов-коммун, которая в обеих этих историографических школах связывалась с более или менее вольной трактовкой марксизма, понятием класса, социального слоя и интегрирующего коллектива как антропоморфного единства.

В плане компаративного анализа наиболее интересным представляется материал, связанный с развитием тенденции либерального марксизма в юридико-экономической мысли в Италии, которая не только была известна в России, но и входила в курс обязательной программы озна-

---

<sup>3</sup> См., прежде всего: *Котельникова*. 1967; 1987.

комления с зарубежной историографией, а также имела реальный вес в советской итальянистике и медиевистике до 1980-х гг., что примерно соответствует годам сохранения авторитета этой точки зрения в Италии.

В особенности показателен сюжет, который я условно называю «коммуны и коммунисты»: это изучение темы итальянской городской общины в либеральной (марксистской) мысли в Италии и СССР.

Одним из специфических эффектов историографического развития этого времени следует признать освоение количественных методов – не в качестве подсобного инструмента, а как базового метода и даже образа мысли ученых. Особую роль играла климетрия и в плане создания коммуникативного поля науки – взаимодействия между отдельными дисциплинами и специализациями, а также между национальными и региональными историографическими школами и университетскими культурами.

Стереотипные представления о субъектах истории – отражают пристрастие к антропоморфизму. И совершенно прав В. Вжосек, констатируя, что даже специалистам-историкам, независимо от их происхождения и специфических культурных стереотипов, присущ глубинный стереотип, состоящий в восприятии субъектов истории, не являющихся людьми, по образу и подобию человека<sup>4</sup>. Этими антропоморфными чертами наделялись классы и нации, а в недавней истории отечественной науки был курьезный пример метафоры формации, а именно метафоры опрокидывающейся формации, применительно к кризисам развития Италии.

Я не предполагаю детально проанализировать здесь допуски привлечения антропоморфной метафоры к анализу исторического определения субъектов действия, акторов эпохи. Это очевидно на примере любого значимого труда как итальянской, так и русскоязычной советской историографии, в арсенал которых было введено вполне мифологизированное и антропоморфизированное понятие класса и правящего класса (в итальянском варианте термины звучат как *classo* и *classo dirigente*).

Достаточно констатировать, что понятие класса очень вольно и широко использовалось в той историографической среде, где изначально фактологическая, детализированно описательная история развилась до высокого предела, чтобы задаться вопросом как могла возникнуть сильная зависимость такой историографии от идеологических доминант и мифологизации терминов и понятий?

Частично, думается, это объясняется сильным взаимодействием поля науки и поля политики, которое наблюдалось и в Италии, и в России, причем не только в период коммунистической или фашистской

---

<sup>4</sup> Вжосек. 2010. См. также: Вжосек. 2008. С. 189–191.



диктатуры, но и в преддверии их, а также и в моменты либерализации. С другой стороны, сам груз так называемой фактологии, т.е. необработанной описательной информации, укреплял колею зависимости от мифотворчества и попыток вписать то, что принимается за объективные данные в более широкий контекст (виртуальность которого плохо от-refлексирована, потому, что не от-refлексирована условность и виртуальность составляющих контекста, так называемых данных).

Другой попыткой соединения груза накопленных данных с инновациями в технологии исследования являлись количественные методы – последний из крупных рационалистических интеллектуальных проектов в области гуманитарных дисциплин XX века. Наконец, большой интерес к средним векам и стремление опробовать именно в рамках медиевистики новейшие методы исследования показывают, насколько значим медиевализм и для фашистской, и для либеральной, и для коммунистической идеологий. В историографии обеих стран ключевую роль играли вопросы истории средневекового периода, по тенденциозной мысли исследователей, связанные с «преодолением» феодально-сеньориального. Это, прежде всего вопрос об общине (коммуне) как основе общественного развития итальянских земель на протяжении их истории.

Основы итальянской школы историографии XX века заложил тренд экономико-юридических исследований. Виднейшими представителями этого направления были историки Джоаккино Вольпе и Ромоло Каджезе. Естественно, история коммун как история определенного города или края изучалась эрудитами, знатоками древностей и архивов на протяжении многих веков. Этот этап позволил осуществить комментированные публикации важных как для изучения социальной истории, так и для истории права источников<sup>5</sup>. Аналитическая история, проблемный подход формировался в Италии лишь к 80–90-ым гг. XIX в., хотя краеведческий и историко-правовой характер литературы по-прежнему преобладал. Поскольку марксизм к этому времени стал если не влиятельным, то весьма модным интеллектуальным течением и приобрел себе в Италии таких харизматических сторонников, как А. Лабриола, то неудивительно, что и в области изучения коммун проявилось такое направление, которое в современной историографии принято считать марксистским. Я имею в виду «школу экономическо-юридических исследований» (*scuola economica giuridica*), к которой принадлежит творчество таких историков, как Джоаккино Вольпе, Ромоло Каджезе, Гаэтано

---

<sup>5</sup> Выделим из исследований раннего периода развития историографии общий труд по истории коммун южной Италии XII–XIX вв.: *Faraglia*. 1883.

Салвемини, Джино Луццато. Несмотря на встречающиеся (особенно в англоязычной литературе) эпитеты «вульгарный марксизм» или «твердый марксизм»<sup>6</sup>, можно смело сказать, что это было творческое направление аналитической исторической мысли.

Вопрос о начальных этапах средневекового развития городской общины, на мой взгляд, служит индикатором появления проблемно-исторического исследования по итальянской медиевистике. Несомненно, Дж. Вольпе был одним из первых историков, достаточно смелых в выводах, чтобы высказать тезис о новационном характере средневековой коммуны. Тезис этот не был представлен голословно, ему сопутствовала большая работа над источниками, свидетельствующими о конкретных формах воплощения новых принципов объединения. При этом ни сам исследователь, ни экономико-юридическая школа, к которой он принадлежал, ни в коей мере не грешили модернизацией исторических реалий и не пытались представить коммунальное движение в качестве буржуазной революции<sup>7</sup>. Фундаментальный труд историка Р. Каджезе, современника и единомышленника Вольпе, по истории сельской коммуны также полон идей о новационном характере процесса, который вел к консолидации жителей округа, как простолудинов, так и нижнего слоя привилегированной группы (*valvassori*). При этом коммунальное движение отнюдь не воспринималось как буржуазная революция в среде итальянских специалистов начала XX века.

Обращение к работам данных историков до сих пор является подспорьем для серьезного ознакомления с темой коммун, а не просто данью уважения к историографическим изысканиям прошлого. Справедливо мнение, что краткая работа Вольпе о происхождении и развитии итальянских коммун служит отправной точкой в современной историографии коммун<sup>8</sup>, но то же утверждение, на мой взгляд, применимо и к весьма пространному труду Каджезе по истории сельских коммун<sup>9</sup>. Возможно, именно масштабность публикации Каджезе помешала работе стать столь же читаемой и цитируемой, каким явился очерк Вольпе, как бы блестящее введение к так и не написанной книге. Естественно, опубликованную век назад работу использовать необходимо с осторожностью<sup>10</sup>, но это

---

<sup>6</sup> См. например характеристику Дж. Ларнера: *Larner*. 1991. P. 8.

<sup>7</sup> *Volpe*. 1961. P. 85–118.

<sup>8</sup> *Coleman*. 2002. P. 376.

<sup>9</sup> *Caggese*. 1907-1909. Vol. 1–2.

<sup>10</sup> Тезис, прозвучавший из уст известного историка Дж. Ларнера (to be used with some caution), пристрастно относившегося к экономико-юридической школе: *Larner*. 1991. P. 180.

замечание, по большому счету, применимо к любому произведению историка. Из современных работ по смелости поставленных вопросов (но не по масштабам исследования) с трудом Каджезе может сравниться только блестящая монография Криса Уикхема<sup>11</sup>.

Каждый из упомянутых ученых, пришедших в историческую науку с рубежа XIX–XX вв., – яркая личность, полнос притяжения, заслуживающий особого исследования, и, более того, такие работы, посвященные творчеству и Вольпе, и Каджезе, очень многочисленны.

Наше исследование, однако, посвящено не только рассмотрению особенностей школы историографии как сообщества интеллектуалов, но и как творцов континуитетного образа исторической науки в целом, и как влиятельного института в том смысле слова, который используется для обозначения «зависимости от пройденного пути».

Не трудно доказать, что деятельность интеллектуальной группы, во главе которой находились Каджезе и Вольпе, и ее историографическое наследие отражались очень продолжительное время – вплоть до 1970-х – начала 1980-х гг. – в характере развития исторических исследований (прежде всего исследований по медиевистике) в Италии, и, как это ни парадоксально, в России времен советского марксизма. Простое количество ссылок и прямого цитирования данных авторов и в Италии, и в советской России столь велико, что других доказательств не требуется.

При этом мы будем исходить из того положения, сформулированного Пьером Бурдьё, что «в отличие от поля массового производства, которое подчиняется закону конкурентной борьбы за завоевание как можно более обширного рынка, поле ограниченного производства стремится *самостоятельно* создавать свои нормы производства и критерии оценки своей продукции, оно подчиняется закону конкурентной борьбы за чисто культурное признание со стороны коллег, являющихся одновременно клиентами и конкурентами».

В этой связи нельзя не упомянуть некоторые дискуссионные моменты и прямые противоречия доминант творчества Вольпе и Каджезе (вплоть до прямого интеллектуально-критического диалога и взаимного рецензирования). В плане же создания стереотипов историографии городской общины и сельской общины, заложенных соответственно Вольпе и Каджезе как континуитетные доминанты медиевистики XX века, эти партнеры-соперники оказались равнозначно влиятельными.

С другой стороны, в отличие от историографии собственно националистического характера фашистского периода, с присущей такой на-

---

<sup>11</sup> Wickham. 1998.

циональной историографии отличительной чертой – использованием медиевализма, провозглашавшего, в частности, извечный характер общины (коммуны) как предтечи общегосударственной фашистской общины, либеральная историография, представленная поколением Вольпе и Каджезе, не наделяла антропоморфными характеристиками нацию и даже не допускала натурализации, антропоморфизма в описании таких категорий как классы и коммуны.

Представляет особый интерес изучение взаимодействия дискурса указанной школы исторических, юридических и экономических исследований, ориентированных на обособленную интеллектуальную группу, с полем науки периодов тоталитарного режима, в тот момент, когда историческое описание призвано к широкому и популярному изложению. Следует констатировать, что влияние этой либеральной и условно марксистской группы интеллектуалов, как на историков-медиевистов фашистской Италии, так и Советского Союза, было весьма велико.

Новый этап взаимодействия поля науки и поля политики, начавшийся примерно в 1960-е гг., потребовал в чем-то принципиально нового, а в чем-то сохраняющего традиции, метода исторического исследования. Этим ответом на вызов современности стала клиометрия – по форме объективно-научное исследование, в то же время позволяющее сохранить в арсенале историков такие мифологемы как класс и формация. В этот период совершенно не случайно, а закономерно актуализировалась проблема источниковедения массовых исторических источников и применение количественных методов в их исторической критике и обработке информации. Именно эти новационные аспекты развития исторической науки 1970 – середины 1980-х гг. (изначально в лучшем столичном вузе страны, а затем и повсеместно в СССР) не просто дали прорыв в области междисциплинарных исследований, но изменили сам образ науки. Это и было посылом создателей новой парадигмы исследования – представить новый образ «истории как науки». Данный образ гуманитарного исследования в рамках европейских и особенно американских университетских субкультур уже сложился как не просто приемлемый, но и предпочтительный. Тем самым, путем развития клиометрии в СССР решалась еще одна задача – задача интеграции советской науки в мировую, и задавался образец для подражания столице в провинции, ставилась планка нового стандарта отечественной гуманитарной науки. Все это позволяет сказать, что развитие клиометрии и исторической информатики играло особое поле в структуре коммуникации.

Формирование и развитие такого направления как изучение массовых исторических источников в МГУ прежде всего связано с деятель-

ностью научного коллектива кафедры источниковедения отечественной истории исторического факультета Московского университета, возглавляемой академиком Иваном Дмитриевичем Ковальченко, а также его учеников и последователей. И.Д. Ковальченко был основателем особого направления в отечественной историографии – применения количественных методов в исторических исследованиях, разработки и использования методик количественного анализа и ЭВМ историками.

Еще с середины 1960-х – начала 1970-х гг. И.Д. Ковальченко выступал с научными докладами и статьями, посвященными проблемам применения математических методов и ЭВМ к обработке и анализу исторических источников<sup>12</sup>. В защищенной им в 1965 г. докторской диссертации блестяще была продемонстрирована значимость применения ЭВМ и количественных методов при обработке комплекса массовых данных, содержащихся в подворных переписях крестьянских дворов первой половины XIX в. для исследования механизмов процесса расчленения крестьянства, социальной динамики крестьянских дворов.

Итоги этого исследования опубликованы в качестве монографии «Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в.»<sup>13</sup>, которая впоследствии была удостоена премии имени Б.Д. Грекова. Дальнейшая разработка методологии количественного анализа и компьютерных технологий обработки исторических источников, эффективность их применения в исторических исследованиях убедительно представлены в творческом наследии И.Д. Ковальченко, в монографических исследованиях всероссийского аграрного рынка, помещичьего и крестьянского хозяйства России конца XIX – начала XX в., написанных в соавторстве с коллегами и учениками.

Научно-организационная деятельность И.Д. Ковальченко сыграла особую роль в становлении и развитии применения количественных методов в исторических исследованиях и в создании в конце 1960-х гг. Комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории АН СССР, бессменным председателем которой являлся Иван Дмитриевич.

И.Д. Ковальченко было введено в методологический арсенал источниковедения понятие *массовый исторический источник* – как основа выявления закономерностей изучаемых явлений и процессов. Определение массового исторического источника Ковальченко тесно связано в онтологическом аспекте с типологией исторических явлений (массовые и инди-

---

<sup>12</sup> См.: Ковальченко. 1964.

<sup>13</sup> Ковальченко. 1967.

видуальные), а в гносеологическом – с системным подходом к изучению исторической реальности и методологией структурно-количественного анализа подобного рода исторических источников<sup>14</sup>.

Коллективом авторов под руководством И.Д. Ковальченко был решен ряд проблем, связанных с использованием математических методов при работе с не полностью сохранившимся историческим материалом. В такой ситуации, когда историку приходится иметь дело с так называемыми «естественными выборками», то есть с не полностью сохранившимися или ограниченно доступными комплексами данных, которые характеризуют лишь некоторую часть всей совокупности изучаемых объектов, он не может опираться на такие строгие математические методы при обосновании их репрезентативности как выборочный метод. Однако и в этом случае можно использовать точные методы проверки репрезентативности «естественных выборок». Эту задачу Ковальченко рассматривал как актуальную применительно к таким комплексам массовых статистических данных по аграрной истории России как выборочные земско-статистические обследования крестьянского и частновладельческого хозяйств, подворные списки заемщиков Крестьянского банка, первичные материалы сельскохозяйственных и поземельных переписей (1916 и 1917 гг.). Ковальченко применял методики установления существенности различия средних и дисперсий по соответствующим признакам для решения вопроса о принадлежности выборочных данных по крестьянскому хозяйству (размерам наделов, относящихся к различным территориям) к одной генеральной совокупности, т.е. о возможности объединения нескольких выборок. Применение строгих количественных данных возможно и для проверки того, в какой мере случайным является варьирование признака в «естественной выборке», с помощью критерия знаков, серий. Поскольку такое варьирование, как правило, имеет место в случайных выборках, то применение подобной процедуры является способом установления случайности «естественных выборок», а следовательно и их репрезентативности.

Другим важным аспектом источниковедческой критики является установление достоверности исторических данных. Применительно к статистическим данным была разработана и апробирована методика выявления сопряженности, пространственной и временной взаимосвязи данных, характеризующих структуры социально-экономических объектов и явлений, основанная на системном подходе. Известно, что традиционным способом установления достоверности является установление истории

---

<sup>14</sup> Ковальченко. 1979 (а).

происхождения данных, техники и программы сбора данных, сравнение их с данными сопоставимых источников. В том случае, когда нет достаточной информации в этом плане, весьма затруднительно констатировать достоверность (или недостоверность) имеющегося единственного комплекса источников по той или иной проблеме, либо отдать предпочтение одному как более достоверному из источников, содержащих аналогичные сведения. При анализе массовых статистических источников по аграрной истории России И.Д. Ковальченко исходил из того положения, что всякий процесс сельскохозяйственного производства, как подсистема аграрного, социально-экономического, вообще исторического развития, имеет свою пространственно-временную структуру, то есть его компоненты находятся в определенных взаимосвязях и взаимодействии. В тех случаях, когда характер этих взаимосвязей может быть выявлен на основе качественного, содержательного анализа, показатели, измеряющие эти взаимосвязи, могут дать ответ на вопрос, в какой мере имеющиеся данные, достоверность которых выясняется, «вписываются» в данную структуру. Тем самым может быть установлена достоверность этих данных.

Именно так была установлена достоверность данных о наемной рабочей силе, содержащихся в переписи 1897 года и материалах Комиссии 16 ноября 1901 г. Было доказано, что сведения переписи 1897 года о сельскохозяйственных наемных рабочих, несмотря на неполноту, отражают сравнительную степень применения наемного труда в различных губерниях, а данные Комиссии Центра, верно показывая общее число занятых в сельском хозяйстве наемных рабочих, пропорциональность распространения их по губерниям не раскрывают. Правильность этого заключения была проверена путем выявления связей между данными об обеспеченности наемными рабочими, содержащимися в указанных источниках, с рядом других показателей социально-экономического развития на основе вычисления коэффициентов корреляции. Введение сведений указанных двух источников о найме в систему других данных социально-экономического развития России этого периода позволило доказательно решить вопрос о достоверности сведений переписи о наемных сельскохозяйственных рабочих как показателе распространения наемного труда, а предложенная методика оказалась эффективной и для решения проблемы достоверности в других случаях<sup>15</sup>.

Комиссия, возглавляемая И.Д. Ковальченко, осуществляла подготовку серии материалов, посвященных опыту разработки и применения количественных методов в исторических исследованиях, анализа и об-

---

<sup>15</sup> См.: Ковальченко. 1979 (б).

работки массовых исторических источников, в частности. Так, в 1970–1990 годы в издательстве «Наука» были выпущены восемь сборников серии «Математические методы в исторических исследованиях».

Следует отметить особую роль в становлении этой серии изданий И.Д. Ковальченко, как ответственного редактора, а также членов редакционной коллегии и авторского коллектива первых изданий – Ю.Л. Бесмертного, Л.М. Брагиной<sup>16</sup>, которые затем проявили интерес к применению методов научной информатики, каждый в своей специализации – соответственно, в средневековых и ренессансных исследованиях, и которые поддерживали оживленные контакты с европейскими коллегами. Самостоятельным, параллельным путем развивались исследования В.В. Самаркина, имевшего персональные контакты с зарубежными итальянистами. Отметим, что роль Самаркина в освоении количественных методов и в контактах с итальянскими историками была особенно велика. Он не просто был осведомлен о методиках и результатах ведения проекта «Тосканцы и их семьи по материалам налоговых кадастров», но и получил прямой доступ к описанному банку данных и смог работать с ним по собственной методике (к сожалению, безвременная кончина исследователя прервала этот труд). Однако и на этом примере можно констатировать, что итальянская и советская школы историографии могли взаимодействовать в системе сообщающихся сосудов, благодаря некоторым общим характеристикам и доминантам развития.

В истории итальянских земель и центров период создания массовых источников произошел значительно раньше, чем на российской почве: в Италии – это XIV–XV вв., а в России XVIII–XIX, по некоторым темам – начало XX в. Однако и здесь, и там это был переломный период развития, выход из системы старого порядка в деревне, изменение основ того, что в обеих историографических школах тогда определялось как система феодализма в деревне и время зачатков индустриализации в городе.

Итальянский расцвет клиометрии также был связан с подъемом экономической истории, которому способствовал фундамент юридическо-экономических исследований рубежа XIX–XX вв. Не случайно эти исследования с применением математических методов и машиночитаемых данных также имели примесь юридических сюжетов – первые массовые источники, подвергшиеся обработке, были кадастрами, т.е. налоговыми списками, которые, тем не менее, могли предоставить самые разнообразные сведения о жизни тосканцев и особенностях их семей:

---

<sup>16</sup> См.: Математические методы... 1977.



например, отношение к возрасту, его символическое восприятие и значение для социального положения.

В частности, при изучении Тосканского кадастра коллективом авторов в составе К. Клапиш-Зубер и Д. Херлихи было установлено специфическое правило: молодые мужчины стремились указать возраст, максимально близкий тридцати или на два-три года больше. Смысл этого проясняется, если учесть, что именно в 30 лет открывались возможности для замещения ряда должностей высшей коммунальной администрации. Очень распространено было «состаривание» в мужских возрастных группах от 20 до 30 лет, а также в группе зрелого возраста, причем сразу не меньше, чем на пять лет, – символическое восприятие возраста и восприятие кратного пяти или десяти как гармонии играло свою роль. Вместе с тем «округление» возраста обнаруживает позитивную корреляцию с возрастной группой и имущественным положением (особенно в городе). Монография Д. Херлихи и К. Клапиш-Зубер занимает особое место вовсе не в силу уникальности и масштабности источника, составляющего его основу (как об этом иногда пишут) – источник вполне типичен для Италии изучаемого периода, – а в силу подходов к анализу экономических и юридических вопросов, акцентировки не только демографических процессов, но и демографического массового поведения, при сохранении некоторых традиционных для итальянской историографии черт.

По тем же соображениям эта методика исследования привлекла и советского медиевиста, вполне идеологически выдержанного в духе поздней советской эпохи и даже активно проявившего себя «по партийной линии», как тогда говорили. Кандидатская диссертация В.В. Самаркина «Город и деревня в Северо-Восточной Италии XII–XIV вв.» (1964) и ряд последующих работ были посвящены актуальной в медиевистике проблеме взаимоотношений города и деревни Италии XII–XIV вв. Одним из первых советских историков западного средневековья он ввел в научный оборот ценные архивные материалы, изучив их в период своей стажировки в Италии в 1961 г.

Таким образом, тематика взятая из одной научной и социокультурной среды легко перетекала на новую почву, подготовленную рядом схожих тенденций и зависимостей.

Общий интерес к новым методикам явился результатом поиска рационального способа справиться с накопленным грандиозным массивом первичных данных. Другим выходом был бы путь полной смены парадигм, это еще достаточно долго не могло произойти вследствие зависимости от пройденного пути и идеологического климата, а главное – благодаря успехам, которые были достигнуты в рамках описанных методик.

С угасанием перспектив развития клиометрии и экономической истории в каждой из стран – в России и в Италии, сходным образом и почти синхронно (с небольшим отставанием России), активизировались вопросы изучения истории менталитета, интеллектуальной истории, произошел так называемый перформативный поворот.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Caggese R.* Le classi e comuni rurali nel medioevo italiano. Firenze, 1907–1909. Vol. 1–2.
- Coleman E.* The Italian communes. Recent works and current trends // *Journal of Medieval History*. 2002. Vol. 28. N 4.
- Faraglia N.F.* Il comune nell'Italia meridionale 1180–1806. Napoli, 1883.
- Larner Jh.* Italy in the age of Dante and Petrarch 1216–1380, 4 ed. L., 1991.
- Ottokar N.* Il commune// *Enciclopedia italiana*. Vol. 11, Torino.1931. Repr. in: *Studi comunali e fiorentini*. Firenze, 1948.
- Volpe G.* Questioni fondamentali sull'origini e primo svolgimento dei comuni italiani / *Medio evo Italiano*. 2<sup>nd</sup> ed. Firenze, 1961. P. 85–118. (3 ed. – Roma, 1992).
- Wickham C.* Community and clientele in twelfth century Tuscany. The origins of rural commune in the plain of Lucca. Oxford. 1998.
- Вжосек В.* Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // *Диалог со временем*. 2010. Вып. 30. С. 5–13.
- Вжосек В.* Историография как носитель национальной (националистической) идеи // *Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научно конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 189–191.*
- Ковальченко И.Д.* О применении математических методов при анализе историко-статистических данных // *История СССР*. 1964. № 1. С. 13–19.
- Ковальченко И.Д.* Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М.: Изд-во МГУ, 1967. 398 с.
- Ковальченко И.Д.* Задачи изучения массовых исторических источников // *Он же. Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма*. М., 1979 (а).
- Ковальченко И.Д.* Статистика сельскохозяйственного производства // *Он же. Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма*. М., 1979 (б).
- Котельникова Л.А.* Итальянское крестьянство и город в XI–XIV вв. (по материалам Средней и Северной Италии). М.: Наука, 1967. 366 с.
- Котельникова Л.А.* Феодализм и город в Италии в VIII–XV вв. М.: Наука, 1987. 256 с.
- Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях*. М., 1977.
- Торстендаль Р.* Возвращение историзма? Нео-институционализм и «исторический поворот» в социальных науках // *Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы*. Сб. статей / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2011. С. 343–354.
- Селунская Надежда Андреевна**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; [liquidmodernity@gmail.com](mailto:liquidmodernity@gmail.com)

# В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ

---

Е. В. КАЛМЫКОВА

## ОБРАЗ ХРИСТА–РЫЦАРЯ В АНГЛИЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ НАЗИДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

---

Статья посвящена анализу на материале английских источников популярного в Средние века аллегорического образа Христа как влюбленного рыцаря. Ставятся вопросы об универсальности и устойчивости брачно-любовных и военных метафор в контексте рассуждений средневековых авторов об искупительной жертве Спасителя, авторских интенциях, причинах использования в наставлениях именно этих образов и аллегорий, их вариативности, целевой аудитории этих текстов.

*Ключевые слова:* Христос-рыцарь, искупление, возлюбленная душа, аллегория, военные и любовные метафоры, религиозные наставления.

---

Среди сочинений английского поэта-францисканца Николаса Бозона, жившего на рубеже XIII–XIV вв., особое место занимает выдержанная в традициях куртуазного рыцарского романа аллегорическая история мученической смерти Христа. Не раскрывая до самого финала истинных имен персонажей, Бозон рассказывает о некоем короле, любившем свою подругу (un amye) больше жизни. Ревностно оберегая возлюбленную, король запер ее в прочном замке, откуда она сбежала вместе с соблазнителем. Понимая, что измена была совершена «по глупости» (la folye), король решает, как подобает рыцарю, отвоевать свою даму у противника. Бозон подчеркивает, что, будучи могущественным государем, его герой мог с легкостью исполнить свое желание, не вступая в бой лично, но, чтобы тронуть сердце беглянки и доказать свои права на нее («Mès pur attrer le quer de cele alopé / Par soi vout desrener son draut en ly clamé»<sup>1</sup>), он решает биться с врагом. Зная о рыцарской доблести (chevalerie) короля, коварный предатель отказался от честного поединка с ним. Тогда король решил облачиться в доспехи своего оруженосца Адама. Во время первого поединка противники не только обмениваются ударами, но и ведут весьма содержательную беседу. Вводя прямую речь, Бозон раскрывает имя похитителя дамы: сэр Белиал. Восхищенный доблестью и благородством соперника, сэр Белиал предлагает рыцарю земли и власть в обмен на «службу и оммаж» («servise e homage»). Король не только отвергает предложение Белиала, но и про-

---

<sup>1</sup> Nouveau recueil... Т. II (1842). P. 309.

возглашает отвоевание дамы единственной целью своей авантюры. Враг назначает новую битву, которая должна состояться в пятницу на горе. Сражаясь один против целой армии, король претерпел множество страданий, пять раз был тяжело ранен. Удары противников нанесли существенный вред одолженным доспехам, которые, разрушившись, явили истинный облик могущественного государя. Осознав, кем был неизвестный рыцарь, соблазнитель и его войско обратились в бегство.

Освободив полную раскаяния возлюбленную, король не только простил ее, но и пообещал сделать своей супругой («Soulement ma amy e fustes dunk nomée; / Mès ore ma espouse serrez appellé»). Оставляя ненадолго будущую жену и обещая скоро вернуться за ней и забрать ее домой, король просит ее в качестве защиты от дьявольских соблазнов («diable encombrer») повесить его окровавленную рубашку вместо флага, коня поставить перед входом в замок, щит поместить у входа в спальню, а возле кровати положить копьё. И если она будет любить и ждать его должным образом, он, когда вернется, сделает ее королевой в своей богатой стране («E si vous gardez bien ceo qe si vous doun, / E me volez amer sicum voet resoun, / Jeo vous fra rayne, e porterez corun / En ma riche tere, qe tut vous abandoun»). Завершая поэму, Бозон открывает читателю имя главного героя, вознося молитву Богу, нашему царю и благородному рыцарю, одержавшему победу за все человечество («Jeo pri Dieus, nostre roys, chevalier alosée, / Qe conquist en bataille tot humayne ligné»<sup>2</sup>).

Как в хорошем рыцарском романе, в рассказанной Бозоном истории главными темами являются страстная любовь и поиск взаимности, а также грандиозная победа над целой армией противников. Направленные на усиление драматизма военные и любовные метафоры кардинально меняют хорошо знакомую историю искупительной жертвы Христа, фактически отказываясь от самой идеи жертвы. Грехопадение превращается в ошибку ветреной девицы, крестные муки – в неудобство от жесткого седла и несколько боевых ранений, на фоне неоднократно подчеркнутого богатства и могущества короля предложение сэра Белиала выглядит сомнительным искушением. Более того, смерть на кресте и последующее воскрешение представлены в виде разрушения доспехов оруженосца и явления царского облика рыцаря. Как и подобает главному герою романа, рыцарь демонстрирует свою готовность погибнуть в бою ради любимой, но сам выходит из битвы победителем.

Соединив два различных образа Христа – возлюбленного и воина, Бозон создал поэму, полностью отвечающую вкусам куртуазной публики.

---

<sup>2</sup> Ibid. P. 314–315.

В этой связи сразу возникают вопросы об оригинальности и популярности самого сюжета. Попутно хочется обратиться к вариативности интерпретаций ключевых образов – Христа как влюбленного, и крестных мук как сражения – в произведениях разных жанров. Наконец, особое внимание будет уделено анализу аллегорий и метафор. На самом общем уровне использование военной и брачно-любовной метафоры, очевидных языков эпохи Средневековья, логично уже само по себе. Однако важно поставить вопрос об интенциях авторов: зачем и в расчете на кого они прибегали к данным метафорам. Сопоставление трудов, ориентированных на знатоков теологии, и сочинений, предназначенных для профанной публики, изящных поэм, нацеленных на утонченную куртуазную аудиторию, и народных песенок позволит ответить на вопросы об универсальности обозначенных выше образов и метафор. Предназначались ли любовные и военные аллегории исключительно для светской публики или же клирики были готовы использовать их и в разговоре друг с другом?

Аллегория любви и брачного союза Бога и избранного народа откровенно и недвусмысленно представлена в Ветхом Завете в образе Израиля – возлюбленной жены Господа, впавшей в прелюбодеяние, за которое она сначала была наказана, но потом прощена (Осия, 2; Иез., 16). Неудивительно, что соответствующая параллель была проведена и в Новом Завете (брачный союз Церкви с Христом или агнцем из Посланий апостола Павла (Колосс. 3:10-14; Рим. 13:14) и Апокалипсисе (19: 79)). Августин Блаженный в 8 проповеди на Евангелие от Иоанна, комментируя эпизод со свадьбой в Кане, писал о Христе как о женихе–воине, пролившем кровь для защиты и отвоевания души человеческой (*anima humana*) – жены, согрешившей с дьяволом<sup>3</sup>. Более детально аллегория Христа как жениха, царя и воина, возвеличившего свою возлюбленную невесту, под которой подразумевалась Церковь, была разобрана Августином в толкованиях к 44 псалму<sup>4</sup>. Комментарии Августина стали главным источником средневековых образов божественного жениха–воина.

Впрочем, еще до Августина об аллегорическом союзе жениха–Христа и невесты–Церкви написал Ориген в толкованиях на «Песнь песней»<sup>5</sup>. Вслед за Оригеном и Августином к теме божественного брака обратились и другие церковные авторитеты<sup>6</sup>. Следует отметить, что ес-

<sup>3</sup> *Augustinus*. Tractatus VIII // PL. T. XXXV. Col.1452.

<sup>4</sup> *Idem*. Enarratio in Psalmum XLIV // PL. T. XXXVI. Col. 494–514.

<sup>5</sup> *Ориген*. 1905.

<sup>6</sup> На протяжении всего Средневековья в Англии огромной популярностью пользовались комментарии к «Песне песней» Беда Достопочтенного и Бернарда Клервоского. См: *Riehle*. 1981. P. 34–36; *Matter*. 1990; *D'Avray*. 2005. P. 8.

ли под женихом все авторы обычно подразумевали Христа, то за образом невесты в раннее Средневековье чаще всего стояло «корпоративное тело»: человечество или, как у Оригена и Августина, Церковь, и лишь с начала XII в. его стали трактовать как индивидуальную человеческую душу<sup>7</sup>. Именно в этот период в назидательной литературе появляется очевидный акцент на личных чувственных отношениях между человеческой душой и Спасителем, в то время как в более раннюю эпоху авторы концентрировали свое внимание на поединке Христа и дьявола<sup>8</sup>.

Восхваляя девственность, как наиболее достойное и завидное состояние, анонимный английский проповедник XIII в. обещал монахине, что она будет «супругой Бога, невестой Иисуса Христа, возлюбленной господина, повелительницей всего мира» («to beo godes spuse. Jeshu christes brude. þe lauerdes leofmon þat alle kinges buheð of al þe wolrd lauedi as he is lauerd»), сулил беззаботную (сытую и красивую) жизнь в раю, где ей «нужно будет лишь думать о своем возлюбленном, быть верной ему и его любви» («Se freo of hire self. þat ha nawiht ne þarf of oðer þing þenchen bute an of hire leofmon wið treowe luue cwemen»<sup>9</sup>). Другой аноним двумя веками спустя написал любовную поэму, представив Христа, сидящим на холме и смотрящим вдаль, ожидая дорогую супругу – избранную душу. Христос именуется своей возлюбленной всевозможными любовными эпитетами: «swete spouse», «faire love», «my babe», «myn owne sere wife», приглашает ее поиграть в саду и обещает все радости и наслаждения рая, если она примет его любовь, но затем он показывает избраннице раны как доказательство искренности своей любви<sup>10</sup>.

Приведя эти два разных текста на тему супружеского союза души и Бога исключительно в иллюстративных целях, сразу подчеркну, что аналогичных по содержанию сочинений в разных жанрах и традициях на протяжении всего Средневековья было написано бесконечное множество. Вдохновленные назидательной литературой подобного плана, женщины–мистики буквально переживали, а потом и описывали физи-

<sup>7</sup> Riehle. 1981. P. 36; Gerleman. 1965. P. 43ff.; D'Avray. 2005. P. 78; Woolf. 1986. P. 99–101.

<sup>8</sup> Один из ключевых теологических вопросов, занимавших умы отцов Церкви, заключался в правах дьявола на человека, искуплении и примирении человека с Богом, т.е. на самих основаниях битвы Христа и дьявола, ее исходе и результате для человечества. См: Aulen. 1931; Barry. 1968; Leivestad. 1954; McDonald. 1985; Rivière. 1909; Idem. 1934; Turner. 1952. Впрочем, как подчеркивает К. Макс, эти важные проблемы не были окончательно решены в эпоху патристики, а посему на протяжении всего Средневековья мыслители продолжали обращаться к ним снова и снова. Marx. 1995.

<sup>9</sup> Hali Meidenhad. 1966. P. 45.

<sup>10</sup> The Oxford Book of English Verse. 1917. P. 9.

ческое блаженство от соединения с божественным возлюбленным<sup>11</sup>. Впрочем, описания, пусть и в аллегорической форме единения с Богом характерны не только для женских текстов<sup>12</sup>. Этим проблемам посвящена обширная исследовательская литература, как и сюжетам, связанным с доктриной об искупительной жертве Христа, являющейся ключевым вопросом в контексте изучения рыцарского образа Спасителя.

Одна из наиболее популярных средневековых аллегорий, связанных с искуплением грехопадения, восходит к строчке псалма: «Милость и истина встретились, правда и мир облобызались» (псалом 84:10). Представление об Искуплении как о победе Милости над Истиной, волновавшее греческих и латинских отцов Церкви (от Ирения до Августина) вновь обрело популярность в XI–XII вв. благодаря сочинениям Ансельма Кентерберийского, а также Гуго Сен-Викторского и Бернарда Клервоского<sup>13</sup>. В написанном около 1300 г. и приписываемом Бонавертюре трактате «Размышления о жизни Христа» («*Meditationes de Vita Christi*»), эта трактовка избавления человечества представлена в виде аллегорического спора четырех дочерей Бога: Милости, Правды, Истины (Справедливости) и Мира. После грехопадения Правда и Милосердие ведут спор о судьбе человечества. Первая сказала: «Я исчезну, если Адам не погибнет», вторая: «Я исчезну, если он не получит прощение». Чтобы разрешить проблему, сестры ищут «неповинного в смерти, но готового умереть из милости». Сам Творец человека, любя свое создание, согласен дать искупление, но остается проблема ипостаси. Могущество Бога-отца смущает Мир и Милосердие; доброта Святого духа вызывает сомнения у Правды и Справедливости. «Таким образом, занимающий срединное положение Сын был принят, чтобы исполнить возмещение»<sup>14</sup>. Столь доступный для понимания ответ на сложнейший теологический вопрос можно было легко преподнести любой аудитории. Неудивительно, что сюжет Псевдо-Бонавертуры пользовался исключительной популярностью и даже был адаптирован для городских мистерий<sup>15</sup>.

Возвращаясь к главной теме исследования, приведу эпизод из пространной анонимной поэмы середины XV в. «Суд Мудрости» («*Court of Sapience*»), долгое время ошибочно приписываемой Джону Лидгейту. В этом сочинении по традиции спор четырех дочерей Бога завершается

---

<sup>11</sup> Riehle. 1967; Fairweather. 1968; Happold. 1963; Herbert McAvoy. 2004; Late Medieval Mysticism...; Morgan. 2013; Petroff. 1994; Petry. 1957; Vox mystica. 1995.

<sup>12</sup> Riehle. 1967. P. 61–64.

<sup>13</sup> Подробнее см: Traver. 1907; Idem. 1925. P. 44–92.

<sup>14</sup> Meditations on the Life of Christ... 1961. 89.

<sup>15</sup> The Parliament of Heaven // Ludus Coventriae cycle. 1841; Fry. 1951. P. 550–551.

постановлением, согласно которому мученическая смерть Бога-Сына должна стать возмещением Творцу за грехопадение. Выступая в союзе с сестрой Милосердием, Христос готов принести себя в жертву ради удовлетворения Правды и Справедливости. Гармонию этого приговора неожиданно портит отказ дьявола подчиниться решению суда и освободить человечество из своего плена. В результате Бог-Отец отдает Сыну приказ «захватить человечество силой»<sup>16</sup>, превращая добровольное жертвоприношение в воинский подвиг. Распятие становится не просто казнью, но гибелью в результате сражения. В «Суде Мудрости» нашлось место и для темы любви Христа и человечества. Движимый любовью и состраданием, Христос соглашается на самопожертвование. При этом, его гибель и подвиг должны вызвать в человечестве ответное чувство. Эта мысль вкладывается в уста Бога-Отца в его обращении к сыну:

Главный подвиг [заключается в том], как тебе получить и завоевать  
Его в битве, и от врагов его избавить;  
Та любовь слаще, что дороже куплена<sup>17</sup>.

Как уже отмечалось, тема гибели Христа на кресте ради любви человека начинает испытывать влияние романтической литературы с конца XII в., порождая в итоге образ доблестного влюбленного рыцаря – спасителя дамы, аллегорического воплощения души. Истоки соединения куртуазной и морализаторской литературы в данном случае очевидны: рыцарская риторика в этот период стала настолько очевидным языком, что через нее можно было эффективно и понятно объяснять любые религиозные идеи. Кодекс предписывал воинам (рыцарям) заботиться о слабых, в первую очередь о женщинах и сиротах, в то время как одержанная во имя любви победа обычно воспринималась как наилучшее средство для завоевания чувств дамы.

Самым ранним текстом, в котором Христос предстает именно как влюбленный рыцарь, считается анонимный английский трактат начала XIII в. «Ancrene Wisse» или «Наставление ананхореткам»<sup>18</sup>. Один *exemplum* повествует о даме, земли которой были разорены врагами, а она сама, пребывающая в крайней бедности, осаждена в своем замке. Между тем, могущественнейший король воспылил к ней такой страстной любовью, что, ища взаимности, посылал одного за другим послов и драгоценные подарки, продовольствие и даже армию, чтобы отразить осаду. Однако

<sup>16</sup> «Soo bynd the fend, and take man by conquest /Unto thy blysse, and set thy regne in rest» (664–665). The Court of Sapience. 1984.

<sup>17</sup> The chyef avaunt is how thou gat and wan / Hym with batayle, and from his foes hym brought; / Eke love is more swete that it dere is bought (Ibid. 850–852).

<sup>18</sup> *Le May*. 1933. P. 1; *Warner*. 1996. P. 131.



беззаботная дама, принимая дары, оставалась холодна. Влюбленный король открыл избраннице «свое прекрасное лицо, превосходящее по красоте внешность других мужчин», он говорил ей такие красивые слова, что они «могли бы и мертвого воскресить к жизни», совершил множество чудесных и удивительных деяний перед ее глазами, показал ей свое могущество и пообещал сделать ее королевой своего царства. Все было бесполезно. И «хотя она была недостойна быть даже посудомойкой в его дворце»<sup>19</sup>, он предложил ей сразиться с врагами, поскольку без его помощи ей было не одолеть их. Уверенный, что погибнет в сражении, король просил даму любить его хотя бы после его смерти, раз уж она отказывалась принять его любовь при жизни. Сразившись с врагами и освободив даму, король погиб, но чудесным образом снова воскрес.

Во избежание недоразумений автор дает четкое пояснение аллегорическому рассказу. Влюбленный король – Иисус Христос, жаждущий любви человеческой души и спасающий ее от козней дьявола. «Любовь Христа к человеческой душе сильнее мирской любви мужчины и женщины, ибо мужья не прощают изменившим им жен, отсылая тех от себя, но Христос всегда прощает грешную душу. Даже если его супруга (душа) согрешит против него во множестве смертных грехов, он всегда ее примет обратно как девственницу. Как сказал Августин: «принципиальная разница между отношением Бога и души, и мужа с женой, ибо муж делает деву женой, а Бог жену девой»»<sup>20</sup>. В контексте анализа любовных отношений Христа и человечества важно обратить внимание на следующее обстоятельство. Говоря о гибели рыцаря ради спасения дамы, автор явно подразумевает искупительную жертву Христа, т.е. событие уже свершившееся в прошлом ради всего человечества. Однако, переходя к морализаторским наставлениям, аноним имеет в виду индивидуальные «измены» каждой души, которую Христос продолжает прощать и любить.

«Наставления анахореткам» – редкий текст, в котором Христос–рыцарь предвидит свою гибель и заранее просит даму сохранить память о нем. Чаше Христос высказывает аналогичную просьбу, умирая, т.е. уже после сражения. Так, в одной из анонимных поэм XIV в. он говорит:

Ах, дорогая возлюбленная, теперь ты можешь увидеть,  
Что я потерял свою жизнь из-за тебя.  
Что я мог сделать больше?  
Поэтому я особо прошу,  
Чтобы ты оставила дурную компанию,  
Которая причинила мне такие мучительные раны;

---

<sup>19</sup> Мотив социального неравенства дамы и рыцаря встречается довольно часто. См., например, поэму Бозона или цитируемый ниже «Fasciculum Morum».

<sup>20</sup> Ancrene Wisse. 1959. P. 21–23.

И возьми тайно мои доспехи,  
 И спрячь их в сокровищнице,  
 Там, где ты живешь,  
 И, дорогая возлюбленная, не забывай,  
 Что я так дорого заплатил за жизнь  
 И больше ни о чем не прошу<sup>21</sup>.

Сочетание темы спасения дамы от власти врага, именуемого, как правило, тираном, с мотивом прощения неверной изменницы, восходящего к упоминаемым выше библейским текстам, уподобляющим Израиль неверной жене, справедливо наказанной, но не оставленной Богом, можно найти во многих произведениях, как английских, так континентальных. Например, в широко известных проповедях доминиканца Ги д'Эвре (ок. 1300 г.)<sup>22</sup> и его младшего современника бенедиктинца Альберта из Меца<sup>23</sup>. Цистерцианец Исаак из Стеллы (Isaac D'étoile) заметил в одной из своих проповедей, что хотя Евангелие позволяет разделение супругов в случае прелюбодеяния (Матф. 19, 9), Бог даже после тысячи измен призывает душу к себе<sup>24</sup>. В одной проповеди XIV в. Христос и во-

<sup>21</sup>Lo! Lemman swete, now may þou se  
 þat I haue lost my lyf for þe.  
 What might I do þe mare?  
 ForþI I pray þe speciali  
 þatþou forsake ill company  
 þat woundes me so sare;  
 And take myne armes pryuely  
 And do þam in þI tresory,  
 In what stede sa þou dwelles,  
 And swete lemman, forfet þow noht  
 þat I þI lufe sad ere haue boght,  
 And I aske þe noht elles.

(Brown. 1924. P. 94).

<sup>22</sup> Notices et extraits... Т. XXXII/2 (1888). P. 281–282; *Le May*. 1933. P. 26.

<sup>23</sup> «Spiritualiter puella ista fuit humana natura, tyrannum Diabolus, miles Christus, qui accapit tunicam albam ad armandum se contra Diabolum, scilicet carnem in utero Verginis. Il prist la curiee blanche a la croix de g(u)eules, et pugnavit contra Diabolum usque ad nonam, et vulneratus fuit quinque vulneribus cum lancea lanceatus et mortuus: sed tamen Diabolum devicit». *Histoire Litteraire de France...* Т. XXVII (1877). P. 102–104; *Le May*. 1933. P. 26.

<sup>24</sup> «Evangelium quoque ob solam fornicationem separados coniuges patitur. Dei pietas, post mille fornicationes corporis et animae, et aversas flebiliter revocat...». *Isaac de L'Étoile*. Т. III (1987). P. 12–14. В данном случае речь идет не о разводе, которого после декретов Иннокентия III фактически не существовало, а о раздельном проживании супругов. Не последнюю роль в ужесточении церковного контроля за брачно-семейными отношениями в XII–XIII вв. сыграла доктрина о нерасторжимости союза Бога и Церкви, переносимая по аналогии и на человеческие отношения. Подробнее см. *D'Avray*. 2005. P. 101–129.

все уподобляется рогоносцу (sokewold), поющему горестную песню об изменяющей ему жене:

Неизменно любовь порочная  
 мое сердце печалит,  
 делает меня бледным,  
 Поздно в постель иду.  
 Страдания заставляют меня рычать,  
 Ибо уж очень сильно он (соперник – Е.К.) ее любит.

Автор дает четкое пояснение: «неверная подруга – непостоянная душа, впадающая обратно в грех после Пасхи, а господин весь бледный, укладывающийся спать на ложе, это когда его тело совершенно измученное помещали в могилу»<sup>25</sup>. Что же до самой песенки, то, по мнению находчивого проповедника, ее следует считать словами, произнесенными Христом со смертного ложа<sup>26</sup>. Здесь опять-таки речь идет не столько об искуплении, сколько о постоянно повторяющемся прощении грешников.

В целом, в зависимости от личных предпочтений авторов, сюжетная составляющая истории брачно-любовных отношений Бога и души раскрывается во множестве вариантов. Наибольшее распространение получила история о высокомерной дева (или дева, вставшей в плотский грех), оказавшейся в беде, и спасающем ее влюбленном рыцаре, после гибели которого дева исправляется и хранит верность его памяти. Именно эта вариация попала в «Gesta Romanorum», популярность которых, в свою очередь способствовала широкому распространению данной версии. В качестве примера можно привести проповедь XIV в., сочетающую прозаический текст с поэтическими вставками. Неизвестный проповедник рассказывает историю о прекрасной царской дочери, которую отец пообещал сделать своей наследницей при условии воздержания от смертного греха. Дочь поддалась плотскому соблазну. За это она была изгнана из королевства и оставлена без наследства. Один достойный рыцарь узнал о ее несчастной судьбе и пришел ей на выручку. Он сразился со всеми врагами и восстановил деву в ее наследстве, но

<sup>25</sup> Ich ave a love untrewē  
 þat myn harte wo,  
 þat makes me of reuful hewe,  
 late to bedde go.  
 Sore me may rewē  
 þat evere hi lovede hire so.

Nam infidelis amica est inconstans anima que relabitur ad peccatum post pascha pro qua dominus totus pallidus iuit ad lectum quando corpus eius laceratum positum fuit in sepulcro. (MS. C.U.L. Ii.3.8, ff. 83v84r.; цит. по: *Woolf*. 1986. P. 103.

<sup>26</sup> По мнению Р. Вульф, английские стихи были попросту заимствованы автором из светской песенки. *Woolf*. 1986. P. 103–104.

сам погиб в битве. Тогда она взяла его окровавленные доспехи и рубашку и повесила у себя в спальне, дабы помнить о рыцаре и никогда не поддаваться греху. В спальне она написала:

Я храню свою любовь и помню / О крови того, кто был так добр<sup>27</sup>.

Эти слова помогли принцессе в дальнейшем отказаться от греха и сохранить наследство. Разъясняя значение аллегории, автор называет отцом дамы Царя небесного, деву – душой человеческой, утратившей рай, рыцаря – Христом, искупившим людские грехи своей мученической смертью и даровавшим праведным душам жизнь вечную<sup>28</sup>.

Аналогичную версию праведного поведения души после искупления находим в пространном трактате начала XV в. «Богач и бедняк» («Dives and Pauper»), посвященном десяти заповедям. Сама история несколько отличается от «классической» версии. Во-первых, речь идет о браке между королевским сыном и простой, пусть красивой и достойной девушкой. Во-вторых, отец и другие родственники мужа весьма недовольны этим союзом, чувствуя себя униженными. Чтобы не отягощать родных, сын короля отправляется в далекие земли, где завоевывает богатства, отсылая их домой. Однажды, будучи смертельно ранен, он отправил жене окровавленную рубашку с письмом, в котором говорилось:

Взгляни на раны, которые я получил ради тебя,  
Все добро, что у тебя есть, куплено моей кровью<sup>29</sup>.

Верная жена повесила рубашку в спальне. И в дальнейшем, когда бы с ней ни заводили мужчины разговоры о браке или любовном союзе:

Помня о крови  
Того, кто был со мной так добр и любезен,  
Я никогда не буду иметь другого мужа,  
Кроме того, что умер за меня<sup>30</sup>.

В морализаторском наставлении автор не только раскрывает значение аллегории, но и призывает всех христиан следовать примеру достойной супруги (*hys spouse, manys soule*): помнить о принесенной Христом искупительной жертве, отказываться от греха, преодолевать искушения и готовить себя к воссоединению с Всевышним.

<sup>27</sup> I haue in loue and freysch in mynde / The blod of hym that was so keende. (Cambridge, Jesus College 13, part 5, fols 83v90v (J/ 519) // *Wenzel*. 2008. P. 110–111).

<sup>28</sup> *Ibid.*; *Wenzel*. 1986. P. 233–238; *Gesta Romanorum*. 1872. No. 66. P. 376–377; *Tubach*. 1969. No. 4020.

<sup>29</sup> Beheld myn wondys & haue [is] in þi þout, / For all þe godys þat ben þinem with myn blood Y haue is bout. (*Dives and Pauper*. Vol. II (1980). P. 100).

<sup>30</sup> Whil I Have his blod in myn mende / þat was to me so goode and kende, / Schal I nevir husbonde take / But hym þat died for my sake. (*Ibid.*)

Сохранив общую линию повествования, в середине XV в. проповедник Джон Уолдоби не только постарался избежать намеков на плотские чувства и отношения с Богом, но и представил более пессимистичную версию поведения души после искупления. В его трактовке даму, осаждаемую тираном, спасает простой пилигрим. В память о нем дама вешает его посох и суму в зале. Но вскоре после этого ее расположение снискал рыцарь, по просьбе которого она удалила вещи пилигрима сначала из зала, потом из спальни и, наконец, из часовни. Она соединилась с рыцарем и забыла своего спасителя пилигрима<sup>31</sup>.

Еще более драматичную историю можно найти в трактате о семи смертных грехах «Fasciculus Morum» («Сборник обычаев», ок. 1300 г.)<sup>32</sup>. Этот текст интересен и как пример средневекового классицизма. Хорошо знакомый сюжет о деве и спасителе пересказывается как «Энеида» Вергилия, со ссылками на IV и VI книги, соответственно, а также на Овидия и трактат «Commentator super Alexandrum magnum». Анонимный автор повествует о страстной любви Энея к некоей девице (puelle). Желая возвысить любимую и сделать ее богатой, Эней пошел на унижение и бедность. Однажды, едва избежав смерти и вернувшись израненным с войны, которую он вел ради нее, Эней постучался в ворота в надежде получить убежище и заботливый уход. Но неблагодарная дева отказалась открыть перед ним ворота. Тогда он написал ей:

Смотри на мои раны, на мои страдания.  
 Все, что у тебя есть, я завоевал в сражении.  
 Я тяжело ранен, посмотри на мое тело.  
 Дорогая,пусти меня ради моей любви<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Sermons of John Waldeby. Fol. 150rv. Схожую версию можно найти в «Gesta Romanorum». В морализаторском наставлении разъясняется, что посох пилигрима символизирует человеческую плоть Христа, а сума – деревянный крест, на котором он принял мученическую смерть. В варианте «Gesta Romanorum» после спасения дамы–души к ней посватался не один рыцарь, а сразу три короля, олицетворяющие соблазняющих и искушающих человека дьявола, мир и плоть. Тщеславная дама, не желая, чтобы, войдя в ее спальню, короли застали там вещи пилигрима, приказала навсегда убрать их оттуда. Сожалея о склонности человека к мирским удовольствиям и соблазнам, автор призывает противостоять страстям и грехам, помнить о Христе, в надежде получить Царствие Небесное. Gesta Romanorum. 1972. No. 25. P. 321–322.

<sup>32</sup> По мнению издавшего «Fasciculus morum» С. Вензеля, трактат был написан анонимным францисканцем в качестве пособия для подготовки к проповедям. В настоящее время известно 28 манускриптов, датируемых по большей части XV в. Fasciculus morum. 1989. P. 12.

<sup>33</sup> Beholde myne woundes, how sore I am dygth, / For all þe wele þat þou hast I wan hit in fygt. / I am sore woundet, behold on my skyn. / Leue lyf, for my loue let me come in. (Ibid. Pars III. De invidia. Cap. X. De Passione Christi. P. 204).

Объясняя значение аллегии, автор указывает, что рыцарь Эней – это Христос (*miles Eneas Christus est*), который так сильно любил деву (человеческую душу – *animam humanam*), что ради нее отказался от могущества и богатства, приняв нашу природу (*nostram naturam assumens*), став бедным и ввязавшись в войну с противником человеческого рода (*pro ea contra hostem humani generis bellum fortissimum aggressus est*). Едва избегнув смерти в этой войне, он тайно приблизился к двери души, ради которой он столько страдал, в надежде, что она, движимая любовью и состраданием, примет его и поможет ему. Он звал ее громко: «Открой мне, моя сестра, моя подруга, моя голубка!» («*Aperi mihi soror mea, amica mea, columba mea*»). В этом месте аноним выражает страх и сомнение, полагая, что неблагодарная и забывчивая душа прочно закрыла двери, которые являются любовью, состраданием и другими добрыми чувствами (*amor, compassio et huiusmodi affectiones bone*), неблагодарно предаваясь греху. Но несмотря на это, он продолжал верно стоять, стучать в дверь и звать, «ибо он не хочет смерти грешника»<sup>34</sup>.

Подобно автору трактата о богаче и бедняке, здесь смещается акцент с искупительной жертвы (заменяя при этом угрозы тирана или плен на стремление к славе и богатству, лишь мимоходом упоминая войну и раны) на условное настоящее – анализ поведения индивидуальной души после избавления. Но, в отличие от первого автора, предпочитающего наставлять аудиторию положительными примерами, второй аноним настроен более пессимистично (или более реалистично), раскрывая недостойное поведение людей, неблагодарно забывающих о пролитой ради них божественной крови. Причем, как следует из текста, у дамы–души все еще сохраняется возможность одуматься и принять своего заступника.

В своем фундаментальном труде «Сумма проповедей» доминиканец Джон Бромьярд привел аллегию рыцаря–Христа, не только полностью отказавшись от любовно–сексуальных намеков, но даже изменив пол спасаемого. В его изложении рыцарь–избавитель приходит на помощь другу, пытавшемуся отвоевать наследство у захватившего его тирана. Впрочем, все остальные элементы классической истории были сохранены Бромьярдом: одержав победу над врагом, рыцарь погибает в бою, а друг вешает в своей комнате окровавленные доспехи, чтобы с благодарностью помнить о жертве и укрепляться в своей решимости<sup>35</sup>.

Авторитет Бромьярда среди английских проповедников, несомненно, был очень высок и его труд пользовался исключительной популярностью

<sup>34</sup> Ibid. P. 204–208.

<sup>35</sup> Bromyard. 1586. II. P. 176r, col. 2.

стью, к тому же отказ от сексуального подтекста был на поверхности, ибо Христос погиб, любя все человечество, а не только его «прекрасную» часть. Если обратиться к религиозным гимнам, можно увидеть, что в них акцент сделан не на любви, а на победе: Христос–победитель, Христос–триумфатор, Христос–защитник, Христос–спаситель и т.д.<sup>36</sup> Однако, как только вместо действия возникала история, сюжет, развернутое повествование, рядом с рыцарем обязательно требовалось появление прекрасной дамы. Если по каким-то причинам авторы не желали развивать тему брачно-любовных отношений Христа и души, то роль дамы при Христе–рыцаре могла быть отведена Деве Марии и другим святым девам<sup>37</sup>.

Завершая разговор о вариативности сюжета о сражении Христа за душу, приведем отрывок из английской проповеди XIV в. В отличие от большинства других проповедей, посвященных теме божественной любви и включающих *exemplum* о Христе–рыцаре, эта проповедь разбирает проблему рабского положения человека в отношении Бога. «Всякий человек в мире является рабом и тому есть три основания» В первую очередь, он завоеван в бою. Далее автор проповеди приводит аллегорическую историю, подтверждающую его тезис. Некий отшельник встретил на пути рыцаря без доспехов (*a knight commynge azeuns hum vnarmed*), намеревающегося сразиться с гигантом, пленившим «людей его отца». Погибнув в сражении, рыцарь все же одержал победу, поэтому «каждый человек должен быть рабом Христа, поскольку он был завоеван в сражении»<sup>38</sup>. Второй аргумент в пользу человеческого рабства – каждый был куплен «дорогой ценой» (1 Корин. 6:20) за сокровище. И это сокровище – тело Христа. Третий аргумент – каждый раб, ибо является детищем раба.

При всем разнообразии приведенных примеров, все они являются вариациями одного сюжета. В зависимости от личных предпочтений авторов, Христос мог представлять в роли могущественного короля или бедного пилигрима, быть пылким воздыхателем, обманутым мужем или случайным встречным, спасителем попавшей в беду дамы или грозным завоевателем, жаждущим наживы. Жанровые особенности также влияли

<sup>36</sup> The Liturgical Year... 1871. P. 240; Early English Lyrics... 1907. P. 177; *Dunbar, William* "On the Resurrection of Christ" // *A Treasury of Middle English Verse*. 1930. P. 174.

<sup>37</sup> В качестве примера можно привести поэму Ричарда Ролла:

My fender of my fose, sa fonden in þe felde,  
Sa lufly lyghtand at þe euensang tyde;  
þi moder and hir menghe vnlaced þi scheld –

All weped þat þar were, þi woudes was sa wyde (*Brown*. 1924. P. 95).

<sup>38</sup> «Pan by pis skill euerye man is a *seruante* to Criste, for he was gette in bateyll». Sermon 8 (22<sup>nd</sup> Sunday after Trinity) // *Middle English Sermons*. 1940. P. 38.

на изложение: так, в религиозных гимнах и песнопениях фактически есть лишь указания на переживаемые героем чувства и его воинский подвиг, в то время как в проповедях можно встретить детальные описания всех перипетий и коллизий. Но даже максимально приблизившийся к куртуазному рыцарскому роману Николас Бозон остался в рамках основной темы. И хотя очевидно, что из рыцарской литературы был заимствован лишь язык, но не восходящий к библейским текстам сюжет, этот язык в определенном смысле начинает играть доминантную роль, превращая изложение христианских догм в занимательную историю.

Сколько бы ни была интересна тема аллегории Христа как обманутого мужа или страстного влюбленного, в контексте изучения рыцарского образа Спасителя необходимо обратиться к анализу описываемых сражений и пролития крови. Прежде чем перейти непосредственно к вооружению Христа и его поединку с дьяволом, следует коснуться чрезвычайно популярного в Средние века сюжета о «божественной битве»: сражения, которое на протяжении всей своей жизни ведет человек, воюя с грехами и искушениями ради спасения своей души. Ключевую роль в развитии идеи «духовных доспехов» сыграли отрывки из посланий св. Павла: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских... Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Ефесеянам, 6:11-17); «Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13:12), «Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5:8).

Предоставив идею «духовных доспехов», Библия никак не сковывала фантазию жаждающих конкретики. Одни проповедники лаконично указывали на «доспехи из молитв, покаяний и благочестивых поступков»<sup>39</sup>, другие же пускались в более пространные описания. В качестве примера можно указать один из трактатов чрезвычайно популярного компилятивного собрания XIV в. «Жалкий негодяй» («The Pore Caitiff») <sup>40</sup>. («Жалкий

<sup>39</sup> «And when pat pou arte arisen, pan clothe pe as pe apostell techep pe with pe armour of God. What is pis armour but pe werkes of light, penaunce, holy bedes, and almes dedis?». Sermon 19 (1<sup>st</sup> Sunday in Advent) // Middle English Sermons. 1940. P. 112.

<sup>40</sup> British Museum, MS Harley 2336 fol. 1; 118 v.: «This tretis compilid of a pore caitiff», «my silf caitif and wrecche».



негодяй» – так именовал себя сам автор, точнее составитель этого назидательного сборника). Пожалуй, самым известным трактатом из этого сборника является текст «Конь или небесные доспехи» («The Hors ethir Armer of Heuene») <sup>41</sup>. Первая часть этого трактата как раз и посвящена описанию духовного вооружения человека, готового к «goostly batel». Рыцарю для боя необходим конь и определенное снаряжение для управления им, а именно: уздечка, поводья, седло и шпоры. Боевой конь – это тело человека, узда – воздержание, поводья – умеренность, седло – доброта или мягкость, шпоры – страх перед Господом и любовь <sup>42</sup>. В более развернутом виде идея экипировки души для битвы с вечным врагом представлена в другом трактате XIV в. – «A Tretyse of Gostly Batayle» <sup>43</sup>.

Возвращаясь к теме Христа–рыцаря, сразу следует заметить, что вопрос о вооружении Спасителя решался двояко. Многие авторы выбирали аллегорию безоружного воина, одерживающего победу милосердием и смирением. Например, в одной из поэм проповедника XIV в. Джона из Грименстоуна <sup>44</sup> Христос появляется сперва младенцем (маленьким, пугливым, юным и бедным), а затем взрослым (рыцарем, законником, учителем и императором). При этом центральным эпизодом становится его появление в образе рыцаря готового к битве со «вторым врагом» человеческой души – миром и его процветанием, которого он одолевает своей бедностью. Он, будучи царем и повелителем мира, создателем всего на земле, пришел в этот мир совершенно бедным и обнаженным. Описывая вооружение рыцаря–Христа, Джон из Грименсоуна довольно лаконичен:

Я – Иисус, пришедший сражаться  
 Без щита и копья,  
 Иначе смертью я не умру,  
 Если сражаться не буду <sup>45</sup>.

<sup>41</sup> В разных рукописях название этого трактата различается. Например, «Off Goostli Batel» MS Harley 2336 и Trinity College, Cambridge MS 336; «Hors and Ryder» MS Rawlinson C. 69. См: *Brady*. 1954. P. 531.

<sup>42</sup> *Brady*. 1954. P. 540.

<sup>43</sup> *Yorkshire Writers*. Vol. II (1895). P. 420–426.

<sup>44</sup> Исследователь творческого наследия Джона из Грименстоуна (около 250 поэм различной длины на английском языке, сопровождающие латинские проповеди) профессор С. Вензель подчеркивает, что о самом авторе ничего не известно. Возможно, Джон из Грименстоуна был вовсе и не автором, а лишь переписчиком этих проповедей. Примерно половина поэм представляет собой точный перевод латинского текста (*Wenzel*. 1986. P. 102–109; *Wilson*. 1973).

<sup>45</sup> I am iesu, þat cum to fith  
 Withouten seld and spere  
 Elles were þi detz idith,  
 gif mi fithing ne were. (*Brown*. 1924. P. 82).

Анонимный современник Джона из Грименстоуна также представил Христа безоружным рыцарем, на его высокий статус указывает герб: черный гроб, белая лилия и пять красных роз. Гробо символизирует страдания на кресте, лилия – белое тело Спасителя, розы – его раны. Именно «этим оружием он победил дьявола и привел нас в Царствие небесное»<sup>46</sup>.

Простой образ безоружного воина никоим образом не противоречит более сложному аллегорическому описанию военного снаряжения Спасителя. Самое раннее обращение к этой теме – уже упомянутые комментарии Августина к 44 псалму. Строчку «Опящаясь мечом Твоим при бедре Твоём, Сильный» (44:3) Августин трактует как меч, которым Христос поразил своих врагов, а также станет отделять праведников от грешников<sup>47</sup>, под «заостренными стрелами»<sup>48</sup> он предлагает понимать Слово божие, которым была воспламенена любовь невесты к жениху. В качестве примера эффективности стрел божественной любви Августин приводит обращение Савла: раненный в сердце небесной стрелой гонитель христиан изменился, став учеником Христа апостолом Павлом<sup>49</sup>.

Одно из наиболее экстравагантных аллегорических описаний доспехов рыцаря–Христа – пассаж из поэмы Николаса Бозона, в которой воспитанный в куртуазных традициях францисканец внес дополнительный романтический элемент в сюжет о битве Христа с дьяволом. Вочеловечение Бога представлено в поэме как смена царских доспехов на доспехи оруженосца–Адама. По традиции, снаряжаться рыцарю в своей комнате помогала некая девица. И хотя имя этой особы нигде не раскрывается, авторская метафора не оставляет никаких сомнений: девица – это Дева Мария, наделившая Бога человеческим телом – «доспехами смертности»:

Итак, он вошел в комнату этой девы<sup>50</sup>  
 Которая была краше всех других;

<sup>46</sup> «*With pese armys he ouercome pe devell and brought vs to pe kingdom of heaven*». Middle English Sermons. P. 38. На фоне детализированных описаний доспехов Христа–рыцаря, идея размещения символов страстей Господних на гербе выглядит ожидаемой. В поэме Бозона окруженный со всех сторон герой развернул столь ненавистное врагами знамя и выставил щит со своим гербом: на белом поле в голове терновый венец, голубой бордюр с четырьмя «драгоценными знаками» и кровавым фонтаном в центре (*Son esku fu blaunk, estencellé de goules, /Au chef sa corrone de verges espinouses, / Blieue la bordure ouf quatre signes custuses, /En un leu la fountayne que les veines elkoses. Nouveau Recueil... Т. II. (1842). P. 312*).

<sup>47</sup> *Augustinus*. Enarratio in Psalmum XLIV // PL. T. XXXVI. Col. 500–501.

<sup>48</sup> *Ibid.* Col. 496–497.

<sup>49</sup> *Ibid.* Col. 502–503.

<sup>50</sup> Комнатой, а точнее брачным покоем, в котором произошел союз Слова и Плоти, называл в комментариях к псалмам Августин утробу Девы Марии (например, *Augustinus*. Enarratio in Psalmum xlv // PL. T. XXXVI. Col. 495).

Он вошел так легко, не издав звука,  
 Что ни один человек, кроме нее об этом не узнал.  
 Дева его облачила в весьма странные доспехи:  
 Вместо акетона она дала белую и чистую плоть.  
 Вместо шерсти и хлопка кровь уложила рядами,  
 Вместо железных поножен из нервов поместила накладки,  
 Панцирем, подходящим ему по размеру, были кости.  
 Как гамбезоном из шелка кожа повсюду:  
 Все части были прошиты венами,  
 В качестве шлема на голове она поместила череп,  
 В качестве украшения шлема вложила мозг,  
 В прорези кольчуги было красивое лицо,  
 Так, укрывшись в покоях, его снаряжала дева.  
 Когда король был вооружен, он вышел из комнаты,  
 К бою с тираном он, несомненно, себя приготовил<sup>51</sup>.

Представление плоти в качестве доспеха лишь на первый взгляд может показаться необычным. Безусловно, столь детализированное описание воинского снаряжения выделяет поэму Бозона, однако в более простом варианте эту идею можно встретить и в других текстах. Так, уже упомянутый выше анонимный автор XIV в., ссылаясь на обычай дам помогать рыцарям снаряжаться перед боем, указывает, что «точно так же призванный на битву Христос должен был вооружиться доспехами нашей смертности, которые вручила ему Дева, и ступить на битву»<sup>52</sup>. В мистерии Йоркского цикла описание доспехов «богатых и добротных», в которых Христос является Марии–Магдалине после воскреше-

<sup>51</sup> Si entra en la chaumbre cele damoisele  
 Qe de tates alters estoit la plus bele;  
 Il entra si suef, saunz noise efavele,  
 Qe nul home le sout fors qe sout cele.  
 La damoisele l'arma de mult estraunge armure:  
 Pur aketoun li bailla blaunche chare et pure.  
 Pur caddice e cotoun saunk mist en cochure,  
 Pour chauce de fere de nerfs mist la jointure,  
 Ses plates furent de os qe sisterent à mesure.  
 La gaumbeyson de say la pel per desur:  
 De tot partz assist les veynes pur urlure,  
 Pur bacyn à la test li planta anapele,  
 Pur l'atour de bacin deinz mist la cervele,  
 La ventaile del hauberk estait la face bele,  
 Qe privément en chaumbre lascea la pucele.  
 Quant ly rei fust armé, de chambre s'en issist,  
 De combatre al tyrant fraunchement se perfist.  
 (Nouveau Recueil... T. II (1842). P. 310).

<sup>52</sup> Wenzel. 2008. P. 96–98.

ния практически полностью совпадает с поэмой Бозона: белый, а точнее телесного цвета акетон, подбитый «плотью и кровью девы», кольчуга – израненная плоть, латные пластины – прибитые к кресту части тела, терновый венец, венчающий покрытый кровью шлем<sup>53</sup>.

Аналогичную бозоновской трактовку смены царских на простые, человеческие, доспехи Спасителем, лишенную, однако, куртуазного флера, можно найти в «Видении Уильяма о Петре Пахаре» Ленгленда:

Христос в своем благородстве будет состязаться в доспехах Петра,  
В его шлеме и его кольчуге – человеческой природе.  
Чтобы Христос не был известен как истинный Бог,  
В куртке Петра–Пахаря этот всадник будет скакать;  
Ибо ни один удар не навредить ему как сыну божьему<sup>54</sup> (B-text XVIII. 22–26)

По мнению Э. Уитли, очевидным источником этой аллегии для Уильяма Ленгленда послужила история «О поединке рыцаря и пахаря», включенная в чрезвычайно популярную на протяжении всего Средневековья «*Liber Catonianus*»<sup>55</sup>, предположительно составленную капелланом Генриха II Уолтером Английским. Сюжет рассказа незамысловат. Некий рыцарь, позавидовав богатству старого горожанина, обвинил его перед королем в том, что тот нажил состояние нечестным путем, воруя из казны. Для выяснения истины был назначен судебный поединок, на котором старика взялся представлять пахарь. Сначала пахарь только парировал удары, но, в конце концов, сбивает рыцаря с ног. Получив от префекта право убить воина, пахарь отказался от кровопролития, ограничившись лишь хорошей затрепачиной. Рыцарь признал пахаря победителем, а благодарный горожанин – наследником после смерти.

Облеченная в форму назидательно-развлекательной байки, эта история перекликается с описанием сошествия Христа в Ад и поединком с Сатаной из апокрифического Евангелия от Никодима (20–24), а характеристика старика напоминает описание покинутого друзьями немощно-

<sup>53</sup> Wire drawin (95-109) // York Mystery Plays. 1885.

<sup>54</sup> This Jesus of his gentries wol juste in Piers armes,  
In his helm and in his haubergeon – humana natura.  
That Crist be noght bikniwe here for consummates Deus,  
In Piers paltok the Plowman this prikiere shal ryde;  
For no dunt shal hym dere as in deitate Patris. (XVIII. 22–26)

<sup>55</sup> В настоящее время известно более 160 манускриптов, а также 25 изданий до 1500 г. *Kristeller*. 1963–1997. В 1610 г. Исак Невелет издал свою «*Mythologia Aesopica*», для которой он заимствовал множество историй из собрания Уолтера Английского. В свою очередь труд Невелета стал источником вдохновения для Ла Фонтена. «*Liber Catonianus*» часто использовалась в качестве учебного пособия для школьников. См.: *Wheatley*. June 1993. P. 141.

го Иова. Если обратиться к текстам известных комментариев на труд Уолтера, а именно к «*Esopus moralizatus*» (самый популярный схоластический комментарий, написанный в XIII в.) и к «*Auctores Octo*» (аллегорическое сочинение конца XIV в.), то раскрытие образов не должно вызывать у читателя никакого сомнения. Богатый старик – человек (в тексте «*Esopus moralizatu*» – праведник), рыцарь – Сатана, а пахарь – Христос, скрывающий свою истинную силу и ловкость до решающего момента<sup>56</sup>.

Если наиболее вероятным текстом, вдохновившим Ленгланда на создание образа Христа–пахаря стала «*Liber Catonianus*», то идея облачения Спасителя в чужие доспехи могла быть заимствована из других источников. Для определения культурного контекста, повлиявшего на Бозона и Ленгланда, можно привести анонимную проповедь XIV в. на тему «Что он сделал? Почему он должен умереть?». Ссылаясь на Августина Блаженного и Валерия Максима, проповедник приводит историю об Афинском царе Кодре. Увидев свою страну разоренной, Кодр обратился к богу за советом. Бог ему ответил, что он не одержит победу над врагами и не спасет королевство, пока сам не погибнет. Этот ответ стал известен и в стане врагов, решивших не убивать царя. Но Корд снял царские одежды и, отправившись на битву, спровоцировал противников так, что немедленно был убит. Так, благодаря его смерти враги были побеждены, а королевство и люди спасены<sup>57</sup>. Точно так же человечество не могло быть спасено, пока Христос не умер. «Доблестный рыцарь Христос. Видя, что его народ не может быть спасен, пока он не умрет, и, видя, что своей смертью он уничтожит могущество дьявола, но поскольку он не мог принять страдания и умереть в царском облачении, т.е. в своей божественной природе, он сменил одежды и предстал в человеческом облике, в котором был неузнаваем. В таком виде он появился на поле битвы и был убит, и, таким образом, через свою смерть он спас человечество и победил дьявола. Далее проповедник рассказывает о «военной игре», называемой «Круглый стол»: каждый рыцарь вешает щит на шатер и, когда кто-то касается щита, он вызывает на поединок, и рыцарь должен быть вооружен девой и идти сражаться. Точно так призванный на битву Христос должен был вооружиться доспехами нашей смертности, которые вручила ему Дева, и ступить на битву<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> *Esopus moralizatus*... 1495.

<sup>57</sup> Эту историю приводят многие проповедники. См., например, *Fasciculus morum*. 1989. Pars V. De Accidia. XV. De Satisfactione qua iusticia. P. 501; *Tubach*. 1969, no 1136.

<sup>58</sup> Метафора «игры» Круглого стола весьма популярна в проповедях. См. *Wenzel*. 1986. P. 234, n. 68; *Warner*. 1996. P. 129–143.

Хотя образ тела как доспеха и не является уникальным, тем не менее, по своей популярности он значительно уступает причислению к вооружению ран и орудий мучений. Своеобразным «гибридом» можно считать пассаж из упомянутого выше «Наставления анахореткам» XIII в. Из доспехов Христа приводится только пронзенный в бою щит – это его человеческое тело, распятое на кресте. Автор подчеркивает, что даже распятое тело Христа по своей форме – широкое в верхней части и суженное внизу, там, где его ступни соединялись, напоминало щит. Этот щит не имеет границ, поэтому он сможет прикрыть всякого, ищущего спасения. Как всякий щит он состоит из дерева, кожи и краски: дерево – крест, кожа – тело Христа, краска – пролитая кровь Спасителя. Подобно тому, как принято сейчас (автор ссылается на современную ему практику) вешать щиты достойных рыцарей в храмах в память о погибших, установленное в церкви на самом видном месте распятие напоминает о рыцарском подвиге Христа. В XIV–XV вв. авторы все чаще стали причислять к доспехам не только тело Спасителя, но, главным образом, орудия пытки. Например, в одной из проповедей XIV в. на тему «*amore langueo*» («изнемогаю от любви», Песня песней 2:5) аллегория начинается с традиционной истории о рыцаре самого знатного рода – сыне самого Бога, вышедшем на бой против дьявола в полном облачении: его акетон – человеческое тело, кольчуга – раны на теле, шлем – терновый венец, латные перчатки – гвозди в ладонях, шпоры – гвоздь, пробивший ступни, конь – крест, на котором он был распят, щит – его грудь, с копьем не в руке, но в боку<sup>59</sup>. Аналогичное описание снаряжения можно найти во многих сочинениях этого времени. Так, автор проповеди на тему «Что он сделал? Почему он должен умереть?», подобно Николасу Бозону, причисляет к сражениям с дьяволом искушения Христа. По версии анонимного проповедника, решающей победе на Голгофе предшествовали три выигранные битвы: первая была в пустыне, когда дьявол искушал Христа едой, вторая – искушение аналогичное тому, которому поддался Адам, третья – искушение славой мира. «Во всех этих битвах Христос одержал победу». Но лишь для своего последнего поединка рыцарь–Христос облачился в дос-

<sup>59</sup> «...pro istum millitem nobilem intelligo Cristum qui est ex nobili genere procreates quia dei filius strenuissimus, et fuit sicut patuit hodierna die in bello contra diabolum. Et ecce qualiter mirabiliter iste miles fuit armatus ut procedet ad bellum. Primo habuit suum actoun corpus suum mundum, et pro sua hawberk quod est ful of holes habuit corpus suum plenum vulneribus; pro galea habuit coronam spineam capiti inpensam, et pro arotheas de plate habuit duos clavos fixos in inibus; pro calcaribus habuit clavum fixum in pedibus. Pro equo habuit crucem super quam pependit; pro scuto apposuit latus suum, et processit sic contra inimicum cum lancea, non in man used stykand in his side». (MS. Bal-liol 149, f.32v; MS Magdalen 93; MS Trinity Dublin 277; Woolf. 1986. P. 113).

пехи: он сел на коня–крест, надел шлем – терновый венец, кровавый пояс и красное одеяние, его шпорами были гвозди в ногах, его копьём было то, что пронзило его сердце. «И так Христос поверг дьявола и его семь армий, т. е. семь грехов»<sup>60</sup>. Схожим образом «экипирован» для боя «рыцарь-Иисус» в анонимной английской поэме этого времени. Любопытно, что Спасителю отведена роль мужа, вступившегося за честь жены, которую в его отсутствие пытался соблазнить воздыхатель<sup>61</sup>.

В приведенных выше аллегорических описаниях военного снаряжения Христа–рыцаря интересно уподобление креста боевому коню. По мнению Р. Вульф, это сравнение восходит к цитате из Второй книги Маккавейской: «ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие» (II Мак. 3:25). Согласно Вульфа, уподобление всадника не только ангелу Божьему, но и Христу является традиционным для средневековой литературы. В качестве примера можно привести анонимную проповедь XIV в., автор которой не только дает толкование приведенному пассажи: под Израилем подразумевается все человечество, а под именем Антиоха скрывается сам дьявол, но также подчеркивает, что «miles equitans in equo» – это Христос верхом на кресте, посланный Богом для спасения людей<sup>62</sup>.

Основательно подошедший к описанию военного снаряжения Христа–рыцаря Николас Бозон описывает два поединка с дьяволом. Пешим или конным бился рыцарь во время первой встречи – неизвестно, но вот для второго боя враг сам прислал боевого коня, шкура которого была четырех разных цветов: тело – кипарисовое, ноги – кедровые, спина – оливковая и грива – пальмовая («De quatre manere de pail si estoit veiré, /De supresce fu le corp, de cedre le pée, /L'eschine fu de olive, de palme haut cugné»). Седло было очень жестким и причиняло королю большие страдания, которые он стойко переносил ради своей возлюбленной<sup>63</sup>. Образ креста как коня является ключевым в доминиканской проповеди второй половины XIV в.: «Мой конь – дерево, к которому я прибит гвоздями» («Mi paleffrey is of tre, /Wiht nayles naylede zwrh me») <sup>64</sup>. В этой проповеди

---

<sup>60</sup> Образ семи армий дьявола – семи грехов, «осадивших город человеческой души», возникает в проповеди не случайно. Автор дает ссылку на пророчество Екклезиаста о спасении города от осады мудростью неизвестного бедняка (Екк. 9 [14–15]). *Wenzel*. 2008. P. 101.

<sup>61</sup> *Vernon MS*, f. 185v. *Woolf*. 1986. P. 113–114.

<sup>62</sup> *MS. Bodley 649*, f.34r.

<sup>63</sup> *Nouveau Recueil...* Т. II (1842). P. 311.

<sup>64</sup> *Brown*. 1924. P. 67.

также присутствуют и другие «традиционные» элементы вооружения Христа, а именно: кольчуга из ран и копьё, торчащее из сердца.

Лучшее свидетельство популярности образа креста как боевого ко-  
на Христа – пассаж из поэтической мистерии начала XV в. на тему распя-  
тия. Непосредственно перед тем, как прибить руки и ноги Христа к кре-  
сту солдаты грубо насмежаются над осужденным, именуя его царем и  
предлагая помочь усесться в седле, чтобы он смог свободно скакать<sup>65</sup>.  
Обретя рыцарское вооружение, Христос не мог миновать участия в тур-  
нирах. Именно этим предлагают заняться «самозваному царю» солдаты:

Если правда, сэр, то, что ты называешь себя царем,  
Ты должен доказать это достойным занятием,  
Которое связано с войной;  
Ты должен принять участие в турнире<sup>66</sup>.

Веком ранее битвой и турниром несколько раз назвал искупитель-  
ную жертву Христа Ленгленд, используя глагол «joustes»:

Хотя иудейским и еврейским было имя Иисуса;  
В следующую пятницу ради человечества он  
Устремился в Иерусалим, чтобы  
Биться в Иерусалиме на радость всем нам,  
На кресте на Голгофе Христос дал сражение  
Против смерти и дьявола и его могучее братство он уничтожил,  
Умер и смерть пограл, день и ночь создал<sup>67</sup>.  
И кто должен сразиться в Иерусалиме. «Иисус», он сказал<sup>68</sup>.

Видя окровавленную фигуру, несущую крест, впереди толпы на-  
рода, поэт спросил у Совести:

«Это Иисус, боец?», спросил я. «Что осужден на смерть?  
Или это Петр–пахарь! Который так красным себя разрисовал?»  
На это Совесть ответила и приклонила колени: «Это в доспехах Петра,  
Его цветах и его гербе, которые он настолько испачкал кровью  
Христос со своим крестом завоевывает христианский мир»<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> The Crucifixion (101-112) // The Towneley plays. 1966 P. 261.

<sup>66</sup> In fayth, syr, sen ye callyd you a kyng, / you must prufe a worthy thyng / That  
falles vnto the were; / ye must Iust in tornamente (Ibid. 89–92).

<sup>67</sup> Þorw iudas and iewes ihesus was his name;  
Þat on þe fryday folwyng for mankynde sake  
Iusted in ierusalem a ioye to vs alle  
On crosse vpon caluarye cryst toke þe bataille,  
Azeines deth and þe deuyl destroyed her botheres myztes,  
Deyde, and deth fordid and daye of nyzte made (XVI, 160–166).

<sup>68</sup> And who sholde iouste in Iherusalem “Ihesus“, he seyde, (B–Text XVIII, 19).

<sup>69</sup> «Is þis ihesus þe iuster? “quod I. “Þat iuwes did to deth?  
Or is it Pieres þe plowman! Who paynted him so rede?“  
Quod conscience, & kneled þo. “Þise aren Pieres armes,



Целый ряд проповедников представляют поединок Христа с дьяволом именно в виде турнира «Круглого стола»<sup>70</sup>. В одной из своих проповедей Джон Дигон<sup>71</sup> не только делает Христа участником рыцарского турнира, но и объясняет причину, по которой Богу-сыну выпало сразиться с врагом. Джон Дигон весьма далек от тонких схоластических рассуждений о причинах вочеловечения Христа в духе Ансельма Кентерберийского, написавшего пространный трактат на эту тему. Свой ответ на этот сложнейший теологический вопрос Дигон дает исключительно в духе куртуазной рыцарской литературы. Три лица Троицы традиционно воплощали Силу, Мудрость и Милосердие<sup>72</sup>. «Сказано в символе веры: «нас ради человек и нашего ради спасения сошедшего с небес». Но почему сошел Сын, а не Отец или Святой Дух? Я должен объяснить вам это через пример. Можно прочесть в деяниях Артура, что у него был Круглый стол для славных рыцарей, которые, когда они собирались вместе, вешали щиты на стене замка. И, если кто-нибудь касался чьего-либо щита, владелец должен был сражаться с тем, кто тронул щит. Возвращаясь к нашей теме: три лица Троицы могут быть названы рыцарями Круглого стола, потому что они равны по добродетели и силе. Троица избрала душу Адама в качестве замка, в котором Отец утвердил щит силы, благодаря которой Адам получил жизнь вечную; Сын – щит мудрости, благодаря которой Адам узнал все о природе растений, рыб, птиц и животных, которым он дал имена в соответствии с их природой; и Дух Святой утвердил щит милости, благодаря которому Адам был наделен пылкой любовью и милосердием. Но дьявол коснулся щита Сына, а не Отца или Духа Святого, потому, что он пообещал Адаму не большее могущество или

---

His coloures & his cotearmure ac he þat coneth so blody

Is cryst with his cross conqueroure of crystene.» (B–Text XIX, 10–14).

<sup>70</sup> Cambridge, Jesus College MS. 13, art. vi, fol. 84; Oxford, Merton College MS. 248, fol. 166; Magdalen College MS. 93, fol. 144; Worcester Cathedral MS. F. 126, fol. 118; The Sermons of Thomas Brinton. 1954. Sermon 39. P. 170; The Early English Versions of the Gesta Romanorum. 1879. No. LIV. P. 235–237; *Robert Holcot*. 1586, No. IX. (Холкот не называет турнир «круглым столом»). Список приведен по: *Wenzel*. 1986. P. 234, n. 68.

<sup>71</sup> Записные книжки Джона Дигона (Dugouin), приходского священника и знатока канонического права в первой трети XV в. В 1435 г. он стал затворником в приорате Шир (Сюррей). По крайней мере семь его записных книжек в настоящее время находятся в библиотеке Модлен–колледжа в Оксфорде (см: *Emden*. 1958. P. 615–616).

<sup>72</sup> Здесь хочется сослаться на «Комментарий к посланиям Св. Павла к римлянам» (4: 23–24) Петра Абеляра. По мнению Абеляра, «апостол указывает на то, что божественная сила относится больше к Богу-отцу, в то время как божественная мудрость – Сыну, а доброта божественной милости – Святому духу» («*diuinam potentiam ad personam Patris maxime pertinere insinuat [Apostolus], sicut diuinam sapientiam ad Filium et diuinam gratiae bonitatem ad Spiritum Sanctum*»). *Abelard*. 1969. P. 152.

большее милосердие, но мудрость, когда сказал: «вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Бытие 3:5). Поэтому надлежит Сыну сойти и защищать свой щит и сражаться с дьяволом. Поэтому Сын пришел, как сказал Исайя: «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам» (9:6). Ибо, даже если Бог мог облагодетельствовать нас только одним своим желанием, тем не менее, он хотел воплотиться и страдать за нас, чтобы получить подходящее удовлетворение, побуждая нас страстно любить его и, посредством этого, полностью освободить от грехов и деяний дьявольских. Так, в первом послании Иоанна сказано: «Для сего то [и] явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (3:8)...»<sup>73</sup>.

Завершая разговор о сложном образе Христа–рыцаря, важно подчеркнуть, что представление искупительной жертвы Спасителя в качестве поединка с дьяволом настолько прочно вошло в сознание средневековых теологов, что порой, при всем желании искусных авторов, от нее трудно было отказаться. В качестве иллюстрации этого тезиса хочется привести удивительную поэму «La Château d'Amour», написанную Робертом Гроссетестом на англо-нормандском около 1230–1235 гг.<sup>74</sup> Сюжет пространной поэмы восходит к более ранней и весьма популярной латинской проповеди Гроссетеста. В этом сочинении Христос неожиданно предстает в роли покупателя (*emtror*), выкупающего человечество из дьявольского заточения и освобождающего от справедливого приговора судьи – Бога-Отца («*emitt autem Filius Dei humanum genus a diabolo violento et iniquo tortore et a Deo Patre iusto punitore*»)<sup>75</sup>. Сразу оговорюсь, что как в латинском, так и в англо-нормандском текстах для Гроссетеста чрезвычайно важным и показательным является само словоупотребление: выкуп (*raçon*), искупать (*rendre, rendu*). Опираясь на аналогию «хозяин–раб», которую в свое время использовали Ансельм и Абеляр, Гроссетест представляет Бога (царя) повелителем всего, человечество и дьявол являются его рабами. Дьяволу поэтому отводится роль тюремщика или палача, но не силы, противостоящей Богу. Желая искупить человеческую вину, Христос решает уплатить выкуп своему отцу – царю. Объясняя необходимость искупления человеческой вины, Гроссетест, также как многие авторы до и после него, использовал алле-

<sup>73</sup> «Coicipies et paries». Oxford Magdalen MS 93 fol. 143; Warner. 1996. P. 136–138.

<sup>74</sup> La Château d'Amour. 1918. В середине XIV в. поэма была переведена на английский язык. The Middle English Translations... 1967. Подробнее о популярности оригинального текста и перевода см: Marx C.W. The Devil's Rights and the Redemption in the Literature of Medieval England. P. 74–79; Appendix Four (список манускриптов). P. 160–170.

<sup>75</sup> Grosseteste, Robert, Sermo 44/Dictum 10 // Marx. 1995. App. Three. P. 156–157.

горию четырех дочерей Бога. Неожиданно тюремщик отказывается отпустить человечество на свободу, требуя платы и для себя. Стороны достигают соглашения, по которому выкуп должен выплачиваться в форме страданий и смерти царского сына<sup>76</sup>. И вот, практически нивелировав идею борьбы Христа с дьяволом, Гроссетест неожиданно говорит о мученической смерти «покупателя», как о «выигранной битве»:

Когда он повис на кресте,  
И отдал душу вместе с громким криком.  
Он показал, что был Богом.  
Тогда он внес выкуп за нас.  
Живым телом он несомненно это совершил.  
И этим он выиграл битву<sup>77</sup>.

Конечно, можно предположить, что Гроссетест просто добавил военную метафору к столь же привычным для средневекового общества метафорам торговой сделки. Однако использование метафор в аллегорических произведениях не бывает спонтанным, средневековые авторы, как правило, не нанизывают их хаотично, но стараются разработать один выбранный образ, не внося диссонанс в его развитие. Торговцу надлежит договариваться о сделке и платить, но не сражаться.

Устойчивые аллегории Христа–рыцаря и Христа–возлюбленного, популярные на протяжении всего классического и позднего Средневековья, продолжали быть востребованными и в Новое время. Сохранив все традиционные образы, эта эпоха, как этого и следовало ожидать, породила новые, дав новый виток развития старой теме. В 1635 г. Фрэнсис Куорлс опубликовал ставшую широко известной «Книгу Эмблем», украшенную гравюрами Уильяма Маршала и работами других художников. На одной из этих гравюр Христос снова показан победителем турнира. Однако его противником, полностью признавшим свое поражение и молящим о милосердии в коленопреклоненной позе, на этот раз является душа человеческая. Облаченная в длинные белые одежды женская фигура, символизирующая душу, отбросила оружие (как следует из сопровождающих стихов Куорлса, этим оружием душа сама себе наносила раны), в то время как Христос–победитель продолжает держать в обеих руках по карательному мечу<sup>78</sup>. Ни в стихах, ни на гравюре нет никаких намеков на дьявола – средневекового противника Христа. В Средние века душа, как

<sup>76</sup> La Château d'Amour. 1918, 1079–1126.

<sup>77</sup> Kar kant en la croiz pendi, / A haute voix l'alme rendi. / Lors mustra ke il Deus esteit. / Nostre rançon adonk feseit. / Vivant le cors, fist ço sanz faille, / E ensi venqui la bataille. (Ibid., 1165–1170).

<sup>78</sup> *Quarles*. 1859. P. 112.

правило, играла весьма активную роль в аллегорических взаимоотношениях с Богом, капризно отвергая его любовь или изменяя верному возлюбленному, поддаваясь искушениям. Однако это была весьма ограниченная рамками традиционного общества активность. Если можно так сказать, активность, которую куртуазное общество допускало в отношении представительниц женского пола. Истинный противник доблестного рыцаря – соблазнитель, палач, тюремщик, неизменно превращал слабовольную душу в орудие своей игры. Предложенная Куорлсом аллегория, сохранившая гендерное распределение ролей, полностью возлагает вину за человеческие прегрешения на саму душу, превратив ее в главного врага самой себя и все еще сражающегося за нее влюбленного рыцаря Христа.

Итак, в самом начале работы я декларировала тезис, согласно которому использование военной лексики и метафор обусловлено обыденными реалиями средневековой жизни. Привлекая привычные термины и говоря о понятных отношениях, средневековые проповедники делали сложные теологические идеи более доступными для осознания обывателями. Увлекательные, полные драматизма истории о любви и смерти должны были разжигать воображения, способствуя тем самым усвоению морализаторских наставлений.

Между тем, не стоит забывать о функции замещения, которую выполняет перенос брачно–любовной риторики (и, в определенном смысле, отношений) из обыденной жизни в область религиозного поклонения. Призывая к отказу от земных страстей и плотской любви, упирая при этом, как правило, на вполне мирские негативные последствия (измены, муки деторождения, семейное бремя и пр.), христианские моралисты предлагали взамен любовь идеальную – вечную, сладостную, лишённую переживаний, влекущую за собой лишь дополнительные удовольствия. Поскольку образ идеальной любви невозможен без образа идеального возлюбленного, то, ориентируясь на вкусы и запросы публики, даже весьма далекие от придворной культуры авторы охотно обращались к аллегории влюбленного рыцаря, готового на подвиги и жертвы ради спасения прекрасной дамы.

Схожим образом функцию замещения выполняли и военные метафоры, в частности, представление искупления не как жертвы, но как безусловной победы, снимая диссонанс, который, возможно, порождал в сознании средневекового человека образ слабого Бога. Бог не просто подчиняется гармонии созданного им самим порядка (если закон нарушен, его надо восстановить, заплатив «штраф» за нарушение), но берет то, что хочет (возлюбленную душу/человечество) силой, выходя из схватки с соперником полным триумфатором.

Отвечая на поставленный в начале работы вопрос об аудитории, для которой предназначались любовные и военные аллегории и метафоры, можно лишь с некоторой натяжкой сделать вывод об их универсальности. Образ Христа как пылкого возлюбленного, верного супруга и доблестного рыцаря, встречается не только в ориентированных на мирян проповедях или же трактатах, написанных в помощь проповедникам (т.е., в конечном счете, также нацеленных на светских лиц), изящных поэмах, способных увлечь благовоспитанных дам, народных песнях и городских мистериях, но также в сочинениях, предназначенных для духовного сословия. Разумеется, наставляющие монахинь тексты не могут быть показательными, поскольку с Божьими невестами теологи разговаривали на том же языке, что и с мирянами (показательно, что оба цитируемых трактата этого типа – «Наставление анахореткам» и «Святая девственность» были написаны по-английски). Однако составленные на латинском языке с соблюдением всех канонов и риторических приемов проповеди были явно нацелены на сведущую, посвященную публику. Между тем, нельзя не отметить очевидное доминирование текстов, ориентированных на светских лиц (самого разного статуса и пола); именно для разговора с ними использовались знакомые и понятные любовные и военные метафоры.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Ориген*. Две беседы на книгу Песнь песней с предисловием блаж. Иеронима / Творения блаженнаго Иеронима Стридонскаго. Часть 6. Киевъ, 1905. С. 138–154.
- Abelard P.* Commentaria in epistulam Pauli ad Romanos. CCCM. Vol. 11 / Ed. by E.M. Buytaert. Turnhout, 1969.
- Ancrene Wisse*. Parts Six and Seven/ Ed. by G. Shepherd. L.; Edinburgh, 1959.
- Auctores Octo*. Lyon: Jehan de Vingle, 1495.
- Augustinus Hipponensis*. Enarratio in Psalmum xlv // Patrologiae cursus completus. Seria Latina / Ed. J. P. Migne. (Далее – PL). Т. XXXVI. P., 1845. Col. 493–514.
- Augustinus Hipponensis*. Tractatus VIII. Ab eo Evangelii loco, Et die tertia nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae // PL. Т. XXXV. P., 1845. Col. 1451–1458.
- Aulen G.* Christus Victor: An Historical Study of the three main Types of the Idea of the Atonement / Trans. by A.G. Hebert. L., 1931.
- D'Avray D.* Medieval Marriage: Symbolism and Society. Oxford, 2005.
- Barry F.R.* The Atonement. L., 1968.
- Bromyard, John*. Summa Praedicatorum. Passio. 2 vols. Venice, 1586.
- Brady M.T.* The Pore Caitif // Traditio. 1954. Vol. X. P. 529–548.
- Brinton, Thomas*, Bishop of Rochester (1373–1389). The Sermons / Ed. by M.A. Devlin. Camden Society, 3rd series. Vol. 85–86. L., 1954.
- Brown C.* Religious Lyrics of the Fourteenth Century. Oxford, 1924, rep. 1952.
- Butler C.* Western Mysticism: The Teaching of Augustine, Gregory and Bernard on Contemplation and the Contemplative Life. 3<sup>rd</sup> edn. L., 1967.

- Le Château d'Amour de Robert Grosseteste, évêque de Lincoln / Éd. J. Murray. P., 1918.  
The Court of Sapience / Ed. By E. R. Harwey. Toronto Medieval Text and Translations.  
Toronto; L., 1984.
- Dunbar, William.* "On the Resurrection of Christ" // A Treasury of Middle English Verse /  
Ed. by M.A. Adamson. Toronto; L., 1930.
- Dives and Pauper / Ed. by P.H. Barnum. Early English Text Society. 2 vols. Oxford, 1976,  
1980, 2004.
- Early English Lyrics: Amorous, Divine, Moral and Trivial /Ed. By E.K. Chambers and F.  
Sidgwick. L., 1907, 1911 et seq.
- The Early English Versions of the Gesta Romanorum / Ed. by S.J.H. Herrtage, EETS, L.,  
1879.
- Emden A.B.* A Biographical Register of the University of Oxford to A.D. 1500. 3 vols.  
Oxford, 1957–1959.
- Esopus moralizatus cum bono comment. Cologne: Heinrich Quentell, 1489.
- Fasciculus morum: a fourteenthcentury preacher's handbook / Ed. by S. Wenzel. Universi-  
ty Park –L., 1989.
- Fry T.* The Unity of the Ludus Coventriae // Studies in Philology. 1951. Vol. 48. P. 527–570.  
Gesta Romanorum / Hrsg. von H. Österley. Berlin, 1872, repr. Hildesheim, 1963.
- Gerleman G. R.* Das Hohelied. Biblischer Kommentar, Altes Testament. Neukirchen-  
Vluyn, 1965.
- Hali Meidenhad. An Alliterative Homily of the Thirteenth Century / Ed. by O. Cockayne.  
EETS. L., 1866.
- Happold F.C.* Mysticism. Harmondsworth, 1963.
- Herbert McAvoy L.* Authority and The Female Body in the Writings of Julian of Norwich  
and Margery Kempe. Cambridge, 2004.
- Histoire Litteraire de France / Éd. B. Haureau. T. XXVII. P., 1877.
- Robert Holcot.* Moralitates. Basel, 1586.
- Isaac de L'Étoile.* Sermons / Éd. A. Hoste. T. III. P., 1987.
- Kristeller P.O.* Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued  
humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, 7 vols, L.;  
Leiden, 1963-1997.
- Langland, William.* Piers Plowman: a parallel text edition of the A, B, C and Z versions /  
Ed. by A.V.C. Schmidt. 2 vols. L., 1995–2008.
- Leivestad R.* Christ the Conqueror: Ideas of Conflict and Victory in the New Testament.  
L., 1954.
- Le May, M.* The Allegory of the Christ-knight in English literature. Thesis (Ph. D.) Catho-  
lic University of America, 1933.
- The Liturgical Year: Paschal Time / Ed. P.L.P. Guéranger, vol I. Dublin, 1871.
- Ludus Coventriae cycle: A collection of mysteries, formerly represented at Coventry on  
the feast of Corpus Christi / Ed. by J.O. Halliwell. L., 1841.
- Marx C.W.* The Devil's Rights and the Redemption in the Literature of Medieval England.  
Cambridge, 1995.
- Matter, E.A.* The Voice of my Beloved: The Song of Songs in Western Medieval Christi-  
anity. Philadelphia, 1990.
- McDonald H.D.* The Atonement of the Death of Christ in Faith, Revelation, and History.  
Grand Rapids, Michigan, 1985.

- Meditations on the Life of Christ: An Illustrated Manuscript of the Fourteenth Century / Trans I. Ragusa. Ed. I. Ragusa and R. Green. Princeton, 1961.
- Middle English Sermons: Ed. from British Museum MS Royal 18 B. XXIII / Ed. by W.O Ross. L., 1940.
- The Middle English Translations of Robert Grosseteste's 'Château d'Amour' / ed. Kari Sajavaara // Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, 32. Helsinki, 1967.
- Morgan B.* On Becoming God: Late Medieval Mysticism and The Modern Western self. N.Y., 2013.
- Mozley J.K.* The Doctrine of the Atonement. L., 1915.
- Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques / Éd. B. Haureau. T. XXXII, pt. 2. P., 1888.
- Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux et autres pièces inédites des XIIIe, XIVe et XVe siècles, pour faire suite aux collections de Legrand d'Aussy, Barbazan et Méon, mis au jour pour la première fois d'après les manuscrits de la bibliothèque du roi, éd. A. Jubanal. P., 1839–1842; Genève, 1975 (rep.). 2 vols.
- Old English Homilies and Homiletic Treatises / Ed. R. Morris. EETS, L., 1868.
- An Old English Miscellany / Ed. R. Morris. EETS. L., 1872.
- The Oxford Book of English Verse / Ed. by D.H.S. Nicholson and A.H.E. Lee, Oxford, 1917.
- Quarles, Francis.* Emblems, Divine and Moral. L., 1859.
- Petroff E.* Body and Soul: Essays on Medieval Women and Mysticism. N.Y.; Oxford, 1994.
- Rashdall H.* The Idea of Atonement in Christian Theology. L., 1919.
- Riehle. W.* The Middle English Mystics. L., 1981.
- The Southern Passion / Ed. by B.D. Brown. EETS. L., 1927.
- The Towneley plays / Ed. by M. Stevens and A. C. Cawley. 2 vols, EETS. Oxford, 1994.
- Traver H.* The Four Daughters of God: A Mirror of Changing Doctrine // Publication of the Modern Language of America. Vol. 40 (1925). P. 44–92.
- Tubach F.C.* Index Exemplorum: A Handbook of Medieval Religious Tales. Helsinki, 1969.
- Turner H.E.W.* The Patristic Doctrine of Redemption: a study of the development of doctrine during the first five centuries. L.; N.Y., 1952.
- Vox mystica: Essays on Medieval Mysticism in Honor of Prof. Valerie M. Lagorio / Ed. by A.C. Bartlett, Cambridge, 1995.
- Warner L.* Jesus the Jousting Knight: The Christ–Knight and Medieval Theories of Atonement in “Piers Plowman” and the “Round Tables” Sermons // Yearbook of Langland Studies 10 (1996). P. 129–143
- Wenzel S.* Preaching in the Age of Chaucer. Washington, D.C.: Catholic University of America Press; L., 2008.
- Wenzel S.* Preachers, Poets, and the Early English Lyric. Princeton, 1986.
- Wilson E.* A Descriptive Index of the English Lyrics in John of Grimestone's Preaching Book. Oxford, 1973.
- Wheatley Ed.* A Selfless Ploughman and the Christ / Piers Conjunction in Langland's Piers Plowman // Notes and Queries, June 1993. P. 135–142.
- Woolf R.* Art and Doctrine: Essays on Medieval Literature. L., 1986.

**Калмыкова Елена Викторовна** – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков МГУ им. М.В. Ломоносова; [ekalm@mail.ru](mailto:ekalm@mail.ru)

*И. А. КРАСНОВА*

## **ВОСПРИЯТИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕ ФЛОРЕНЦИИ XIV–XV вв. РЕАЛЬНОСТЬ И ИДЕАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

---

В статье прослеживается эволюция представлений о должности иноземного правителя от образа главной властной структуры в коммуне Флоренции до функционера, избранного управлять городами, крепостями, приходами в контадо; предпринимается попытка воспроизведения культурной рефлексии о подеста в хрониках, новеллах, биографиях, семейных книгах.

**Ключевые слова:** *подеста, Флорентийская коммуна, территориальное государство, управление контадо, образ власти, идеал правителя.*

---

С начала XIII в. должность выборного чужеземного исполнителя – Подеста – приобретала особую значимость в итальянских городах-коммунах по мере усложнения стратификации городского общества и его дифференциации по партийному признаку. Осознанию роли и исследованию властных полномочий иноземных правителей в Италии был посвящен масштабный проект Французской школы в Риме «Подеста коммунальной Италии», который охватил период с конца XII до середины XIV в. и завершился фундаментальным двухтомным изданием<sup>1</sup>. Правление чужеземных администраторов в нем рассматривалось, прежде всего, с институциональной точки зрения: механизмы и критерии избрания иноземных правителей, область властных прерогатив, структура аппарата подеста<sup>2</sup>.

В статье внимание обращено на менее исследованный социально-ментальный контекст и культурные рефлексии представителей городского социума, связанные с должностью иноземного правителя и теми трансформациями, которые она претерпевала со второй половины XIV в.

В XIII – первой половине XIV в. подеста в большей степени ассоциировался с чужеземным правителем, избираемым во Флоренцию сроком на один год, затем (с 1290 г.) на один семестр. Он воспринимался в качестве носителя высшей исполнительной власти. О значимости фигуры подеста свидетельствовало распространение двух культурных прак-

---

<sup>1</sup> I podestà, 2000; *Селунская*. 2003. С. 61–63. Н.А. Селунская, предлагая авторскую периодизацию истории итальянских коммун, выделяет первую половину XIII в. как особый этап правления подеста.

<sup>2</sup> Zorzi. 2000. С. 454.



тик. Первая была связана с тем, что требовалось решение главной проблемы, вызванной отсутствием публичных документов и адекватных нормативно-законодательных установлений – культурной адаптации должности чужеземного ректора, отливки его статуса в соответствующие нравственно-этические и ритуально-символические формы, выражающие конструктивное соотношение между единоличной властью и формирующимся коммунальным законодательством, в рамках которого подеста был обязан действовать. Ответом на этот запрос стал особый род политико-дидактических трактатов, условно названных современными исследователями «учебниками подеста»<sup>3</sup>. Они представляли подробные инструкции для избранного на пост чужеземного ректора, фиксирующие порядок избраний и реквизиты, которыми он должен был обладать. В качестве архетипа приводят трактат «*Liber de regimine civitatum*» (ок. 1240 г.), приписываемый Джованни да Витербо и размноженный во многих компиляциях<sup>4</sup>. В качестве обязательных качеств подеста указывались знатность и могущество персоны, добрая репутация, опытность в управлении городами, поэтому минимальный возраст избрания определялся в 25, затем – в 30 лет<sup>5</sup>. Во Флоренции сокращенной и систематизированной компиляцией инструкции Джованни да Витербо стала девятая книга сочинения флорентийского нотариуса Брунетто Латини «Сокровище», озаглавленная «Об управлении городами» (*Dou government des cites*)<sup>6</sup>.

Сфера властных функций подеста до первой четверти XIV в. отличалась широтой и неопределенностью: он представлял коммунальную автономию города, являлся высшим судебным арбитром над партиями, политическими фракциями и отдельными родами-консортериями, стре-

---

<sup>3</sup> Условное название для указанного жанра, данное современными исследователями (*Sapegno*. 1982. P. 951–952).

<sup>4</sup> Giovanni da Viterbo. 1901. P. 215–280. Глава называлась «*Qualis rector querendus sit civitati et eligendus in potestatem*». Об атрибуции «Книги» см.: *Sestan*. 1989. P. 62. Nota 17. Трактат, видимо, был составлен во Флоренции, когда автор выполнял обязанности одного из судей в сопровождении подеста. Автор приводит образцы эпистол с приглашениями на должность, ответов на них, формулы клятв, перечислял пороки и доблести правителя, обозначал наиболее важные задачи, основываясь на аргументации Цицерона, Юстиниана, Сенеки, а также средневековых текстов, особенно на трактате Иннокентия III «О презрении к миру».

<sup>5</sup> См.: *Artifoni*. 1986. P. 470. Большую роль играл фактор происхождения ректора из союзного города гвельфско-анжуйской ориентации. См.: *Zorzi*. 2000. P. 572.

<sup>6</sup> *Latini*. 1948. Брунетто Латини, нотариус, ритор и философ, написал «Сокровище» между 1262 и 1264 гг., находясь в добровольном изгнании во Франции, чем объясняется тот факт, что трактат был составлен на французском языке. См. о нем: *Villani F.* 1826. P. 30. Подробнее о подеста в 9-й главе труда Брунетто Латини см.: *Краснова*. 2011. С. 290–292.

мощимися утвердить свой авторитет и преобладать в управленческих структурах, осуществляя функцию политической координации действий правительства. Подеста командовали войсками, председательствовали на коммунальных Советах, исполняли судебные и полицейские полномочия, наблюдали за общественными работами<sup>7</sup>.

Трансформация власти чужеземных правителей происходила в процессе формирования структур (1282), составивших автономное пополанское правительство Флоренции. Управленческая стратегия пополанских режимов была направлена на ослабление централизации власти в руках иноземных должностных лиц посредством разветвления полномочий и прав юрисдикции среди многих лиц, обладающих специфическими компетенциями: с 1250 г. появился Капитан народа, как защитник интересов пополанских слоев, затем, с 1307 г. – Экзекутор справедливости, контролирующий строгое соблюдение Установлений справедливости; военные функции передавались специально избираемым капитанам войны<sup>8</sup>. Коммунальное законодательство 1323–1325 гг. четко очертило и тем самым редуцировало круг обязанностей, сводя его почти исключительно к гражданской юстиции и поддержанию общественного порядка. Ревизия коммунальных статут в 1415 г., окончательно конкретизировала и сузила сферу функций подеста<sup>9</sup>. Так по мере усиления Приората во главе с Гонфалоньером справедливости иноземные ректоры утрачивали значение центров равновесия всей политической системы коммуны и роль беспристрастных посредников в социальных конфликтах.

В практике раннего историописания, начиная с XIII в., установка коллективного сознания, фиксирующая образ чужеземного ректора, как главного властного лица в городе, выражалась в разметке текущего времени периодами правления в городе того или иного подеста<sup>10</sup>. Со второй половины XIV в., когда функции главной власти перешли к выборной Синьории как основному коммунальному правительству, авторы хроник и дневников маркировали временные отрезки не именами подеста, но списками очередного состава приората во главе с Гонфалоньером справедливости, которые в их глазах воплощали главных носителей власти<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> *Artifoni*. 1986. P. 467–468.

<sup>8</sup> *Zorzi*. 2000. P. 456, 459–460, 574.

<sup>9</sup> *Zorzi*. 1988. P. 485–486.

<sup>10</sup> *Виллани*. 1997. V. 22. С. 122; 26. С. 123; 30–31. С. 125; Виллани, начиная с 1207 г., именно подеста указывал как основных носителей власти в городе, как и Доменико Ленци (*Lenzi*. 1978. P. 174, 179, 185, 195, 219, 232, 255).

<sup>11</sup> *Stefani*. 1903–1913. Rubr. 157, 68, 693, 724. Маркьонне ди Коппо Стефани в «Хронике», составленной, во второй половине 70-х – начале 80-х гг. XIV в., начи-

Во второй половине XIII – первой половине XIV в. флорентийские граждане в свою очередь исполняли функции подеста, капитанов народа и других иноземных должностных лиц в городах, находящихся за пределами Флоренции. Исследуя фигуры флорентийских граждан, которых призывали исполнять должности в крупные и значимые центры Тосканы, а также в города за ее пределами, Серджо Раведжи сконструировал своего рода их коллективный портрет. Прежде всего, они являлись представителями нобилитета, ибо по традиции Подеста должен был обязательно происходить из знатного и древнего рода, члены которого уже ангажировались на этот пост и достойно себя зарекомендовали. Фамилии Росси<sup>12</sup>, Адимари, Буондельмонти, Капонсакки, Уберти, Гвиди, Сколари, Торнаквинчи, Делла Тоза, Донати – представители феодальной по происхождению, но урбанизированной знати, а также выходцы из возвысившихся в конце XIII в. купеческих родов, постоянно встречались в листах назначений в престижные для флорентийских ректоров центры – Геную, Болонью, Падую, Брешию, Феррару, Парму, Бергамо, Перуджу, Орвьето, Кремону, Губбио<sup>13</sup>. Выбор Подеста той или иной коммуной в значительной степени определялся знатностью, древностью и славой рода. Призываемые на пост должны были являться рыцарями, имеющими военный опыт и способными предводительствовать городским ополчением.

В хрониках, мемуарах, новеллах сложился миф о великодушном, справедливом и щедром правителе, персонифицируемый в образе флорентийского рыцаря Манно Донати. Историк Джованни Кавальканти прославлял «выдающегося рыцаря Манно Донати», как образец бескорыстия и чести за его непоколебимую верность синьору Падуи<sup>14</sup>. Кавальканти утверждал, что даже на своей гробнице в Падуе Манно был

---

ная с 1282 г., помещал довольно точные списки избираемого раз в два месяца состава приората, тогда как более ранние хронисты не приводили их вообще. Эту практику организации материала хроник использовали и последующие хронисты до конца первой трети XV века.

<sup>12</sup> *Raveggi*. 2000. P. 623. Именно Росси из сестеры Ольтарно за 100 лет имели в активе 109 избраний.

<sup>13</sup> *Виллани*. 1997. IV. 10–13. С. 85–87. С. Раведжи утверждал, что иноземные ректоры рекрутировались из представителей консульской знати и городского патрициата в XIII в. (*Raveggi*. 2000. P. 599, 613.).

<sup>14</sup> *Cavalcanti*. 1973. P. 210–211. Синьор Падуи поручил ему воевать за веронских Делла Скала, своих союзников. Мастино делла Скала, «будучи господином сознательным и благодарным», захотел презентовать мессеру Манно сумку, набитую флоринами. «Наш рыцарь поблагодарил его словами, полными признательности, и сказал: “Синьор, я не хочу задеть твою честь, хотя меня поражает, что ты пытаешься поступить... против величия и достоинства моего синьора, который в состоянии заплатить мне сполна без твоих денег”».

изображен с лопнувшим мешком под ногами, откуда с каждой стороны высыпались золотые флорины<sup>15</sup>. Подобный образец верного и бескорыстного служения, навеянный ностальгией о рыцарских ценностях, содержала биография, которую Лоренцо Строцци посвятил своему родственнику Нанни Строцци<sup>16</sup>.

Для нескольких десятков флорентийских нобилей карьера подеста до середины XIV в. позволяла добиться значительного политического престижа, открывала путь к доходам относительно высоким, но несравнимым с прибылями купца и банкира, давала возможность создать сеть социальных связей высокого уровня, полезных и для коммуны Флоренции. В глазах сограждан профессиональный ректор, часто избираемый за пределами города, пользовался авторитетом и мог действовать в пользу своего отечества<sup>17</sup>. Ситуация с восприятием образа чужеземного правителя начала меняться во второй половине XIV в. под воздействием двух объективных процессов. Во-первых, по мере усиления коммунальных структур власти, наблюдалось медленное, но неуклонное падение статуса чужеземных должностных лиц, по-прежнему призываемых в город. Во-вторых, шел постепенный процесс превращения города-коммуны в территориальное государство: расширялась площадь флорентийского доминиона в ходе интенсивной экспансии Флоренции в города, крепости и приходы контадо, включения в орбиту своего влияния новых тосканских земель<sup>18</sup>. Особенно плодотворным для республики стал сорокалетний период с момента овладения Ареццо (1384) до покорения Ливорно (1421): в этом промежутке коммуна фактически подчинила своей юрисдикции Сиену (1386), за 1,5 млн. золотых флоринов купила Пизу вместе с Порто Пизано (1406), приобретя конфигурацию, почти целиком сохранившуюся до середины XVI в. Территориальное приращение (только присоединенная территория Пизы вместе с контадо составила ¼ часть земель флорентийского доминиона) обострило проблему управления новыми землями: замещения нескольких десятков должностей сразу, подавления мятежей, трансформации традиций коммунальной автоно-

---

<sup>15</sup> *Cavalcanti*. 1973. P. 211. Манно Донати был гранд, сделавший блестящую военную карьеру и обладающий высоким общественным статусом согласно хронике Маттео Виллани (*Villani M.* 1826. VII. 72; XI. 97). Он служил падуанскому синьору Каррара до самой смерти и умер в Падуе. Местные хроники одобрительно отзывались о его деятельности. См. *Brucker*. 1962. P. 156.

<sup>16</sup> *Strozzi*. 1892. P. 53–54.

<sup>17</sup> *Raveggi*. 2000. P. 643: «их политическая активность была ключом, прищипываемая желанием сделаться подобием автократов».

<sup>18</sup> *Luzzatti*. 1986. P. 172–173.

мии, живучих в сознании населения покоренных земель, видевших во флорентийских правителях своих поработителей<sup>19</sup>. Маленькие города, замки и сельские приходы в расширяющемся контадо Флоренции полностью подчинялись флорентийским властям, что обозначалось в официальных документах эвфемизмом «покровительство» (*custodia*).

Под давлением указанных процессов происходила смена образов власти главного чужеземного ректора – Подеста. К стереотипу подеста, который был призван извне, чтобы управлять Флоренцией, сознание флорентийских граждан со второй половины XIV в. обращалось, главным образом, во время социально-политических смут, когда усиливалась нужда в карателе, отправляющем сограждан на плаху. В периоды относительной стабильности фигуры иноземных ректоров, властные функции которых сокращались, не привлекали особого внимания флорентийцев и не появлялись на страницах их хроник, семейных книг, писем. Прежний образ знатного гранда из древнего и славного рода, или же обладающего высокой репутацией купца, которого призывали в другие города, уходил на задний план, уступая место иному действующему лицу.

По мере расширения доминиона подвластные Флоренции крепости, города и приходы лишались права выбирать и призывать чужеземных должностных лиц по своему волеизъявлению. Эти посты распределялись в земли доминиона Флорентийской республикой. Хотя формирующийся олигархический слой граждан удерживал контроль над замещением *estrinseci* – «внешних» постов за пределами городских стен, ситуация требовала более широкого доступа к ним представителей незнатных и не знаковых фамилий, а также членов младших цехов. Эти проблемы затрагивались Лаурой Де Анджелис применительно ко второй половине XIV – первой четверти XV в.: ею рассматривается состав корпуса флорентийских функционеров в контадо, их социально-профессиональные характеристики, связь с правящим слоем формирующегося патрициата, противоречивость их позиции между интересами Флоренции и персональными целями в отношении подчиненных коммун<sup>20</sup>.

В качестве «нового функционера» можно привести Грегорио Дати (1362–1435)<sup>21</sup>, который многого добился в повышении собственного социального-политического и культурного статуса, происходя из незнатной

---

<sup>19</sup> *De Angelis*. 2009. P. 49. Помимо Пизы в первой четверти XV в. в состав Флоренции вошли Кортгона, Сан Сеполькро, Поппи и почти весь Казентино, а включение Арещо и Пизы позволило снизить налоговое бремя в самой Флоренции, перенеся его частично на население подчиненных городов.

<sup>20</sup> *De Angelis*. 2009. С. 49.

<sup>21</sup> См.: *Краснова*. 2007. С. 524–525.

семьи мелких торговцев рыбой. Ему только один раз в жизни довелось находиться на высшем посту гонфалоньера справедливости во Флоренции (1429). Но он постоянно избирался, помимо мелких постов в городе, на должности в контадо: Дати служил инспектором по сбору габеллы в Пизе, являлся одним из пяти смотрителей контадо, был подеста в Париджи Корбинелли и Монтале<sup>22</sup>. У французского историка А. Монти имелись основания характеризовать его «как посредственного политика, не достигшего в государственной деятельности карьеры сколько-нибудь серьезного масштаба»<sup>23</sup>. Но и выдающийся гражданин Флоренции Якопо Сальвиати<sup>24</sup>, блестящий дипломат и военный, чаще подвизался на должностях за пределами коммуны, чем на высших постах в самой Флоренции. Он был одним из Капитанов над войсками республики при осаде Пизы (1405); подеста в Монтепульчано (1400), викарием в Вальдиниеволе (1401), в Ангиари (1402), капитаном народа в Пистойе (1406), в Альпийской Фиренцуоле (1407), в Арещо (1409, 1410); капитаном цитадели Пизы (1411). Этот перечень, как и получение почестей и высоких оценок от Коммуны и граждан, свидетельствует об испытанных качествах администратора. Якопо Сальвиати даже умер, находясь на посту комиссара в Пьомбино (1412)<sup>25</sup>. Можно предположить, что «внешние» должности становились неотъемлемой частью всякой почетной политической карьеры, чередуясь с постами внутри коммуны. Такая ситуация объяснялась, помимо острой нужды в должностных лицах для контадо, и тем, что «младшие посты» в меньшей степени подвергались ограничениям – «запретам» (*divieti*), нежели высшие должности<sup>26</sup>.

Граждане часто высказывали отрицательно по поводу своего избрания на внешние посты в контадо. Упомянутый Грегорио Дати восторгался своим вступлением на «старшие» должности во Флоренции. Например, по поводу избрания его приором он писал: «Теперь я мог гарантировать других, я был удовлетворен каждым соглашением и до-

---

<sup>22</sup> *Dati*. 1869. P. 79, 94–95, 97–98.

<sup>23</sup> *Monti*. 1983. P. 751.

<sup>24</sup> *Hurubis*. 1985. P. 23–27. Род Сальвиати составители его генеалогий в XV–XVI вв. относили к знатному фьезоланскому дому гибеллинов Капонсакки. Эрудиты XVII–XVIII вв. считали эту версию легендой, предположив, что основателем фамилии был некто Готтфредо (судя по имени – ломбардец или саксонец), появившийся в городе во второй половине XII века.

<sup>25</sup> *Ibid.* 1985. P. 40–41.

<sup>26</sup> *Gualtieri*. 2009. С. 186–188. «Запреты» – своего рода «мораторий» для лица, занимавшего один из высших постов, прежде чем вновь оказаться избранным на такую же должность или равнозначную ей по масштабу. «Запрет» на высшие городские должности составлял до 5 лет, на низшие посты в контадо – не превышал 6 месяцев.

говором, и мне кажется, что я заслужил большую благодарность»<sup>27</sup>. Но о своем назначении на пост подеста в Корбинелли, он высказался так: «Должность эта оказалась слишком хлопотной. И хотя я имел большие заслуги перед Господом, сделав много добрых дел для бедных крестьян, после ее исполнения, я испытывал ненависть к миру»<sup>28</sup>. Второе избрание на должность подеста в Монтале было принято лишь потому, что надо было выезжать из города вместе с семьей из-за очередной вспышки чумы<sup>29</sup>. Когда Бонакcorso ди Нери Питти (1354–1430) в 1413 г. избрали подеста в приход Санто Стефано, он «мечтал... отказаться от этой должности» и подал соответствующее прошение в Синьорию, поскольку его шансы на избрание гонфалоньером справедливости в то время были очень высоки. Его петицию отклонили: «И пришлось мне отправиться в эту подестерию, где я провел время в болезнях и неприятностях». Но Питти удалось уклониться от должности подеста в Ливорно «из-за свирепствующей там чумы», и наличия привилегии, освобождающей от 25 флоринов штрафа за отказ от поста<sup>30</sup>.

Недовольство службой в контадо выражал и Джованни Морелли, охваченный глубокой рефлексией из-за того, что он сам и члены его семьи, не оцененные по заслугам, занимали в коммуне не те посты, которых были достойны. Он с горечью писал о мытарствах своего деда Бартоломео Морелли, сын которого «совсем не видел отца в детстве», потому что коммуна постоянно посылала Бартоломео служить в контадо. Будучи бальи в Муджелло, Бартоломео Морелли «имел большие неприятности от некоей необычной женщины, такой здоровой, грубой и жестокой, каких нигде никому не доводилось видеть. Она набросилась на Бартоломео с побоями, а он пришел в такую ярость, что схватил ее руками так, что причинил ей смерть». В этом месте у автора прорвалась затаенная обида: «Бартоломео был достоин большего, поскольку всегда отличался целеустремленностью, и даже находясь среди грандов и послов, сумел бы добиться почета для себя и своих детей. Вот почему... дед, войдя в возраст, не желал больше озабочивать себя участием в управлении и из-за соображений экономии, и из-за случаев, подобных вышеописанному»<sup>31</sup>. Стремление Джованни подчеркнуть, что предки вынуждены были отказаться от публичной деятельности, не желая об-

---

<sup>27</sup> *Dati*. 1869. P. 71–72.

<sup>28</sup> *Ibid.* P. 94.

<sup>29</sup> *Ibid.* P. 106–108.

<sup>30</sup> *Pummu*. 1972. С. 139–140; 176.

<sup>31</sup> *Morelli*. 1956. 40b. P. 144. Лицо при исполнении служебных обязанностей во Флоренции пользовалось статусом неприкосновенности.

ременять себя второстепенными должностями, докучливыми, малооплачиваемыми и не прибавляющими особого авторитета в обществе, могло быть мотивировано его собственной отстраненностью от участия в политической жизни после 1393 г., когда фамилии Морелли пришлось испытать негативное влияние тесных связей с опальным родом Альберти. Итак, можно заключить, что часто младшие должности оценивались негативно, причем не только лицами, переживающими политический упадок, но и вполне успешными гражданами.

Насколько правомерен будет такой вывод? Действительно, жалование, предусмотренное для исполнения функций управления в подвластных местах доминиона, было невелико. Подеста, обязанный содержать лошадь и одного булавоносца, получал в XIV в. всего лишь 200 лир в семестр<sup>32</sup>. Исследования Л. Де Анджелис показывают, что со второй половины XIV в., по мере возрастания важности «внешних» постов для республики, усиливается их дифференциация, включая и размеры жалованья из коммунальной казны<sup>33</sup>. Этим средств хватало для удовлетворения насущных потребностей ректора и его свиты за время исполнения обязанностей, но они не компенсировали убытков, которые нес горожанин, длительный срок оставляющий торгово-банковские дела и боттеги. Отсюда возник мотив «соображений экономии», вплетающийся в сетования Джованни Морелли. Само исполнение должности в течение шести месяцев требовало дополнительных расходов: избранные были обязаны предоставить в казну коммуны денежный залог, обеспеченный определенным числом поручителей, за свой счет приобрести оружие, упряжь, снаряжение, обеспечить полугодовое обитание в чужом месте запасом продовольствия, собственной мебелью и предметами домашнего обихода, оплатив транспортные расходы на их перевозку<sup>34</sup>. Администратор в дистретто своего города не получал в вознаграждение земельных владений, особых прав, льгот и привилегий, доли военной добычи, которые ранее часто предоставлялись в награду за доблестную службу подеста и капитанам в крупных городах за пределами Флоренции и Тосканы.

---

<sup>32</sup> Raveggi. 2000. P. 605.

<sup>33</sup> De Angelis. 2009. P. 53–54. Например, капитан охраны Пистойи – должность, считающаяся «подестерией первой степени» – в 1424 г. получал в семестр зарплату для себя и всей своей фамилии в 3000 лир, из них платя судье-юриконсульту, нотарию-компаньону, еще двум нотариам, четырем оруженосцам, двум трубачам, 25-ти булавоносцам и обеспечивая содержание шести лошадей. Но подеста Капрезе (подестерия 3-й степени) получал за шесть месяцев 400 лир с фамилией, состоящей из одного нотариуса, трех сопровождающих и одной лошади.

<sup>34</sup> De Angelis. P. 54.



Посты в контадо не всегда способствовали приобретению символического капитала. В XIII – первой четверти XIV в. наблюдался постоянный рост числа лиц свиты, которую подеста должны были приводить с собой<sup>35</sup>. Горожанин, избранный куда-нибудь в селение контадо, часто довольствовался одним судьей и одним булавоносцем. Но и с подобной свитой могли возникнуть большие затруднения из-за отсутствия материальных стимулов. Донато Веллутти описал ситуацию, относящуюся к 1338 или 1339 г., когда один из троюродных братьев его отца «должен был пойти ректором в Колле и взять с собой одного судью, но «никого из судей он не смог заполучить»<sup>36</sup>. Очевидно, практикующие во Флоренции судьи и нотариусы не очень хотели занять на полгода непрестижную должность за ничтожное жалованье, которое мог бы им выделить ректор Колле из 200-400 лир платы за должность. Донато Веллутти в это время находился дома, готовясь к экзамену по курсу гражданского права, поскольку Болонский университет, где он учился, был закрыт в связи с папским интердиктом 1338 г. Он вспоминал: «Пьеро Веллутти... настойчиво меня упрасивал, чтобы я послужил ему хотя бы 15 дней или месяц, дабы он мог найти судью, пока я исполняю службу»<sup>37</sup>. Как видно, избранному на пост ректора в маленькое селение пришлось, за неимением более квалифицированного судьи, «упрашивать» своего родственника, не получившего степени лиценциата и не являющегося членом цеха судей и нотариусов. Донато объяснял свое согласие возможностью прохождения судебной практики, не упоминая о жаловании, но констатируя несомненную пользу от службы судьей в Колле, которая «не была слишком обременительной, и поэтому я мог учиться», а также «многим тамошним нотариусам, хорошо понимающим, я читал Статут (“Институции” Юстиниана)». Он так хорошо зарекомендовал себя, что через месяц после возвращения был принят в корпорацию судей и нотариусов во Флоренции<sup>38</sup>. Эпизоды, когда не находилось желающих составить «фамилию» ректоров в земли контадо, а избранные на посты подеста и капитанов один за другим отказывались от должности, невзирая

---

<sup>35</sup> Zorzi. 2000. P. 465–466. Дзорци приводил динамику роста свиты ректора во Флоренции: трое судей, два рыцаря и четыре нотариуса следовали за миланцем Рубаконте в 1237 и в 1238 гг. Но флорентийские Статуты 1325 г. предусматривали, чтобы за подеста следовали 11 судей (трое из них – доктора), 30 нотариусов, три кавалера, 12 оруженосцев, 60 булавоносцев и 18 лошадей. В 1344 г. его должны были сопровождать уже 33 нотариуса. Возрастание продолжалось непрерывно, в реальности удвоив число лиц свиты подеста менее чем за 50 лет.

<sup>36</sup> Velluti. 1914. P. 158.

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> Ibid. P. 159.

на угрозу высокого штрафа, Раведжи иронически определил как «синдром Монтеветтолини», когда в 1340 г. отказались от подестерии над этой маленькой крепостью один за другим семь человек<sup>39</sup>.

Положение часто не спасали даже рыцарские шпоры, которые комуна жаловала многим из тех, кого отправляла на официальные должности в контадо. Эрудит XVI века Винченцо Боргини указывал, что в этих случаях производили в рыцарское достоинство «для придания веса именам и полномочиям тех, кого делали Судьями и Кавалерами», о чем «так чувствительно сожалел Франко Саккетти в одной из своих новелл»<sup>40</sup>. Саккетти, составившего сборник новелл около 1392 г.<sup>41</sup>, занимал сюжет о девальвации самих понятий знатность и рыцарская честь, апробированный в различных новеллах о «народных рыцарях», в качестве которых часто фигурировали подеста и коменданты: некий ремесленник-башмачник, который «ввиду своего намерения сделаться кастеляном (комендантом)», тотчас отправился в мастерскую самого Джотто, чтобы заказать рыцарский герб; бедный нобиль, «благородный только по общераспространенному неправильному словоупотреблению», который промышлял бродяжничеством и воровством в округе Флоренции. Рефлексия о подлинной знатности и рыцарской чести выражалась Саккетти непосредственно: «Во Флоренции к стыду и позору дворянского звания, которое, как я вижу, низводится до конюшни и свинарника... какой-нибудь судья, чтобы стать Подеста, превращается в дворянина... бывает и хуже, когда нотариусы становятся дворянами... и пенал превращается в золотые ножны... О, несчастное рыцарство, ты пошло ко дну!»<sup>42</sup>.

Итак, должности ректоров в контадо вряд ли можно считать высокооплачиваемыми, не все посты являлись престижными и могли бы спо-

---

<sup>39</sup> *Raveggi*. 2000. P. 606.

<sup>40</sup> *Borghini*. 1974. Note 24–26. P. 57–59.

<sup>41</sup> *Саккетти*. 1962. О новеллах Саккетти как ценном источнике упоминала современная исследовательница И. Гальярди, черпая из них аргументы при изучении символов и коннотаций рыцарских ритуалов и церемоний (*Gagliardi*. 2009. P. 173). Франко Кардини отмечал две рыцарских парадигмы в коммунальном обществе: с одной стороны, «старые магнаты», носители идеала «аристократического кавалера». С другой – рыцари из «новых богачей», «парвеню» с деньгами и властью, для которых афиширование рыцарского достоинства было «выражением... защиты привилегий, дающих доступ к власти...» (*Cardini*. 2005. P. 522–525).

<sup>42</sup> *Саккетти*. 1962. Нов. 153, 63, 64. 150. В 64-й новелле появляется образ суконщика Аньолю ди сер Герардо, которого собственная жена называет «беспутным стариком» за его желание участвовать в турнире. В 150-й некий рыцарь из рода Барди, «очень маленького роста... не только не обращавшийся к оружию, но и не ездивший верхом», будучи подеста в Падуе, заказал наשלменник с медведем, но оценивал рыцарскую честь в золотых флоринах.

способствовать достижению высокой репутации в обществе. Подеста, капитаны и коменданты крепостей имели четко определенный коммунальными статутами круг обязанностей, сводимых к повседневной рутине: поддержка общественного порядка, исполнение судебных полномочий по гражданским и мелким уголовным делам (преступников более крупного масштаба следовало отправлять для суда во Флоренцию), председательство в советах локальных коммун. При этом они должны были строго следовать предписаниям Синьории, не считавшейся с традициями, обычаями и законами подчиненных городов. Служба в контадо могла доставить значительные трудности, если подестерии располагались у границ государства, и управлять приходилось в состоянии постоянных военных мобилизаций и пограничных споров, выливавшихся в вооруженные конфликты<sup>43</sup>, не говоря о том, что ситуация резко обострялась в периоды войн. Территория контадо, являясь местом политической ссылки, также требовала пристального надзора со стороны представителей правительства республики. Изгнанникам оказывали поддержку местные синьоры, признающие власть коммуны, но стремящиеся расширить свои права и привилегии за счет смены правящего режима<sup>44</sup>.

Однако поведенческие практики флорентийцев, занимавших указанные посты, позволяют заключить, что отношение к должностям в контадо не всегда было пренебрежительным, поскольку открывало для предприимчивых граждан значительные возможности, которыми они стремились воспользоваться. Со второй половины XIV в. и особенно в XV в. осуждения власти флорентийских должностных лиц, разоряющих контадо, становятся непреходящей темой. На совете коммуны 10 декабря 1411 г. Ридольфо Перуцци заявил, что «много говорится о принятии мер против наших граждан, которые занимают должности во владениях Флоренции, и вымогают деньги с жителей... а люди тяжело страдают из-за должностных лиц, попирающих честь Коммуны и города, и причиняющих вред нашим подданным». 16 июля 1414 г. Джованни ди Андреа Минирбетти предлагал издать такой закон, «чтобы наших подданных в контадо перестали грабить», и найти эффективный способ наказания и устранения нарушителей. Антонио Алессандри сетовал 15 июня 1417 г. на то, что жители контадо не платят налоги, потому что их имущество

<sup>43</sup> *Raveggi*. 2000. P. 605.

<sup>44</sup> *Stefani*. 1903–1913. Rubr. 727. Стефани указывал, что в 1371 г. в контадо Флоренции находилось много изгнанников, и поэтому избрали 4-х барджелло с чрезвычайными полномочиями, постоянно находящихся в контадо, которым разрешалось приезжать во Флоренцию только на три дня в месяц. «И они сожгли в контадо много домов и осудили многих граждан, которые предоставляли приют изгнанникам».

истребляется... правителями, вымогающими с них деньги: «Не устранять таких правителей – значит поощрять злых людей, и содействовать росту неправедных богачей. ...Мы должны найти способ выбирать честных людей, которые будут беречь наших людей и их имущество...». Марсилио ди Ванни Веккетти тогда же утверждал, что селяне убегают с территории Флоренции ежедневно и в бесчисленном количестве: «Это результат действия многих должностных лиц, неспособных управлять, из-за каковых «контадини» вынуждены нести тяжелое бремя»<sup>45</sup>. Семейные книги флорентийских граждан подтверждали факт разорения контадо «дурным правлением» флорентийских ректоров. Джованни Морелли с беспокойством писал в 90-е годы XIV в., в разгар войны с Джангалеаццо Висконти: «Наше внутреннее положение достаточно усугублено... потому, что сильно раздражено контадо, крестьяне разорены и пребывают в страхе, и нет среди них мужика, который бы не мечтал тотчас пойти поджечь Флоренцию»<sup>46</sup>. Этот мотив замечен в новеллах Саккетти<sup>47</sup>.

В семейных книгах, дневниках и мемориях флорентийцы, назначаемые на должности в контадо, не позиционировали себя коррупционерами, мошенниками и ворами. Однако в случае с Бонаккорсо ди Нери Питти скандальные ситуации, складывающиеся вокруг исполнения им функций ректора в контадо, наводят на определенные предположения.

Управляя крепостью Барга (1402), во время войны Флоренции с Миланом, Бонаккорсо ди Нери конфисковал 11 мулов и 22 тюка английской шерсти под предлогом, что тот, кто вез ее, находился на службе у герцога Джан Галеаццо Висконти. Он получил письменный приказ флорентийской Синьории о немедленной передаче конфиската комиссару Лукки, официально требующей возвращения товара, принадлежащего ее подданным. Но Бонаккорсо не исполнил распоряжения, считая, что

---

<sup>45</sup> Записи протоколов речей граждан на советах и совещаниях (Pratica) опубликованы в сб. The Society. 1971. P. 131–132. О разорении хозяйств мелких арендаторов и земледельцев и их бегстве за пределы флорентийского государства из-за злоупотреблений и коррупции ректоров см.: *De Angelis*. 2009. P. 60.

<sup>46</sup> *Morelli*. 1956. 81b. P. 395–397. М. Луццатти полагал, что Джованни Морелли излишне драматизировал ситуацию: контадо в целом выступало против Висконти (*Luzzatti*. 1986. P. 169). О разорении и бегстве арендаторов писал хронист Кавальканти (*Cavalcanti*. 1838. P. 93–94). Об этом же см.: *Jones*. 1979. P. 110–111.

<sup>47</sup> *Sacchetti*. 1962. Нов. 108, 146, 165, 202, 204. В уста нобиля Аццо дельи Убертини новеллист вложил осуждение флорентийских ректоров: «Подданные предпочли бы быть в аду скорее под властью дьявола, чем под властью тех, кто так долго тянут их дела; ведь они теряют на это столько времени, не говоря уже о трудах и убытках, пока не дождутся конца какой-нибудь своей тяжбы» (Нов. 204). Грабительской политикой коммуны жители контадо оправдывали собственное мошенничество (Нов. 146).

эта шерсть – законная добыча тех, кто, «повинуясь разумному приказу, производил захват». И только после письма с угрозой тяжкого наказания<sup>48</sup> он вернул тюки уполномоченному Синьории. В 1409 г., вступив в должность капитана охраны Пизы, Питти ввязался в новое «злополучное дело»: он предпринял попытку захватить церковный бенефиций для своего племянника на том основании, что магистр госпиталя Альтопашо разорил и распродал это владение. На самом деле Бонаккорсо рассчитывал на поддержку тогдашнего легата в Болонье, кардинала Балтассаре Косса, который сначала посулил ему решить вопрос при папском дворе<sup>49</sup>, а затем отказался от своего обещания, настроенный, по мнению Питти, его личными недоброжелателями<sup>50</sup>. Несмотря на эти обстоятельства, а также противодействие влиятельных Никколо д'Уццано, Бартоломео Валори и Джино Каппони, он все же не отказался от этого дела, «поелику мне казалось, что я не смог бы с честью от него отступить... и я продолжал свое дело с величайшими расходами»<sup>51</sup>. Если в первом случае в Барге Бонаккорсо прикрывал свой отказ вернуть конфискованную у купцов союзного Флоренции города шерсть «благородным» намерением распределить ее между участниками захвата, произведенного по его единоличному приказу, то в только что описанной ситуации он даже не камуфлировал намерения присвоить бенефиций госпиталя Альтопашо посредством покровительства со стороны папского легата.

Грозные письма коммунальные власти направляли и другим официальным лицам, посланным вершить суд и закон на местах<sup>52</sup>. Одно из них (1418 г.) было адресовано флорентийскому гражданину, исполняющему обязанности подеста в Пизе, который совместно со своим компаньоном скупил всю поставку неуродившегося в тот год льна, монополизировав розничную продажу льна по таким ценам, «что много бедных людей даже небольшого количества льна не могли получить для своих нужд». Ради спекуляции подеста злоупотребил своим служебным положением, чтобы устранять конкурентов, как следовало из письма Синьории: «Вы также

---

<sup>48</sup> *Pitmi*. 1972. С. 100-101.

<sup>49</sup> Пизанским собором был избран папа Александр V (1409–1410). См.: *Pitmi*. 1972. Прим. 103. С. 229.

<sup>50</sup> Питти неоднократно упоминал об этом в своей хронике, связывая с личной неприязнью к собственной персоне со стороны заправил олигархического режима Флоренции первой трети XV в. свои жизненные неудачи (*Pitmi*. 1972. С. 113–114).

<sup>51</sup> Там же. Причиной упорства Бонаккорсо в борьбе за это землевладение являлась его высокая доходность: оно располагалось на паломническом пути в Рим.

<sup>52</sup> *Pitmi*. 1972. С. 169–170. Бонаккорсо часто не подчинялся указаниям флорентийской Синьории и приводил в своей хронике тексты адресованных ему коммунальной грозных писем с предупреждениями о штрафах в 1000 флоринов и изгнании.

арестовали некоторых из них (пизанских купцов, желающих купить крупные партии льна – *И.К.*) и осудили, чтобы не позволить им покупать. ... Эти методы ужасны, гнусны и достойны порицания. Они противоречат намерениям Синьории и наших граждан и бесчестят вас лично. Мы посылаем правителей... чтобы поддерживать законность среди наших подданных, сохраняя мир и единство, а не подвергать их жестокости и вымогательству под прикрытием занимаемых должностей и званий, лишая возможности иметь предметы первой необходимости. Нас глубоко удивляет ваше поведение, и мы огорчены, так как не думали, что вы способны на такие вещи. Теперь мы предписываем... вам воздержаться в будущем от подобного угнетения... вести себя так, чтобы мы больше не слышали подобных жалоб о вас, и подчиняться нам таким образом, чтобы ваше повиновение было достойно одобрения...»<sup>53</sup>.

Посты в контадо могли стать привлекательными, если открывали возможность получения дополнительных источников дохода помимо умеренного жалованья из кассы коммуны. Размерам платы за исполнение должности явно не соответствовала неумная энергия Питти, словно бы вырывающаяся на простор в контадо: он раскрывал заговоры<sup>54</sup>, изобличал миланских шпионов<sup>55</sup>, конфисковывал имущество и отправлял на плаху подвластных ему селян<sup>56</sup>. Бонакcorso Питти дважды избирали на высшую должность гонфалоньера справедливости во Флоренции<sup>57</sup>, что он без особого внимания зафиксировал в своей хронике всего двумя формальными фразами. Его большой интерес к «внешним» постам был, разумеется, обусловлен материальными стимулами. Штрафы и конфискации, налагаемые местной властью, предполагали на законных основаниях отчисление определенной части суммы в пользу подес-

<sup>53</sup> Текст письма на латыни опубликован в сб. *The Society*. 1971. P. 132–133. Мотив коррупции ректоров в контадо замечен в некоторых новеллах Саккетти, который сам исполнял обязанности подеста в Биббиене (1385) и Сан Миньято (1392) и приводил пример, как некий охотник пытался подкупить его зайцем. Из морали новеллы следовало сетование по поводу того, сколь часто ректоры «теряют честь, имеющую вечное существование», ради малости, удовлетворяющей минутное желание (*Саккетти*. 1962. Нов. 77).

<sup>54</sup> *Питти*. 1972. С. 177. Получив в 1423 г. пост капитана в местечке Кастрокаро, он раскрыл там, якобы, гибеллинский заговор в пользу герцога Миланского Филиппо Мария Висконти. В результате пятерым подозреваемым Питти приказал отрубить головы.

<sup>55</sup> Там же. С. 103. В Барге он ухитрился раскрыть шпионский заговор, и по подозрению приказал отрубить одному из жителей голову, а его отца выслал и конфисковал имущество семьи.

<sup>56</sup> Там же. С. 177.

<sup>57</sup> В 1416 г.: Там же. С. 145; в 1422 г.: С. 174.

та как судебного исполнителя коммуны<sup>58</sup>, что отчасти объясняет неумеренный энтузиазм Питти в отправлении гражданского правосудия. Наиболее прибыльным делом было раскрытие политических заговоров, за которое коммуна Флоренция могла щедро вознаградить<sup>59</sup>, что делает понятной бдительность Бонаккорсо Питти в исполнении этих функций.

Но «внешние» должности могли предоставить возможность реализации свойственных гражданам Флоренции властных амбиций, которые было сложно воплотить в жизнь в коммунальных органах, даже пребывая на «внутренних», «старших» должностях в Синьории, срок которых исчерпывался всего двумя-тремя месяцами. Флорентийские структуры имели коллегиальный характер, снимая груз индивидуальной ответственности за принятие решений, но с другой стороны, неизбежно нивелируя и усредняя личность, вынужденную подчиняться мнению большинства. В «Хронике» Питти подробные экспрессивные описания исполнения служебных обязанностей в контадо, позволявших развернуться его властным устремлениям, наполнены эмоциональным накалом и желанием противопоставить свою личность государству. Шансы реализации хотя бы в незначительной степени возможности единоличного управления в контадо развязывали индивидуальную инициативу. Бонаккорсо выступил с авантюристическим проектом включения Лукки в состав подвластных Флоренции земель путем «восстания» против Синьора Луки... и захвата ряда замков, «с которыми у меня уже была договоренность». Понимая, что республика не может открыто выступить против Лукки, ее союзницы в войне против Милана, он предложил, чтобы ему тайно передали плату за 50 лошадей и 200 лучников, «а я подниму Баргу... устрою восстание и буду действовать... якобы умирняя их (мятежников), а на самом деле поддерживая». А для пушего правдоподобия он советовал коммуне отправить его потом в изгнание, а жену и детей заключить в тюрьму. Синь-

---

<sup>58</sup> *De Angelis*. 2009. P. 54–55. Анализируя бухгалтерские книги семьи дель Бене, в частности, образцово-педантичные регистрации доходов и расходов Франческо ди Якопо дель Бене, Де Анджелис показывает, что подестерия в Прато (1359) дала ему ничтожную прибыль, тогда как внешние должности (1373 и 1381) принесли соответственно 1021 и 1609 лир чистого дохода за счет экстраординарных поступлений от осуждений откупщиков габеллы с ворот, занимавшихся контрабандой, поставщиков зерна, незаконно вывозящих его в гибеллинские города, как вознаграждения от коммуны Вольтерры за задержание давно разыскиваемых преступников, от загадочных поступлений, «обеспеченных моим нотарием-секретарем».

<sup>59</sup> *Ibid.* P. 55. Де Анджелис приводила случай Чонетто Бастари, который в 1412 г. разоблачил заговор Альберти, получив в вознаграждение пожизненное содержание от коммуны, позволяющее обеспечивать пять «копий» («копье» – боевая единица, обычно состоящая из трех человек) и много других привилегий.

ория не дала согласия на этот план, а Бонакcorso навлек на себя гнев правителя Лукки и по этой причине тайно возвращался во Флоренцию<sup>60</sup>.

Он был не одинок в своей реализации популистских тенденций к произволу и единоличной власти, что иллюстрирует официальный документ 1461 г., содержащий жалобу консулов Барги на подеста Лоренцо Альтовити. Его обвиняли в том, что на рынке «он щипал зады ломбардских девушек», вступил в стычку с пытающимся защитить женщин капитаном стражи из Феррары<sup>61</sup>, который «едва не изрубил его в куски», приказав своим людям, если Лоренцо появится на охраняемой им территории, «хватать его и немедленно утопить с камнем на шее». Приоры Барги жаловались, что во Дворце Подеста он сутками играл на деньги в карты и кости «с дурными людьми», крича и богохульствуя, слонялся по селению с бандой вооруженных приспешников, «наполняя чрево и пьянствуя в домах горожан, пренебрегая прямыми обязанностями»<sup>62</sup> и производя нелепые действия: приказал «то раскрывать, то закрывать Королевские Ворота, чтобы «ради удовольствия толкать женщин и мужчин на землю, чем вызвал в городе большой скандал». Подеста публично оскорблял почитаемых духовных лиц Барги: приходского священника, попытавшегося «мягко укорять Лоренцо за его пороки», гонял с «бандой своих вооруженных головорезов» по церкви, крича: «Вылезай ничтожный монах! Я знаю, что ты берсерк!»<sup>63</sup>. По своему произволу Лоренцо изгнал из Барги, угрожая обезглавить его и «порезать на кусочки», «маэстро Бартоломео, врача на службе у Коммуны», за «дружеское порицание его поведения». Когда заканчивался срок его пребывания в должности, он довел население Барги до попытки восстания, начав по своему произволу раздавать земли коммуны своим приспешникам вопреки законам<sup>64</sup>. Лоренцо дельи Альтовити по постановлению судебных властей Флоренции был оштрафован на 500 лир. Факт наказания нуждается в особом комментарии, поскольку во второй половине XIV–XV вв. действовала противоположная тенденция: Синьория защищала действия и честь своих представителей

---

<sup>60</sup> *Piumi*. 1972. С. 103.

<sup>61</sup> Цитируемое письмо опубликовано на *volgare* в сб. *The Society*. 1971. С. 135.

<sup>62</sup> *Ibid.* С. 135–136. Они утверждали, что он выгнал пожилых людей, пришедших искать правосудия согласно закону, заявив, что «не терпит каких-либо стариков, входящих в его дом».

<sup>63</sup> За произвол и издевательство над духовными лицами Лоренцо был отлучен от церкви епископом Лукки.

<sup>64</sup> *Ibid.* С. 137. Вооруженная толпа собралась на площади, но в этот момент новый подеста въезжал в Баргу и люди бросились к воротам, падали на колени и поднимали руки к небу. «Они благодарили Бога, что прислали нового подеста, чтобы принести мир и порядок в Баргу».



на местах. Основной реакцией на бесчисленные жалобы становились законодательные постановления, усиливающие контроль центра над должностными лицами доминиона; вводились нормы, которыми безуспешно пытались предотвратить причины недовольства населения подвластных территорий<sup>65</sup>. Требуя повиновения, угрожая карательными мерами, центральные органы Флоренции нечасто производили расследования преступлений конкретных должностных лиц в контадо и обнародовали постановления об осуждении.

Итак, со второй половины XIV в. актуализировался образ ректора-флорентийца, избираемого управлять в подвластные Флоренции города и крепости, лишённые права призывать Подеста и других должностных лиц по своему волеизъявлению. Круг прав и обязанностей флорентийских администраторов был ограничен коммунальными статутами, ибо флорентийская синьория стремилась держать местное управление под строгим контролем<sup>66</sup>. Точное исполнение ее инструкций и команд аннулировало нужду в нормативно-этических рекомендациях, поэтому учебники подеста ушли в прошлое. Но общество нуждалось в добросовестных, честных и деятельных исполнителях властных функций на подчиненных территориях, и ответом на эту потребность стали дискурсы об идеальном подеста, выразившиеся в нескольких формах – в виде устойчивых расхожих мифов, жизнеописаний конкретных лиц, прославляемых только за то, что они положительно зарекомендовали себя на младших, «внешних» должностях, и саморепрезентациях.

Устойчивые мифы складывались о Манно Донати, представляя его на посту иноземного ректора в мелких местечках контадо в гуще лиц из народа: «монашков», торговков, крестьян (*contadini*). Кавальканти изображал Манно Донати, как мудрого и справедливого подеста, умеющего быть великим и в малом, щедрым и великодушным по отношению к людям низкого положения. Ссылаясь на наблюдения очевидцев, хронист повествовал о том, как «монашек и торговка на рынке затеяли ссору из-за связки дроздов, которых монашек взял, не собираясь за них платить. В перебранку вмешался подеста, который сам заплатил за дроздов, оставил их монаху и ушел, говоря: «Я не хочу, чтобы думали, что я взял этих дроздов для собственного обжорства или из-за тщеславной помпы»<sup>67</sup>. Тот

---

<sup>65</sup> *De Angelis*. 2009. P. 59–60. Ректорам и членам их фамилий запрещалось принимать деньги, а также принимать зерно и крупу для отсылки во Флоренцию. Действующие синьории разрабатывали все новые громоздкие регламенты, содержащие запреты и ограничения для должностных лиц.

<sup>66</sup> *Ibid.* P. 56.

<sup>67</sup> *Cavalcanti*. 1973. P. 211.

же Джованни Кавальканти свидетельствовал о щедрости и справедливости, которые являл на посту подеста в Прато Ринальдо ди Мазо Альбицци<sup>68</sup>. Слухи о подобных эпизодах могли иметь место, поскольку Ринальдо отличался склонностью к демагогии и нередко публично позиционировал себя как защитника простого народа. Кавальканти прославлял отца и сына Альбицци явно в пику Медичи. Другим образцовым ректором у писателя выступал «благородный кавалер из фамилии Бостики, «правление коего было желанным для всех республик... настолько сияли его добродетели». В Перудже Бостики удалось обуздать банду, члены которой «по ночам убивали и сжигали людей невинных», политических противников своих покровителей. Схватив бандитов, подеста не поддался на уговоры «именитых граждан», хотя они принадлежали к политической группировке, призвавшей его в Перуджу. Вопреки законам города он совершил казнь преступников своей волей, а себя самого, согласно статуту, осудил на 3000 лир и тотчас же внес их в казну. Эта принципиальность так потрясла граждан Перуджи, что они отменили статут и вернули Бостики всю сумму. Кавальканти уподоблял его античному герою Марку Реоло<sup>69</sup>. В этих моделях нашли свое отражение традиционные добродетели идеальных местных правителей: щедрость, великодушие, любовь к подданным, сочувствие нуждам бедных людей и защита их интересов, беспощадное правосудие по отношению к преступникам и к самому себе.

В процессе творения мифов об идеальном подеста артикулировался также сюжет о превосходстве светского правосудия над церковным и защите подданных от произвола церкви (подоплека заключалась в динамике отношений между коммуной и церковью в XIV в.<sup>70</sup>). Этот вопрос

---

<sup>68</sup> Ibid. P. 166–167. Ринальдо Альбицци исполнял обязанности подеста в Прато в 1410 г. (Comissioni. 1867. P. 204). Кавальканти писал, что Ринальдо отправил в тюрьму за невыплаченный долг возчика из Прато. Выясняя, почему тот не возвратил деньги в уплату за двух мулов, подеста узнал, что ему не заплатил деньги Мазо дельи Альбицци, отец Ринальдо, которому были проданы животные. И Мазо по требованию своего сына уплатил необходимую сумму возчику. Кавальканти за такое решение дела уподоблял Ринальдо Альбицци благородному римлянину Порцию Катону, утверждая, что «Ринальдо имел природу скорее божественную, нежели смертную, поскольку человечность в нем равнялась справедливости его правосудия».

<sup>69</sup> Ibid. 1973. P. 146–147. Саккетти, восхваляя мудрого подеста Рубаконте да Манделло, утверждал, что «теперь награждают не за доблесть», а «из любезности или приязни» (*Sacchetti*. Нов. 196).

<sup>70</sup> *Green*. 1972. P. 47–50. С 30–40-х гг. начались постоянные споры между коммунальными структурами, с одной стороны, и церковными властями и авиньонским папством – с другой, по вопросу о подчинении флорентийского духовенства городской юрисдикции. Противостояние обострилось после 1343 г., когда значительную роль в коммунальном управлении стали играть члены средних и младших цехов,

занимал и Кавальканти: ему была посвящена еще одна новелла о Бостики<sup>71</sup>, а также история о Кардинале Ручеллаи (ум. в 1428): исполняя обязанности подеста в местечке Сан Кашано, он столкнулся со священником, «подобным более злобному разбойнику, чем набожному клирику», с которого Подеста неуклонно требовал уплаты многочисленных долгов жителям Сан Кашано. Кавальканти изобразил «злокозненного прелата», «нагло и с животной грубостью» настаивающего, чтобы его предоставили суду епископа. На что находчивый подеста заявил: «А я Кардинал!», и приказал бросить служителя церкви в тюрьму, а затем уплатить долг крестьянину<sup>72</sup>. В генеалогиях семьи Ручеллаи Л. Пассерини приводил этот анекдот, характеризуя Кардинале как «человека сметливого и остроумного в ответах». Он утверждал, что именно как подеста в Сан Кашано, он приобрел славу неподкупностью своего правосудия. Пассерини передавал анекдот почти в тех же словах, что и Кавальканти<sup>73</sup>, возможно, оба пользовались одним источником или устной версией анекдота.

---

среди которых распространялись антиклерикальные настроения, возможно, не без влияния Fraticelli и других еретических сект. Ослабевало влияние гибеллинской угрозы, спланивавшей воедино папство и гвельфскую Флоренцию в их противостоянии Императорам и Милану. Воссоздание Патримония – сильного папского государства в Романье в конце 1350-х – первой половине 1360-х гг. шло вразрез с интересами Флоренции. Решительный удар по правам и привилегиям церкви, сопровождаемый секуляризацией церковных земель, был нанесен коммунаой в 1375–1378 гг., во время войны Флоренции с папским престолом (Peterson. 2002. P. 178).

<sup>71</sup> *Cavalcanti*. 1973. P. 143–145. Когда Бостики был подеста в Камерино, некий «знаменитый прелат» поссорился с местным мясником, которому он не заплатил за мясо, поставляемое в течение года, и в порыве ярости убил мясника его же ножом, но был схвачен по распоряжению Подеста. Церковь, поддерживаемая синьором Камерино, потребовала от Бостики предоставить священника церковному суду по каноническому праву, и епископ приговорил убийцу к уплате в кассу синьора и епископа по 100 лир, но 1 год лишив его права произносить мессы. Кавальканти называл эту сентенцию «мерзким делом» и «несправедливым судом». Подеста предложил брату и сыну убитого мясника «осуществить их месть свободно», и на следующее утро они убили прелата тем же ножом и были схвачены стражей Подеста, а «священство в злобе» требовало самой жестокой кары. Хитроумный Бостики изрек: «Нам должно подчиняться клирикам в божественных предписаниях... поэтому той мерой, какую епископ отмерил брату, будет воздано и мясникам, то есть по 100 лир уплатят они в камеру синьора и епископа, и в течение года запрещается им резать мясо». По словам Кавальканти: «Столь справедливым судом был удовлетворен каждый».

<sup>72</sup> *Ibid.* P. 167–168. Подобный сюжет встречается в новеллах Ф. Саккетти (Саккетти. 1962. Нов. 33).

<sup>73</sup> *Passerini*. 1866. P. 88–89. Биограф Л. Пассерини указывал, что Кардинале, избрался подеста в Винчи, Пистойю, Гангаланди и Сеттимо. Он подтверждал пост подеста в Сан Кашано в 1410 г.

Идеальный подеста мог стать героем жизнеописания, подобно Бартоломео Фортини, прославленному выдающимся биографом Веспасиано да Бистиччи не как дипломат или доблестный гонфалоньер справедливости, а в качестве подеста пограничного селения Борго ди Сан Сепольро<sup>74</sup>, жители которого «оказались порочными и без достойных занятий». Приступив к полномочиям, Фортини прежде всего осуществил перепись населения, а затем, действуя методами убеждения, добился, чтобы поддомственные ему жители занялись производительным трудом – изготовлением шерсти, или «другими честными ремеслами», и вскоре «совсем изменил эту полную тяжб, игры и других пороков землю», и «совершил он свои благодеяния для этой земли с таким милосердием, что жителям казалось, будто сам Господь Бог к ним послан для всеобщего блага»<sup>75</sup>.

Лоренцо Строщи в жизнеописаниях членов семьи приводил в пример Джованни (Нанни) Строщи<sup>76</sup>, который служил маркизу Феррары с целью сделать все земли Луниджаны обитаемыми и безопасными, тогда как они к этому времени «напоминали пристанище разбойников», поскольку «в прошлом были разделены между многими мелкими синьорами, предоставлявшими убежище бандитам и убийцам». Лоренцо гордился тем, что в отличие от безуспешных попыток других правителей Феррары, лишь «старания и суровая отвага мессера Нанни позволили преобразовать эти земли: он умиротворил их так, что все могли безопасно проезжать через Луниджану, добавил и много других крепостей под власть синьора Феррары»<sup>77</sup>. Отрицательные примеры флорентийцев-ректоров в подвластных коммуне городах в хрониках и мемориях встречаются реже, а осуждения их правления могут быть связаны с персональной партийно-политической ориентацией автора<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> «Земля, где постоянно шли войны, часто менялись статус и власти» (*Bisticci*. 1843. IV. P. 373-375).

<sup>75</sup> *Ibid.* P. 373-375.

<sup>76</sup> *Raveggi*. 2000. P. 622, 636. С. Раведжи относил фамилию Строщи к «новой знати», выдвинувшейся из пополанства. Франческо ди Палла деи Строщи, избирался на должность ректора 10 раз с 1332 по 1343 гг., шесть раз – вне государства.

<sup>77</sup> *Strozzi*. 1892. P. 53-54.

<sup>78</sup> *Compagni*. 1913. I. 25-26. С. 73–75. Хронист осуждал многих подеста Пистойи, представителей партии белых гвельфов, к которой принадлежал сам, возлагая на них вину за поражение 1301 года. С дурным правлением флорентийцев он связывал беззаконие и низкий нравственный уровень, царящие в Пистойе: «Пистойезцы... пребывали в больших смутах, убивая и оскорбляя один другого; правителями они часто были жестоко осуждаемы... потому что это позволяло вымогать из них большие деньги. Неудивительно, что пистойезцы были людьми грубыми, жестокими и несклонными к согласию... хотя они являлись создателями наилучших в Тоскане статутов, но, одичав, почти погубили свой город».

Желание позиционировать себя как идеального ректора выступало как форма саморепрезентации или представления потомкам образов выдающихся и достойных родственников в семейных книгах. И в этих случаях описания скорее представляли мифы о совершенном ректоре, но имели под собой некоторую основу в виде определенных результатов управленческой деятельности конкретных людей. Блестящий дипломат и военный Якопо Сальвиати, который всю жизнь занимался административной деятельностью в контадо, испытывал глубокое удовлетворение от того, что обитатели местечка Ангиари сохраняли добрую память о его правлении, а любовь, которую они к нему питали, по словам Якопо, изумляла его самого. Жители Пистойи, удовлетворенные его реформами, проголосовали за прибавку к жалованью и одарили его почестями к концу срока службы. Аретинцы презентовали ему сумку с 50 зол. флор.<sup>79</sup>

В идеальных моделях, созданных к концу XIV–XV вв., нетрудно увидеть мотив «цивилизаторской» миссии флорентийских ректоров в землях, населенных грубыми, невежественными, полудикими, погрязшими в грехах и преступлениях людьми, которых посланцы флорентийской коммуны заносили в перепись, приобщали к честным ремеслам, неустанно борясь с пороками убеждением и личным примером. Образ нес в себе элементы определенной идеологической конструкции, порожденной потребностями формирующегося территориального государства. Этот идеологический концепт в историографии второй половины XX в. определялся, как «флорентийский империализм», обозначая политику республики по созданию государства, включающего всю Тоскану<sup>80</sup>.

Граждане Флоренции, оценивая посты в контадо ниже должностей в палаццо Синьории, использовали шансы, ими предоставляемые. Помимо легальной или незаконной наживы за счет обладания полномочиями, они реализовывали значительные властные амбиции и личностные качества, освобождаясь от разных форм коллегиального принуждения, ограничивающего проявления индивидуального начала в структурах города. Посты в контадо не исключали возможности приобретения авторитета и славы, увековечивания в памяти потомства.

Наиболее важные институты коммунальной власти становились объектом культурной рефлексии. Начало складывания института чужеземных подеста (конец XII – первая половина XIII в.) сопровождалось появлением «учебников подеста», определяемых М.С. Сапенью как один

---

<sup>79</sup> *Hurtubis*. 1985. P. 40–41.

<sup>80</sup> Этот термин использовали: *Rubinstein*. 1986. P. 16; *Luzzatti*. 1986. P. 181. *Becker*. 1979. P. 153, 180–182; *Conti*. 1981. P. LXVII–LXVIII, P. LXXII.

из первых видов политического трактата, отражающего специфику итальянского ареала, характеризующегося разнообразием политического опыта – и вплоть до появления идеологии гражданского гуманизма – «крайней скудостью произведений политической рефлексии»<sup>81</sup>.

Однако шкала идеальных параметров образа и поведения иноземного правителя спонтанно складывалась в жанрах так называемой «литературы второго плана», продуцируемых насущными чаяниями и устойчивыми настроениями, формирующимися в толще политической повседневности. В повторяющихся анекдотах и *exempla* о подеста, составляющих содержание городских новелл, в оценках и наставлениях семейных книг, в светских жизнеописаниях проступали, пусть неотчетливые, контуры образа идеального местного правителя – флорентийца, лишенные риторической оснастки, свойственной «учебникам подеста». Конструирование идеальной модели носителя местной власти вершилось из традиционных «блоков» рыцарских доблестей – верности и жертвенности служения (новеллы о Манно Донати) синьору или коммуне, а также из евангельских добродетелей правителя – защитника бедных от произвола богатых и знатных, щедрого и милосердного (цикл новелл о Донати, о Рубаконте да Манделло у Саккетти, о Мазо дельи Альбицци у Джованни Кавальканти).

Процесс превращения города-коммуны в территориальное государство (вторая половина XIV – XV вв.) добавил новые этические составляющие представлений об избранном коммунной флорентийском гражданине как образцовом носителе местной власти. На первый план выступала цивилизаторская миссия и гуманное управление без методов насилия и жестких наказаний, но путем выработки бесконечной цепи компромиссов, усиливающих централизаторскую политику республики, с одной стороны, и сохраняющих население контадо, с другой.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции. Перевод, статья и примечания М.А. Юсима. М.: Наука, 1997.
- Краснова И.А. Дати // Культура Возрождения. Энциклопедия. Т. 1. М., РОССПЭН, 2007.
- Краснова И.А. Подеста и Приорат: образы восприятия верховной власти в обществе Флоренции конца XIII–XIV в. // Империи и этнонациональные государства в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2011.
- Питти Б. Хроника. Пер. с ит. З.В. Гуковской. Статьи и примечания М.А. Гуковского, В.И. Ругенбурга. Л., «Наука», 1972.
- Сакетти Ф. Новеллы. Пер. В.Ф. Шишмарева. Л.: «Наука», 1962.

---

<sup>81</sup> *Sapegno*. 1982. P. 571.

- Селунская Н.А.* Право, Власть, Свобода в «Папских Землях» XIII–XIV вв. М.: ИВИ РАН, 2003.
- Artifoni E.* Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale // La storia. I grandi problemi dal Medioevo al all' Età contemporanea. Vol. II. Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche. Torino, 1986.
- Becker M.* Le trasformazioni della finanza e l' emergere dello stato territoriale a Firenze nel Trecento // La crisi degli ordinamenti e le origini dello stato del Rinascimento. Bologna, 1979.
- Bisticci V.* Commentario della vita di messer Bartolommeo di Fortini // Archivio storico italiano. Firenze, 1843.
- Borghini V.* Storia della nobiltà fiorentina. Pisa, 1974.
- Brucker G.* Florentine Politics and society. 1343–1378. Princeton, 1962.
- Cardini F.* L'autunno del medioevo fiorentino. Un "umanesimo cavalleresco"? // Mito e storia nella tradizione cavalleresca del Basso Medioevo. 2005, Spoleto.
- Cavalcanti G.* I storie fiorentine / A cura di F. Polidori. T. I. Firenze, 1838.
- Cavalcanti G.* Il Trattato politico morale // M. Grendler. The «Trattato politico morale» of Giovanni Cavalcanti. Geneve, 1973.
- Comissioni di Rinaldo degli Albizzi* per il Comune di Firenze. Vol. I. Firenze, 1867.
- Compagni D.* La cronica di Dino Compagni delle cose occorrenti ne' tempi suoi con prefazione di I. del Lungo. Milano, 1913.
- Conti E.* La «Florentina Libertas» nelle «Consulte» del 1401 // Le «Consulte» e «Pratiche» della repubblica fiorentina nel Quattrocento. Pisa, 1981.
- De Angelis L.* La repubblica di Firenze fra XIV e XV secolo. Istituzioni e lotte politiche nel nascente stato territoriale fiorentino. Firenze, 2009.
- Dati G.* Il libro segreto. A cura di C. Gargioli. Bologna, 1869.
- Della Tosa S.* Annali di Simone della Tosa // Cronichette antiche di vari scrittori. Firenze, 1733.
- Gagliardi I.* Cavalieri in città: liturgia e rovesciamenti simbolici // Cavalieri e città. A cura di Franco Cardini, Isabella Gagliardi, Giuseppe Ligato. (Atti del III Convegno internazionale di studi. Volterra 19–21 giugno 2008). Pisa, 2009.
- Green L.* Chronicle into history. Cambridge, 1972.
- Gualtieri P.* Il Comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e assetti istituzionale. Firenze, 2009.
- Hurtubis P.* Une famille-temoin. Les Salviati. Città di Vaticano, 1985.
- Jones P.* Comuni e Signorie: la città-stato nell' Italia del tardo Medioevo // La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento. Bologna, 1979.
- Latini B.* Li livres dou Tresor de Brunetto Latini. Berkeley. Los Angeles. 1948.
- Lenzi D.* Il Libro del Biadaiole // Pinto G. Il libro del Biadaiole: Carestie e annona a Firenze della meta dal' 200 al 1348. Firenze, 1978.
- Luzzatti M.* Firenze e la Toscana nel medioevo: Seicento anni per la costruzione. Torino, 1986.
- Monti A.* Les chroniques Florentines de la premiere revolté populaire à la fin de la Comune (1345–1434). Lille, 1983.
- Morelli G.* Ricordi. A cura di V. Branca. Firenze, 1956.
- Passerini L.* Genealogia e storia della famiglia Rucellai. Firenze, 1866.
- Peterson D. S.* The War of the Eight saints in Florentine Memory and Oblivion // Society and Individual in Renaissance Florence / Ed. by W.J. Connell. Berkeley etc., 2002.

- I podestà dell'Italia comunale. Parte 1. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.) / A cura di J.-C. Maire Vigueur. Vol. 1. Roma, 2000.
- Raveggi S.* I rettori fiorentini // I podestà dell'Italia comunale. Parte 1. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.). A cura di J.-C. Maire Vigueur. Vol. I. Roma, 2000.
- Rubinstein N.* Florentina Libertas // Rinascimento. Firenze, 1986.
- Sapegno M. S.* Il trattato politico e utopico. Retorica e cronaca // Letteratura italiana. Vol. III. Parte II. Le forme del testo. La prosa. A cura di Asor Rosa. Torino, 1982.
- Sestan E.* L'origine del podestà fiorentino nei comuni toscani // Scritti vari. II – Italia comunale e signorile. Firenze, 1989.
- The Society of Renaissance Florence / Ed. by G. Brucker. N.Y.; San Francisco; L., 1971.
- Stefani M.* Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani / Cur. di N. Rodolico // Rerum italicarum scriptores. Città di Castello. 1903-1913. T. XXX.
- Strozzi L.* Le vite degli uomini illustri della casa Strozzi / A cura di De Salvatore Landi. Firenze, 1892.
- Velluti D.* La cronica domestica scritta tra il 1376 e il 1370 / A cura di I. Del Lungo e C. Volpi. Firenze, 1914.
- Villani F.* Le vite d' uomini illustri fiorentini scritte de Filippo Villani colle annotazioni del conte Giammaria Mazzuchelli. Firenze, 1826.
- Villani M.* Cronica di Matteo Villani. Firenze, 1826. T. 2.
- Viterbo Giovanni da.* Liber de regimine civitatum. A cura di G. Salvemini // Bibliotheca juridica medii aevi / A cura di A. Gaudenzi. III. Bologna. 1901.
- Zorzi A.* Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione // Ricerche storiche. XVIII, 1988.
- Zorzi A.* I Rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193–1313) // I podestà dell'Italia comunale. Parte 1. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.) / A cura di J.-C. Maire Vigueur. Vol. 1. Roma, 2000.

**Краснова Ирина Александровна**, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и всеобщей истории Северо-Кавказского федерального университета; [gorward@mail.ru](mailto:gorward@mail.ru)



*Н. В. КАРНАЧУК*

## **ПЛОЩАДНАЯ АНГЛИЙСКАЯ БАЛЛАДА XVI–XVII ВВ. ТЕКСТ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК**

---

В статье рассматривается история формирования жанра печатной баллады, его специфика, границы его потенциальной аудитории, вопросы цензуры и авторства применительно к этому жанру, динамика его развития на протяжении XVI–XVII вв. Также показан процесс превращения печатной баллады в объект коллекционирования, а позже – в исторический источник. Отмечены основные коллекции ранней английской печатной баллады, дан очерк историографии, связанной с этим жанром, а также указаны возможные перспективы использования этого типа источника.

**Ключевые слова:** *баллада, площадная литература, историография.*

---

Как некогда заметил Фрэнк Брайант, «баллада» – один из самых расплывчатых терминов в литературной номенклатуре<sup>1</sup>. Этот термин объединяет произведения, существенно различающиеся по форме и содержанию, возникшие в различные эпохи; это жанр, социальный статус создателей и потребителей которого широко варьировался в разные эпохи. Пожалуй, единственной общей чертой, роднящей французскую балладу XIV в., английскую площадную балладу эпохи Елизаветы Тюдор и европейскую литературную балладу XIX столетия, является связь стихотворного текста с музыкальным исполнением. В большей или меньшей степени баллада всегда предназначалась не только для прочтения, но для устного исполнения, была ресурсом и для зрения, и для слушания, балансируя на грани устного и литературного творчества.

Эта особенность жанра превращает различные виды баллады – а в особенности, как я надеюсь показать, площадную английскую печатную балладу XVI–XVII вв. – в источник, с одной стороны, сложный в обращении, с другой, потенциально способный обогатить наши представления об обществе, эти баллады породившем. Краткая история складывания площадной баллады, и история ее как исторического источника составляют содержание данной статьи.

Предшественниками английской печатной баллады были, во-первых, короткие стихотворные произведения религиозного, шуточного или лирического содержания, которые существовали в устной форме и частично дошли до нас в виде отдельных манускриптов, а также в текстах позднесредневековых религиозных представлений, приуроченных к цер-

---

<sup>1</sup> *Bryant. 1913. С. 19.*

ковным праздникам<sup>2</sup>. Спорным остается вопрос о первоначальном заимствовании самой формы баллады из Франции, однако, уже в качестве печатного источника, площадная баллада в Англии стала гораздо более популярным и значимым жанром, чем в странах континентальной Европы<sup>3</sup>.

Она обрела свою специфичность на перекрестке лирического и политического, поскольку другим предшественником жанра, давшим ему в Англии его второе название – broadside, «площадной листок», были печатные листы, которые начали появляться в Англии в царствование Генриха VIII. Первоначально это были прозаические тексты официального характера: королевские указы или папские буллы, которые вывешивались на видных местах для всеобщего ознакомления и сопровождали устные объявления глашатаев. Почти сразу же формат «листа», в силу дешевизны и популярности, начали использовать для публикации стихотворных баллад, а в ряде случаев прозаический текст и поэтический, более пространственный рассказ, дополняли друг друга и печатались на одной странице. Таковы, например, елизаветинские тексты, сообщающие о казнях заговорщиков, посягавших на жизнь королевы: список имен преступников и время их казни дается в прозе, баллада же является эмоциональным комментарием к событию<sup>4</sup>. Уже в первой половине XVI века баллады обретают внешнее оформление, мало изменявшееся вплоть до XVIII в. Это был большой лист с разбивкой в две колонки, которые предваряли заглавие, набранное крупным шрифтом, гравюра-иллюстрация и краткое указание, на какой мотив следует исполнять балладу. Завершалась баллада обычно именем и адресом оттиснувшего ее издателя и, значительно реже, именем или инициалами автора.

От эпохи Генриха VIII, Эдуарда VI и Марии Тюдор до нас дошло сравнительно немного баллад, и можно лишь приблизительно установить количество появившихся ежегодно «площадных листков», поскольку никакого систематического учета таких изданий не велось до середины XVI в. При этом значительное число косвенных упоминаний о печатании и распространении баллад показывает, насколько быстро broadsides завоевывали рынок. К примеру, известно, что уже в 1520 г. некто Джон Дорн, книготорговец из Оксфорда, продал более 190 баллад, хотя можно только гадать, каковы были их названия, содержание и формат<sup>5</sup>. Очевидно одно: счет баллад даже в первой половине века шел на сотни, они быстро стали востребованным товаром.

---

<sup>2</sup> Rollins. 1919. С. 258.

<sup>3</sup> A collection of seventy-nine black-letter ballads. 1867. С. VI–VII.

<sup>4</sup> Broadside blackletter ballads. 1868. С. 21–27.

<sup>5</sup> Shepard. 1962. С. 50.

Большая часть сохранившихся ранних баллад – политически ангажированные произведения. В частности, сохранилось восемь баллад – свидетельство маленькой памфлетной войны вокруг падения Томаса Кромвеля: в них нашли отражение и протестантская, и прокатолическая позиций<sup>6</sup>. Вторым рано возникшим подвидом печатной баллады стали религиозные тексты. Самым старинным образцом, дошедшим до нас, является баллада *Luther, The Pope, and a Husbandman*, напечатанная около 1535 г. Разумеется, в дальнейшем печатная баллада становится преимущественно протестантской, однако католическая баллада продолжает существовать в рукописях и, видимо, распространяется устно в среде тех англичан, кто сохранил верность католицизму<sup>7</sup>. Однако, начиная с 1570-х гг., все заметнее становится рост количества светских по тематике баллад, в которых даже призывы к праведной жизни обретают вполне земные мотивации, поскольку утверждают, что добродетель и чистая совесть дают долгую и обеспеченную жизнь.

Следует отметить, что, хотя и в этот период, и позднее, сочинение и печатание баллады были частным делом автора и издателя, власти быстро оценили мощный пропагандистский ресурс площадных стихов. В 1533 г. появилась первая королевская прокламация, запретившая публикацию «баллад, стихов и прочих непристойных трактатов на английском языке», и, судя по случаю 1537 г., когда некий Джон Хогон был арестован за пение политической баллады, устная передача текста также до некоторой степени контролировалась<sup>8</sup>. В годы правления Марии Тюдор несколько указов предписали обязательное лицензирование книг, памфлетов и баллад, и, наконец, был издан «Акт против мятежных речей и слухов». Он гласил, что страну наводняют «многие гнусные, мятежные и клеветнические писания, стихи, баллады, письма, труды и книги», сеющие раздор. Виновным в их написании или напечатании предстояло лишиться ушей или заплатить штраф в 100 фунтов, – и правой руки, если произведение порочило короля или королеву. Этот закон на многие десятилетия пережил Марию, именно согласно «Акту против мятежных речей и слухов» уже при Елизавете были наказаны автор и издатель пасквиля на герцога Анжуйского, претендента на руку королевы Англии<sup>9</sup>.

Наконец, в 1557 г. была создана Компания Книгоиздателей (Stationers' Company), представлявшая собой консорциум привилегированных и

---

<sup>6</sup> A collection of seventy-nine black-letter ballads. С. VI–VII.

<sup>7</sup> Old English Ballads 1553–1625. С. 34–62.

<sup>8</sup> Shepard. 1962. С. 51.

<sup>9</sup> Old English Ballads 1553–1625. С. XIV.

покровительствуемых королевой печатников. Устав Компании предписывал не допускать до публикации «вредоносные и непристойные» книги. Это достигалось введением процедуры обязательной платной регистрации любого издаваемого произведения, в том числе – баллад и памфлетов, в специальном Регистре Компании<sup>10</sup>. До нас дошли, с некоторыми пропусками, «Регистры» за 1554–1640 гг., и они, безусловно, являются важнейшим вспомогательным источником для датировки баллад, выявления повторяющихся в заглавиях мотивов, а также оценки количества изданий и переизданий<sup>11</sup>. Тем не менее, исследователями площадной литературы неоднократно было замечено, что далеко не все дошедшие до нас баллады отмечены в «Регистре». Не все издатели входили в Компанию, многие пренебрегали обязательной регистрацией, нередки и случаи с небрежной, неточной записью заглавия в Регистрах, затрудняющие идентификацию баллад. Кроме того, как и раньше, далеко не каждая сочиненная баллада печаталась: многие рождались в ходе пирушки или обсуждения местных дел и либо исполнялись устно, либо записывались от руки. Адам Фокс, обратившись к записям судебных дел Звездной Палаты, обнаружил там десятки случаев, связанных с оскорблением истца, про которого ответчик сочинил балладу, чернящую его доброе имя, балладу, которую сам же ответчик записал (или, по неграмотности, просил записать другого) и распространял в этом «доморощенном» виде<sup>12</sup>.

Таким образом, площадная баллада превращается в жанр, не только неотрывно привязанный к «злобе дня», будь то выигранная битва, казнь убийцы, новый закон короля против пьянства или незаконная связь местного сквайра со шлюхой, но и в силу, способную неформально регулировать отношения внутри социума. И государство, и частные лица, ставшие объектами написания баллады, во всяком случае, видели в этих текстах угрозу. Баллада о рождении монстра – довольно популярная тема в площадной балладе рубежа XVI–XVII вв., – рассказывающая, как провинциальная служанка родила зловещего «дьявольского» кота, сумела встревожить члена Парламента и епископа Лондона, поскольку была чревата нагнетанием апокалиптических тревог<sup>13</sup>. В 1606 г. герой комедии Джорджа Чапмена, «Monsieur d'Olive», бессовестный светский повеса, заявляет: «Я не боюсь ничего, кроме того, что попаду в балладу»<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Wurzbach. 1990. С. 18.

<sup>11</sup> Ознакомиться с «Регистрами» позволяют два основательных издания: A transcript of the Registers (1875), а также двухтомник Extracts from the Registers (1849).

<sup>12</sup> Fox. 1994. С. 47–83.

<sup>13</sup> Об этом казусе см.: Карначук. 2006. С. 141–160.

<sup>14</sup> “I am afraid of nothing but I shall be balladed”. (Old English Plays. С. 397).

При этом официальная цензура в елизаветинскую эпоху и при первых Стюартах не смогла добиться реального контроля над площадной литературой, по крайней мере, по мнению К. Миллера<sup>15</sup>. Запретительная тенденция, разумеется, существовала и развивалась и в правление Якова I, когда издатели, в обход запрета, начали широко применять практику регистрации политически или религиозно «острых» памфлетов и баллад под нейтральным названием<sup>16</sup>. Тем не менее, огромное большинство печатных баллад, дошедших до нас, написано в духе охранительном и лояльном как к светской власти, так и к протестантизму. Наташа Вюрцбах полагает, что фактором, сдерживающим распространение подрывных площадных листов, была отнюдь не королевская власть и цензура, а «в массе своей лояльное и консервативное общественное мнение». Площадная баллада сильно зависела от спроса на нее, издателям не было никакого смысла размножать листки, не соответствующие интересам и вкусам аудитории<sup>17</sup>. Не отрицая этого вывода, следует помнить и о существовании параллельно с печатной балладой и на пересечении с ней самодельных, устных и рукописных баллад. Причем эти самодельки и лексически, и по содержанию, были куда более «солевыми», как показано в работах А. Фокса, А. Макрэя и А. Беллани<sup>18</sup>.

И все же печатная баллада XVII – первой половины XVIII в. отнюдь не является выражением застывшего и срежиссированного «сверху» официоза, это живой и крайне многообразный жанр. Фактически, площадная баллада для людей того времени являлась аналогом пришедших ей на смену газет. Она охватывает едва ли не все волновавшие современников темы: новости внешней и внутренней политики, предсказания, знамения и произошедшие катастрофы, разнообразные советы (от разъяснения, как спасти душу, до помощи в выборе хорошей жены), криминальную хронику, исторические анекдоты, развлекательные или печальные истории из жизни, любовную лирику, сатирические нападки и шутейные песни.

Авторское начало в печатной балладе иногда выглядит несколько стертым: несмотря на большую или меньшую музыкальность и красоту, лексически баллады множества авторов достаточно близки между собой, в них постоянно повторяются одни и те же обороты речи, одинаковые приемы воздействия на аудиторию. Об одной из причин такой стертости – ориентировке автора на рынок и покупательский спрос, уже говорилось

---

<sup>15</sup> Цит. по: *Wurzbach*. 1990. С. 23.

<sup>16</sup> *McRae*. 2004. С. 17.

<sup>17</sup> *Wurzbach*. 1990. С. 25.

<sup>18</sup> *Fox*. 2000; *McRae*. 2004; *Bellany*. 2002.

выше. Но надо принять в расчет и другой фактор, связанный не с самим материалом исследования, а с ограниченными возможностями исследователя: анонимность большинства сочинителей баллад. При размерах общего корпуса дошедших до нас broadsides XVI–XVII вв., составляющем около 8000 текстов, лишь о 200 авторах мы знаем хотя бы их имена или инициалы<sup>19</sup>, причем некоторые из этого списка известны как создатели всего одной или двух баллад. И едва ли более чем о двух десятках авторов имеются хотя бы скудные и спорные биографические данные.

Основываясь на этих данных, с уверенностью, пожалуй, можно сказать только одно: разнообразие социального и образовательного уровня авторов было крайне велико. Баллады сочиняли (и прославились на этом поприще) и выпускник Оксфорда, наставник Генриха VIII, поэт-лауреат Джон Скелтон, и бывший ткач Томас Делоне, и содержатель лондонской таверны Мартин Паркер. Обращались к балладе, чтобы высказать свои взгляды, дворянин Джон Хейвуд, католические священники Уильям Форрест и Леонард Стопс, протестант-проповедник Томас Брайс. Более того, в авторстве некоторых баллад современники подозревали не только придворных, таких, как Уолтер Рэли, но и монарха, Генриха VIII. Многие сочинители, высказавшись в балладе, больше никогда не обращались к этому жанру. Хотя, по всей видимости, постепенно складывалась когорта авторов, регулярно подрабатывавших написанием и продажей баллад, но трудно предположить, что кто-то из них мог заработать этим себе на жизнь, слишком дешево оценивался подобный труд. Скорее, это было ремесло ради приработка или занятие для развлечения, соединенное с возможностью высказаться.

Причиной того, что баллады редко подписывались, была не столько боязнь конфликта с цензурой, сколько низкий статус баллады в иерархии литературных жанров. Собственно, из всех жанров баллада считалась едва ли не самым низшим и недостойным. Начиная с середины XVI в. на площадную балладу обрушиваются критики, нападающие на нее как во имя нравственности, так и во имя литературного качества текста. Томас Лодж в «Защите поэзии, музыки и пьес» (1579), прямо призывает городские власти искоренять дикие песни, полные непристойностей, которые поют разные негодяи: глупые баллады заставляют забыть о добрых и божественных стихах<sup>20</sup>. Томас Нэш в «Анатомии абсурда» (1589) насмехается над «невежественными рыцарями эля», бормочущими баллады<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Poulton. // *Early Music*. 1981. С. 427.

<sup>20</sup> Lodge. 1853.

<sup>21</sup> Nash. 2010. С. 23.

Появляется даже баллада против нечестивых баллад. Проповедник Томас Брайс в 1570 г. выпускает балладу под названием «Против грязных сочинений и подобных наслаждений» (*Against filthy writing, and such like delighting*), в которой риторически спрашивает, кому служат англичане – Господу или Купидону, и призывает немедленно отречься от грязных песен из таверны<sup>22</sup>. Критики осуждают балладу за грубость и безграмотность – в самом деле, стандартов «изящной словесности» своей эпохи площадной листок не выдерживает. Хершел Баркер показал некогда в специальной статье, сколь формальны и отрывочны в площадной балладе обращения к античной литературе и мифологии<sup>23</sup>. Простота и отсутствие попыток играть с мифологическими или тонкими религиозными ассоциациями читателя, объяснимы тем, что баллада ориентирована на широкие слои городских и деревенских простолюдинов, и даже образованный автор стремился в ней прежде всего к доходчивости.

Низкий литературный статус сочетался с дурной нравственной репутацией: сочинители и исполнители баллад выглядят в работах своих критиков вечно пьяными, красноносыми, развратными и безграмотными. Исполнители баллад, а они обычно были и их продавцами, даже прямо обвинялись в сообщничестве с ворами-карманниками<sup>24</sup>.

Однако пренебрежительное отношение к жанру несколько не мешало читать баллады представителям практически всех страт английского общества XVI–XVII вв. Продажа площадных листов растет из года в год. Если в первый год существования Компании Книгоиздателей среди ее членов было всего два печатника, занимавшихся изданием баллад, то через 10 лет таких издателей было уже 40, и около 30 печатников издавали баллады без лицензии, в обход закона. Мелодии баллад – таких как *Fortune my foe*, *Lord Willoughby*, *Walsingham*, *Greensleeves*, *Bonny sweet Robin* – имеют в английской музыке XVI–XVII вв. десятки обработок для разных музыкальных инструментов: виолы, лютни, верджинела<sup>25</sup>.

Поток баллад не иссякает вплоть до 1648 г., когда их сочинение и распространение было запрещено пуритански настроенным Парламентом, вместе с другими видами общественных развлечений. В течение пяти лет баллады отсутствуют в Регистрах компании книгоиздателей, хотя их «нелегальная» – устная и рукописная – жизнь продолжается. Баллады эпохи Английской революции заметно политизируются и делятся на по-

<sup>22</sup> A collection of seventy-nine black-letter ballads. С. XIII.

<sup>23</sup> *Barker*. 1939. С. 981–989.

<sup>24</sup> *Greene*. 1924. С. 18–19.

<sup>25</sup> *Poulton*. 1981. С. 428.

лярные лагеря: про-королевский и про-парламентский. Причем в роялистском лагере жанр не подвергается запрещению, и даже приобретает новые ритмические черты походной песни<sup>26</sup>. Что касается протестантов, то в 1653 г. Оливер Кромвель, в качестве лорда-протектора, восстановил театральные представления и вновь дозволил печатание баллад<sup>27</sup>. Революция, таким образом, не прервала существование и развитие жанра, но другие, более длительные и менее заметные трансформации кардинальным образом изменили облик печатного листка.

К концу XVII в. баллада все больше превращается в «литературу для бедных», обретает черты профессионально создаваемых текстов, формируемых с точным прицелом на реформирование и улучшение моральных стандартов социальных низов. П. Бёрк указал на наличие достаточно планомерной «реформы нравов» во всех европейских странах на рубеже Нового времени<sup>28</sup>, и в области сочинения баллад его точка зрения находит ряд подтверждений. Баллада ошутимо становится беднее лексически, в области интонирования текста задушевность заменяется сенсационностью, авторы, как прежде, анонимные, становятся все более безликими.

Безусловно, здесь свою роль сыграло все более значительное культурное обособление образованной «элиты» общества от менее зажиточных слоев. Политические новости, начиная с появления в 1620-е гг. первых «Курантов», «чистая публика» все чаще ищет не в варварских рифмованных стихах, а в газетах или прозаических памфлетах. Собственно, сами газеты проходят путь от broadside, в каком формате появились первые голландские «Куранты» в 1620–1621 гг., до небольших памфлетов, «книг новостей»<sup>29</sup>. Цена таких книг выше, чем печатного листка, который стоил один-два пенни, позволить себе покупать книги может только человек с постоянным и достаточно большим доходом. Существовавшая в образованных кругах уже в XVI в. неприязнь к интеллектуальной убогости баллады, которая пропитывала массу сочинений самых разных писателей и проповедников – над продавцами и покупателями баллад в своих произведениях посмеивались и Шекспир, и Бен Джонсон, – постепенно перестает встречаться в «высоких жанрах». Площадную балладу просто перестают замечать, она по-прежнему существует, но уже не влияет на образованных людей, становится уделом безграмотных матросов и торговков.

<sup>26</sup> См.: The cavalier songs and ballads. 1863.

<sup>27</sup> The Roxburghe Ballads. 1871. P. XV.

<sup>28</sup> Burke. 1978.

<sup>29</sup> Shepard. 1962. С. 28.



Но, прежде чем разрыв образованной публики с площадной балладой произошел окончательно, она начала превращаться в исторический памятник, в объект собирательства. Ценность площадных листков как «любопытных редкостей» оценили во второй половине XVII в., именно тогда возник ряд коллекций, благодаря которым мы сейчас имеем возможность изучать площадную литературу.

Наиболее известный и один из самых первых коллекционеров – Сэмюэл Пипс, свидетель казни Карла I и непосредственный участник возвращения на престол Карла II, автор исключительно интересных «Дневников», был человеком обширных интересов. Он собрал коллекцию печатных баллад и песен, объемом в пять томов и размером в 1800 баллад, из которых почти полторы тысячи – это тексты конца XVI и начала XVII вв., эпохи расцвета жанра. Причем Пипс, с одной стороны, выступает как коллекционер, т.е. рассматривает баллады не столько как повседневное чтение и не как источник новостей, а как занятые редкости. Свою коллекцию он делит на 11 категорий, среди которых: «Набожность и мораль», «Государство и времена», «Истории настоящие и выдуманные», «Любовь приятная» и «Любовь несчастная», «Море», «Выпивка и добрая компания» и т.д. Сами принципы распределения баллад по категориям очень интересны и заслуживают отдельного исследования<sup>30</sup>, однако уже факт каталогизации показывает, насколько Пипсу, придворному и администратору высокого ранга, чужд некогда общепринятый жанр. Но разрыв с балладой еще неполон: Пипс порой выступает и как читатель, получающий удовольствие от площадных текстов и не стесняющийся его показать. Например, на похоронах сэра Томаса Теддимана, печаль не помешала одному из знакомых Пипса достать из кармана баллады, а Пипс «их прочел, и остальные подошли ко мне послушать, и мы все очень веселились, потому что это были новые баллады. Тем временем и труп вынесли, и мы...пошли пешком через Лондонский мост...»<sup>31</sup> Баллада еще остается для высшего круга источником развлечения и радуется своей новизной, но политическая и новостная ее функции уже утеряны.

Второе по величине и значимости собрание, *The Roxburghe ballads*, названо по имени графа Роксборо, на исходе XVIII в. сохранившего и расширившего изначальную коллекцию. Это собрание начало свое существование, как и коллекция Пипса, во второй половине XVII в., и первым собирателем его стал граф Роберт Харли, придворный королевы

---

<sup>30</sup> Статьи и библиографию по теме см.: English Broadside Ballad Archive (EBBA). URL: <http://ebba.english.ucsb.edu/page/Pepys-categories>.

<sup>31</sup> The diary of Samuel Pepys... Запись от 15 мая 1668 года.

Анны, с большим увлечением коллекционировавший редкие манускрипты и ранние печатные документы. Баллады Роксборо насчитывают 733 текста, из которых к ранним можно отнести менее двухсот. Другие собрания баллад (часто не печатных оригиналов, а переписанных владельцами от руки), такие как The Shirburn Ballads, Euling Collection, Bagford Collection, Richard Rawlinson Collection и др., насчитывают от 400 до 100 баллад каждая, доля же текстов эпохи Елизаветы и Якова I в них в среднем не выше 30%<sup>32</sup>.

Именно на основе этих коллекций и отдельных сохранившихся печатных листков строилась и строится работа исследователей площадной баллады. Несмотря на тематические предпочтения некоторых коллекционеров (так, неизвестный нам первый собиратель кодекса Ширбурнских баллад явно благоволил к религиозным поучениям и назидательным историям), этот комплекс источников может дать представление и о наиболее популярных темах площадной баллады, и об особенностях ее построения как текста, и о широкой палитре смыслов, сознательно или неосознанно вложенных авторами в свои произведения. В этом смысле именно баллада конца XV – начала XVII в. наиболее репрезентативна в качестве зеркала, отражающего распространенные убеждения широких слоев английского общества этой эпохи.

Однако обращение к площадным листкам как к источнику, несмотря на давнюю традицию, далеко не исчерпало своих возможностей. Во второй половине XIX в., благодаря огромным и постоянным усилиям таких знатоков ранней английской литературы и шекспироведов, как Джон Пейн Коллиер, Хайдер Эдвард Роллинс, Уильям Чэппел и их последователей, значительная часть коллекций площадных баллад была опубликована и получила научный комментарий. Собранные и отредактированные ими издания до сих пор остаются необходимым ресурсом любого, кто обращается к теме ранней площадной литературы<sup>33</sup>.

Но для исследователей второй половины XIX и первой половины XX в. площадные баллады служили лишь источниками по истории английской литературы. Кроме того, сохранялось традиционное отношение к ним как «низкому» и грубому жанру. В 1939 г. Х. Баркер еще с трудом находит оправдания для того, чтобы причислить балладу к «литературным произведениям», настолько примитивным и варварским считается этот жанр<sup>34</sup>. Во многом это негативное отношение обусловила позиция

---

<sup>32</sup> The Bagford ballads. 1878; The Shirburn ballads. 1907.

<sup>33</sup> Помимо уже упоминавшихся, нужно отметить A Pepsysian Garland. 1971.

<sup>34</sup> *Barker*. 1939. P. 981.

еще одного прославленного собирателя баллад, Фрэнсиса Джеймса Чайльда<sup>35</sup>. Чайльд стремился к поиску народного, фольклорного творчества, понимая его как древнее, изустно передаваемое и мало изменчивое. Исходя из этого он, часто вопреки очевидности, считал наиболее ранней формой бытования баллады устную, потом – рукописную, а печатную форму рассматривал как хронологически более позднюю и менее ценную, «испорченную»<sup>36</sup>. Также непременным атрибутом «народной» баллады ему виделась нарративность и кольцевое построение текста с повторяющимися рефренами. Таким образом, Чайльд фактически отрицал право на литературную и научную ценность баллад политических, не излагавших отдельную историю (например, баллад в форме перечня добрых советов или наставлений), а также хоть сколько-нибудь «грубых» или «скабрзных». Хотя субъективизм Чайльда в оценке баллад подвергался порою критике, в целом, его концепция народного, фольклорного творчества оказалась наиболее авторитетной в тот период. Она в наибольшей степени соответствовала пониманию «фольклора» и «народной традиции», господствовавшей в тот период.

Следует отметить, что активная роль печатной баллады в политической и повседневной жизни Англии XVI–XVII вв. все же была отмечена М.А. Шабером в работе «Некоторые предшественники газет в Англии. 1476–1622 гг.», но дальнейшего развития это направление, насколько мне известно, не получило<sup>37</sup>. Возрождение интереса к площадной балладе как источнику, а также расширение сферы применения данных, полученных из этого источника, относятся ко второй половине XX века. Первой ласточкой стала книга Лесли Шепарда о происхождении и смыслах площадной баллады<sup>38</sup>. Он предлагал классифицировать все многообразие баллад, разделив их на четыре типа: традиционная баллада, печатная, литературная и салонная<sup>39</sup>. В этом, как и в критериях оценки «традиционности» баллады, Шепард во многом повторял Чайльда. Однако книгу отличает попытка подойти к балладе как к динамически развивающемуся жанру, в котором устная и письменная формы связаны очень тесно. Шепард сделал значимую попытку «взломать» иерархию жанров, вывел печатную балладу из числа бедных и примитивных текстов.

---

<sup>35</sup> Фундаментальной работой Чайльда является пятитомное издание “The English and Scottish Popular Ballads”. URL: <http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/>

<sup>36</sup> Brown. 2011. P. 68.

<sup>37</sup> Shaaber. 1929.

<sup>38</sup> Shepard. 1962.

<sup>39</sup> Ibid. P. 31.

Дальнейшее развитие интереса к площадной балладе, можно сказать, настоящий бум, произошел в 1980–2000 гг. в результате переосмысления предмета и методов исторической науки, которое имело место в рамках «антропологического поворота». Интерес к истории повседневности, к истории возрастной и гендерной (история детства, молодежных объединений, женщин, старости), маргинальных и профессиональных групп (история ремесленных специальностей, криминала, моряков, маргиналов) – для любой из перечисленных отраслей площадная баллада может служить и служит превосходной источниковой базой. Особенно заметны прорывы в двух сферах: гендерной истории и истории преступления и наказания. Прекрасные работы Мартина Рэндала, Джой Вилтенбург, Патриции Фумертон, Сандры Кларк<sup>40</sup> показали, насколько богатым оказывается анализ повторяющихся мотивов в площадных балладах и как богаты в этом смысле могут оказаться перспективы компаративного исследования. В частности, сравнение одного и того же жанра печатного листка в Германских землях и Англии дало возможность Д. Вилтенбург выявить специфические черты гендерного кода, отношения к насилию и особенности смехового восприятия в двух этих регионах. Сравнительный подход к разным типам источников – площадной балладе, памфлету, проповеди, гравюре – позволил Тессе Уатт сделать интересные выводы о нормах народного благочестия и помощи бедным<sup>41</sup>.

Изучение площадной баллады при помощи методов не только исторической науки, но филологии, социологии, в частности теории коммуникаций, психологии также дает возможность делать обоснованные выводы о восприятии устного и письменного слова, об особенностях популистской риторики XVI века, о восприятии авторитета и закона. Это показали работы Наташи Вюрцбах и Рут Финнеган<sup>42</sup>.

Возродившийся интерес к площадным листкам привел к созданию, в рамках ряда крупных грантов, мощных электронных ресурсов, делающих тексты и факсимиле broadsides доступными широкому кругу исследователей. Самым значительным из этих проектов, без сомнения, является Архив английской площадной баллады<sup>43</sup>.

Таким образом, доступность текстов, применение междисциплинарных подходов и обращение к площадной балладе как источнику, который дает возможность заглянуть в строй мыслей и чувств широких

---

<sup>40</sup> Clark. 2003; Fumerton. 2002. С. 493–518; Randall. 2005; Wiltenburg. 1992.

<sup>41</sup> Watt. 1991.

<sup>42</sup> Finnegan. 1988.

<sup>43</sup> English Broadside Ballad Archive (EBBA). URL: <http://ebba.english.ucsb.edu/>

слоев английского населения XVI–XVII вв. делает обоснованной дальнейшую работу в этой области, в частности исследование репрезентации власти и суда в площадной балладе, особенностей смеховой культуры, восприятия нормы и чуда и др.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### ИСТОЧНИКИ

- The Bagford ballads. Hertford: Stephen Austin and Sons, 1878. 1117 p.
- Broadside blackletter ballads, printed in 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> centuries, chiefly in possession of J. Payne Collier. L.: Printed by Thomas Richards. 1868. 131 p.
- The cavalier songs and ballads of England 1642 to 1689 / Ed. by Charles Mackay. L.: Griffin Bohn and Co. 1863. 310 p.
- The diary of Samuel Pepys M.A. F.R.S. / Ed. by Henry B. Wheatley. L.: George Bell & Sons. 1893. URL: <http://www.gutenberg.org/files/4195/4195-h/4195-h.htm>.
- Extracts from the Registers of the Company of Stationers of London, between the years 1570–1587 / Ed. by J. Payne Collier. L., 1849. 294 p.
- Greene R. The blacke bookes messenger. Cuthbert Conny-catcher. The defence of conny-catching. L.: John Lane the Bodley Head Ltd. 1924. 66 p.
- Lodge Th. A Defence of poetry, music and stage-plays. L., 1853. 129 p.
- Nash Th. Memorial, Introduction, Biographical; Anatomy of Absurdity; Martin Marprelate Tractates, Etc. Whitefish, Montana: Kesseinger Publishing, 2010. 328 p.
- Old English Ballads 1553–1625, chiefly from manuscripts / Ed. by Hyder E. Rollins. Cambridge: Cambridge university press. 1920. 422 p.
- Old English Plays. Vol. 3. L.: Wittingham and Bowland. 1814. 432 p.
- A Pepysian Garland. Black-letter broadside ballads of the years 1595–1639 / Ed. by Hyder E. Rollins. Cambridge: Harvard University Press. 1971. 475 p.
- The Roxburge Ballads. Vol.1 / Ed. by W. Chappel. L.: Taylor and Co., 1871. 643 p.
- The Shirburn ballads, 1585–1616 / Ed. by A. Clark. Oxford: Clarendon Press, 1907. 380 p.
- Songs and ballads with other short poems chiefly of the reign of Philip and Mary / Ed. by Thomas Wright, L.: Nichols and Sons, 1860. 215 p.
- A transcript of the Registers of the Company of Stationers of London, 1554–1640. 2 vols. / Ed. by Edward Arber. L., 1875. 596 c.

### ЛИТЕРАТУРА

- Barker Hershel C. Classical material in broadside ballads, 1550-1625 // PMLA. 1939. Vol. 54. № 4. P. 981–989.
- Bellany, Alastair. The politics of court scandal in Early Modern England: News culture and the Overbury affair. Cambridge: Cambridge University Press. 2002. 335 p.
- Burke P. Popular culture in Early Modern Europe. N.Y.: New York Univ. Pr., 1978. 365 p.
- Brown M. E. Child's Unfinished Masterpiece: The English and Scottish Popular Ballads. Urbana: University of Illinois Press, 2011. 198 p.
- Bryant F.A. History of English balladry. Boston: The Gorham press, 1913. 442 p.
- Clark, Sandra. Women and crime in the street literature of Early Modern England. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. 233 p.
- Finnegan, Ruth. Literacy and Orality: Studies in the Technology of Communication. Oxford: Basil Blackwell. 1988.

- Fox A.* Ballads, libels and popular ridicule in Jacobean England // *Past and Present*. 1994. № 145. P. 47–83.
- Fox A.* Oral and literate culture in England, 1500–1700. Oxford: Oxford University Press, 2000. 497 p.
- Fumerton P.* Not Home: Alehouses, Ballads, and the Vagrant Husband in Early Modern England // *Journal of Medieval and Early Modern Studies*. 2002. № 32. P. 493–518.
- McRae A.* Literature, Satire and the Early Stuart State. N.Y.: Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 250 p.
- Poulton, Diana.* The Black-letter broadside ballad and its music // *Early Music*. 1981. Vol. 9. № 4. P. 427–437.
- Randall M.* Women, Murder, and Equity in Early Modern England. N.Y.: Routledge, 2008.
- Rollins, Hyder E.* Black-letter broadside ballads // *PMLA*. 1919. Vol. 34. № 2. P. 258–339.
- Shaaber M.A.* Some Forerunners of the Newspaper in England 1476–1622. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1929.
- Shepard L.* The broadside ballad. A study in origins and meaning. L.: Cox and Wyman Ltd., 1962. 205 p.
- Watt Tessa.* Cheap Print and Popular Piety, 1550–1650. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 392 p.
- Wiltenburg, Joy.* Disorderly Women and Female Power in the Street Literature of Early Modern England and Germany. Charlottesville: University Press of Virginia, 1992.
- Wurzbach, Natascha.* The Rise of the English Street Ballad, 1550–1650 / Translated by Gayna Walls. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Карначук Н.В.* Случай Агнесс Боукер: гендерные установки в позднесредневековой Англии // *Адам & Ева*. № 11. М.: ИВИ РАН, 2006. С. 141–160.

**Карначук Наталья Викторовна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры английской филологии факультета иностранных языков Томского государственного университета; [karnach@2005yandex.ru](mailto:karnach@2005yandex.ru)

*И. И. Лисович*

## **ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕНОГО В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ**

---

Статья посвящена исследованию динамики иконографии и визуальной репрезентации ученых от Средних веков к раннему Новому времени. Анализ парадных портретов, гравюр, миниатюр и иллюстраций к научным изданиям дает картину, отличную от той, которую мы имеем при анализе вербальных источников, что позволяет уточнить и дополнить представление эпохи об ученых, а так же обнаружить специфическую тенденцию в изображении ученых и научных практик.

*Ключевые слова:* визуализация, репрезентация ученого, социальный статус ученого, Пьер де Айли, Коперник, Джон Ди, Уильям Гилберт, Иоганн Кеплер, Френсис Бэкон.

---

В раннее Новое время происходит интенсивная рефлексия о месте ученого в обществе. Возникают размышления о том, кто такой ученый, чем он занимается, жалобы на судьбу и неблагодарный труд ученого, спор со схоластами о том, кто является истинным ученым в трактатах Д. Бруно, «Анатомии меланхолии» Р. Бертона,<sup>1</sup> «Характерах» Томаса Овербери. Вербальная репрезентация ученого не раз встречается и в художественной литературе, и она достаточно хорошо изучена. Особые насмешки вызывает алхимик-шарлатан в «Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера, «Алхимике» и «Магнетической леди» Б. Джонсона. В «Трагической истории доктора Фаустуса» К. Марло и в немецкой народной книге о Фаусте возникает устрашающий образ ученого-мага, готового преступить божественные, моральные и социальные законы ради того, чтобы проникнуть в тайны природы и подчинить ее своей воле.

Анализу визуальной репрезентации ученых посвящено гораздо меньше работ, которые, как правило, рассматривают отдельные картины или гравюры, изображающие ученых, с точки зрения искусствоведения и презентистской истории науки. Но нет специальных исследований, где прослеживалась бы эволюция визуального изображения ученых и научных практик в раннее Новое время, поскольку портретные изображения рассматриваются как некое биографическое свидетельство о личности ученого, наподобие фотографии в паспорте, а надписи и атрибуты – как фактографическое свидетельство, позволяющее идентифицировать личность и профессиональную принадлежность. Между тем изучение визу-

---

<sup>1</sup> Макаров. 2013.

ального материала позволяет уточнить и дополнить вышеназванные репрезентации, а также обнаружить специфическую тенденцию в изображении ученых и научных практик, которая не видна в перечисленных трактатах, литературных и философских текстах.

Осмысление роли ученого обычно привязывается к истории научных идей, тогда как социальный аспект его репрезентации остается вне анализа. Занятие наукой требует особых способностей, и в силу специфики профессии ее невозможно было продолжить по праву рождения<sup>2</sup>, что позволило впоследствии воспринимать ее вне сословного контекста. С другой стороны, в эпоху возросшей социальной мобильности успешное занятие наукой и возможность получить патронаж позволяло выйти за пределы своей социальной страты, поле научных изысканий было открыто для сословий, имевших доступ к образованию. Но и эта позиция оказывается слабой, так как именно в раннее Новое время, несмотря на карьерный и социальный рост ученого, связанный с личными достижениями в области науки, привилегии и экономическая стабильность из-за социальной стратификации продолжали оставаться у коллег с более высоким происхождением, да и само положение ученых оставляло желать лучшего. Многие ученые раннего Нового времени, за исключением врачей, не просто жалуются на нищету и зависимость от прихотей патрона, но и умирают в бедности.

Проблеме социального статуса ученых в истории науки уделяется косвенное внимание. В биографиях обычно прослежен путь в науку и карьерный рост, демонстрирующий вертикальную социальную мобильность и прямую зависимость успешности от личных качеств ученого. По умолчанию предполагается, что научная среда не принимает во внимание происхождение ученого, поскольку в ней все равны перед истиной. Тогда как визуальная репрезентация ученых того времени подчеркивает его социальное положение, а научные практики рассматриваются не только как продолжение истории научных открытий, но и выстраивают свою иерархию среди ученых.

Современные исследования социологии профессий показывают, что социальный, экономический и политический компоненты оказывают существенное влияние на научную среду. П. Бурдье в книге «Номо Academicus» (1984) анализирует научные институции XX века с точки зрения капитала академической власти, научного престижа, интеллекту-

---

<sup>2</sup> Кроме того, как правило, большинство ученых имели сан священника, не были женаты, не имели детей, и в большинстве университетов существовал запрет на брак (например, в Оксфорде профессорам разрешили жениться только в конце XIX в.).



ального реноме и социокультурного капитала и приходит к выводу, что академическая карьера имеет тенденцию опираться на происхождение ученого, поскольку, вопреки распространенному мнению, научная среда не только не стирает социальные различия, а, наоборот, ученые привносят в академические институции элементы культуры, в которой они были воспитаны. Применительно к среде Эколь Нормаль 1970-х гг. он пишет: «система академической классификации... не перестала функционировать... в качестве скрытого инструмента социальной стратификации... академическая система продолжала устанавливать иерархии, прямо выраженные в университетских карьерах. Все происходит как, будто “нормальцам” предлагали академические карьеры прямо пропорционально их социальному происхождению в очень жестко организованном академическом пространстве, в зависимости от института (от Коллеж де Франс до лицей), места жительства (от Парижа до маленького города) и дисциплины (от философии до иностранных языков и от математики до химии)»<sup>3</sup>. Тем не менее, далее Бурдьё отмечает, что нет прямой корреляции между академической карьерой и вышеуказанными социальными статусами, но они являются неким катализатором, определяющим амбиции, самоуважение ученых, влияющие на их «карьерные решения» и «порывы», что предопределяет и позицию академической системы.

Следовательно, карьерные интенции даже в академической среде XX века подпитываются не только личными достижениями в области науки, но и факторами социального происхождения и полученного образования. В этой связи показательным является анализ визуального материала эпохи, когда социальная стратификация еще достаточно устойчива и привязана к происхождению, а ученые еще не обладают социальными институциями и корпорациями, защищающими их интересы и самооценку научных изысканий. Поэтому предметом исследования в статье являются портреты основоположников научной революции преимущественно в области астрономии, которых мы бы сейчас назвали успешными или «эффективными», поскольку их научные достижения были очевидными уже для коллег и современников. Второй сегмент для анализа представлен гравюрами и иллюстрациями к научным и научно-философским работам, которые призваны были дать читателю визуальный образ, репрезентируемых в книгах авторских идей и научных практик, поскольку они определяли профессиональную принадлежность ученого.

В раннее Новое время часто встречаются изображения философов (Аристотеля, Платона и Сократа) и семи Свободных искусств, которые

---

<sup>3</sup> Bourdieu. 1988. P 215–216.

продолжают традиции средневековой миниатюры и не только являются иллюстрациями, но и дают представление об иерархии и цели свободных искусств. Аллегорические анонимные изображения ученых можно встретить в средневековых книжных миниатюрах и на картинах Рубенса «Четыре философа» (1611–1612), Рембрандта «Спор двух ученых» (1628), «Ученый» (1631), «Читающий философ» (1631), «Размышляющий философ» (1631), «Аристотель перед бюстом Гомера» (1653) и Яна Вермеера «Астроном» (1668), «Географ» (1669). Как правило, род их деятельности узнаваем по иконографическим атрибутам, обычно это – астрономические и геометрические инструменты, алхимические приборы. Репрезентация ученого практически всегда привязана к его деятельности и отражает представления о современных ему научных практиках посредством изображения профессиональных маркеров. Астрономические объекты и Бога с циркулем в руках можно встретить и на фресках храмов, поскольку купол – это символ неба и гармонии мира. Научное познание соотносится со стремлением познать божественное, как, например, в издании 1490 года трактата Пьера д'Айли (Pierre d'Ailly, Petrus de Alliaco, 1351–1420) «Concordantiae astronomiae cum theologia necnon historicae veritatis narratione» (1414)<sup>4</sup>, где он пытается соединить Св. Писание и астрономию<sup>5</sup>. Будучи астрономом, астрологом, географом и номиналистом, он считал возможным или вероятным познание Бога при помощи разума, предвосхитив своим учением философию Декарта и Лейбница. В гравюре демонстрируется желание примирить небесные божественные письма и Библию, что станет особенно актуальным для ученых XVI–XVII вв. Астрономия не только показывает перстом на знаки небесные (астрологические символы птолемеево-аристотелианского космоса), но и держит перед собой раскрытую книгу, которая обозначает Библию.

Теология занимает доминирующее положение, так как она располагается выше Астрономии и находится на геральдически правой стороне. Теология указывает перстом вниз, на Землю, которая мыслится центром Мира и местом, где свершилось искупление Христа. Жесты Теологии и Астрономии зеркальны и выражают согласие, заявленное в названии трактата, поскольку знаки небесные и библейские дают возможность прочесть земные события. Средневековая традиция аллегорич-

---

<sup>4</sup> *Dispute of Theologus and Astronomus Source: Pierre d'Ailly. 1490.*

<sup>5</sup> П. д'Айли стремился согласовать христианскую историю с астрономическими и астрологическими вычислениями, он сделал попытку интерпретации пророчества святого Иоанна, определил дату пришествия Антихриста, составил гороскоп Христа и постарался установить связь между циклами Сатурна и Юпитера с политическими и социальными событиями.

чески-символического изображения свободных искусств сохраняется и в раннее Новое время, например, во фресках Рафаэля 1609–1611 гг., где мы видим «Теологию», «Астрономию», «Философию» с присущими им иконографическими атрибутами и девизами. По этому же принципу изображены «Меланхолия» А. Дюрера (1514), «Меланхолия» Лукаса Кранаха Младшего (1534), титульный лист к изданию Дж. Флемстида «Atlas Coelestis» («Небесный атлас», 1729).

Трактаты Пьера д'Айли остаются актуальными и в раннее Новое время, но на гравюре конца XVI века<sup>6</sup> ученый изображен в традиции средневекового готического профильного портрета, возможно, с его скульптурного изваяния, расположенного на могиле. Он одет в меховую кардинальскую мантию, кардинальская шляпа висит на стене, а астроном размышляет над открытой книгой. Справа располагается стопка из двух книг. Эта репрезентация подчёркивает важность для потомков его трактатов, сохраняя указание на социальный статус кардинала. На гравюре XVIII века П. д'Айли<sup>7</sup> тоже изображен в профиль в еще более скромной одежде священника и накидке кардинала на правом плече. Сверху находится надпись «Пьер д'Айли. Кардинал», под портретом располагаются весы, где на верхней чаше лежат атрибуты кардинала: посох, шляпа (галеро) и папская митра, а перевешивают эту чашу сложенные крест-накрест скрижали. Очевидно, что для автора гравюры важно подчеркнуть астрономические и алхимические работы д'Айли, в сравнении с его достижениями в церковной карьере.

Эта небольшая ретроспекция на примере изображения кардинала д'Айли позволяет наметить основные особенности репрезентации людей, которые занимались наукой в Средневековье и раннем Новом времени: изображение всегда демонстрирует сословную принадлежность и социальный статус ученого. Это обусловлено, с одной стороны, устойчивой корпоративной иерархией общества, где наследственного сословия ученых не было, с другой – занятия наукой были связаны с существующими образовательными и церковными институтами. И если в Средневековье этой деятельностью традиционно занимались университеты и такие монашеские ордена как доминиканцы, бенедиктинцы и затем – иезуиты, и ученые чаще всего принадлежали к духовному сословию, то в раннее Новое время появляются альтернативные научно-образовательные пространства, где ученый, с одной стороны, принадлежит к своему сословию, с другой – становится частью так называемой

---

<sup>6</sup> *Cardinal Pierre d'Ailly*. 1584.

<sup>7</sup> *Cardinal Pierre d'Ailly*. XVIIIe s.

академии, «невидимого колледжа», «республики ученых» или «*respublica litteraria*», где правит эгалитарность.

Традиция «сословного» изображения людей, которых мы сейчас знаем как ученых, сохранилась в портретной живописи и гравюрах вплоть до XIX в. Она восходит к средневековой практике, когда торговцы, врачи, военачальники, мореплаватели, деятели церкви, ремесленники и крестьяне изображались с соответствующими атрибутами, обозначающими их принадлежность к корпорации. Но на изображениях ученых раннего Нового времени указаны не просто символы их профессиональной деятельности, а точно воспроизведены их личные изобретения, открытия и идеи. Так Николай Коперник, давший математическое обоснование гелиоцентрической модели Вселенной, изображен в одежде священника на копии портрета-гравюры (ок. 1668) который, возможно, принадлежал Эразму Рейнхольду<sup>8</sup>. В верхнем правом углу помещена гелиоцентрическая модель мира и треугольник в виде факелов<sup>9</sup>, в правом – герб с двойным крестом на белом фоне<sup>10</sup>, а изо рта вьется лента-девиз: «Надежда моя в Господе Христе» (*Spes mea in Deo Jesu*). Надпись под портретом гласит: «*Dominus Nicolaus Copernicus, Sacerdos, Canonicus Regularis, Astronomorum Coryphaeus. Ex Authentico Prototypo Erasmi Reinholdi, Copernic, Trutinat Terrae, Lunae que Labores, Sidereas Monstrat Pausas, Abstrusa que Pandit*»<sup>11</sup>. Показательно, что вначале точно указыва-

<sup>8</sup> *Copernicus, Nicolaus. Before 1668.*

<sup>9</sup> Возможно, отсылка к книге Н. Коперника «О сторонах и углах треугольников как плоских, так и сферических» (*De lateribus et angulis. triangulorum, tum planorum rectilineorum. 1542*).

<sup>10</sup> В 1497 г. Коперник стал каноником вармийского капитула. Вармийский принц-епископат был основан в 1243 г. Тевтонским орденом (*Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem*), после 1466 г. орден перешел под вассалитет королевства Польского, что породило политическую и финансовую неопределенность, поскольку тевтонцы не желали платить налог польскому королю и лоббировали свои интересы в Риме. Дядя Коперника Лукас Ватценроде, воспитывавший его после смерти отца, занимал должность принца-епископа Вармийского с 1489 по 1512 и был сторонником прямого подчинения епископата Риму. В 1510–1543 гг. Коперник был каноником собора во Фромборке, занимал должности канцлера, инспектора, комиссара, наблюдателя, посла и главного администратора вармийского капитула. После смерти Л. Ватценроде в ситуации неопределенности статуса принца-епископа в 1512–1523 гг. во время войны королевства Польского и подвассального ему Тевтонского ордена Коперник в должности канцлера с фромборским капитулом в 1512 г. приносит присягу верности польскому королю Сигизмунду I, который принадлежал к династии Ягайло. Двойной крест этой династии изображен на гравюре – портрете Коперника, что означает верность Сигизмунду I.

<sup>11</sup> Текст содержит ошибки, возможно, гравировщика и с трудом поддается точному переводу.

ется социальный статус – священник, регулярный каноник (т.е. принесший монашеский обет), и только потом Коперник назван «корифеем»<sup>12</sup> астрономии», который показал гармоничное положение Солнца, Луны и звезд, открыв их тайны.

На сайте музея Коперника во Фромборке утверждается, что на гравюре, фактически изображено лицо немецкого математика, астронома, астролога, священника, ректора Тюбингенского университета (1522–1531) Иоганна Штёффлера (Johannes Stöffler, 1452–1531)<sup>13</sup>. Гравюра<sup>14</sup>, на которую ссылается сайт музея, так же изображает Штёффлера в одежде священника, его окружают астрономические и геометрические приборы, он держит в руке свернутый свиток и надпись сверху гласит «Иоганн Штёффлер. Математик», что подчеркивает его принадлежность к университетской корпорации. В данном случае, для нас не особенно важно, чье именно лицо изображено на «портрете Н. Коперника». Примечателен сам способ схожей репрезентации, благодаря чему мы можем говорить об устойчивой тенденции изображения ученых, причем, в иконографии XVI–XVII вв. наблюдается прочная корреляция между именем ученого, его корпоративной принадлежностью и научными достижениями.<sup>15</sup>

Выходец из бюргерской среды немецкий астроном, астролог, математик и механик Иоганн Кеплер (Johannes Kepler, 1571–1630), внес существенный вклад в гелиоцентрическую модель Солнечной системы Коперника. Его официальный статус придворного астронома императоров Рудольфа II, Матвея и Фердинанда II указан также и на портрете (ок. 1620)<sup>16</sup> работы неизвестного мастера: «Ioannis Keppleri | Mathematici Caesarei | hanc Imaginem. | Argentoriratensi Bibliotheca. | Consecr | Matthias Berneggerus | MDCXXVII» (Это изображение Иоанна Кеплера, математика Императора, библиотеке Страсбурга преподнес Матиас Бернегер. 1672). Согласно переписке Кеплера и профессора Страсбургского университета, астронома, филолога, переводчика трактатов Галилея, М. Бернегера (Matthias Bernegger, 1582–1640), Кеплер прислал ему этот портрет в 1620 г. Бернегер заказал с него гравюру у Якова ван Хейдена, а сам портрет подарил в 1627 г. в публичную библиотеку Страсбургско-

---

<sup>12</sup> Предводитель хора.

<sup>13</sup> *Музей Фромборка*. Официальный сайт.

<sup>14</sup> *Stöffler Johannes*, 1630.

<sup>15</sup> Этому правилу подчиняются все изображения Коперника, формируя дальнейшую традицию его визуальной репрезентации, см., например гравюры и портреты: <http://www.granger.com/results.asp?search=1&screenwidth=1366&tnresize=200&pixperpage=40&searchtxtkeys=copernicus&lastsearchtxtkeys=Copernic&withinresults=&searchphoto=grapher=&lstformats=&lstorients=132&nottxtkeys=&captions=&randomize=>

<sup>16</sup> *Kepler Johannes*. 1620.

го университета, где он находится и сейчас<sup>17</sup>. Кеплер изображен в черном дублете с белым стоячим воротником и манжетами, отороченными тонким кружевом. Рядом с ним на столе стоит звездный глобус, сделанный согласно его расчетам. Циркулем он измеряет расстояния между звездами, около глобуса лежат листы исписанной бумаги, возможно, страницы «Рудольфинских таблиц» (*Tabulae Rudolphinae*), где Кеплер впервые применил логарифмический метод для вычисления движения планет на основании наблюдений за звездным небом Тихо Браге.

Кеплер издал «Таблицы» в 1627 г. в Ульме,<sup>18</sup> посвятив их покойному Рудольфу II, патрону Тихо Браге, на фронтиспise издания размещена гравюра, выполненная Иоганном Целлером согласно замыслу Кеплера<sup>19</sup>. Она насыщена астрономическими символами и отсылками к истории астрономии. Текст «Рудольфинских таблиц» предваряет сочиненная ректором гимназии Ульма И-Б. Хебенштраотом (Johann Baptist Hebenstreit) поэма, где объясняется аллегорическое значение гравюры<sup>20</sup>. Композиция выстроена вокруг ротонды – храма Астрономии. Богиня сидит на крыше на троне в кроне, увенчанной звездами, с лавровым венцом в руках. Над ней парит имперский орел в короне, осыпая астрономов золотыми монетами, которые, падая, превращаются в звезды.

По периметру симметрично стоят шесть богинь, олицетворяющих основы астрономии Кеплера: Оптика; Наблюдение с телескопом в руках; Логарифм держит стержни, обозначающие соотношение 1:59, а число вокруг ее головы показывает натуральный логарифм 2:0,6931472. У Геометрии – компас, угольник и схема эллипса, означающая 1-й закон Кеплера: «Каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце». Далее расположена *Stathmica*, представляющая 2-й кеплеровский закон рычага и баланса: «Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади». И последняя фигура Магнетизм с компасом и магнитом в руках означает 3-й закон Кеплера (закон гармонии), отсылающий к теории У. Гилберта. На потолке ротонды воспроизведена гео-гелиоцентрическая система Тихо Браге, из центра которой свисает надпись «*Tabulae Rudolphinae*», что подчеркивает связь Таблиц с его системой.

<sup>17</sup> См. подробнее: *Kepler*. 1967. P. XV.

<sup>18</sup> Текст оригинала издания 1627 года доступен здесь: *Kepler Johannes*. 1627.

<sup>19</sup> *Gingerich*, 1992. Chapter 15.

<sup>20</sup> См. подробнее: *Gingerich*. 1992.

На заднем плане ротонду подпирают две деревянные колонны, которые символизируют древних астрономов, не имевших астрономических инструментов: стоящий около колонны халдейский астроном при помощи пальцев пытается определить угловое расстояние между планетами. Одна из колонн достроена до крыши при помощи клиньев, поскольку ранней астрономии были недоступны точные наблюдения за небом. Две колонны состоят из квадратных каменных блоков, отсылающих к астрономам древних цивилизаций, где были построены первые обсерватории. На цоколях круглых кирпичных древних колонн в дорическом стиле начертаны имена античных астрономов. На столпе, где написано «Арат»<sup>21</sup>, висит армиллярная сфера, служащая для определения экваториальных и эклиптических координат. К колонне с именем «Гиппарх» прикреплен небесный глобус, рядом с ним стоит сам астроном<sup>22</sup>. На столпе Птолемея висит астролябия, один из старейших астрономических инструментов для определения широты и долготы с помощью стереографической проекции, что было описано им в «Планисферии». Птолемей сидит около колонны, пером рисуя схему, рядом с ним лежит его «Альмагест» («*Megale syntaxis*» – «Великое построение»). К столпу Метона<sup>23</sup> прикреплен гномон, прибор для определения наклона эклиптики к экватору и определения высоты солнца над горизонтом, который он построил в 432 г. до н. э. на площади в Афинах для наблюдения солнцестояний.

Новые колонны символизируют современную астрономию. Коперник сидит рядом с колонной с его именем, на его коленях лежит книга

---

<sup>21</sup> Арат из Сол (др.-греч. Ἄρατος ὁ Σολεῦς, ок. 315 до н. э. – 240 до н. э.) – греческий дидактический поэт. Автор астрономической поэмы «Явления» (φαίνόμενα), основанной на прозаическом сочинении Евдокса Книдского, где описана геоцентрическая система мира, небесные сферы, движение Солнца по эклипике по знакам зодиака, созвездия, которые можно наблюдать с широты Книды, и порядок их обращений. Несмотря на мнение Гиппарха, что поэма содержит астрономические ошибки, современные астрономы пришли к выводу, что звёздное небо так выглядело около III тысячелетия до н. э. в районе 360 северной широты на параллели, пересекающей Крит и Кипр, а ошибки, упомянутые Гиппархом, связаны с прецессией.

<sup>22</sup> Гиппарх Никейский (др.-греч. Ἰππάρχος, ок. 190 до н. э. – ок. 120 до н. э.) – древнегреческий математик, астроном, географ и механик, создал геометрические модели движения небесных тел, имеющие высокую предсказательную точность, составил первый в Европе звёздный каталог, включивший точные значения координат около тысячи звёзд с учетом величин звезд, открыл и измерил прецессию.

<sup>23</sup> Метон Афинский (ок. 460 до н. э. – ?) – древнегреческий астроном, математик и инженер. В 433 до н. э. открыл «метонов цикл» (19-летний период равный 6940 суткам, по прошествии которого Луна и Солнце возвращаются почти в то же положение относительно Земли и звезд), положенный в основу лунно-солнечного греческого календаря, где он согласовал солнечный (365,5 дня) и лунный (354 дня). Метонов цикл позволил составить христианским астрономам цикл Пасх.

«Об обращении небесных сфер» (*De revolutionibus orbium coelestium*), за спиной располагаются «Эфемериды» Региомонтана (Regiomontanus или Johannes Müller; 1436–1476), на которые он опирался в своей работе. К его колонне прикреплен посох Иакова<sup>24</sup> и трикветрум – его применение описал Коперник в книге «Об обращении»<sup>25</sup>. В центре композиции находится Тихо Браге, указывающий рукой Копернику на свою систему мира. Его колонна украшена коринфской капителью, к ней прикреплен принадлежавший ученому секстант<sup>26</sup> и стенной квадрант<sup>27</sup>, которые были им усовершенствованы. Тихо Браге опирается на свою колонну, одет в мантию, отороченную горностаем, на груди – орден Слона, что означает его принадлежность к рыцарскому ордену «Братства Святой Девы Марии», учрежденному королем Дании Кристианом II в середине XV в. На цоколе колонны лежит его работа о планетарной теории «Приготовление к обнвлённой астрономии» (*Astronomiae Instauratae Progymnasmata*, 1592).

Основание ротонды тоже покрыто изображениями: в центре находится остров Вен (Hven), пожалованный Браге в 1576 г. специальным указом датско-норвежского короля Фредерика II в пожизненное пользование, где астроном построил Уранеборг (замок Астрономии) с библиотекой, обсерваторией, алхимической лабораторией, мастерской и типографией. Слева от острова нарисованы Солнце и роза ветров, справа – герб Дании с тремя леопардовыми львами и девятью золотыми сердцами, к острову подплывает корабль. Труды Браге, по замыслу Фредерика II, должны были прославить Данию, монарха и самого астронома.

Слева от острова помещено изображение Кеплера, который сначала переписывался с Браге, а в 1600–1601 гг. ассистировал ему в Праге. После смерти коллеги Кеплер опубликовал окончательную редакцию его тома о сверхновой звезде 1572 года. Ученый продолжил наблюдения, используя инструменты Браге, поскольку наследовал и его должность, и результатом этого совместного труда стали «Рудольфинские таблицы». Кеплер окружен астрономическими инструментами, на столе стоит макет крыши храма Урании, а выше на стене висит список его работ: «Mysterium

---

<sup>24</sup> Астрономический радиус, или поперечный жезл, инструмент для астрономических наблюдений, который позволяет измерять углы для определения широты путём измерения высоты Полярной звезды или Солнца.

<sup>25</sup> Параллактическая линейка, астрономический угломерный инструмент для измерения зенитных расстояний небесных светил и параллакса Луны.

<sup>26</sup> Навигационный инструмент для измерения высоты светила над горизонтом, что позволяет определить географические координаты.

<sup>27</sup> Предшественник секстанта, астрономический инструмент для определения высоты светила.



cosmographicum» (Тайна мира, 1596), «Astronomiae Pars Optica (Оптика в астрономии, 1604), Epitome astronomiae Copernicanae (Коперниканская астрономия, в 3-х тт., 1618–1621). Таким образом, композиция оказывается закольцованной, отражая историю астрономии, когда были изобретены основные астрономические приборы, написаны основные труды, созданы геоцентрическая и гелиоцентрические варианты концепции Вселенной Коперника, Тихо Браге и Кеплера.

По правую сторону от Уранеборга изображены печатники, работающие на станке, и наборщик, благодаря которым «Рудольфинские таблицы» и все вышеперечисленные книги в эпоху книгопечатания стали доступны не только ученым, но и всем людям, интересующимся астрономией, которые в XVII в. присоединились к наблюдениям за звездным небом, сделав немало астрономических открытий<sup>28</sup>. Кроме того, идеи и открытия астрономов, созерцание ночного неба послужили источником вдохновения для поэтов, романистов и художников, осмыслявших новое знание при помощи кончетты, аллегорий и эмблем. Соответственно, художественное мышление и риторика эпохи оказывали обратное влияние на самих ученых, которые стремились преподнести свое знание современникам не только в виде научного текста, но и при помощи узнаваемых визуальных и метафорических образов.

В Англии первым коперниканцем был Джон Ди (*John Dee*, 1527–1609), математик, географ, астроном, астролог, алхимик и герметик, автор «Иероглифической монады» (*Monas hieroglyphica*, 1564). С его именем связывают становление английской науки раннего Нового времени и идею британской империи. Несмотря на то, что Мария Тюдор отвергла его проект Королевской библиотеки, он собрал уникальную научную библиотеку в своем доме в Мортлейке, которая прославилась среди европейских ученых и стала своеобразным научным центром, здесь были издания «Об обращении небесных сфер» Коперника, карты Меркатора и т.п., хранились научные приборы и имелись комнаты для проживания и работы коллег и студентов. Ученый стал личным астрологом Елизаветы I. На портрете XVI в. (1594?)<sup>29</sup>, где Джон Ди изображен в возрасте 67 лет, надпись сообщает, что он – «англичанин» и «лондонец», подчеркивая репрезентацию ученого по корпоративному признаку (принадлежность нации и городу). Джон Ди изображен как светский человек, поскольку он был сыном торговца тканями, получил университетское образование, но благодаря медицинским, астрологическим и научным изысканиям состо-

---

<sup>28</sup> См., например: Лисович. 2012.

<sup>29</sup> *Dee John*. 1594?

ял на службе у графа Пемброка, герцога Нортумберленда и в 1576 г. получил герб (Золотой лев, девиз «Nis labor»: «Здесь – труд»). Проницательно-утонченное лицо выделяется на темном фоне, характерном для портретной живописи Англии XVI века, что напоминает изображения меланхоликов того времени. Он одет в скромную черную одежду с модным кружевным гофрированным воротником.

В 1577 г. была опубликована книга Дж. Ди «Искусство навигации» в четырех частях, где на фронтисписе<sup>30</sup> первой части изображена аллегория «Иероглиф Британии» (см. рамку), а по углам зашифрована дата написания текста – 1576. Вверху располагается фамильный герб королевы Англии Елизаветы I, а по бокам от названия – две геральдические розы (символ династии Тюдор). Снизу помещена аллегорическая картинка, нарисованная по наброску самого ученого. Книге предпослано стихотворение-обращение к королеве, где Ди призывает монарха основать малый военный флот из 60 больших и малых кораблей. Он также объясняет смысл изображения: справа сверху освещают Британию лучи божественного света; ниже парит Архангел Михаил, посланник Божий, который отгоняет тьму от острова. Британия изображена в виде коленопреклоненной женщины на берегу, которая на коленях просит королеву создать флот. На корабле в устье реки нарисован большой двенадцатипушечный корабль образца 1570-х гг., с поднятым британским стандартом, от него слева находятся иностранные обидчики или пираты, совершавшие набеги на остров. На левом берегу солдаты с факелами охраняют берег, в том числе и от тех, кто крадет зерно, которое символизирует колос, растущий вниз. Ди возлагает на малый военный флот задачу транспортировки зерна в портовые города для его распределения в случае голода.

На берегу возвышается крепость – символ безопасности, которая необходима Англии, а чуть выше на пирамиде стоит Возможность (Opportunity – символ проводимых Елизаветой реформ), которую нужно схватить за волосы, чтобы союзники стали сильнее, а враги – слабее. Королева должна поймать взгляд Возможности, создать флот и стяжать победу – лавровый венок, к которому она протянула руку. Елизавета I, сидящая на троне-корабле «Европа», отображает пророческие надежды на доминирование Англии<sup>31</sup>. В конце стиха говорится, что Елизавета будет

---

<sup>30</sup> Dee, John. 1577. Title-page.

<sup>31</sup> «Джону Ди принадлежит появление самого термина “Британская империя” и разработка концепции прав Англии на колониальные завоевания и доминирование в мире... Ди открыто сопоставил нарождающуюся Британскую империю с христианским идеалом “мистического универсального града”, объединяющего всю землю... Свою имперскую концепцию Ди рассматривал в контексте общего мистического

повелевать всем Британским океаном и станет у руля Европы. Девизом к аллегории является надпись «Plura latent quam patent» (*Больше скрывается, чем открывается*)<sup>32</sup>. Пояснительные стихотворные и прозаические послания-обращения к монархам-патронам или коллегам, которым посвящался научный труд, характерны для традиции XV–XVII вв., причем авторы старались объяснить в них не только свою концепцию, но и рассказать о его пользе для монарха, государства и общества в целом, не скупясь на восхваление мудрости венценосной особы.

Развитие навигации связано и с именем английского физика Уильяма Гилберта (William Gilbert, 1544–1603), автора теории о магнетической природе Земли и звезд обладают, которую можно описать математическим языком, что объяснило физическую природу коперниканской Вселенной. В первом издании «О магните» (1600)<sup>33</sup> доктора Гилберта, члена Коллегии врачей терапевтов, врача королевы Елизаветы, на фронтисписе изображен его личный герб<sup>34</sup>, сочетающий гербы двух семей: Гилберт (отцовский – 3 розы на черном шевроне) и Когшелл (материнский – 4 ракушки и квадратный крест). На первой странице (ij) «Предисловия»<sup>35</sup> в центре изображен герб династии Тюдоров с королевской короной наверху, обрамленный лентой «Ордена Подвязки» с девизом «Noni soit qui mal u pense». По обе стороны от герба на основаниях ваз с цветами – вензель королевы Елизаветы «ER» (Elizabeth Regina). Крайние фигуры завершают композицию: справа – Британский лев с лилией на стяге, слева – Дракон Тюдоров с розой на стяге. Гравюра означает, что автор находится на службе Елизаветы и книга написана во славу ее имени, хотя посвящения королеве в тексте нет, но научный труд имеет целью облегчить навигацию морякам в плавании в Новый Свет, что подчеркивает математик и геодезист Эдуард Райт (Wright, Edward 1558 (?) – 1615) в своем «хвалебном предисловии» к тексту Гилберта<sup>36</sup>.

---

единства мира. В поисках символических “ключей” к пониманию этого единства и преломлению его в т.ч. в реальной мировой политике, Ди написал... трактат “Иероглифическая монада”. ...Он был привлечен к составлению маршрута первого английского кругосветного плавания, совершенного Фрэнсисом Дрейком в 1577–80 гг. Также Джон Ди был одним из главных разработчиков т.н. Северо-Западного пути – прохода из Англии в Тихий океан вдоль северного побережья Канады». *Барabanов*. 2011.

<sup>32</sup> См. подробнее: *Corbett*. 1979. P. 49–57.

<sup>33</sup> *Gilbert*. 1600.

<sup>34</sup> *Гилберт*. 1956. С. 312.

<sup>35</sup> Там же. С. 313.

<sup>36</sup> «если бы эти твои книги о магните не содержали в себе ничего другого, кроме нахождения широты по магнитному склонению, тобою впервые предложенного, то и тогда наши английские, французские, голландские и датские капитаны, готовящиеся

Это же значение трактата демонстрирует гравюра на титульном листе издания 1628 года<sup>37</sup>, где внизу виден корабль, приплывающий в порт. По углам изображены иллюстрации из книги: 1. «Каким образом куски магнитного железа и магниты меньшего размера соотносятся с землицей и с самой Землей, и какое положение под влиянием последних они принимают» (Книга вторая, гл. VII); 2. «снабженный арматурой магнит влечет железо не сильнее, чем не снабженный, и что снабженный арматурой магнит крепче соединяется с железом» (Книга вторая, гл. XXII); 3. Прибор для определения склонения (Книга пятая, гл. I); 4. Чертеж поворотов намагниченного железа (Книга пятая, гл. VII)<sup>38</sup>. В центре гравюры слева от названия изображен философ (У. Гилберт), который демонстрирует, как «Снабженный арматурой магнит поднимает другой снабженный арматурой магнит, который, в свою очередь, держит третий; так бывает и в том случае, когда в первом магните свойство более слабое» (Книга вторая, глава XX)<sup>39</sup>. А справа – моряк, показывающий, «каким образом натирают железные направляющие часовые стрелки и проволоки морских компасов, чтобы они приобрели более сильную вращательность» (Книга третья, гл. XVII)<sup>40</sup>. Следовательно, гравюра точно воспроизводит философию магнита, опыты, математические расчеты и иллюстрации к ним, приводимые в тексте книги. На гравюре Р. Клампа 1796 года, сделанной с картины Бодлеанской библиотеки Оксфорда (возможно, XVII века)<sup>41</sup>, У. Гилберт одет по моде своего времени в высокую шляпу, дублет с гофрированным воротником и докторскую мантию. Его правая рука лежит на глобусе, что отсылает к его работе «О магните», где он описал природу Земли. Надпись внизу свидетельствует о статусе Гилберта как личного врача королевы: «Dr. Will. Gilbert, Physisian to Q:n Elizabeth» (Доктор Уилл. Гилберт, врач королевы Елизаветы).

Ф. Бэкон в своем проекте восстановления наук суммировал открытия современных ученых, предложив создать на основе их методологии новую научную институцию. В его работах проанализированы, в числе прочих, открытия коперниканцев, Гилберта и видны следы идей Ди. Гравюры, иллюстрирующие работы Ф. Бэкона, и его портреты отображают государственные статусы философа и амбиции Британии времен

---

плоть в пасмурную погоду из Атлантического океана в Британское море или Гибралтарский пролив, с полным основанием ценили бы их на вес золота». (Там же. С. 14).

<sup>37</sup> *Gilbert*. 1628.

<sup>38</sup> *Гилберт*. 1956. С. 117, 132, 242, 256–257.

<sup>39</sup> Там же. С. 131.

<sup>40</sup> Там же. С. 199.

<sup>41</sup> *Gilbert*. 1796.

короля Якова I стать во главе научно-исследовательских проектов. Парадный портрет сэра Френсиса Бэкона, виконта Сент-Олбанс, нарисованный Паулем ван Сомером в 1618 г.<sup>42</sup>, изображает философа на фоне красной драпировки в богато расшитой аристократической одежде, украшенной тонко прорисованной золотой вышивкой и изящными дорогами кружевами. На столе лежит мешок с большой королевской печатью, на нем вышит герб Якова I, это свидетельствует о том, что с 1617 по 1621 гг. Бэкон был Лордом-хранителем печати, с 1618 г. – Лордом-канцлером, причем обязанности хранителя печати были оставлены за ним. Этот парадный портрет впоследствии частично воспроизводится в поясных портретах и гравюрах. Например, на гравюре Фредерика Хендрика ван Хове (ок. 1650–1690)<sup>43</sup> наверху изображен фамильный герб Бэконов с девизом «*Mediocria firma*» (*Умеренность постоянна*), еще выше – лента с надписью «*Moniti meliora*» (сокращенное из «Энеиды» Вергилия – III, 188 «*Moniti meliora sequamur*» – «*Предупрежденные последуем лучшему*», в переводе С. Ошерова «*Так последуем вещим советам*»). Надпись «*Moniti meliora*» взята из посмертного оксфордского издания на английском языке (перевод Гилберта Уотса) «О великом восстановлении наук» 1640 года, где на фронтиспise Уильяма Маршалла изображены два столпа, объединенные этими словами<sup>44</sup>.

Колонны символизируют лестницу индуктивного познания, согласной которой Бэкон замыслил концепцию своего «Великого восстановления наук». На колонне слева, под надписью «Оксфорд» возвышается стопка книг, частей «Великой инстгаврации»: 1 часть – «О разделении наук» (*De Augmentis Scientiarum*), 2 часть – Новый метод (*Novum Organum*), 3 часть – Естественная история (*Historia Naturalis*). Фундаментом этой науки является пирамида, в основании которой находится Философия, а стороны составляют История, Поэсис и соответствующие этим искусствам Разум, Память, Воображение. Колонна справа тоже содержит пирамиду, основанием которой является Теология, ее сторонами – Природа и Человек, что формирует «Философию» (надпись выше). На «Философии» мы видим продолжение плана «Великого восстановления»: 4 часть – Лестница Интеллекта (*Scala Intellectus*), 5 часть – Предвосхищение второй Философии (*Anticipationes Philosophiae Secunda*), 6 часть – Вторая философия или Действенная наука (*Philosophia Secunda aut Scientia Activae*)<sup>45</sup>. Завершает

<sup>42</sup> См. копию с него 1731 года. *Bacon Francis*. After 1731 (circa 1618).

<sup>43</sup> *Bacon Francis*. Viscount St Alban. Circa 1650–1690.

<sup>44</sup> *Bacon*. 1640. Title-page. URL: [http://www.britishmuseum.org/research/search\\_the\\_collection\\_database/search\\_object\\_image.aspx/](http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_image.aspx/)

<sup>45</sup> См. план книги: *Бэкон*. 1971. С. 72–84.

столп надпись «Кембридж», именно там впоследствии возникла школа неоплатоников. И если столп слева венчает шар – Глобус с надписью «Мир видимый» (*Mundus visibilis*), то второй – «Мир мыслимый» (*Mundus intellectualis*, мир идей), именно восхождение к нему, согласно Бэкону, дарует человеку искомое стремление к знанию и могуществу.

Познание визуализировано как путешествие корабля за открытую линию горизонта, команда которого предупреждена советами Ф. Бэкона и «следует лучшему» между столпами по водам неведомого<sup>46</sup>. Это, возможно, означает аллюзию на Геркулесовы столпы, за которыми располагались мифические Острова блаженных, Земля обетованная и Новый Свет. Навигационным ориентиром в этом путешествии выступает несколько источников света. Свет познания на гравюре также иерархизирован: у основания колонн стоят совы с факелами, что символизирует неверный свет чувственного познания, способного уловить тени в платоновской пещере, у вершин колонн располагаются космические источники света (Солнце и Луна), а все пространство пронизывает незримый свет Божественный, находящийся в центре вверху гравюры.

Как полагает Питер Докинс, гравюра представляет собой неоплатоническую аллюзию, где философия Бэкона представлена в виде пирамиды, ведущей от физики к метафизике и высшему закону Божественной любви<sup>47</sup>. Это высказывание можно дополнить тем, что перед нами не

<sup>46</sup> «мы не пренебрежем тем, чтобы совершить плавание вдоль берегов унаследованных наук и искусств и мимоходом внести в них кое-что полезное. Но при этом мы дадим такое распределение наук, которое обнимет не только то, что уже найдено и известно но, но и то, что до сих пор упускалось и только подлежит нахождению. <...> для второй части предназначается учение о лучшем и более совершенном применении разума к исследованию вещей и об истинной помощи разума, чтобы тем возвысился разум (насколько то допускает участь смертных) и обогатился способностью преодолевать трудное и темное в природе». (Там же. С. 72).

<sup>47</sup> «Bacon's Pyramid of Philosophy has history for its base, upon which is built, layer upon layer, first physics, then metaphysics, and finally the crowning knowledge of the supreme law of love. Physics is concerned with material and efficient causes, and metaphysics with formal and final causes. These causes are laws. The formal causes are what Bacon, like Plato, calls 'Forms', which are the living Ideas (i.e. Angels) of God that lie behind all Creation. The final causes are the greatest of those living Ideas (i.e. Archangels), of which the supreme cause (the Summary Law of Nature) is divine Love. Bacon urges us to discover and know these causes, and most of all the supreme cause, so that we may do good by practising them <...> Bacon's Pyramid of Philosophy is a true pyramid — that is to say, it has a triangular base, with three sides joined together at the apex in a single point. In terms of Platonic solids it symbolises the element fire. Each side represents one of the three main aspects of truth to be researched, practised and known – Divine, Human and Natural – which correspond to the Hermetic description of the three 'Heads' – God, Man and Cosmos». (*Dawkins P.* 1999).

просто пирамидальная треугольная композиция, символизирующая по Платону первоэлемент огня, это – бэконовская интерпретация восходяще-нисходящего познания, отраженная в кольцевой композиции гравюры, поскольку «Мир видимый» и «Мир мыслимый» протягивают друг другу руки, что должно привести ученого к власти над природой и обществом. Таким образом, гравюра точно визуализирует концепцию восстановления наук Бэкона, которая должна стать навигационной картой для интеллектуального путешествия, изображенного в традициях популярного для того времени жанра «emblemata». Эмблема состояла из трех частей (изображения, надписей и девиза) и предполагала интеллектуальное усилие читателя, которому предлагалось разгадать смысл послания, сочетающего визуальный образ и слово.

На фронтисписе этого же издания размещен портрет Ф. Бэкона в полный рост с медалью Лорда-канцлера на шее. Философ сидит за столом, и зрителю видно, как он пишет первые строки «*Instauratio Magna*»<sup>48</sup>. Рядом с раскрытой книгой лежит компас, который является навигационным прибором для путешествующих в неизведанное. На заднем плане на стене изображен фамильный герб, полка с пронумерованными томами, возможно, остальными частями «О великом восстановлении наук». Надпись вверху «*Tertius a Platone philosophiæ princeps*» (*Третий после Платона монарх философии*) свидетельствует о том, что современники считали его продолжателем философии Платона и оппонентом Аристотеля, заложившего «Органом» (Логикой) основы средневековой схоластики. Это представление соответствует позиции самого Бэкона, отвергшего принципы аристотелианской логики и диалектики, которой он противопоставил индукцию в «Новом Органоне» и «*Instauratio Magna*»<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> *Portrait of Francis Bacon, the philosopher, seated at a table writing in a book, wearing hat and medal; the frontispiece to his «Advancement of Learning» 1640.*

<sup>49</sup> «по отношению к природе вещей мы во всем пользуемся индукцией как для меньших посылок, так и для больших. Индукцию мы считаем той формой доказательства, которая считается с данными чувств и настаивает природу и устремляется к практике, почти смешиваясь с нею. Итак, и самый порядок доказательства оказывается прямо обратным. До сих пор обычно дело велось таким образом, что от чувств и частного сразу воспаряли к наиболее общему, словно к твердой оси, вокруг которой должны вращаться рассуждения, а оттуда выводилось все остальное через средние предложения: путь... не ведущий к природе, а предрасположенный к спорам и приспособленный для них. У нас же непрерывно и постепенно устанавливаются аксиомы, чтобы только в последнюю очередь прийти к наиболее общему; ... что природа признает в нем нечто подлинно ей известное и укорененное в самом сердце вещей... мы подвергаем проверке то, что обычная логика принимает как бы по чужому поручительству»; «наше учение об очищении разума, для того чтобы он был способен к истине, заключается в трех изблечениях: изблечение философий,

Таким образом, на картинах, фресках, иллюстрациях, портретах и гравюрах раннего Нового времени ученые и научные практики репрезентируются, в первую очередь, через иконографию, включающую в себя книги, научные инструменты и сословный статус ученых и патрон-основателей и покровителей научных институций, который зафиксирован в соответствующих надписях, геральдике и одежде, отражающей сословную принадлежность и моду того времени. На титульных листах могут воспроизводиться гербы ученых, научных корпораций и их патронов. Посвящение труда патрону обеспечивало высочайшую поддержку, а иногда и защиту не только ученому, но и его открытию. Причем, последующие портреты сохраняют облик и одежду ученого, отсылая нас к эпохе, в которую они жили, хотя социальные маркеры могут не всегда воспроизводиться, особенно в изображениях XIX–XX вв. Привязка к социальному статусу ученого встраивала его в средневековую иерархию, что было важно при социальной уязвимости ученых, занятия которых на самом деле размывали сословные границы.

Гравюры с портретами ученых часто были копиями с известных портретов, и если ученый обладал государственными должностями, то, как правило, отображается символика должности, благодаря чему маркировалось место ученого в сословно-политической и академической иерархии, что отчетливо видно на портретах д'Айли, Ф. Бэкона. Ученые-профессора изображены в университетских мантиях, ученые-горожане – в светской одежде (Дж. Ди, И. Кеплер, Ф. Бэкон), ученые-священники – в соответствующем сану одеянии (д'Айли, Н. Коперник, И. Штёффлер). Эта тенденция проявляет себя уже в Средневековье, но в изображениях XVI–XVII вв. атрибуты стремятся воспроизвести личные достижения ученых, что не было характерно для средневековой репрезентации.

В качестве атрибутов уже появляются не схематичные изображения книг, инструментов и опытов, а именно тех, которые они усовершенствовали, описали в трудах или сконструировали. Раскрытые книги рядом с ними точно воспроизводят иллюстрации из известных трудов, поддающиеся атрибуции, а гравюры на фронтисписах пытаются передать основную концепцию автора. Композицию гравюр часто разрабатывают сами ученые, раскрывая в посвящениях и вступлениях символический смысл изображения, как это видно на примере И. Кеплера,

---

изобличении доказательств и изобличении прирожденного человеческого разума. Когда же все это будет развито, и когда, наконец, станет ясным, что приносила с собой природа вещей и что – природа ума, тогда будем считать, что при покровительстве божественной благодати мы завершили убранство свадебного терема Духа и Вселенной». (Бэкон. 1971. С. 75, 77–78.



Дж. Ди и Ф. Бэкона. Эта практика вписывается в популярный в раннее Новое время жанр эмблемы. Гравюра Ди к «Искусству навигации» в эмблематической форме визуализирует конечную политическую цель трактата – укрепление мощи Британии и имперские амбиции. Кеплер в гравюре «Рудольфинских таблиц» объемно представил историю астрономии, вписав в нее достижения своих современников, включая свои. В сугубо научных работах визуальные элементы все чаще выполняют иллюстративную функцию («О магните» У. Гилберта), тогда как в научно-философских – сохраняют символично-аллегорическую функцию («О восстановлении наук» Бэкона).

Таким образом, изображения представителей других профессий и корпораций, не занимавшихся научными изысканиями, в первую очередь репрезентируют их сословную принадлежность, подчиняются только стилистике портретной живописи раннего Нового времени и отображают моду и атрибуты профессии. В визуальной репрезентации ученого этого времени, несмотря на эгалитарные проекты «республики ученых», также доминирует социальный статус, который подчеркивают соответствующие надписи, но художники и граверы стремятся сохранить в истории память и об их научной деятельности. Визуализация научных практик и ученых в избранный период, с одной стороны, продолжает средневековые иконографические и сословные традиции, подчиняется стилистическим тенденциям живописи и гравюры XVI–XVIII вв., а с другой – подчеркивает специфику научного восприятия мира, знания и общества в раннее Новое время.

В конце XVIII века акцент в восприятии образа ученого сдвинется в план его индивидуального отображения, его личной биографии и истории открытий с точки зрения прогресса, что уже намечено в изображениях XVI–XVII вв. Но, как показывает Бурдьё, в скрытой форме память о социальном происхождении ученого продолжает влиять даже на современные научные институции.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Bacon, Francis, Viscount St Alban*, Portrait by Unknown artist, oil on canvas, after 1731 (circa 1618).
- Bacon, Francis, Viscount St Alban*. Portrait by Frederick Hendrik van Hove, after Simon de Passe line engraving, circa 1650-1690.
- Bacon, Francis*. Of the advancement and proficiencie of learning, tr. Gilbert Wats. Oxford, 1640. Title-page.
- Bourdieu P.* Homo Academicus. Stanford University Press. 1988.
- Cardinal Pierre d'Ailly, archevêque de Cambrai, grand prévôt de Saint-Dié*. Thévet, André “Vrais portraits et vies des hommes illustres”, 1584.
- Cardinal Pierre d'Ailly, obédience antipape Jean XXIII*. Unknown XVIIIe s.

- Copernicus, Nicolaus.* Before 1668. The Kopernik Library of the Polish Academy of Sciences, collection of graphics, cat. no. A XXVI 2185 Copper engraving.
- Copernicus, Nicolaus.* De lateribus et angulis triangulorum, tum planorum rectilineorum, Vittembergae. Excusum per Johannem Luftper. 1542.
- Corbett M.* The Comely Frontispiece: The Emblematic Title-page in England, 1550–1660. Lightbown Publisher Routledge, 1979.
- Dawkins P.* The Great Instauration. [1999]. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.fbtr.org.uk/pages/essays/essay-gt\\_inst.html](http://www.fbtr.org.uk/pages/essays/essay-gt_inst.html)
- Dee, John.* General and Rare Memorials pertaining to the Perfect Arte of Navigation. 1577. Title-page.
- Dee John.* Portrait, artist unknown, 1594?
- Dispute of Theologus and Astronomus Source: Pierre d'Ailly (Petrus de Alliaco), Concordantiae astronomiae cum theologia necnon historicae veritatis narratione, Augsburg 1490.*
- Gilbert William.* Engraving. Title page of *De Magnete*, Londini. 1628.
- Gilbert William.* Portrait by R. Clamp stipple engraving, 1796.
- Gilbert William.* De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure. Londini. 1600.
- Gingerich O.* Johannes Kepler and the Rudolphine Tables', in his *The Great Copernicus Chase and other adventures in astronomical history*, Cambridge, 1992.
- Gingerich O.* *The Great Copernicus Chase and Other Adventures in Astronomical History.* Cambridge, Mass.: Sky Publishing Corporation; Cambridge, U.K.: C.U.P., 1992.
- Kepler J.* Kepler's Somnium: The Dream: Or Posthumous Work on Lunar Astronomy // Editor Edward Rosen. Courier Dover Publications, 1967.
- Kepler Johannes.* Portrait by Unknown artist, oil on canvas, circa 1620.
- Kepler Johannes.* Tabulae Rudolphinae. Ulm: Jonas Saur, 1627.
- Portrait of Francis Bacon,* the philosopher, seated at a table writing in a book, wearing hat and medal; the frontispiece to his «Advancement of Learning». Frontispiece. Engraving. Print made by: William Marshall, 1640
- Stöffler Johannes.* Portrait by Unknown artist, 1630. Boissard, Bibliotheca, Frankfurt.
- Барабанов О.Н.* Британская империя: идеология глобального доминирования от Джона Ди до Сесила Родса. [2011] [Электронный ресурс]. URL: <http://okoplanet.su/politik/politikdiscussions/94909-britanskaya-imperiya-ideologiya-globalnogo-dominirovaniya-ot-dzhona-di-dozesila-rodsa.html>
- Бэкон Ф.* Собрание сочинений в 2-х тт. М.: Наука, 1971. Т. 1.
- Гилберт У.* О Магните. М., 1956.
- Лисович И. И.* Джереми Хоррокс (Jeremiah Horrocks, 1618–1641) и проект измерения масштабов Солнечной системы // Информационно-исследоват. база данных «Современники Шекспира» [2012] URL: <http://around-shake.ru/news/3991.htm>
- Макаров В.С.* Роберт Бёртон. Инф.-исследоват. база данных «Современники Шекспира» [2013] URL: <http://around-shake.ru/personae/4303.html>
- Музей Фромборка.* Официальный сайт. URL: [http://www.frombork.art.pl/images/Inventory%20WVN/view/nc\\_wor\\_gra.html](http://www.frombork.art.pl/images/Inventory%20WVN/view/nc_wor_gra.html)

*Лисович Инна Ивановна*, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и культурологии Казанского государственного университета культуры и искусств, докторант кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета; [tag-inna@yandex.ru](mailto:tag-inna@yandex.ru)

Е. М. КИРЮХИНА

## ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО СКАЗОЧНОГО ФОЛЬКЛОРА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

---

В статье рассматривается традиционное и новаторское использование образов и сюжетов сказочного фольклора, берущих начало от Средневековья, современными англо-американскими художниками. Особое внимание уделяется изображениям волшебных существ сказочного фольклора, животных, ведущих себя сказочным образом, а также отображению взаимоотношений между ними и человеком.

**Ключевые слова:** сказочная живопись, образы сказочного фольклора, книжная иллюстрация, художник сказочной живописи.

---

Не секрет, что в настоящее время особой популярностью пользуются произведения сказочного жанра – как книги, так и фильмы. В то же время, сказочная живопись является объектом исследования, прежде всего, у англоязычных авторов, преимущественно на материале викторианской эпохи. Есть и определенная путаница в терминах. В английском языке термин «Fairytale Painting» обозначает как «волшебную живопись», так и «сказочную живопись», в то время как в русском языке термин «сказочный» шире, чем «волшебный»<sup>1</sup>. Мы будем пользоваться термином «сказочная живопись», поскольку он включает в себя как живопись, объектами которой являются волшебные существа из фольклора и авторского воображения, так и живопись, которая изображает животных, ведущих себя необычным и сказочным образом.

Хотя сказочная живопись заявила о себе в полной мере в Англии в викторианскую эпоху, ее истоки обнаруживаются еще в конце XVIII – начале XIX века, в эпоху предромантизма и романтизма, в творчестве И.Г. Фюсли (1741–1825) и У. Блейка (1757–1827). Так выразилось особое отношение романтиков к категории воображаемого, фантазии, когда сказка воспринималась как некая суть поэтического творчества, «как наиболее свободная форма для самовыражения творящего субъекта и как своеобразный миф, закрепляющий в художественной форме некие изначальные основы мироздания и его проявлений»<sup>2</sup>. В том была своеобразная реакция на активное развитие промышленного переворота,

---

<sup>1</sup> См.: Пропп. 1998.

<sup>2</sup> Ботникова. 2005. С. 33.

приведшего в викторианскую эпоху к тому, что ведущим направлением философии стал позитивизм, а принцип полезности распространялся на все виды искусства. В этих условиях в Англии началось возрождение интереса к Средневековью и средневековому фольклору, что затронуло все сферы духовной жизни – философию, религию, эстетику, литературу, искусство – и отразилось в таком явлении как «Артуровское возрождение». Смерть королевы Виктории в 1901 г. и последующие события, приведшие к Первой мировой войне вызывали в обществе как тревогу и страх перед неизбежным и не всегда понятным будущим, так и ностальгию по прошлому, что являлось питательной средой для сказочной живописи и в станковой картине, и в книжной иллюстрации.

По мнению ряда исследователей, после Первой мировой войны сказочная живопись проявлялась прежде всего в сфере детской иллюстрации, хотя ее своеобразное возрождение произошло после Второй мировой войны<sup>3</sup>. Этот тезис объясним, если вспомнить, что новое отношение к ребенку в эту эпоху было одной из причин появления как оригинальных сказок, так и типографского усовершенствования детской книжной иллюстрации. Не случайно А.А. Мостепанов, вслед за английским ученым Х. Карпентером, выделяет периоды золотого (1890–1920-е гг.) и серебряного (1950–1970-е гг.) веков расцвета английской детской литературной сказки, видя главной причиной функционирования сказочного жанра реакцию на политическую и социальную нестабильность исторической эпохи<sup>4</sup>. И все же сказочная живопись предназначена не только для детей, и потому она шире, нежели детская книжная иллюстрация или литературная сказка. Поэтому, с нашей точки зрения, в межвоенный период сказочная живопись достаточно ярко проявилась и в творчестве авторов, создававших отдельные оригинальные произведения (Л. Уэйн)<sup>5</sup>, и в запоминающихся книжных иллюстрациях к книгам А. Милна «Винн-Пух» (Э. Шепард, 1926) и К. Грэхема «Ветер в ивах» (Э. Шепард, 1930; А. Рэкхем, 1939). Можно согласиться с А.А. Мостепановым, что окончательный крах колониальной системы, страх перед ядерной угрозой и пробуждение национального самосознания являются причинами социально-политической нестабильности 1950–1970-х гг. Мы полагаем, что в настоящее время эти причины дополняются угрозами терроризма и обострившимся национальным радикализмом, что вызывает своеобразный всплеск постромантизма и интереса к сказочной живописи.

---

<sup>3</sup> Schindler. 2011.

<sup>4</sup> Мостепанов. 2011.

<sup>5</sup> Кирюхина. 2012 (б).

Отмечая особенности английской литературной сказки, К.А. Мнацакян пишет, что та «в целом представляет собой довольно сложный жанровый синтез, в котором часто можно выделить черты как фольклорных жанров, от эпических преданий и легенд до детских стишков и считалок (“nursery rhymes”), так и самых разнообразных жанров литературных, от средневековых рыцарских романов до романтических новелл»<sup>6</sup>. На наш взгляд, подобными чертами обладает и сказочная живопись. Можно искать различные истоки и составляющие этого явления, но одно несомненно: характерной особенностью сказочной живописи обязательно является фольклор. Поскольку фольклор Великобритании состоит из английского, валлийского, шотландского и ирландского, то мы полагаем, что современная сказочная живопись интересна своеобразной «интертекстуальностью», опорой на фольклорную, мифологическую и романтическую традицию, в особенности, на живописную традицию прерафаэлитов и других викторианских художников<sup>7</sup>.

Конечно, выделяя определенный круг современных англо-американских художников можно оказаться объектом справедливой критики: какие-то яркие личности, к сожалению, неизбежно останутся за пределами нашего рассмотрения. Поэтому мы остановились на тех получивших международное признание художниках, которые в своем творчестве опираются на английскую традицию сказочной живописи; они либо получили классическое английское художественное образование, либо осознают и декларируют важность использования классической традиции, или же подобная оценка четко звучит в устах критиков. Нам будет интересно проследить, каким образом в произведениях рассмотренных художников отразились волшебные существа из сказочного фольклора и животные, ведущие себя необычным и сказочным образом, и как авторы изображают взаимоотношения между ними и человеком. Следует отметить, что, независимо от своих предпочтений, авторы уже не могут заниматься каким-то одним видом творчества: наряду с книжными иллюстрациями или станковой живописью они выпускают поздравительные открытки, календари, произведения прикладного искусства, их работы можно купить через интернет как в авторском исполнении, так и в цветной печати, некоторые сотрудничают в создании и оформлении художественных и анимационных фильмов, а полюбившиеся персонажи сказок

<sup>6</sup> Мнацакян. 2011.

<sup>7</sup> Интерес романтизма к национальному фольклору довольно рано выразился в появлении сборников британских сказок и легенд в интерпретации таких авторов, как Н. Дрейк (1766–1836), Т.К. Крокер (1798–1854) и Т. Кейтли (1789–1872), и в публикации на английском языке в 1823 г. «Детских и бытовых сказок» Я. и В. Гриммов.

и сказочных иллюстраций получают вторую жизнь в виде детских игрушек (например, куклы-персонажи книги У. Андерсона «Жестяной лес»)<sup>8</sup>; художники участвуют в выставках, дают интервью, общаются со своими почитателями в интернете. Однако мы выбрали таких мастеров, которые видят в этом не столько коммерческие причины, сколько возможность расширить средства самовыражения<sup>9</sup>.

Среди волшебных существ из сказочного фольклора, изображаемых современными художниками, самые популярные, несомненно, феи и эльфы<sup>10</sup>. При этом английский термин *fairy*, не имеющий аналога в русском языке, вызывает сложности у переводчиков<sup>11</sup>. И те, и другие традиционно изображаются либо как маленькие человечки с крыльями, либо как прекрасные существа человеческого роста. Среди родоначальников первой традиции особое место принадлежит Д.А. Фицджеральду (1819–1906)<sup>12</sup>. Первой традиции придерживаются такие художники как У. Андерсон и Л. Миллз, а второй – А. Ли и Э. Садуорт.

Уэйн Андерсон (Wayne Anderson) родился в 1946 г. в Англии, где и проживает в настоящее время. Он закончил Лестерский художественный колледж, где помимо классического художественного образования четыре года изучал графический дизайн. У. Андерсон – автор детских книжных иллюстраций и авторских книг, а также анимационных филь-

---

<sup>8</sup> Своего рода основателем такой традиции можно считать Б. Поттер: «Беатрикс Поттер была первой, полностью использовавшей товарные возможности воображения. Кролик Питер стал популярным явлением культуры за двадцать пять лет до того, как Уолт Дисней задумал свою икону, Микки Мауса» (Beatrix as book designer... 2011).

<sup>9</sup> Позицию всецелого удовлетворения своим творчеством и образом жизни высказывает, например, американский художник Майкл Хейг: «Самое лучшее, что у меня есть – моя работа, которая позволяет мне быть как Питер Пэн и никогда не вырастать. Быть способным сделать рисунки для всех книг, которые были моими детскими друзьями, это все равно, что пребывать в стране Never-Never Land. Я не только рисую волшебные сказки, я живу в одной из них» (About the Author... 2011).

<sup>10</sup> О необыкновенной популярности этих созданий говорит и тот факт, что как в Шотландии, так и в Уэльсе есть места, называющиеся Долина Фей (Fairy Glen). (Самые знаменитые достопримечательности... С. 80, 98).

<sup>11</sup> С.М. Печкин, переводя классический труд К. Бриггс (Бриггс. 2013), полагает, что у автора эти слова являются синонимами, а К. Королев (*Мифология Британских островов...* 2004) различает значения терминов *феи* и *эльфы*.

<sup>12</sup> На наш взгляд, отношение художника к созданному им миру неоднозначно: оставаясь на позиции стороннего наблюдателя в сценах охоты волшебного народа, он любит ими в «Барке фей» и «Банкете фей», печалится в «Похоронах фей», понимая, что как часть природного мира, который он так точно и с любовью изображает, феи, в конце концов, тоже смертны. Эта неоднозначность авторской позиции и неповторимый колорит придает особую привлекательность живописи Д.А. Фицджеральда (Кирюхина. 2012 б).

мов<sup>13</sup>. Необычны не столько материалы, которые использует художник (цветные карандаши, акриловые и акварельные краски), сколько сам способ создания работ<sup>14</sup>. Интересна художественная передача образов: они представлены в разных пропорциях, часто с совмещением перспектив или использованием неожиданных ракурсов, а излюбленная гамма цвета скорее монохромна, с искусными переходами оттенков изумрудного, голубого, серого и серо-коричневого цветов. Полагаем, что в творчестве У. Андерсона ярко проявляется традиция А. Рэкхема: конечно, речь не идет о слепом копировании, это, скорее, принцип изображения, сочетающий уродливое и прекрасное, изломанно-линейное и живописное, с некоторой долей присущей Андерсону иронии, превращающей даже страшное и пугающее в некую игру. Так, в работе «Фея» ее героиня наделена не только длинным носом, но и свиным лицом с птичьим оперением. Американская художница Лорен Миллс (Lauren Mills), родившаяся в 1957 г., получила классическое художественное образование и, по признанию критиков, испытывает в своем творчестве большое влияние прерафаэлитов «с их вниманием к миру природы и чувством мистической тайны»<sup>15</sup>. На наш взгляд, заслуживают внимания ее иллюстрации к «Алфавиту эльфов» (1997), где каждая буква представлена отдельным рисунком, на котором дети-эльфы, наделенные собственной внешностью и характером, играют, пляшут, катаются на качелях или в гамаках из веточек и листочков, готовят еду, рисуют и т.д.

Художник Алан Ли (Alan Lee), известный как наиболее популярный иллюстратор Д.Р.Р. Толкиена, родился в 1947 г. в Англии и получил классическое художественное образование. Критики отмечают, что неповторимая манера художника складывалась из смеси влияний иллюстраторов золотого века, прежде всего, А. Рэкхема и Ч. Робинсона: «Как у этих художников, средством для Ли была акварель в классическом романтическом стиле. Отсутствие черного ограничивающего контура у Ли для его изображений наводит на мысль об Э. Дюлаке, другом художнике рубежа веков, с которым он сравнивается»<sup>16</sup>. Высокая линия горизонта, необычный ракурс, прозрачность акварели отличают лучшие работы этого ху-

---

<sup>13</sup> Один из них, представляющий его рисунки, демонстрировался на британском телевидении.

<sup>14</sup> «Для создания некоторых рисунков я работаю на кальке с помощью цветных карандашей и графитных карандашей – перевожу на кальку, затем насухо монтирую с использованием окисленной свободной фотопленки и окисленной бумаги». (Biography of artist and Illustrator Wayne Anderson... 2011).

<sup>15</sup> The art of Lauren Mills... 2012.

<sup>16</sup> *Vadeboncoeur*. 2012.

дожника, хотя натуралистичность в передаче отрицательных персонажей несколько излишня. На наш взгляд, именно ранние, «дотолкиеновские» работы А. Ли были наиболее интересны, так как более поздние его произведения часто копируют не просто манеру написания, но и отдельные фрагменты и целые композиционные куски, что превращает их в некие угадываемые романтические штампы. Иллюстрации к книге «Феи» (1978) демонстрируют лучшие стороны творческой манеры А. Ли. Рисунок «Скачущие феи» представляет кавалькаду всадников и всадниц с прекрасными ликами, чьи одежда и аксессуары, а также музыкальные инструменты соответствуют средневековой моде. На рисунке «В волшебных чертогах» король на величественном троне окружен толпой придворных, из-за которых выглядывают уродливые длинноухие существа, – внешний вид фей и эльфов у А. Ли может быть как прекрасным, так и безобразным. Что касается их жилища, то оно напоминает один из холмов в Долине Фей, к которому художник аккуратно пририсовал маленькую дверку, как позднее в домике хоббита.

Соотечественница А. Ли художница Энн Садуорт (Anne Sudworth) известна как сторонница современной готической субкультуры. Она любит фотографироваться в черной одежде с ярким гримом на бледном лице, позиционируя себя как представителя некоего «темного романтизма»<sup>17</sup>. По ее словам, красота английского Озерного края с «необузданным характером и дикой изменчивостью настроения» пробудили ее интерес к загадочному, магическому и сверхъестественному. Предпочитающая технику пастели, Э. Садуорт рисовала и писала с раннего детства, хотя намеренно не закончила художественного училища. В качестве источников вдохновения она называет классическую английскую литературу («Ричард III» и «Гамлет» В. Шекспира, Д.Н.Г. Байрон, В. Водсворт, С.Т. Кольридж, В. Скотт. У. Купер, У. Блейк, Г. Уолпол, Т. Харди) и Д.Р.Р. Толкиена, собирает старинные поэтические книги, интересуется британской и кельтской мифологией<sup>18</sup>. Что касается художественных традиций, то в изображении фей («Дыхание яркой феи», «Наблюдая за закатом») как прекрасных девушек с прозрачными крыльями за спиной она явно опирается на достижения А. Рэкхема и Д.Э. Гримшоу.

Не менее известными, чем феи и эльфы, являются такие фольклорные существа, как гномы, лепреконы и брауни. Изображая их, одни художники стараются наиболее точно соответствовать фольклорным об-

---

<sup>17</sup> Она определяет свое творчество как «мистические фантазии с готическими отголосками» (*Sudworth. My Work and Ideas*. 2011).

<sup>18</sup> «У кельтов была большая любовь к лошадям и деревьям, то, что у меня, кажется, с ними общее» (*Sudworth. Literature*. 2011).



разцам (А. Ли), другие вносят свою фантазию (У. Андерсон). В книге «Феи» А. Ли гномы представлены как в антропоморфном виде (маленький человечек с молотом у наковальни), так и в виде жабы, спрятавшейся в листок. Автор изображает также и гоблина Красную шапку – уродливое существо с клыками<sup>19</sup>. Книга У. Андерсона «Гномы и сады» (2000) предназначена для младшего детского возраста, потому гномы в ней похожи на ожившие игрушки в красных колпачках, среди которых есть и существа женского пола. Подобно эльфам, они, прежде всего, ухаживают за растениями. Гномы У. Андерсона катаются зимой с горки в раковинах и прокручивают через мясорубку цветы. Интересно наблюдать их домашний быт: восседая, скрестив ножки, вместо скамеек на грибах, гномы читают или вяжут.

Фольклорные сказочные образы используются главным образом иллюстраторами детских книг, и это объясняет, почему изображения великанов встречаются не так часто: существа маленького роста не страшны детям. А вот интерес современного человека к таинственному миру природы отразился в изображениях обитателей воды, леса и Луны. При этом обитатели вод, в отличие от художников-прерафаэлитов (Д. Уотерхауз «Русалка», А. Рэкхем иллюстрация к «Ундине»), представлены, прежде всего, как традиционные русалки в детской книжной иллюстрации, например, у Д.К. Кристенсена. Американский художник Джеймс К. Кристенсен (James C. Christensen) родился в окрестностях Лос-Анджелеса в 1942 г. и получил классическое художественное образование<sup>20</sup>. Он творит иную реальность как в творчестве, так и в своей жизни: живет в лично спроектированном доме, заполненном тайными ходами, картинами и скульптурами<sup>21</sup>. Творческое кредо мастера: «Во что веришь, то и существует». На наш взгляд, одна из причин популярности художника в том, что он создает мир, в котором возможно невозможное: «Рыба плавает как внутри, так и вне домов, люди и животные общаются и абсолютно свободны от ограничений перспективы и гравитации. Гномы, феи, горбуны и русалки в волшебных изображениях пробуждают наше воображение, так что мы создаем наши собственные фантазии и истории...»<sup>22</sup>. Фольклор-

---

<sup>19</sup> На одном листе с иллюстрациями находятся объяснения и примеры из фольклора, написанные как бы от руки карандашом, что придает изображениям особую оригинальность.

<sup>20</sup> В нескольких кварталах от его дома была киностудия, в которую он любил пробираться ночью с друзьями, чтобы поиграть среди декораций: здесь он впервые столкнулся с неуловимым различием между реальностью и реалистической иллюзией.

<sup>21</sup> Кирюхина. 2012 (а).

<sup>22</sup> Christensen James C. 2011.

ных русалки являются персонажами его иллюстрированных книг «Рифмы и мотивы», «Суеверия» и «Волшебные сказки», где он весьма удачно использовал традиции П. Брейгеля («Фламандские пословицы»), сочетая многочисленные маленькие фигурки с высокой линией горизонта.

Более интересны и разнообразны, чем обитатели вод, изображения духов и обитателей леса. Вновь обращаясь к «Феям» А. Ли, можно отметить изображения лесных существ как маленьких уродцев со скрюченными конечностями («Человечек с яблоневого дерева»), у некоторых вместо волос – охапка листьев (шотландский дух *Ghillie dhu*). Однако выбор этих персонажей вполне традиционен. Намного интереснее, с нашей точки зрения, взгляд на магию леса у Э. Садуорт<sup>23</sup>. Более всего художница известна своими «Деревьями земного света» – продолжающейся серией картин, которые представляют центральную тему ее творчества. У автора особенно трепетное отношение к лесу и его обитателям: она путешествует по ним, изучает, знает буквально по именам древние деревья Великобритании, ведет активную общественную деятельность по сохранению леса и лесных жителей. Лес дорог Э. Садуорт в любое время года, как багрянец листвы в осеннюю пору («В пламени»), так и пушистость снежного покрова («Снежное дерево»). Лишь иногда лес показан ранним утром, в предрассветном тумане («Утро»). Большинство картин показывает лес ночью при свете луны, с резким эффектом светотени, а изображение луны и лунного света стали почти личной подписью художницы<sup>24</sup>. Ее деревья ярко светятся и при молодом месяце («Магическое дерево»), и особенно – в полнолуние («Сад Эльсбет»). В этом загадочном лесу есть деревья гоблинов, фей, эльфов, существ ирландской мифологии, и то, что художница не изображает, а лишь намекает на их существование, усиливает художественный эффект произведений. Но и сами деревья наделены особой, волшебной силой: на многих картинах свет идет не столько от луны, сколько от корней и стволов самих деревьев («*Gowrin idhree*», «*Inifri duir*» и «Трижды вокруг дерева» – интересно, что может произойти, если действительно обежать вокруг него?). Сказочный

---

<sup>23</sup> Э. Садуорт называет древние деревья и камни «моими молчаливыми наблюдателями» современного мира: «Существует что-то темное и заманчивые вокруг них, что-то совершенно волшебное, и таким образом, это стало частью моей личной мифологии...» (*Sudworth. Stone Circles. 2011*).

<sup>24</sup> «Я всегда была очарована лунным светом и часто гуляла в ночное время, особенно по холмам и лесам. Я люблю дикое место, а в ночное время они, кажется, обладают особой магической силой. Постоянное наблюдение и исследование таких мест определенно повлияло на мое творчество и дало мне возможность создать свои собственные образы, надеюсь, насколько это возможно, с атмосферой волшебства, которую я чувствовала» (*Sudworth. My Work and Ideas. 2011*)

эффект усиливается изображением некоего таинственного волшебного пути<sup>25</sup>. Этот путь изображается как при растущем месяце («Снежное дерево», «Дерево гоблина», «Призрак»), так и в полнолуние («Зачарованное дерево», «Секретная тропа», «Terith imbra»). Дорога, освещенная лунным светом, конечно, вызывает в памяти картины Д.А. Гримшоу, однако, образ пути у Э. Садуорт гораздо таинственнее: «Большинство троп в моих картинах действительно символизируют духовное путешествие или врата куда-то или во что-то, обычно закрытое для нас. Иногда тропы являются рубежами»<sup>26</sup>. Например, в картине «Ethidwyre» тропа освещена странным, идущим извне зеленоватым светом, который автор использует в работах, связанных со смертью и загробным миром, – так возникает ощущение пути в загробное царство. Как нам кажется, самые эффектные, таинственные и волшебные деревья – те, что светятся собственным светом (часто того же зеленоватого оттенка) и изображены рядом с волшебным путем – в волшебную страну? Загробное царство? Иной мир? («Bethan Iwert, Феи зеленой листвы», «Шепчущее дерево», «Дерево земного света»). Как пишет исследователь Д. Грант, «Можно было бы думать о мире Энн Садворт как о мире, который вы можете лишь изредка видеть краешком глаза, и который исчезает, когда вы поворачиваетесь посмотреть ему в лицо...»<sup>27</sup> Мы полагаем, что именно сказочная фольклорная традиция помогла ей создать неповторимый художественный мир, мир между жизнью и смертью, на грани волшебства и сказки.

Всеми красками авторской фантазии расцветает и фольклорный образ человечка, живущего на Луне. Так, У. Андерсон изображает полную Луну в виде довольного круглолицего существа, жонглирующего звездами, стоя на канате. Молодой месяц – ночной гуляка с серьгой в ухе, в жилете и остроконечной шапочке, также жонглирующий звездами. Наконец, лунный человечек уютно устроился под пледом в созданном автором домике.

Следующая группа волшебных существ представлена колдуньями (ведьмами) и волшебниками, чьи образы очень популярны в настоящее время в западном кинематографе (особенно добрые колдуньи и волшебники). Нужно отметить, что в традиции викторианских художников, особенно прерафаэлитов, эти персонажи, прежде всего, изображались в связи

---

<sup>25</sup> «Не существует ничего подобного тому, что есть в чаше леса, особенно старого. В окружении густых деревьев с плотным навесом в вышине, можно чувствовать себя довольно странно. <...> Это почти как вход в другой мир...» (*Sudworth. Trees And Forests. 2011*).

<sup>26</sup> *Ward. 2011.*

<sup>27</sup> *Grant. 2011.*

с героями артуровской легенды (Мерлин, Моргана), но с легкой руки А. Рэкхема стали героями книжной иллюстрации. Однако, на наш взгляд, в отличие от его страшных героинь с крючковатыми носами и костлявыми конечностями, в современной книжной иллюстрации есть устойчивая тенденция изображения добрых колдуний, созвучная в такой стилистике кинематографу. Эта тенденция хорошо представлена американским художником Майклом Хейгом (Michael Hague). Хотя он родился в 1948 г. в Лос-Анжелесе, где позднее окончил Центральное художественное училище, несомненна художественная связь с английской живописью: его родители эмигрировали в Калифорнию из Лондона сразу после Второй мировой войны, а первые уроки искусства он получил от матери, обучавшейся в школе искусств Лондона. Хейг признает художественное влияние, которое оказали на него, с одной стороны, комиксы и диснеевская анимация, а с другой – мастера японской графики. Но самое большое влияние, несомненно, оказали поздневикторианские художники А. Рэкхем, У. Хейв-Робинсон, Н.К. Уайэв и Г. Пайл, страстным коллекционером книг которых он сейчас является<sup>28</sup>. Для его художественной манеры характерна некая смесь фантазии с реализмом, и, хотя она немного сентиментальна, художник никогда не опускается до сатиры, заменяя ее мягкой иронией. В «Сказках Матушки Гусыни» колдунии похожи на добрых уютных английских бабушек: чисто плотно одетые и вооруженные очками, они летают по небесам на гусе или читают на пороге домика, уместившегося, как в полотне Босха, под холмиком.

Добрые волшебники стали объектом изображения и Д.К. Кристенсена. На картине «Путешествие Бассета / Старейший профессор» этот странный человечек сопровождается чучелом совы на колесиках. Автор объясняет: «Колеса совы являются символическими: колеса ума профессора могут быть также скрипучими, но они все еще поворачиваются. И его свеча до сих пор горит ярко, как вино становится лучше с возрастом, – его знание закаляется мудростью»<sup>29</sup>. Полагаем, что некоторая эклектичность данной (как и многих других) работы вызвана тем, что в ней сказался, наряду с любовью к литературе и искусству, детский интерес художника к кинематографу. Наконец, в творчестве У. Андерсона показаны и злые («Морская ведьма»), и добрые волшебники: на картине «Волшебник», более похожий на фокусника в цилиндре с засунутыми в него картами, перешагивает мосты и реки в крылатых сандалиях.

---

<sup>28</sup> «Иллюстрации Хейга часто отличались старомодностью, ностальгическими мотивами. Богатые, но приглушенные цвета, великолепные текстуры, манящие одомашненные пейзажи и комфортные роскошные интерьеры...». (Michael Hague...).

<sup>29</sup> Christensen James C. 2011.

Среди изображений волшебных животных на первом месте, несомненно, стоят образы драконов и единорогов. Как и в предыдущем случае, эти существа в классической традиции изображались в связи с артуровской легендой. В современной живописи драконы показаны либо в романтической традиции как страшные и прекрасные существа, либо, особенно в книжной иллюстрации, забавно и даже юмористически. Первый вариант представлен картиной Э. Садуорт «Падение дракона», где, в соответствии с романтическими штампами, злобный и страшный дракон с перепончатыми крыльями оседлал скалистую вершину на фоне заката. Картины У. Андерсона «Дракон на кладе» и «Дракон, обозревающий окрестности» лишены неприятной натуралистичности предыдущей работы и потому производят лучшее впечатление. У. Андерсон неоднократно обращался к изображениям этих существ<sup>30</sup> Его драконы могут быть смешными («В начале»: рождающийся дракон с интересом озирается), похожими на маленькие игрушки («Трудности инкубации»), трогательно-симпатичными («Маленький потерявшийся дракон»), очаровательными («Под светом серебряной луны»: танцующая по-человечески на задних лапах пара). В отличие от драконов, единороги изображаются только привлекательными и романтическими. Таков единорог Э. Садуорт в картине «Край мира»: белоснежное прекрасное животное написано с любимого коня самой художницы. Целый мир единорогов представлен в серии календарей М. Хейга. Все они показаны в разных местах, в разное время года и суток. Весьма эффектны изображения единорога, встающего на дыбы, особенно ночью, или взмывающего ввысь на фоне заката (одно из них называется «Гордое величие»). Им противостоят меланхоличные изображения единорога, уходящего вдаль по ночной тропинке под звездами, одиноко гуляющего по заснеженному лесу, умирающего на лесной поляне. Интересны образы единорога, стоящего у волшебного фонтана, а также скачущего по ночному средневековому городу и выбивающему из-под копыт искры звезд. Хороши, на наш взгляд, изображения мирно спящего единорога (использована овальная рама картины) и мистического единорога: он лежит на снегу, а возле него распускаются ирисы. Среди спутников единорога художник чаще всего изображает гномов. Некоторые из них не слишком симпатичны: например, хвастливый толстяк, от которого единорог охраняет мост к волшебному замку. Но с другими гномами единороги показаны в дружеских отношениях: гуляют по снежному лесу («Зимние компаньоны») и играют в прятки («Я вижу тебя!»).

---

<sup>30</sup> Например, книга «Полет драконов» (1978), по которой был снят полнометражный анимационный фильм.

Взаимно притягательна красота единорогов и фей. Феи показаны либо в человеческий рост (феи-девочки собирают цветы возле мирно лежащего единорога, а нарядная фея с пестрыми крыльями бабочки красуется перед ним), либо маленькими существами (эффектен полет единорога над ночным городом вместе с ними).

Обратимся ко второй группе изображений: животных, ведущих себя необычным и сказочным образом. На наш взгляд, можно выделить два принципа изображения: во-первых, реалистичная и биологически точная передача облика животных, и, во-вторых, более условная манера. В художественной традиции более ранние художники (У. Крейн и, особенно, Б. Поттер) старались придерживаться большей реалистичности в передаче внешности и повадок животных, а позднее Э. Шепард уже мог позволить себе более условное изображение; в то же время Л. Уэйн мог работать в обеих манерах<sup>31</sup>. Первого принципа придерживаются такие мастера как Э. Садуорт, М. Хейг и А. Остин, а второго – У. Андерсон.

Среди произведений, соответствующих первому принципу, одни образы показаны в соответствии с поведением животных, а другие – по-человечески. Порой лишь название картины помогает понять смысл необычного образа: так, одушевленный фантазией Садуорт, задумчиво сидящий под луной белый кот назван «Крадущий сердца и хранящий мечты». Другой способ подчеркнуть необычность животных – включение в изображение «говорящих» атрибутов: рождественская елка, вокруг которой собираются звери на обложке М. Хейга «Зачарованный мир», или рождественский колокольчик, который обхватила лапками одна из мышек на открытке того же автора. Интересны находки художницы Алисии Остин (Alicia Austin), которая родилась в США в 1942 г., где и проживает в настоящее время. Наряду с художественным, получила биологическое образование, что оказывает влияние на ее детально реалистичные образы животных. На наш взгляд, это чувство реальности она старается привнести и в самые необычные, волшебные образы<sup>32</sup>. В детстве ее любимым развлечением были книги с иллюстрациями Э. Дюлака, А. Рэхема, Н.К. Уайэва: «Я родом из традиций тех книжных иллюстраторов позднего викторианского – раннего XX века, чьи мечтательные фантазии подняли книжную иллюстрацию до уровня изобразительного искусства»<sup>33</sup>. Полагаем, что по художественной манере она наиболее близка к Б. Поттеру: волшебное начало органично и «просто» входит в ее работы. Использо-

---

<sup>31</sup> Кирюхина. 2012 (б).

<sup>32</sup> «От летящих через сад фей к струнному квартету кошек и к Койоту, создающему Млечный Путь...» (A look at the art... 2011).

<sup>33</sup> Alicia Austin...

вание «говорящих» атрибутов в картинах соответствует характеру и поведению животных: белка собирает ягоды в сумочку («Сборщик ягод»), мышка мелет зерна на коврике («Ежедневная молотьба»), хорьки охотятся с колчанами стрел («Он охотится один», «Ежедневно вдвоем»). Лишь иногда такое изображение становится началом некоего сказочного эпизода: на картине «Похититель сердец» хорек с сумочкой наперевес ворует вышитые сердца в сказочном замке.

На некоторых из многочисленных иллюстраций М. Хейга звери показаны в мире природы, стоящими на задних лапах и в человеческой одежде: мышь Джанктон в синем пальтишке отбивается от нападающей на него совы. На других – звери занимаются человеческими занятиями в человеческом мире. Так, в «Алфавите мишек» очень выразителен мишка-джентльмен, стоящий под зонтиком на фоне падающего снега у ворот respectable дома; в «Сказках Матушки-Гусыни» кошка в платьице играет на виолончели, свинка-хозяйка и гость-мышь обедают в уютной английской кухне, а мать-свинья и ее дети веселятся во дворе.

Особенно интересны работы, где автор сочетает человеческое и звериное поведение персонажей: в этом отношении прекрасны иллюстрации к книге К. Грэхема «Ветер в ивах» (1980). Хотя книга была оригинально проиллюстрирована такими мастерами, как Э. Шепард (1930) и А. Рэхем (1939), Хейг нашел свой собственный подход, и именно эта книга определила его неповторимую художественную манеру. Так, на одной из иллюстраций с торжественным выездом мистера Жаба в сопровождении своих друзей, мистера Крыса и мистера Крота, художник не только детально передал одежду этих «джентльменов» и нарядно украшенную повозку, но и их характеры: уверенного мистера Крыса, покуривающего трубочку; романтического мистера Крота, нюхающего полевой цветок; хвастливого мистера Жаба, гордо восседающего на облучке повозки. Характерам героев соответствуют интерьеры их жилищ. Чисто побеленная нора мистера Крота небольшая по размеру, в ней любовно подобраны необходимые вещи: фонарь над потолком, коврик на вымытом полу, аккуратно повешенные сковородки. В жилище мистера Жаба, наоборот, много излишнего, рассчитанного на то, чтобы поразить своим богатством: портреты, избыток цветов и ваз, богатый камин, шкура тигра на полу, на которой рядом с бюстом предка гордо стоит хозяин дома. Наконец, истинное удовольствие зрителя вызывает сцена вечернего пикника на берегу реки, в которой звери проявляют подлинное дружелюбие друг к другу: мистер Барсук играет на гармошке, которой вторит дудочка мистера Крыса, а мистеры Жаб и Крот с улыбками предаются традиционному английскому чаепитию.

Еще более разнообразен творческий диапазон А. Остин. Интересно, что лишь в немногих работах автор использует напрямую традиционный сказочный сюжет: в «Старушке в ботинке» в домике-ботинке живет заячья семья, вместо старушки изображена мать-зайчиха, подметающая пол большой метлой. Чаще всего ее героини заняты вполне человеческими занятиями, хотя в некоторых работах акцент делается именно на звериных повадках: на картине «Кошачья рыбалка» показаны две пухлые кошки, в лапы которых вложены удочки. В других произведениях звери копируют человеческое поведение даже в положении тел и лап: таковы лихие героини картины «Отмечают праздники», где мыши водят хороводы, держа за лапы, а кот играет на виоле. Любимый праздник Рождества изображается неоднократно: работа «Это мы идем колядовать» представляет тех же героев, держащих в лапах ноты и поющих рождественские песни, а в картине «Зимняя шутка» звери украшают снеговика перед аккуратным человеческим домиком. Возможно, самым интересным становится сочетание звериного и человеческого поведения: в работе «Время для чтения в библиотеке» зайцы и барсук показаны стоящими по-звериному, а обучающий их чтению сидящий в кресле с очками на носу лис вальяжно, по-человечески закинул лапу за лапу. Интересно, что в ряде работ появляются американские животные (например, сунсы), но времяпрепровождение героев остается типично английским: посещение книжного магазина («Букинистический магазин»), вечернее чаепитие («чай в саду»), совместное хобби – шитье («Вечер за шитьем одеяла»).

В более условном изображении животных У. Андерсона сказочный эффект строится не на копировании человеческих поз или жестов, а на использовании «говорящих» атрибутов и вариантов человеческого времяпрепровождения, а звериные морды никогда не копируют человеческую мимику. Некоторые из его героев живут в странных механизированных домиках («Мышиный домик»), другие предпочитают жить в мире природы (пьющие из бокалов совы в «Ночном кубке»), и даже героини, вызывающие в памяти знакомые образы, изображены необычно (Жаб из Жабс-Холла, одетый в нарядную человеческую одежду, огромен по размерам). Этот эффект «укрупнения» образов животных прекрасно использован в иллюстрациях к книге «Мышиная магия»<sup>34</sup>. В ней показаны соответствующие звериному облику ворон и заяц, а также изящно одетый и расхаживающий на задних лапах Крыс с волшебным посохом, значительно превосходящие по своим пропорциям других героев книги. Ска-

---

<sup>34</sup> Вышла в 1976 г., золотая медаль за «Лучшую иллюстрированную детскую книгу» от Общества иллюстраторов в Нью-Йорке в 1979 г.



зочность любимых героев художника заключается в необычности их поведения: более всего они предпочитают танцевать, выполнять цирковые трюки и путешествовать. Весело танцуют одетые в человеческие одежды мышки («Мышиная магия»), нежно обнимаются в танце улыбающиеся кошка и собака («Тюльпаны»), лихо отплясывают жабы, взмахивая шляпой с зеленым пером и позвякивая бубенцами на ножках («Жабы»). Звери предпочитают кувыряться (кот в работе «Катастрофа»), ходить по канату (мышь и кролик на велосипедах в работах «Канатоходец» и «Белом кролике») и, конечно, жонглировать («Гусеница»). Возникает ощущение, что любимые звери У. Андерсона находятся в непрерывном движении, в путешествии во времени и пространстве. В этом отношении интересны работы под названием «Достижение» (рисунки) и «Путешественник во времени» (живопись), изображающие одних и тех же героев, в человеческой одежде и с меняющимися атрибутами: например, в «Достижении» мышь едет на улитке-человечке, а в «Путешественнике во времени» (серия, в которую входят разные работы под одним названием) – на улитке-паровозике, с куклой; колоритен и живописный заяц на черепахе с игрушечным медведем в лапах.

Теперь обратимся к произведениям, в которых изображены волшебные существа с животными. Одним из основателей художественной традиции изображения разнообразных взаимоотношений животных с феями и эльфами, несомненно, был Д.А. Фицджеральд<sup>35</sup>. Современные художники, по большей части, придерживаются изображения «мирного сосуществования». Очень часто феи показываются вместе с кошками. Так, на картине А. Остин «Новые друзья Карлотты» маленькие крылатые существа почесывают шейку разомлевшей от удовольствия большой кошке. У. Андерсон показывает довольную девочку-фею, обнимающую кошку, в то время как еще два зверя расположились у нее на спине («Потягивающаяся Горчинка»). Достаточно редко изображается собака: в картине того же автора «Фея и звезда» улыбающийся летящий пес развозит на своей спине маленьких фей. Часто рядом с маленькими существами находятся мыши. У Л. Миллз в «Крыльях феи» девочка-фея, подобно фольклорному мальчику, развезжает верхом на мыши. В забавной работе У. Андерсона «Пять бесстрашных эльфов» большой Мышь в человеческой одежде показан рядом с маленькими клыкастыми существами (одно

---

<sup>35</sup> Большинство его работ изображает маленьких человечков, вооруженных острыми инструментами (наподобие длинных иголок), которые нападают на белку, кота, летучую мышь, кролика и малиновку, но в других, хотя и меньших по количеству, волшебные человечки довольно мирно сосуществуют с лесными зверями – «Зачарованный лес». Кирюхина. 2012 (6).

из немногих изображений эльфов-уродцев, хотя и встречающихся в фольклоре). Рядом с мышами изображаются и гномы (У. Андерсон «Пара мышей и размахивающие гномы»). Размер гномов у этого художника позволяет их использовать в качестве средств передвижения как жаб, так и улиток («Гномы и сады»). Иногда рядом с маленькими существами могут оказаться и другие животные: так, на картине Андерсона «Балансирующий еж» герой прекрасно развлекается на канате вместе с эльфами. Весьма необычно изображение феи вместе с рыбой у Кристенсена («Нахождение вашей рыбы»): рыба является важным символом для художника, одновременно – его товарным знаком (летающие или плавающие рыбы, часто на поводке), они символизируют фантастическое, ставшее реальным<sup>36</sup>. Наконец, в ряде работ показано множество зверей одновременно как с феями, так и с гномами (У. Андерсон «Голубой цветок» и «Мышиная магия»).

В иллюстрации А. Ли к книге «Феи» под названием «Дорога из волшебного мира» маленький эльф в сопровождении мухи и улитки спрашивает совет у лесного духа, напоминающего русскому зрителю встречу Руслана с головой богатыря: на рисунке изображена именно огромная голова, теряющаяся в куче листьев и трав; водрузивший очки на нос, дух что-то пишет кисточкой по листу. Контраст между маленькими фигурками и огромной головой вызывает удивление и приобщение к вековой тайне леса. На картине У. Андерсона «Давным-давно» Луна, свесив ножки, сидит на гнезде, слушая вместе с котом сказку о Луне, которую мать-птица читает своим птенцам; улыбающийся кллов птицы с воздетыми на него очками выглядит весьма комично. У Д.К. Кристенсена «Человек, который заботился о Луне» показан вместе с совой, собакой и, конечно, рыбой, а сама картина, по мнению автора, несет в себе 16 скрытых символов, связанных с Луной<sup>37</sup>. На наш взгляд, более привлекателен лунный человечек на картине Андерсона «Человек на Луне, запершийся на засов»: художник любовно изображает маленький домик этого человечка и его самого, уютно устроившегося читать в кресле с собакой, свернувшейся калачиком у его ног.

Спутниками ведьм, как в фольклорной, так и в художественной традиции чаще всего являются черные коты. Художественная традиция такого изображения, несомненно, идет от Рэххема<sup>38</sup>. Современные мастера не только следуют ей (на картине Андерсона «Ведьма» маленькая

<sup>36</sup> Кирюхина. 2012 (а).

<sup>37</sup> Christensen James C. 2011.

<sup>38</sup> Насколько колоритен, хотя бы, его «Шабаш ведьм» (1924 г.), задуманный как иллюстрация к «Сонной ложине» (переделан позднее в цветное изображение)!

по размеру героиня несется на огромном устрашающем коте), но и дополняют ее (ведьма в книге того же автора «Мышиная магия» имеет своим спутником еще и змея), а также видоизменяют. Выразителен вариант «Путешественников во времени», в котором улыбающаяся колдунья на метле в сопровождении черного кота показана удивительно милой и доброй: ее остроконечную шляпу украшают ветви роз, букет их она несет в руках, огромные ресницы кокетливо подкрашены, на щеке – маленькая родинка, серьги в виде сердечек, и лишь тонкие костлявые ножки напоминают классических предшественниц.

Волшебные животные, драконы и единороги, у современных художников, как правило, лояльны к другим животным. Так, на «Путешественнике во времени» Андерсона храбрый элегантно одетый Мышь летит на драконе, управляя им с помощью руля, а на туловище дракона расположилась целая деревенька. Проникнуты мягким юмором картины с изображением драконов у А. Остин, а время действия в них связано с зимой и рождественскими праздниками. На картине «Делясь теплом» среди синичек, усевшихся на ветку в надежде согреться, казалось бы, случайно оказался маленький дракончик, закрывающий своими крыльями соседей, а в «Маленьком праздничном волшебстве» дракон зажигает свечи на елке для собравшихся зверей. Тот же дракон вместе со зверями разбирает рождественские подарки («Кое-что для каждого») и радуется получению свитера («Это то, чего мне хотелось»), а затем в нарядном развевающемся шарфе катается на коньках («Старый мельничный пруд»). Это умение сделать страшное нестрашным, мягкий юмор в сочетании с истинной любовью к животным делает творения А. Остин весьма популярными. Что касается изображений единорогов, то уже упомянутые создания М. Хейга беседуют с тремя медведями, пляшут с феями, с белками и енотами. Полагаем, наибольшая симпатия связывает их с лебедями: красота и наличие крыльев, видимо, напоминают единорогам фей (на одной из работ единорог взлетает за ними ввысь с обрыва).

Последняя группа рассматриваемых нами работ – изображения отношений волшебных существ и животных с человеком. Тема общения человека с «волшебным народцем» – одна из наиболее захватывающих в фольклоре и имеющая развитую художественную традицию. В загадочной картине Р. Дадда «Удар волшебного дровосека» показана встреча человека с многочисленными представителями маленьких волшебных существ, в том числе, и с крылатыми феями и эльфами<sup>39</sup>. Традиция изо-

---

<sup>39</sup> Произведение является картиной в картине: зрелищем фантастического мира, разворачивающегося на подмостках мира природы, главной темой которого яв-

бражения встречи человека с прекрасными феями или эльфами человеческого роста, более известная сейчас по творчеству Толкиена, восходит к живописи прерафаэлитов и сюжету «Прекрасной беспощадной дамы» («*La Belle Dame Sunce Mercy*») <sup>40</sup>. Современные художники решают проблему отношений человека с феями и эльфами следующим образом. Чаще всего человек с опаской подглядывает за ними: на иллюстрации А. Лик «Феям» человек в средневековой одежде с любопытством всматривается в открывшуюся дверцу в холме, наблюдая за пышным пиром маленьких человечков, при этом выразителен контраст размеров персонажей («Чертог фей в холме»). Избранные допускаются в их круг как молчаливые наблюдатели: на картине Кристенсена «Однажды» люди находятся среди слушателей на поляне, где мудрый волшебник рассказывает свои истории. Лишь некоторые люди могут завести с ними настоящую дружбу. Так, на картине Андерсона «Волшебная музыка» маленькие феи кувыркаются и пляшут под музыку арфы, и, судя по половицам, они пришли в гости к искусному музыканту. Хороша картина Остин «Последний штрих», где она изобразила саму себя, подкрашивающую крылья феи; целый хоровод маленьких существ с комфортом расположился в комнате, валяясь на кровати, танцуя в воздухе, играя с хозяйскими кошками.

Взаимоотношения гномов, леприконов, брауни и гоблинов в художественной традиции изображались как настороженные (Р. Дадд «Удар волшебного дровосека»), враждебные (Д.Г. Россетти «Рынок гоблинов»), доброжелательные (А. Рэкхем «Вставай, вставай, Изабель!»), уважительные (Э. Брикдейл «Присказка»), дружеские (Г.М. Рим «Давным-давно»). Современные художники изображают не столь широкий спектр отношений. Эти существа часто враждебны человеку (особенно леприконы и гоблины, ставшие объектами изображения в кинематографе), порой нейтральны (на картине Д.К. Кристенсена «Присяга» гном с кружкой пива в руках наблюдает за незадачливым доктором), иногда — дружеские (у Кристенсена в «Полете сказочника» гномы расположились в летящем корабле вместе с детьми). А вот что касается великанов, то, в отличие от

---

ляется ожидание неминуемого события. В центре композиции, на месте, к которому прикованы взоры всех персонажей, находится загадочный лесной орех с непонятным содержимым, на который должен обрушиться каменный топор огромного дровосека. Все собравшиеся на картине вокруг него словно загипнотизированы неведомой силой (Paz. 2011).

<sup>40</sup> Восходящей напрямую к одноименной балладе Д. Китса, а опосредованно — к фольклорному образу феи, возможно, в свою очередь, имевшей отношение к бансии (или банши): картины Д.У. Уотерхауза, Г.М. Рима, Ф.Б. Дикси, Ф.К. Купера (Кирюхина Е. М. 2011).

классической традиции, изображавшей, как правило, злых великанов (например, иллюстрации к сказке «Джек и бобовый стебель» Рэخمема), современные художники могут показывать как добрых великанов (Кристенсен «Однажды»), так и нейтральное сосуществование людей и великанов в одном месте. Картина того же мастера «Двое в попытке завести разговор», вдохновленная, по признанию автора, готической живописью и иллюминированными рукописями<sup>41</sup>, показывает двух великанов, горячо обсуждающих важные проблемы, спокойно расположившимися в средневековом городке, жители которого не обращают внимания на то, что один из собеседников уютно устроился на городской башне.

Несмотря на традицию изображений отношений людей с обитателями вод (Д. Кольер «Земной ребенок» – русалка и ребенок, Рэкхем «Ундина») и леса (Кольер «Арденский лес» – встреча девушки с паком), современные художники не часто обращаются к этой теме, предпочитая показывать отношения с обитателями Луны. Иллюстрации Ли к книге «Месть Луны» (1987) изображают не просто человечка, обитающего на Луне, а злого короля Луны в латах, с мечом и державой в руках, подобно будущему Королю призраков из фильма «Властелин колец». Добрый волшебник Кристенсена – это сказочник, который изображается автором в средневековом наряде, с длинной кудрявой бородой Санта Клауса и несколько крупнее по росту всех остальных, что подчеркивает его особую значимость: он не просто рассказывает сказки волшебным существам, но и творит их своей фантазией. Несколько иной и не менее интересный прием изображения использует Садуорт. Она не называет своих героев волшебниками или колдуньями, но «говорящие атрибуты» и место действия настраивают зрителя на такую трактовку образов. Странный герой картины «Преследуя чуткую добычу» и прекрасная дева в работе «Тайные места»: лучи заходящего солнца озаряют каменистый кряж с опасной горной тропой, известной, видимо, только самой героине и ее спутнику, молчаливому и гордому снежному барсу, – все это, на наш взгляд, настраивает зрителя на сопереживание с героиней.

Говоря о волшебных животных и не затрагивая драконоборцев артуровской легенды, а также традиционный образ Георгия Победоносца, можно отметить следующее. Прежде всего – традиционное противостояние и последующая победа человека над чудовищем. Однако и в этом случае дракон может изображаться не только как страшное существо. Страшный морской дракон показан на иллюстрациях Ли к книге «Месть Луны»: огромное чудовище, нависающее над средневековым городом,

---

<sup>41</sup> *Christensen James C.* 2011.

будет усмирено звуками флейты хрупкого мальчика. Тщательная передача деталей изображения – средневековой одежды, домиков городка, кораблей времен короля Генриха Тюдора – создают, на наш взгляд, впечатление достоверности происходящей на глазах зрителя сказки. С другой стороны, изображение драконов может быть совсем нестрашным<sup>42</sup>. Драконы в «Книге драконов» Хейга легко побеждаются рыцарями, поскольку они смешные и даже испуганные. Наконец, весьма популярна сейчас необычная тема дружбы человека и дракона. Романтическое прочтение этого сюжета дает Садуорт: на картине «Наследница морского дракона» прекрасный белый дракон изображен у стен замка на фоне луны, а юная дева с гордостью и восхищением вглядывается в него из укрытия, чувствуя возникающую взаимосвязь. На картине Андерсона «Ищущий» показаны плоды такой дружбы: на спине летящего дракона сидит человек, читающий книгу. Такого разнообразия смыслов нет в изображении единорога и человека, хотя вместо темы преклонения волшебного животного перед юной девой может быть тема дружбы единорога и ребенка. У Хейга изображена мирная картина: мальчик читает книгу, а ребенок-единорог доверчиво спит рядом с ним недалеко от дома мальчика.

Взаимоотношения с человеком более традиционных животных, ведущих себя необычным и сказочным образом, в художественной традиции изображались и как враждебные (Б. Поттер «Сказка о кролике Питере», «Сказка о крольчатах Флопси»), и как хорошие (Б. Поттер «Портной из Глостера», «Сказка о миссис Тигли-Винкли»). Однако никто из современных художников не достиг успеха книг Поттер и Шепарда. Конечно, есть еще популярная книга «Ветер в ивах», которая продолжает вновь и вновь иллюстрироваться. Однако люди изображаются в ней контрастно и не слишком привлекательно, по сравнению со славными животными. Хорошие отношения животных с людьми демонстрируют, например, иллюстрации Хейга к «Сказкам матушки Гусыни», где мать-крольчиха воспитывает как своих непослушных крольчат, так и ребенка, шапочка которого украшена заячьими ушками. И все же, на наш взгляд, новых примеров немного.

А вот в том, что касается изображения взаимоотношений человека с ожившими волшебными предметами и игрушками, то здесь можно найти интересные примеры и необычные трактовки. Таковы иллюстрации Андерсона к книгам «Жестяной лес» (2001) и особенно «Механический дракон» (2005), несомненная удача художника. Это грустная исто-

---

<sup>42</sup> И это не дань современности, уже в XV в. Паоло Уччелло на картине «Святой Георгий и дракон» изобразил такого нестрашного марширующего дракончика.

рия о мальчике Джордже (говорящее имя!), который мечтал о драконах (Андерсон изображает забавных и грустных драконов, сопровождающих мальчика буквально повсюду). Сделав механического дракона, он полетел на нем ночью, а настоящие драконы, которых он не заметил, последовали за ним. Игрушка сломалась, расплакавшийся мальчик уснул в ней, не заметив, что ночью к нему приходили драконы. Утром они улетели, родители привезли сына домой, а на день рождения подарили щенка... Именно иллюстрации художника, сумевшего показать неоднозначные образы драконов, как живых, так и игрушечных, заставляют задуматься читателя: стоит ли сохранять верность своей мечте или удовольствоваться тем, что дает реальность.

Подводя итоги нашим наблюдениям, можно прийти к следующим выводам. Конечно, в попытке найти «прекрасное далеко» можно надолго, если не навсегда, уйти в реальность виртуальную, а необходимость зарабатывать, чтобы затем заняться художественным творчеством, привела к тому, что современный мастер вынужден работать в разных сферах производства, заниматься коммерческой деятельностью и активной саморекламой, при этом порой стремление к славе и успеху приводит к созданию художественных штампов на грани дурного вкуса. Однако, вне всякого сомнения, в настоящее время фольклорные образы сказочной живописи утоляют вечное стремление любознательного человека раздвинуть границы неведомого. И, что еще важнее, они создают островок стабильности, мир, существование которого можно предвидеть и предугадать, – именно тем, чего не хватает в тревожном настоящем. Что же касается зверей, наделенных человеческими чертами, то в них современный зритель ищет собеседников и друзей, а в мире животных – утраченное им тепло домашнего очага...

#### **БИБЛИОГРАФИЯ**

- Ботникова А.Б.* Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М.: Аспект-Пресс, 2005. 352 с.
- Бриггс М.К.* Эльфы в традиции и литературе / Пер. С. М. Печкин. 1998–2007. URL: [http://pechkin.rinet.ru/x/smp/xlat/Briggs\\_KM/FITAL/](http://pechkin.rinet.ru/x/smp/xlat/Briggs_KM/FITAL/).
- Кирюхина Е.М.* Новое прочтение артуровской легенды в жанре «литературной картины» у художников-прерафаэлитов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 5. Часть 1. С. 324–330.
- Кирюхина Е.М.* Использование жанров сказки и сказочной живописи современными американскими художниками // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012 (а). № 5. Часть 1. С. 318–324.
- Кирюхина Е.М.* Эволюция викторианской сказочной живописи: от Ричарда Дадда к Беатрикс Поттер // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 3. Часть 1. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2012 (б). С. 410–416.

- Мифология Британских островов: энциклопедия. Составление и общая редакция К. Королева. М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2004. 640 с.
- Мнацакян К.А.* Способы организации художественного пространства в английской литературной сказке 40–80 годов XIX века. URL: <http://pstgu.ru/download/1236083322.mnazakanyan.pdf>.
- Маневич А.Н., Маневич И.А.* Самые знаменитые достопримечательности Великобритании: Иллюстрированная энциклопедия. М.: Белый город, 2013. 104 с.
- Мостепанов А.А.* Анималистический жанр в английской литературной сказке XX века: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Воронеж, 2011. 44 с.
- Пропн В.Я.* Собрание трудов: Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. 512 с.
- About the Author. URL: <http://www.amazon.com/Book-Fairies-Michael-Hague/dp/product-description/0688108814>.
- A look at the art. URL: [http://www.aliciaaustin.com/frame\\_Bio.html](http://www.aliciaaustin.com/frame_Bio.html)
- Alicia Austin. URL: <http://www.skylandgallery.com/artists-information.php?id=31>.
- Beatrix as book designer. URL: <http://www.vam.ac.uk/content/articles/b/beatrix-potter-business-of-books/>.
- Biography of artist and Illustrator Wayne Anderson.  
URL: [http://www.wayneandersonart.com/Wayne\\_Anderson\\_Art/biography\\_3.html](http://www.wayneandersonart.com/Wayne_Anderson_Art/biography_3.html)
- Grant J.* Ancient Evenings // Artists and Illustrators Magazine. URL: <http://www.annesudworth.co.uk/articles.htm>.
- Christensen James C. URL: <http://www.greenwichworkshop.com/thumbnails/default.asp?page=1&a=16&detailtype=artist>.
- Michael Hague // Oxford Encyclopedia of Children's Literature. URL: <http://www.answers.com/topic/michael-hague>.
- Paz O.* El mono gramatico. Barcelona: Editorial Seix Barral. S.A., 1974. P. 103–106. (Biblioteca Breve). URL: <http://www.vavilon.ru/textonly/issue12/paz.html>.
- Schindler R.A.* Fairy Painting after 1850. URL: <http://www.victorianweb.org/painting/fairy/ras6.html>.
- Sudworth A.* My Work and Ideas. URL: <http://www.annesudworth.co.uk/art.html>.
- Sudworth A.* Literature. URL: <http://www.annesudworth.co.uk/black.html>.
- Sudworth A.* Stone Circles. URL: <http://www.annesudworth.co.uk/black.html>.
- Sudwort A.* Trees And Forests. URL: <http://www.annesudworth.co.uk/black.html>.
- The art of Lauren Mills. URL: <http://laurenmillsart.com/biograph.html>.
- Vadeboncoeur J.* Alan Lee. URL: <http://www.bpib.com/illustrat/lee.htm>.
- Ward J.M.* Anne Sudworth: Light from the Earth: Interview with Anne Susworth // Crescent Blues. URL: [http://www.crescentblues.com/3\\_4issue/sudworth.shtml](http://www.crescentblues.com/3_4issue/sudworth.shtml).

**Кирюхина Елена Михайловна**, кандидат филологических наук, доцент культурологии, доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права Нижегородского государственного педагогического университета;  
[elenakiruhina@gmail.com](mailto:elenakiruhina@gmail.com)



# НАШИ ИНТЕРВЬЮ

---

Г. Н. КАНИНСКАЯ

## ЕЩЕ РАЗ О ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИКАХ

---

В статье синтезированы интервью с французскими историками, рассуждающими о том, как они выбирали свою профессию, кто повлиял на их выбор, о современном состоянии исторической науки и проблемах преподавания истории.

**Ключевые слова:** политическая история, школа «Анналов», Институт политических наук – Сьянс-по, историческая антропология, междисциплинарность, культурная история, универсализация исторического знания.

---

Историк должен быть способен  
ответить, когда общество его спросит.

*Из интервью с Ж. Жанненэ. 16.12.2011*

Обратившись однажды к жанру устной истории и получив возможность опубликовать в «Диалоге со временем» серии интервью с французскими историками, каждый раз теперь, пребывая благодаря приглашениям Дома наук о человеке в Париже, стараюсь расширить «диалоговое поле»<sup>1</sup>. Настоящая статья – третья из цикла, материал для неё собирался в декабре 2011 г. Собственный профессиональный интерес и длительные связи с Институтом политических наук г. Парижа (Сьянс-по) обусловили то, что большая часть собеседников – преподаватели этого института или ассоциированы с ним. Это, главным образом, специалисты по современной политической истории и международным отношениям. Любезно согласились на интервью ныне почетные профессора Жан-Ноэль Жанненэ, Морис Вайс, Жиль Лё Бегек, Элизабет дю Рео и, так сказать, «рядовой профессор» Сабина Жансен. Кроме того, на этот раз мне посчастливилось побеседовать с бывшим директором Дома наук о человеке Морисом Эмаром, представляющим третье поколение знаменитой «школы Анналов», и со специалистом по российской истории, научным руководителем Школы высших исследований по социальным наукам (HEES) Ютой Шерер. Чтобы продолжить логический ряд предыдущих интервью, французским историкам повторялись прежние вопросы<sup>2</sup>. Вместе с тем, учитывая

---

\*Статья подготовлена благодаря поддержке Дома наук о человеке г. Парижа.

<sup>1</sup> См.: *Канинская*. 2009; 2012.

<sup>2</sup> Что побудило Вас стать историком? Каков был Ваш профессиональный путь, и какое влияние оказала Ваша семья на выбор профессии? Назовите ученых, наиболее сильно повлиявших на Ваше профессиональное становление. Как Вы оцениваете эво-

собственный интерес и продолжающиеся в научном мире дискуссии о преподавании истории и учебниках по истории, я добавила несколько новых вопросов<sup>3</sup>. Замечу, что интервьюируемые отвечали на них по собственному усмотрению, оставляя некоторые без ответа. Отчасти поэтому, а также исходя из стремления сделать свой цикл более разнообразным с точки зрения подачи материала, данную статью я предпочла написать в виде синтеза полученных интервью, из которых, принимая во внимание заданные вопросы, можно выделить несколько сюжетов.

### *Сюжет первый. Как выбирали профессию историка?*

**Жан-Нозль Жанненэ**, бывший министр культуры в правительстве Ф. Миттерана, отвечавший в этом ранге за празднование 200-летия Французской революции 1789 г., бывший директор Национальной библиотеки им. Ф. Миттерана, Дома Радио, а в настоящее время ведущий авторскую передачу на радио «Франс-кюльтюр».

Естественно, моя семья сыграла главную роль в моем становлении как историка, причем особенно специализирующегося по политической истории. Я – выходец из либеральной буржуазной семьи, т.е. не из деловых кругов. Дед мой – Жюль Жанненэ был парламентарием во времена Третьей республики, избранным от Левого блока еще в 1902 г. Он оставался депутатом до 1940–42 гг., потом снова был избран и отошел от дел в 1969 г. А в 1932 г. дед стал сенатором, некоторое время даже возглавлял Сенат. То есть он – представитель левой, причем радикальной, традиции. Хотя он в партии собственно и не состоял (имеется в виду партия радикалов и радикал-социалистов – *Г.К.*). Но он – типичный дрейфусар (имеется в виду знаменитое «дело Дрейфуса», расколовшее французов на два враждебных лагеря в 1894–1990 гг. – *Г.К.*). Я обо всем этом в своей докторской диссертации написал. А отец мой был министром в правительстве де Голля времен Пятой республики. Он придерживался скорее взглядов левого голлизма. Вкус к политике у меня возник еще и со стороны моей бабушки по линии матери. Она была тоже очень активной дрейфусаркой. До своего прихода в политику вместе с де Голлем в 1958 г. отец мой был

---

люцию французской историографии на протяжении последних 30 лет? Какие новые тенденции Вам хотелось бы в ней выделить, и какие из них больше Вас привлекают? Существуют ли сегодня национальные исторические школы, например, французская, американская, немецкая и др.? Чего, на Ваш взгляд, сегодня не хватает французской историографии, и какие новые подходы Вам хотелось бы в ней развивать?

<sup>3</sup> Ваше мнение о преподавании истории во Франции и о реформе в системе образования? Что, на Ваш взгляд, в ней положительно и отрицательно? Что Вы думаете о преподавании общих исторических курсов в университетах и месте истории в преподавании в целом? Как Вы оцениваете развитие исторической науки в нашей стране?

профессором университета. Он экономист. У меня еще брат и четыре сестры. С детства я очень много читал разной литературы, потому что все мои братья и сестры учились либо экономике, либо литературе, либо истории. Я был учеником хорошим, поступил в ипокань<sup>4</sup>. После я прошёл по конкурсу в Высшую Нормальную школу (далее – Эколь нормаль), причём сначала хотел специализироваться по философии. Собеседование со мной проводили Мишель Фуко и Жан Ипполит<sup>5</sup>. Они сказали мне, что мой склад ума отнюдь не философский и были правы. Тогда я и остановился на истории, которая действительно соответствовала моим склонностям, вкусу. Это ведь скорее дисциплина, а не наука – история. В то же время, видимо, под влиянием политического опыта моих предков, я постоянно хотел участвовать в общественной жизни. Хотя и профессорская карьера мне нравилась. Я четырежды входил в Сьянс-по как преподаватель, но при этом всегда старался сохранить свободу выбора и никогда не принадлежал к иерархическим кругам Сьянс-по. Диссертацию хотел написать очень быстро, что и сделал за четыре года.

**Морис Вайс**, ответственный руководитель группы по публикации дипломатических документов Франции после 1960-х гг. при МИДе. На русский язык переведена одна из его работ<sup>6</sup>.

«Почему я стал историком? Точно не знаю. Может, потому, что с детства любил историю, философию, политические науки. И, как всегда, это воля случая. Я учился в Сорбонне, посещал знаменитый семинар по истории 1930-х годов, который вели маститые тогда историки Ж. Тушар, Р. Ремон, Ж. Жирарде. Когда сдал агрегационный экзамен<sup>7</sup>, начал работать над диссертацией. Семья никакой роли в выборе профессии не играла. Она даже меня немного побуждала задумываться о других специальностях, например, медицине, адвокатской карьере».

**Жиль Лё Бегек**, бывший депутат парламента (1973–1978 гг.), ныне – глава Ассоциации Ж. Помпиду.

Семья в моем профессиональном выборе не участвовала. Маме хотелось, чтобы я поступал в Национальную школу администрации (ЭНА). Я стал историком под влиянием двух обстоятельств. Во-первых, благодаря тому, что однажды летом, оказавшись лет в 14-15 у бабушки, в абсо-

---

<sup>4</sup> Название специальных подготовительных классов для поступления в элитные высшие учебные заведения и самих учащихся этих классов.

<sup>5</sup> Думается, что М. Фуко не нуждается в представлении. Ж.Ипполит – философ, бывший директор Эколь нормаль.

<sup>6</sup> *Вauss.* 2005.

<sup>7</sup> Двухуровневые агрегационные экзамены дают право преподавания в лицеях и высшей школе. Сокращенно сдавших их, как и саму процедуру, называют «агреже».

лютно затерянной деревне в Нормандии, где потом началась высадка союзников, на маленьком полуострове Котанта, как бы от нечего делать, приобщился к чтению. У весьма образованного деревенского кюре я нашел два тома под названием «Приход к власти Бонапарта», написанные преподавателем Сьянс-по Альбером Вандалем. Во-вторых, после лица я не поступил туда, куда хотел поступать изначально, а именно – в Высшую Нормальную школу, куда я нацеливался, выбрав при подготовке к «баку» специализацию по литературе<sup>8</sup>. Но я не очень силен был в латыни, знать которую требовалось для прохождения на изучение словесности на довольно высоком уровне. Я провалился по конкурсу в Эколь нормаль, больше не хотел испытывать себя и сразу поступил в Сорбонну. Там я несколько поколебался в выборе специальности между философией и историей, но понял, что все же история интересует меня больше. Так я и открыл для себя историю.

**Элизабет дю Рео**, экс-вице-президент Университета Париж-3, Новая Сорбонна, бывший директор, ныне – почетный председатель Центра европейских исследований Новой Сорбонны.

Я принадлежу к поколению, которое выросло в конце Второй мировой войны. Я родилась и жила на востоке Франции, в г. Сантье департамента Вогезы, который находился на территории, оккупированной немецкими войсками и, надо сказать, оккупация была довольно суровой. Поэтому я постоянно задавалась вопросом о том, почему французы должны делать то, чего требуют немцы. Я не понимала этого, но понять хотела. Потом, в дни Освобождения, я спрашивала себя, почему пришли американцы, чтобы нам помочь. Словом, все эти вопросы будоражили моё детское воображение. Мне дома часто повторяли: чтобы найти на них ответ, надо изучать историю. Возможно, поэтому в лицее я очень интересовалась историей. К тому же мне повезло на встречи с интересными людьми. Родители мои были тесно связаны с крупными бойцами Сопротивления, которые говорили со мной о своей борьбе. Потом семья моя переехала в Нормандию, где мой отец рассказал мне о депутате от округа Эр этого департамента Пьере Мендес-Франсе<sup>9</sup>. Однажды я сопровождала отца на большое собрание в мэрии. Правда, мой отец не был радикалом, как Мендес, он был христианским демократом, поэтому иногда критиковал Мендеса. А я удивлялась, откуда и почему такая критика, иногда думала, что, может, радикалы слишком светские, слишком активно высту-

---

<sup>8</sup> Письменный экзамен на бакалавриат (сокр. *бак*) учащиеся сдают по окончании лицея, и он служит критерием при поступлении в высшее учебное заведение.

<sup>9</sup> Мендес-Франс был премьер-министром Четвертой республики в 1954–55 гг.

пают против частных религиозных школ. Ещё, однажды меня удивила фраза отца, когда он, придя домой, сказал: “Сегодня родилась новая Германия” [имеется в виду образование ФРГ в 1949 г.]. Вскоре и правда появилось новое поколение немцев, которое стало контактировать с Францией. Все это меня очень удивляло. Потом последовал мой первый вояж за границу, в Рейнскую землю Германии в составе молодежной группы христианских демократов. Во время этого путешествия мы встретились с итальянцами. Это было в 1950-е гг., когда закладывались основы контактов христианской демократии. Меня очень впечатлили также события, связанные с оставлением французами Индокитая [1954 г.], поражением Франции во время Суэцкой экспедиции [1956 г.] и с советской интервенцией в Будапешт [1956 г.]. Ответы лицейских профессоров на вопросы по поводу всех этих событий меня не удовлетворяли, и тогда я начала читать. Я очень много читала, в том числе биографий. Учебу начала в католическом институте г. Анже, затем продолжила в университете Ренна, где меня поначалу очень привлекла история Латинской Америки, и я даже подумывала взяться за изучение языка. Но к началу 60-х гг. я твердо решила поступить в Сорбонну. Там меня увлекла древняя история, особенно археология. Однако надо было выучить греческий язык, а у меня не получилось его хорошо освоить. И тут профессор греческого посоветовал мне обратиться к Жану-Батисту Дюрозелю<sup>10</sup>, который только что пришел в Сорбонну и предложил студентам работать в его семинаре по истории Первой мировой войны с прицелом на защиту диплома, а потом и диссертации. Я записалась в этот семинар, а когда мне надо было выбирать тему диссертации, появился закон об открытии архивов через 30, а не 50 лет после событий. Так для меня открылась возможность заняться новейшим периодом истории, и я начала работать в специализации «политические науки» над темой о политике Э. Даладье.

**Сабина Жансен** - доцент по истории в Национальной консерватории ремесел и искусств (КНАМ), соредактор Ж-Ф.Сиринелли в электронном журнале «Политическая история», выпускаемом Сьянс-по.

Я не собиралась становиться историком. Я обожала литературу, много читала, писала стихи и, не имея четкого представления о том, чем бы хотела заняться в будущем, думала, что так или иначе моя профессия будет связана с литературой. Однако я очень рано познакомилась с историей. Мой отец, по профессии врач, обожал средневековую литературу и вообще историю средних веков. И уже когда сама я стала заниматься историей, я узнала, что он после окончания учебы на медика записался

---

<sup>10</sup> Подробнее о Ж-Б.Дюрозеле см.: *Канинская*. 2002.

в Сорбонну, на лицензиат<sup>11</sup> по истории. Он сам мне никогда об этом не говорил, но за него говорила его библиотека. В ней были и повествования о Трое, и такие книги как «Тристан и Изольда», «Песнь о Роланде». Кроме того, там были труды известных ученых по истории средних веков, таких как Марк Блок и Робер Бутрюш. Я помню, что еще в колледже прочла книгу Регины Перну «Об окончании Средних веков». Таким образом, можно сказать, что мой интерес к истории развивался параллельно с интересом к литературе. Например, меня очень впечатлили повествования о чуме в Марселе в 1720 г. в книге Марселя Паньоля «Время любви» и о японской оккупации Китая в межвоенный период в романе «Сын дракона» Перла Бака. Решающими и определяющими для меня стали два последних класса лицея, где я специализировалась по философии, и где очень много внимания уделялось истории. И мне посчастливилось иметь двух блестящих преподавателей по истории и географии. Во время подготовки к бакалавриату я читала много романов, свидетельств и аналитических трудов по программе подготовки, которая касалась первой половины XX века. Меня, семнадцатилетнюю, очень впечатлили книги Де Голля «На острие шпаги», «За профессиональную армию» и «Раздоры в стане врага». Сдав экзамены на бакалавра, я поступила в подготовительный класс лицея Генриха IV, намереваясь готовиться к конкурсу в Высшую Нормальную школу на специальность «современная литература». Но так как у меня были самые высокие оценки по истории, я одновременно записалась на конкурс по истории в университет Париж-IV. В Эколь нормаль я не прошла, поэтому начала учиться на лиценциате по истории в Париж-IV. Тут для меня и открылась история. Особенно мне нравилась древняя история. А так как уже в первый год я получила самые высокие оценки, то поняла, что история – это мое призвание. В то же время, я не была уверена в своем призвании на преподавательском поприще, поэтому решила на всякий случай или, как говорят, быть или не быть, попытать счастья в Сьянс-по, куда и записалась параллельно на втором году обучения с Париж-IV. Там я выбрала специализацию «Политика, экономика, социальная жизнь» на отделении «Информация и коммуникация», что мне позволило освоить многие другие смежные дисциплины, изучая при этом историю. Одновременно я записалась в Париж-IV под руководство Ж.-М. Майера для подготовки диплома о Пьере Коте. Мой выбор новейшей истории логически был обусловлен тем, что надо было как-то сочетать научные интересы, будучи еще и студенткой Сьянс-по, где изучали только XX век. Однако если быть искренней, но-

---

<sup>11</sup> Диплом лиценциата получают во Франции после 3 лет обучения.

вейшая история не была для меня предпочтительной. Меня больше привлекали древняя история и средние века. Получение диплома Сьянс-по тут же открывало передо мной множество возможностей для работы в промышленности или в прессе, но я решила все же сначала закончить и дипломную работу о Пьере Коте. Труд исследователя очень меня привлекал, поэтому я записалась на DEA в Сьянс-по<sup>12</sup>. А по окончании DEA мне предложили написать диссертацию, что я с радостью приняла. Как только я начала работать над диссертацией, Ж.-М. Майер и С.Берстайн (соруководитель в Сьянс-по. – Г.К.) сразу же меня предупредили, что университетскую карьеру очень трудно сделать без агрегации. Поэтому, работая над диссертацией, я сдала и агрегационные экзамены. Работа над агрегационным конкурсом требовала изучения не только новейшей истории, доминировавшей в Сьянс-по. Год работы над агрегационным конкурсом был важен для меня по многим причинам. Три года я получала пособие как помощник учителя, потом стала почасовым преподавателем в университетах Кретей и Нантер, что позволяло иметь несколько часов работы в неделю, а оставшееся время заниматься диссертацией. Затем я стала преподавателем-агреже в КНАМ, наконец, после защиты докторской в Сьянс-по я избрана доцентом КНАМ».

**Морис Эймар** снискал широкую известность далеко за пределами Франции, в том числе и у нас, как продолжатель дела Ф. Броделя<sup>13</sup> в «школе Анналов». В российском научном сообществе многие признательны ему за то, что в бытность директором Дома наук о человеке он всячески содействовал приглашению отечественных специалистов для стажировок во Францию.

Мой выбор профессии историка был продиктован семейным происхождением. Я внук историка времен Третьей республики. Дед мой был учителем, потом инспектором по начальному образованию при Академии наук, писал учебники по преподаванию истории в начальной школе. Отец мой был профессором истории Древнего мира в университете. То есть я рос в семье, где говорили об истории, дискутировали на исторические темы, где водились книги по истории. Зачастую говорили о политике, о проблемах современной истории, Второй мировой войне, холодной войне, о партиях. Два обстоятельства повлияли на мой выбор. Во-первых, отец мой не хотел, чтобы я, как и два моих брата, повторяли его профессиональный путь. Братья последовали советам отца, выбрали другие профессии, а я, заключив компромисс с отцом, в 1957 г. прошел конкурс

---

<sup>12</sup> Диплом углубленного изучения (DEA) до перехода на Болонскую систему во Франции писали 2 года те студенты, которые хотели защищать диссертации.

<sup>13</sup> Подробнее о Ф. Броделе см., например: *Смирнов*. 2002.

в Высшую Нормальную школу, где выбрал специализацию по истории. Отец согласился с моим выбором, но сказал, что не хотел бы, чтобы я занимался древней историей. А я начал все же в школе ей заниматься. Однако, учась в Эколь нормаль, в конце первого года я стал колебаться, задумываться о будущей карьере и решил поступать по окончании в ЭНА, что было тогда очень популярно у моего поколения. Поэтому с 1958 г. я приступил к более серьезному изучению не истории, а административных наук. К тому же мне не хотелось заниматься историей Франции, потому что тогда особенно популярна была история Французской революции, и тему эту крайне политизировали, проходило много острых дискуссий, в которых мне совсем не хотелось участвовать. И я вдруг решил изучать турецкий язык, чтобы специализироваться по истории Османской империи. Это был мой поистине первый личный выбор.

**Юта Шерер** неоднократно бывала в нашей стране, сохраняет научные связи со специалистами из разных уголков мира.

Я немка, моя семья покинула Восточный Берлин и перебралась в Западную часть, когда была построена стена (имеется в виду Берлинская стена, возведённая в 1961 г. – Г.К.). Так что юность моя и моё историческое сознание развивались в условиях раздвоенности. Во-первых, под влиянием того, что немцы сделали, из-за их ответственности за Вторую мировую войну. А во-вторых, под влиянием последовавшей за ней холодной войны. Так как ребенком я жила в Восточной Германии, там я изучала русский язык. Учительница не очень владела грамматикой, но обожала русскую литературу. В результате, уже в первый год обучения мы читали Тургенева по-русски. Можете представить? Это было очень трудно, и я ничего не понимала в языке, но что поняла, так это то, что русская литература – это русская душа. И так как дети очень чувствительны, то у меня оставалась любовь к России даже в условиях раскола Германии. И я попыталась соединить две вещи: историю и литературу.

Подытоживая воспоминания моих собеседников о том, как они «пришли к истории», нельзя не увидеть, что профессиональный выбор каждого из них складывался под влиянием разных обстоятельств: семейных традиций, реалий тех лет, целенаправленных усилий или случайного стечения событий. Налицо перекрещивание разных факторов, но, тем не менее, один из них, безусловно, был решающим. И связан он с тем, что всем им, ныне тоже признанным специалистам, посчастливилось приобщиться к творчеству мэтров от истории.

И это определило *второй сюжет статьи – под чьим влиянием становились историками?*



**Жан-Ноэль Жанненз:** Первым моим университетским преподавателем был П. Ренувен, у которого я и писал дипломное сочинение, посвященное переписке бойцов в 1914–18 гг. Работал в архивах Жандармерии, что было чрезвычайно интересно. В то время ведь нельзя было защищать исторические работы без привлечения архивных документов, а тогда по закону они становились доступными для исследования после пятидесяти лет с момента прошедших событий. П. Ренувен поразил меня широтой взглядов, глубиной подхода и в то же время открытостью, чувствительностью. Он ведь участник Первой мировой войны, потерял руку, прошёл через газовую атаку. В моё студенческое время историю войны изучали традиционно: писали о славе и знаменах победы, Версальском мирном договоре, но никогда не касались тяжестей и горестей войны. Ренувен первым начал от такого подхода отходить, что меня очень впечатлило. Еще во время учебы меня вдохновлял профессор по истории Византии – Поль Лемер. Он читал курсы в Сорбонне, а потом стал профессором в Коллеж де Франс. П. Лемер обладал даром красноречия, политического трибуна, а это я считаю очень важным в преподавании. Потом, очень я любил Анри Марру и, конечно, Рене Ремона. Я встретил его здесь, в Сьянс-по. Он с Франсуа Гогелем вел семинар по 1958-му году, точнее – по созданию Пятой республики. К тому же Р. Ремон общался с моим отцом. Под его руководством я защитил диссертацию, посвящённую моему деду, а позже, в 1968 г., он пригласил меня в университет Нантер<sup>14</sup>, где я стал его ассистентом. Тогда очень легко было получить пост в университете, потому что во взрослую жизнь входили дети, рожденные между 1939 и 1940 гг. У Р. Ремона меня особенно поражал его либерализм. Он ведь был католик, а я и моя семья придерживались светских взглядов. К тому же, хотя я и не состоял в Соцпартии, я – левый политик. Для меня очень важна личность Жана Жореса. Ремон совершенно не боялся молодых талантов. В эти бурлящие годы он в Нантере создал маленькую блестящую команду специалистов по новейшей истории, куда вошли Ж.-Ж. Беккер, С. Берстайн, я и др. Ремон был убежден в том, что история необходима обществу. Когда я возглавлял Национальную библиотеку Франции, а Р. Ремон был уже болен, я провёл конференцию в его честь. Туда же я собрал его архив. Безусловно, важнейшая школа – это «Анналы». Я очень ценю творчество М. Блока, много читал его. «Анналы», естественно, сильно обогатили историческую науку. Они привили

---

<sup>14</sup> Университет Нантер (Париж-Х) считается одним из ведущих вузов, готовящих специалистов по новейшей истории. Особенно славится его библиотека по новейшей истории – BDIC. Со студенческих волнений в Нантере начался Май 1968 г.

вкус к красивому написанию исторических трудов. Жоржа Дюби, Жака Ле Гоффа я тоже выделяю как крупных представителей этой школы. Но для новейшей истории «Анналы» никакой роли не сыграли. У них было лишь два специалиста в этой области – Пьер Нора, мой друг и по сей день, и Жан Жюльяр. «Анналы» – это очень закрытая школа. Я им предлагал однажды по наивности статью, однако мэтры ее не приняли потому, что я не из них. Словом, школа занималась исторической антропологией и политической историей лишь применительно к древности и средним векам. Если говорить о специализации по международным отношениям, то тут большим авторитетом для меня был Ж.-Б. Дюрозель. Назову также Алэна Корбэна, которому сейчас 75 лет; он существенно обновил историю коллективной чувственности, написав очень хорошую книгу по истории проституции, парфюмерии, гомосексуальности, физического наслаждения. Вспомню и прекрасного специалиста по новейшей истории Даниеля Роша, Мишель Перро, Мону Озуф. Вообще, это знаковое событие – появление женщин в исторической науке. Когда я учился в Сорбонне, там их было очень мало среди профессоров.

**Морис Вайс:** Из тех, кого я особо почитаю, не стану перечислять ныне живущих, чтобы кого-то случайно не обидеть, а назову тех, кого уже нет с нами. Это Ж.-Б. Дюрозель, П. Ренувен, Р. Ремон. Все они были прекрасными историками и в то же время – большими гуманистами, очень уважаемыми людьми.

**Жиль Лё Бегек:** Диплом лиценциата я получил в 20 лет, в 1963 г. В Сорбонне меня сразу очень впечатлил П. Ренувен. А по истории международных отношений в новейшее время – Жак Дроз. Он был именитым профессором, и жаль, что он, втянувшись после Мая 1968 г. в авантюру с экспериментальным университетом Венсенна, заработал там инфаркт<sup>15</sup>. Серьёзно на меня повлиял заведовавший кафедрой истории Византии Поль Лемер. Я сильно увлекся этой историей, но для более серьёзных дальнейших исследований надо было выучить греческий язык, что давалось мне с трудом, и, в конце концов, я отказался от этой идеи. К тому же во время сдачи в 1966 г. агрегационных экзаменов я увидел Р. Ремона, который был членом жюри. Он тоже меня заприметил, а я, готовясь к экзамену, прочел его работы, и сам хотел с ним работать. Хотя у нас с Ремоном сложились очень плодотворные интеллектуальные контакты,

---

<sup>15</sup> Речь идет об экспериментальном университете, созданном по американской модели Министерством национального образования сразу по окончании студенческих бунтов Мая 1968 г. в пригороде Парижа Венсенне. Эксперимент оказался неудачным, так как в него пришли левачки настроенные студенты, которые по-прежнему были охвачены идеей революции, а не учёбой, и в 1969 г. университет был закрыт.

к кругу его близких учеников я никогда не принадлежал, потому что работал и жил под Парижем и не мог приезжать на его семинары. К тому же тогда я увлёкся политической карьерой. По сути, вокруг Ремона сложилась «школа Нантера». И благодаря этой школе политическая история превратилась в важную составляющую исторической дисциплины.

**Элизабет дю Рео:** Кроме Ж-Б. Дюрозеля, сыгравшего судьбоносную роль в становлении моей профессиональной карьеры, назову ещё некоторых учителей, способствовавших моему научному росту. Это П. Ренувен, П. Шоню, молодой в то время преподаватель Сорбонны М. Эмар. Говоря о впечатлениях об историографических дискуссиях времен моего студенчества, хочу отметить, что в то время, когда над темой Революции 1789 г. активно работали и шли в авангарде коммунисты, было совершенно невозможно в семинаре у А. Собыля брать такие темы, как Вандея, т.е. критиковать некоторые аспекты революции. А с Ж-Б. Дюрозелем мы очень много обсуждали и эту тему, и «школу Анналов». В его семинаре мы могли свободно и критически говорить о марксистской историографии. Например, там я познакомилась с Ж. Дюби, который, хотя и был марксистом, но тогда уже несколько от него дистанцировался. Особенно на меня произвели впечатление дебаты о происхождении Первой и Второй мировых войн. Словом, наша группа у Ж-Б. Дюрозеля была очень активной в научном плане. Из нее вышло много видных ученых. Например, П. Мильза, М. Вайс. В рамках этой специализации по истории международных отношений, затрагивались темы, связанные с Россией, но из-за недоступности российских архивов исследования были затруднены. Гораздо лучшие контакты развивались с Великобританией; побывала я и в США. Очень большую роль в моей карьере сыграл Р. Ремон. При подготовке диссертации я работала с архивами Э. Даладьё в возглавляемом им Фонде политических наук. Благодаря Ремону, я познакомилась с членами семьи Э. Даладьё, брала у них интервью. Там же, в Сьянс-по я установила научные контакты с другими крупными специалистами: П. Мильзой, С. Берстайном, с их Высшим циклом социальной истории XX века<sup>16</sup>. То есть у меня как бы две научные семьи: Сорбонна и Сьянс-по. Я не забуду первую крупную конференцию, организованную в Сьянс-по в 1970-е гг. по истории 1940-х годов, где мне довелось выступать впервые. Потом были другие важные конференции: по истории Виши, по президентам Франции. На них я познакомилась с двумя видными специа-

---

<sup>16</sup> Автору данной статьи также посчастливилось длительное время участвовать в работе этого цикла: в 1990–91 и 1993–94 гг. – в качестве стажёра, а в 1995–2002 гг. – практически ежегодно в качестве приглашённого профессора.

листами по истории колониальной политики – Р. Ажероном и Б. Стора. Надо отдать должное и культурной истории, начало развитию которой положил Паскаль Ори, а ныне продолжает Ж-Ф. Сиринелли.

**Сабина Жансен:** На мое формирование как историка повлияло много профессоров: Жан-Мари Майер и профессор средневековой истории Доминик Бартеlemi в Париже IV, Серж Берстайн, Жан-Пьер Азема – в Сьянс-по. Они научили меня строгости и четкости в исследовательской работе. Пьер Шоню, профессор новой истории, лекции которого я слушала во время лиценциата в Сорбонне, научил меня относиться к истории как к рассказу и включать воображение. Его курсы о религиозном сознании в XVI столетии, несмотря даже на то, что он прибегал к некоей преподавательской фантазии, свидетельствовали о том, что он крупный историк, способный к большим обобщениям и синтезу, к раскрытию глубоко запрятанных тайн ментальности. Кроме того, он открыл мне труды Люсьена Февра. Я восхищалась также другим историком, которого не знала, будучи студенткой – Полем Вейном, профессором кафедры по истории Рима в Коллеж де Франс. В нем меня поражала широта взглядов и критическое мышление. В Сьянс-по, помимо Сержа Берстайна, блестяще читавшего общий курс по методологии истории в сравнительной перспективе с социологией и политологией, я очень ценила как педагога Жана-Пьера Азему. Сначала я посещала его спецкурс как студентка, затем – как слушательница DEA, где он вместе с Мишелем Виноком в Высшем цикле социальной истории XX века вел спецсеминар «История и литература», и я с огромным удовольствием изучала творчество писателя Жана Жионо, снова как бы вернувшись к моему литературному призванию. В Сьянс-по меня восхищал остротой анализа и качеством риторики Жан-Ноэль Жанненэ. Он дал мне, молодому специалисту 1990-х гг., советы, которым я следую до сих пор. Позднее у меня установились очень важные и плодотворные связи с Жоржем-Анри Суту (бывший профессор университета Париж-IV, ныне член французской Академии наук – Г.К.) и Жаном-Франсуа Сиринелли, которые были членами жюри на защите моей диссертации. Широта их взглядов и эрудиция, я думаю, должны служить примером. Наконец, хочу упомянуть Рене Ремона. Я не была в строгом смысле слова его ученицей и знала его лишь немного, когда он возглавлял Национальный фонд политических наук. Он сочетал настоящий литературный талант с глубоким мастерством исторического синтеза и анализа. Я почитала его с самого начала моей подготовки к высшей школе и потом в Сьянс-по.

**Морис Эмар:** Ко второму году обучения в Эколь нормаль в моём историческом самосознании всё перевернулось и определилось после встречи с Ф. Броделем. Он тогда был профессором в Коллеж де Франс, работал в Практической школе высших исследований, а в нашу школу был приглашен инициативной группой молодых специалистов, причем не только историков, но и социологов, географов, вышедших из Эколь. Это было новое поколение молодых людей, рожденных между 1920 и 1925 гг., так что после Второй мировой войны им было лет по двадцать. В их числе социолог А. Турен, историк Ж. Ле Гофф и др. Они написали директору Эколь нормаль философу Ж. Ипполиту, специалисту по Гегелю, письмо с просьбой организовать цикл лекций, приглашая для чтения на каждую лекцию уже зарекомендовавшего себя тогда в научном мире специалиста, причём не только по истории, а вообще по гуманитарным наукам. Это было в 1958 г., когда Ф. Бродель в «Анналах» опубликовал свою программную статью по истории и социальным наукам об истории большой длительности. Причем я тогда не очень хорошо знал его труды. Про Средиземноморский мир, например, книгу ещё не прочел. Да и много университетских профессоров критиковали тогда Броделя, не совсем принимая его идеи. Его труды называли чересчур общими, литературными, поверхностными. После лекции я заговорил с Ф. Броделем, рассказал, что занимаюсь Османской империей, и он мне предложил встретиться, а во время встречи – работать вместе с ним, поискать стипендию для поездки в Венецию, где посоветовал собирать источники по торговле хлебом в Средиземноморье. Так, с февраля 1958 г. я начал работать с микрофильмами, пришедшими из архива Венеции, по ним изучал итальянский. А с августа 1958-го и до февраля 1959 года я работал в архивах Дубровника, потом в Турции, в Греции и Венеции. Эти шесть месяцев привили мне вкус к историческим исследованиям. Именно Ф. Бродель меня сделал историком. Причем меня интересовала не лекционная работа, а именно исследовательская. Я стал специалистом по истории капитализма в средневековой Европе в начале новой эпохи, защитив диплом DES<sup>17</sup> объёмом в 200 страниц. Но я продолжал посещать семинары Броделя и после получения диплома, прочел, наконец, его книгу о Средиземноморье. Словом, я нацелился на исследовательскую работу. Ф. Бродель своими трудами убедил меня ещё и в том, что историю надо писать не скучно, а живо и элегантно.

---

<sup>17</sup> DES – Диплом специализированной подготовки. До перехода Франции на Болонскую систему был вторым типом подготовки специалистов после университетов, наряду с DEA. По сути, предполагалось, что получивший его, не намеревается писать диссертацию.

Исторический труд должен быть написан, как роман, но оставаясь при этом трудом научным. Он учил, что надо писать так, как будто ты вообще пишешь первым на этот сюжет. Тогда это было очень необычно. Не в чести у университариев был такой стиль историописания. В университетах тогда преподавание было весьма школярским, требовалось повторять и заучивать. Мало места отводилось личным размышлениям. От Ф. Броделя я проникся убеждением, что писать об истории можно с удовольствием. К тому же он и новый тип исследований предложил, то есть историю экономическую, освобожденную от влияния религиозных, политических, военных напластований. Напротив, он показал большую роль в развитии капитализма крупной торговли, банков и торговцев. И в 1950–60-е гг. эта экономическая история сыграла важную роль в изучении прошлого, она обогатила его изучение постановкой историками новых вопросов. Новая экономическая история постепенно привела к обновлению преподавания и в Сорбонне. Например, там профессор Альфонс Дюфур, специалист по истории крестовых походов, стал представлять их через призму религиозной антропологии. К. Леви-Строс обновил метод, начав изучать мифологию, историческую антропологию. Словом, тогда историческая наука очень обогатилась новыми научными подходами. И все эти ориентации наметились благодаря Броделю. Я тоже смог найти свое направление, не желая участвовать в разворачивавшихся в то время дебатах вокруг Французской революции, в которых лидировала Компартия во главе с одним из крупных историков А. Собулем. Я же начал заниматься средними веками, которые в то время не очень котировались. Причём я убедился в том, что надо выходить за рамки национальной истории. Я отправился работать над документами по истории торговли, банков в итальянские архивы. Работа в итальянских архивах открыла мне мир, и я раскрылся как специалист. Средиземноморский мир представился мне с разных сторон, я начал задаваться вопросами о Ренессансе Европы. Через этот сюжет стала просматриваться перспектива перехода к изучению мира Атлантики, других частей света. Такой исследовательский разворот требует чтения трудов на иностранных языках, встреч с коллегами из других стран, а преподавание в то время у нас, даже в Сорбонне и Эколь нормаль, было слишком ограничено национальными рамками. Я, кроме как у Броделя, ни одного курса не могу припомнить, где бы преподавал приглашённый иностранный профессор. Это было возможно тогда лишь у географов, но не у историков. Даже если и читали курсы по истории США или России (особенно по России часто читали преподаватели с русскими корнями, которые могли читать по-русски), то все равно их

препарировали через видение национальной французской историографии. Благодаря Ф. Броделю, я сделал выбор в пользу открытости мира истории и историков. Отказался я также и от административной и политической карьеры, о чем, впрочем, не жалею. Так начал я заниматься историей, причем с методологической точки зрения взял курс на сближение её с экономикой, антропологией, археологией.

**Юга Шерер:** Я очень рано вышла замуж (муж мой был швейцарец), и мы уехали в США. Там я училась в Гарварде. Там же и повстречала того, кто определил мою дальнейшую карьеру как историка. Это был профессор Георгий Суворовский, выходец из русской эмиграции, священник. Именно благодаря ему я больше начала интересоваться интеллектуальной историей России, чем политической. Я защитила диссертацию о русской интеллигенции 80–90-х гг. XIX века, о тех, кто начинал, как марксисты, как Бердяев, Булгаков, Струве и кто сначала попытался соединить марксизм с этикой, а затем стал выразителем идей либерализма и религиозной философии. Я рассуждала в диссертации о том, что дал русской интеллигенции отказ от марксизма, и искала последствия этого. После смерти мужа я отправилась искать работу во Францию. Там в 1960-е гг. сильно ощущалось влияние ФКП, в том числе и в научном мире. Многие интеллектуалы были или коммунистами, или идейно близки к ним. А те, кто были антикоммунистами, не интересовались историей России. Лишь коммунисты изучали русскую историю. Я не была коммунисткой, но изучала русскую историю, поэтому меня атаковали с двух сторон: и коммунисты, и антикоммунисты. Можно сказать, что атмосфера, царившая во французской исторической науке в 1970–80-е гг. не благоприятствовала специализировавшимся по русской истории, кроме разве что тех, кто занимался XVI–XVII веками. А изучать историю XIX–XX веков было проблематично. Более того, в научном мире Франции не так, как в США, Англии, Германии относились тогда к интеллектуальной истории. Она не очень котировалась. Меня охватывало чувство, что я как бы и не совсем историк. Если бы я занималась экономической историей, то могла бы участвовать в семинарах М. Эмара. Интеллектуальная же история тогда для французов считалась скорее областью лингвистической.

Представленные в этом сюжете воспоминания дополняют картину наших представлений о «боях за историю» во Франции, прошедших во второй половине XX века<sup>18</sup>. А в связи с тем, что автору данной статьи недавно довелось написать рецензию на весьма солидный труд историка

---

<sup>18</sup> Подробнее об этом см., например: *Ретина*. 2009.

из HEES И. Козна<sup>19</sup>, где доказывается, что XX век был «веком шефов», возникло соображение о том, не подтверждают ли эту идею рассказы французских историков. Наряду с этим, они не могут не навести современного читателя на мысль о предназначении исторической науки, о её связи с политикой и гражданских позициях ученых-историков.

*Как в дальнейшем преломилась на историческом исследовательском поле полученные от мэтров знания и опыт – это третий сюжет.*

**Жан-Нозль Жаннен:** Во время нашей совместной работы в Нантере мы с Р. Ремоном и С. Берстайном задались целью поднять престиж политической истории и выдвинули идею написания сборника статей под названием «За политическую историю», как ответ «Анналам» и Ф. Броделю, которые специалистов по новейшей истории не очень-то жаловали. Сборник был полемический, детище команды Нантер-Сьянс-по. Я написал в нём введение, выступив сторонником обновления политической истории историей культурной, т.е. образами, рефлексией. А потом я заметил, что, когда обновлялась политическая история, совсем не уделялось внимания СМИ. Шли уже 1970-е гг., и тогда на меня очень повлиял друг семьи Пьер Нора. Когда он написал свой труд «Творить историю», я обнаружил и задумался о том, что в нём совсем ничего не говорилось об истории радио и телевидения. Так я взялся за эту проблему в Сьянс-по сам. С 1978 г. я начал вести семинар по истории аудиовизуальных средств, что было совершенно новым в преподавательской практике. Можно сказать, что с этого момента у нас в стране зародилась школа истории СМИ. Я убежден, что эта история способствует улучшению нашего знания о мире. И уже в течение 30 лет я рассматриваю политическую историю в этом ракурсе. Я сменил Р. Ремона на председателем поста в сенатской комиссии по присуждению ежегодных премий за исторические книги. Вместе с Э. Гигу<sup>20</sup> я вхожу в президиум Комитета по изучению европейской нации. Мы каждый год в местечке Блуа, в замке на Марн-ла-Вале, собираем франкофонных историков на три дня. Туда приезжает от 3 до 4 тыс. человек, и каждый год разворачиваются дебаты по разным темам. Например, обсуждали темы: «Восток», «Правосудие». В этом году (в 2011 г. – Г.К.) – «Приход к власти». В будущем планируем дискуссию по проблеме «Годы 1970-е». Там же организуется книжный салон – единственный, где выставляются только исторические книги. Участие в комиссиях дает мне возможность уловить кое-что в эволюции

---

<sup>19</sup> Cohen. 2013. – Рецензия ожидает публикации.

<sup>20</sup> Элизабет Гигу – видный член Соцпартии, была министром в правительстве Ф. Миттеррана, ныне – депутат Европарламента.



мировой историографии. В течение 11-ти лет на радио «Франс кюльтюр» я веду передачу, которая называется «Согласование времен». Важно, что последние 30 лет историков приглашают выступать на телевидение. Меня сейчас очень интересует проблема участия историков в общественной жизни. Я собираюсь открыть дебаты по теме «история и политика». Я – за междисциплинарные методы в истории. В Сьянс-по мне очень нравится то, что многие тут изучают историю и одновременно готовятся к какой-то другой специальности. Я с большим удовольствием три года вел в его стенах семинар по сравнению политических культур. Сравнивал, например, христианскую демократию у нас и в Италии, Германии. Сравнительная история дает интересные результаты. Можно обнаружить в истории человечества иногда анахроничные, иногда синхронные процессы. Отсюда и родилась тема моей радиопередачи. Интересно, например, сравнивать избирательные кампании в Древнем Риме и сейчас.

**Жиль Лё Бегек:** Мне не довелось участвовать в книге-манифесте Р. Ремона «За политическую историю», но я был одним из авторов второго сборника – «Предмет и методы политической истории». В 1960–1970-е годы я погрузился в политику: стал членом национального бюро «Союза молодёжи за прогресс», на срок 1973–78 гг. избирался депутатом парламента. В парламенте я был советником Жана Шардонеля, Р. Пужада, писал для них политические выступления. Я был голлистом и редким политическим историком, который имел опыт работы во власти. Многие мои коллеги левых политических взглядов тоже вели активную политическую жизнь, но не участвовали в ней сами напрямую, особенно не готовили избирательные кампании, речи, как довелось мне. После подобного опыта уже по-иному будешь преподавать и представлять политическую историю. Становишься в известном смысле реалистом. Политика – это вопрос о власти и конкуренция ради власти. Я об этом и со студентами в семинарах говорил. На мой взгляд, работа во власти пошла мне на пользу и в интеллектуальном плане. Вот уже 20 лет, не будучи специалистом по истории Италии, я активно сотрудничаю с итальянскими историками. Скоро там выйдет в свет коллективный труд по истории европейского общественного мнения, в котором я являюсь автором. Я очень много читаю английской литературы, и особенно мне нравится то, как у них пишутся политические биографии. С прошлого декабря, после длительного участия в научном совете Фонда Ж. Помпиду я возглавил Ассоциацию Жоржа Помпиду и разработал 4-х годичную программу посвящённых

ему конференций. А теперь я еще начал с Л. Жераром из Сорбонны работать над политическими идеями XIX века<sup>21</sup>.

**Элизабет дю Рео:** Важную роль в исторической науке и для меня лично сыграла особая группа по истории Второй мировой войны. Именно в ее рамках на конференциях можно было встретить русских коллег. Например, мне запомнилась конференция в Монпелье, посвященная истории Первой мировой войны, где было специальное обсуждение отношений Франции и тогдашней России. Очень меня впечатлил еще один сюжет. Когда на одной из конференций по истории Второй мировой войны, где присутствовали польские ученые, был задан вопрос о Катыни, польский докладчик ответил, что не хочет говорить на эту тему. Теперь в этой проблеме нет «белых пятен», а тогда, в начале 1980-х гг., некоторые проблемы были табуированы в марксистской историографии. Благодаря Ж.-Б. Дюрзелю, мы смогли пригласить на преподавательскую работу в Сорбонну одного чешского историка, покинувшего страну в 1968 г. С 1990–93 гг. по совету П. Мильзы я обратилась к изучению истории европейского строительства в XX веке (имеется в виду европейская интеграция – *Г.К.*). Мне повезло поработать в архивах Брюсселя, Флоренции, Женевы. В рамках этого проекта я начала активно контактировать со странами Восточной Европы: Чехией, Польшей, Венгрией. Удалось неоднократно выступать с докладами и в России.

**Юта Шерер:** Я некоторое время преподавала одновременно во Франции и в США. Став в 1980 г. директором исследовательской группы в Школе высших исследований по социальным наукам, я была ещё и профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке. Высшая школа – это замечательный институт. Там ведутся только исследовательские семинары и только для студентов, пишущих диссертации. К тому же школа эта многонациональная. У меня было много немецких, американских и особенно итальянских студентов. После падения Берлинской стены появились первые русские, украинские, польские студенты, что не могло не сказаться на моей ориентации как преподавателя. Студентов западных, работавших над русскими сюжетами, в первую очередь учили понимать текст. Ведь мы не могли поехать работать в архивах. К тому же, какие могут быть архивы по интеллектуальной мысли, религиозной философии? Мы искали сюжеты, над которыми можно работать, находясь здесь во Франции или в США, через библиотеки. У меня самой неплохая

---

<sup>21</sup> Автор статьи в декабре 2013 г. выступила с докладом на конференции, посвященной левому голлисту Л.Амону, которую организовали Ж. Лё Бегек и Н.Русселье под эгидой Центра по истории, руководимого Ж.-Ф.Сиринелли.

личная библиотека, университетские библиотеки тоже богаты на русские книги. Поэтому я работала с текстами. Я совсем не была близка, например, к методике Ф. Фюре, опиравшегося на количественные методы исследования, или Ф. Броделя, занимавшегося экономической историей. Все мои коллеги, кто занимался другими темами, работали в архивах. Например, Ле Руа Лядюри. Я никогда не ходила в архивы, даже в 1990-е годы. По советскому периоду эти архивы необходимы, но не по другим, по которым уже многие источники опубликованы. Более того, когда в России я побывала в архивах, там мне предлагали фотокопии документов, что меня не устраивало. Появились ведь новые методы и проблемы, поднимаемые исследователями. Раз в неделю, по субботам я даю семинар по истории русской мысли. В этом году, например, весь год мы изучали творчество П. Чаадаева. Причем анализировали, как его тексты воспринимали в России современники, в начале XX века, наконец, сейчас. Годом раньше в таком же ракурсе изучали наследие В. Розанова. Когда в годы перестройки я впервые приехала в СССР, я была совершенно очарована жизнью советской интеллигенции, которая, на мой взгляд, чрезвычайно демократизировалась. В стране были гласность, свобода публикаций. И я принялась изучать современную историю. Я стала историком по советской интеллигенции периода перестройки, 1990-х годов.

Не все, с кем беседовала автор статьи, детально останавливались на собственных научных достижениях. Например, М. Эмар, больше говорил о вкладе французской исторической науки и «школы Анналов» в мировую копилку знаний об обществе. Его рассказ и лёг в основу *четвёртого сюжета – о мировой значимости французской историографии*.

**Морис Эмар:** В 1968 г. произошёл крупный поворот в исторической науке в плане ее сближения с исторической антропологией. Естественно, у антропологов другой объект исследования, равно как и другие методы. Но один из главных методов антропологии историки позаимствовали. А именно: задаваться вопросом о том, как можно изучать такие стороны жизни человека, по которым не существует прямых письменных документов. Например, как понять историю жизни семьи, взаимоотношений в ней? Это можно изучать, лишь наблюдая поведение людей, а потом делать обобщения, находя различия между регионами и разными социальными группами. То же можно сказать о вкладе антропологии в изучение религии. Благодаря антропологии, расширились наши представления о культурных моделях общества, традициях. А археология примерно таким же образом обогатила изучение истории развития техники. Если говорить о том, что привнесла броделевская история в преподавание, то скажу следующее. Раньше историю объясняли, основываясь только на

том, о чем можно было прочитать в источниках, то есть, с чем события и процессы можно было идентифицировать. Для достоверности требовалось также ссылаться на труды предшественников. Сегодня, благодаря методам археологии и антропологии, к преподаванию истории широко привлекаются новые источники. А это, в свою очередь, позволило углубиться в изучение весьма отдалённых периодов истории, и главное – провести параллели с нашими днями. Иными словами, с 1960–1970-х гг. историческое знание не основывается лишь на письменных источниках, что позволяет исследователям прочувствовать, ощутить человеческую жизнь во всём многообразии. Возьмём такой пример, как история браков. Изучая их, можно увидеть региональные особенности и понять, почему выбирали тот или иной тип брака. Теперь существует возможность изучать культуру поведения через историю, рассматривая, например, как Вы пьете кофе, как жестиккулируете. Ф. Бродель в первую очередь интересовался материальными вопросами, изучая историю долгого времени. Этой долговременной истории присуще длительное социальное поведение. И меняется она более медленно, чем другие стороны жизни человеческого общества. В 1970–1980-е гг. во Франции сложились многочисленные исследовательские группы, работавшие в новом направлении. В Европе и США история как научная дисциплина начала интернационализироваться. Стали приглашать французских профессоров в американские университеты, в Канаду, Бразилию, Германию, Испанию, Италию. Словом, мои коллеги, начиная с 1970-х гг. много выезжали за границу. Так французская школа установила контакты с другими историческими школами. Причем до середины 1980-х гг. к ней относились в мире с большим пиететом, её методам следовали, особенно многочисленные американские ученые – историки и социологи. Под влиянием французов появилась итальянская микроистория (Карло Гинзбург и др.). В самой Франции и в Германии появились новые интерпретации истории, например, история повседневной жизни. Это ведь новый тип историописания. Появились параллельные, сравнительные исследования. Таким образом, наступил период открытости истории, её новые идеи и подходы распространились в мировом масштабе. Например, состоялось действительное примирение французской и германской историографии. До этого ведь очень редко французские историки, занимавшиеся немецкой историей, интересовались трудами немецких коллег. В основном интерес к Германии проявлялся в филологии. С итальянской историографией примирение произошло еще раньше. Затем возник интерес к истории Индии. Ставился вопрос о том, как страна с такой длительной историей колонизации со стороны Англии, смогла сохранить английское интеллектуальное влия-

ние, не оставшись в то же время в стороне от влияния марксизма. Подобным же образом сложился интерес к истории Китая. В 1970-е гг. установились контакты с польскими, венгерскими историками, которые, хотя и были воспитаны в духе марксизма, с огромным желанием открывались миру. Среди таких польских историков был, например, будущий политик Бронислав Геремек, который учился во Франции еще в 1950-е гг. Он изучал маргинальные слои, что для марксистской историографии было необычным, ибо она изучала историю классов. В то время было очень важно и своевременно изучать социальную историю через маргинальные слои, чтобы показать и понять сложившиеся в обществе различия. Словом, это был нетрадиционный марксизм. Б. Геремек – очень важный и показательный пример, так как в постсоветской Польше он оказал заметное влияние на внешнюю политику страны. Он был больше популярен за границей, чем в Польше. С Россией, хотя и медленнее, но тоже постепенно с 1980-х гг. стали налаживаться контакты историков. В числе первых, с кем они возникли, был А. Гуревич. И тогдашнее руководство Академии наук СССР охотно шло нам навстречу. Начались взаимные приглашения на конференции. Иными словами, связи между французскими и советскими историками установились задолго до 1989 г. В частности, советские историки приезжали на конференцию по «Анналам». Вообще, благодаря расширению контактов и познавательных горизонтов и политическую, и военную историю стали по-иному изучать. Исследователи обратились к новым проблемам, задавались новыми вопросами. Появилось второе поколение историков после Л. Февра и Ф. Броделя: Ж. Ле Гофф, А. Турен, хотя он социолог, Ф. Фюре. Словом, история задвигалась, оживилась. Например, благодаря Ж. Ле Гоффу, перестали смотреть на Средние века как на переход от Античности к Новому времени и признали за этим периодом истории право на собственную жизнь, структуру и культуру и ринулись его активно исследовать. Я думаю, что связь истории с другими социальными науками (антропологией, социологией, лингвистикой) уже неразрывна. Это важное достижение исторической науки в целом. Это дает возможность по-разному представлять историю. Расширяются горизонты познания истории, в частности через повседневную жизнь. Сегодня, как мне думается, все историки выступают за междисциплинарность в исследовательских подходах.

Нельзя не поддержать М. Эмара, но в то же время и не обратить внимания на некоторые тревожные нотки в размышлениях его самого и его коллег, из которых сложился *пятый сюжет статьи – о современном состоянии исторической науки во Франции.*

**Морис Эмар:** В 1950–60-е гг. экономическая история играла важную роль в изучении прошлого, она обогатила это изучение постановкой историками новых вопросов и новыми открытиями. А сейчас она несколько забыта именно потому, что сама превратилась в дисциплину сплошь повторения и заучивания. Сегодня экономическая история нуждается в обновлении. А если говорить о национальных особенностях французской историографии, то к ней вполне можно применить формулу Ф. Фюре, высказанную по случаю 200-летия Революции 1789 г., об окончании французской исключительности. С другой стороны, во Франции издается много книг по истории, и у населения есть к ним интерес. В последнее время немаловажную роль в оживлении философского характера дебатов об истории играет итальянская историография. Там проводится много интересных конференций. Вообще, благодаря интернационализации, переводам научных трудов, взаимным встречам и контактам различия между национальными историческими школами исчезают. Они сближаются. Остается, правда, для европейской исторической школы весомая проблема – перевод трудов её авторов на английский язык, который теперь стал языком международного общения. Важно знать и славянские языки: русский, польский. Знания иностранных языков сегодня явно не хватает французским историкам. К тому же немало еще специалистов остаются замкнутыми на изучении истории лишь собственной страны. Выход европейской историографии на другие исторические школы необходим. Например, китайскую и российскую.

**Жан-Ноэль Жанненэ:** Современная политическая история весьма обогатилась за счет вторжения в её пространство подходов и методов культурной истории. Хотя теперь мне кажется, что мы слишком увлекаемся ей, за представлениями, или репрезентациями, мы перестали обращать внимание на факты. Мы все изучаем «образ того», «воспоминание о том», «память о том». Например, что касается периода правительства Виши. Это важно, особенно когда изучаешь радио и телевидение. Но из-за такого перекоса сейчас пропал интерес к истории социальной, экономической. Теперь эти дисциплины в кризисе, а когда я был студентом, они доминировали. В Париже–IV особенно ощущается тяга к обновлению истории международных отношений, в том числе дипломатической истории. Даже античная история во многом обновилась. Хотя надо признать, что курс на эволюцию исторического знания идет параллельно с превращением английского языка в язык межнационального общения. Отчасти поэтому французская историография, особенно новейшая, утратили свой престиж по сравнению со временем «Анналов» и П. Нора. Кроме того, появилась плеяда «историков правительства» (Норьель, на-

пример, один из таких), которая нападает на мэтров. Это те, кто при правительстве работают, узко мыслят, социально не очень себя прочно ощущают. Они выпускают массу «карманных книг», где критикуют мэтров, цитируют без ссылок меня, например, из моей книги «Республика нуждается в истории». Появились проблемы, слишком подвергнутые рассмотрению в зеркале истории. Например, Первая мировая война. Ей посвящены такие сомнительные книжки, в которых рассуждают о том, почему шли солдаты на войну: из-за патриотизма или страха быть расстрелянными. Иными словами, выросло поколение историков как бы другой чувствительности. Для них наука – выдвинуть идею, и неважно, что она принесет. Я люблю писать, это не мой подход. Между тем, важно, что сейчас история перестала быть замкнутой. Теперь можно самому открыться миру и открыть его для себя. Но все-таки нация остается. Я считаю, что до сих пор существуют национальные историографические школы, и это нормально. Хотя и нынешняя открытость школ прекрасна. Если касаться новых исторических тем, то отмечу, что большой интерес сложился к жанру биографий, который в 1970-е гг. у нас не приветствовался. Новые биографии интересны потому, что в них пишут не о том, что ел-пил тот или иной лидер, а о том, что было особого в формировании его личности, как и что повлияло на ее становление и эволюцию. Существует ещё одна проблема – финансирование изданий. Ну, и новые технологии ведут к тому, что пропадает интерес к книгам.

**Морис Вайс:** Что касается существования национальных исторических школ, то в значительной степени, что, впрочем, не вызывает у меня опасения, они исчезают. Люди ведь все больше и больше трудятся по всему миру. Я бы сказал, что идет двойной процесс. С одной стороны, ученые сильно замыкаются в своей узкой специализации, а с другой – испытывают влияние других школ благодаря обменов, конференциям, совместным программам. Без сомнения, происходит формирование межнациональной исследовательской школы. В то же время появляются, например, американские работы по Франции, но ссылаются в них авторы лишь на американских авторов, написавших о нашей стране. С одной стороны, выходят совместные труды, например, по Европе, ядерной безопасности, с другой – между исследователями сохраняется изолированность, причина которой – лингвистическая. Поэтому я настаиваю на важности переводов или умения самих авторов писать на иностранных языках. Чего не хватает французской историографии? На мой взгляд, сравнительных работ. Особенно по международным отношениям. Смотреть, что происходит по другую сторону границ – это желательно. Нужен к тому же постоянный диалог с другими научными школами. Его пре-

красно можно вести во время совместных научных форумов. Конференции позволяют узнать другие школы и как ведут они свои исследования. Нужен живой диалог. Раньше диалог между учеными велся в письмах, теперь – по Интернету, но для меня живое общение важнее.

**Жиль Лё Бегек:** Я думаю, что во Франции не очень доверчиво относятся к политической истории. Например, в Нантере в течение пятнадцати лет я никого не мог найти на замену на пост профессора по политической истории. В новейшей истории на сегодня нет таких крупных и авторитетных специалистов, каким был в свое время П. Ренувен. Мало специалистов во Франции изучает историю политических институтов. Только Николя Русселье. До сих пор у нас историей политических идей больше занимаются филологи или политологи. На мой взгляд, политическая история во Франции недостаточно еще открыта другим дисциплинам, в частности, концептуальным или правовым. И я считаю, что слишком много в ней присутствует история культурная. Я в Сьянс-по вместе с П. Коши и Ж.-Ф. Сиринелли согласился составить рабочую группу для размышления над перспективами политической истории.

**Сабина Жансен:** Так как мое становление как историка происходило в самых разных местах, то я сохранила вкус к разнообразию. Не имея пристрастия к догматизму, я считаю, что в историографии могут существовать различные точки зрения при условии, что в них строго учитываются научные критерии. Очень долгое время жанр биографий, к которому я очень тяготею, не почитался. Сегодня этот сюжет уже никто не ставит под сомнение, что чрезвычайно обогащает историографию. Кроме того, история выиграла на пространственно-временном отрезке, так как в 1990-е годы новейшая история легитимизировалась, что долгое время оспаривалось. Это стало возможным после опубликования в 2008 г. закона о сокращении срока давности архивов. Вместе с тем, параллельно идет процесс фрагментации истории. Франсуа Досс справедливо говорит о том, что история «в осколках». Я думаю, что если сегодня трудно выделить крупные историографические тенденции, то это оттого, что французская школа находится в некоторой стагнации, выдохлась. Безусловно, это несколько не ставит под сомнение её прежние успехи и достижения, и не будет преувеличением сказать, что Франция в мировой историографии доминировала в 1930–1970-е гг. Но надо признать, что сегодня французская историография – тень самой себя. Мы являемся, прежде всего, свидетелями доминирования англо-саксонской историографии, более динамичной и продуктивной, пользующейся к тому же привилегией господства её языка. Сегодня существуют еще национальные исторические школы, что зависит от различий в подготовке и от того, на кого ссылают-



ся историки в своих исследованиях, но мы наблюдаем очень активную мутацию. Вместе с унификацией системы образования, начатой в Лиссабоне, и интернационализацией рынка образования, различия начинают стираться. Я думаю, что французским историкам, почивающим на лаврах прошлых успехов, не хватает смелости и открытости. Они замкнуты в своих рамках и не подвигают своих воспитанников на поиск новых научных идей. Сейчас, когда подумаешь, что в 1980-е гг. можно было закончить полный курс обучения по специальности «история» в Сорбонне, не посещая ни одного курса по иностранному языку, изумляешься. Надо отметить, что долгое время бедность университетов составляла их слабость. В том смысле, что они не могли развивать связи, продвигать свою научную продукцию. Сегодня очень трудно найти средства для перевода статей и книг. Если мы хотим продвигать наши труды, которые отнюдь не уступают по значимости англосаксонским, надо избавиться от самобичевания и галльской замкнутости.

Думается, что в рассуждениях французских коллег о современном положении исторической науки в их собственной стране нетрудно провести сравнительную параллель с российской действительностью. Явное сходство прослеживается в том, что некоторым российским историкам старшего поколения, особенно тем, кто замыкался исключительно на изучении истории России, в постсоветский период не хватает достаточного знания английского языка и финансовых возможностей для перевода своих трудов, заграничных поездок, чтобы приобрести известность в мировом историческом сообществе. А, как известно, рейтинг признания историков не только в мире, но и в нашей стране всё чаще зависит теперь от упоминания в списках цитируемости авторов, составленных главным образом на основании публикаций на английском языке. Тем не менее, открывшись миру, отечественная историческая наука продемонстрировала, что на должном уровне овладела новыми методами и подходами, и у нас появилось много серьёзных монографий и коллективных научных трудов, написанных с их применением.

**Юта Шерп** во время беседы справедливо отмечала: «В России многое изменилось после перестройки, а у нас многое изменилось потому, что изменилось у вас. Молодые историки в России после крушения Берлинской стены сразу ринулись в архивы. В вашей стране появился огромный интерес к религиозной философии, издали Бердяева. На мой взгляд, может, теперь его даже слишком тиражируют. Раньше у меня не было ни одного русского студента в семинаре, теперь есть»<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Из интервью 14 декабря 2011 г.

**Морис Эмар**, остановившись на вопросе об оценке российской историографии, сказал следующее: «Хочу отметить, она прошла через несколько крупных этапов или моментов в развитии. В дореволюционный период существовало немало известных в мире русских историков, например Н. Кареев. Революция привела к разрыву. Те, кто в эмиграции делал карьеру, так и продолжали считаться русскими историками по причине происхождения. Из тех, кто остался в России, за её пределами известен был Е.Тарле. Второй разрыв произошел в 1989–91 гг., когда пал коммунистический режим. Ведь в советский период ваша историография отгородилась от мировой. Историки в то время занимались собственной революцией и тем образом, который ей навязывал политический режим. Они все время обязаны были ссылаться на марксизм. Хотя и тогда у вас были специалисты, изучавшие другие страны и проблемы: Б. Поршневу, А. Гуревичу. Изучали, в частности, проблемы истории Средних веков, но эти темы не вписывались в официальную историю. А когда произошла перестройка и открылись архивы, наоборот, мы, западные историки, все увлеклись советским периодом и ринулись в ваши архивы. Не знаю, так ли в то же время эти архивы русских историков интересовали. А у российских историков открылась возможность и появилось желание ездить по миру. XX век очень важен для российских историков. В это время отечественная история снова воссоединилась, те, кто оказался в эмиграции, хотя бы в своих трудах возвращались на Родину. Отмечу еще один парадокс периода разрыва между историографией советской и мировой. Те, кто у нас занимался Византийской историей, знали греческий язык, но не знали русского. А у вас ведь были тогда крупные византилисты»<sup>23</sup>.

На аналогии наводит и последний, *шестой сюжет предлагаемой статьи – о проблемах преподавания истории во Франции.*

**Жан-Ноэль Жанненэ:** Если говорить о преподавании, то в первую очередь надо отметить, что прежнее поколение, в том числе и мое – мы были эгоцентристами, не могли говорить по-английски. Сейчас это обязательно. Хотя иногда мне странно, когда студентам-французам предлагают обучение на английском. Другая проблема сейчас – нехватка студентов. В Сьянс-по этого нет, но в Сорбонне – наблюдается. Отчасти это и из-за проблемы финансирования образования. Я ничего не имею против Болонской системы. Она позволяет студентам путешествовать. В Сьянс-по мне очень нравится то, что многие изучают в этих стенах историю и одновременно обучаются какой-то другой специальности. Когда мы преподаем историю, надо задаваться вопросом, что она нам

---

<sup>23</sup> Из интервью 7 и 20 декабря 2011 г.

дает, зачем она нужна. Преподавание истории требует постоянного обновления и обогащения, с одной стороны, сравнения настоящего с прошлым, а с другой – удовольствия от рассказа. Сейчас у нас идет очень много дебатов по вопросам преподавания истории в средней школе, в частности, в последнем классе лицея по специализации в естественно-научной области. Надо поразмышлять над программами. В лицеях часто излагают историю по большим темам, а надо бы и с хронологией эти темы согласовать. А то однажды я видел в одной программе, что войну 1940 г. изучают перед темой о нацизме. Как можно объяснять войну, не рассказав предварительно о нацизме? Вообще, вопросы преподавания истории – это вечная борьба. Борьба между историей и СМИ. Особенно в условиях Интернета. Надо учить принципу и проблеме классификации, готовить к использованию с умом Интернет-ресурсов.

**Морис Вайс:** Сейчас проходит много манифестаций в пользу того, чтобы больше места отводилось преподаванию истории. Я считаю, что очень важно учить историю в средней школе, но не надо создавать слишком замкнутый корпус учителей, и не стоит им слишком рьяно обороняться. Не мешало бы им тоже заниматься исследованиями, иметь научные публикации. Думаю, что школьная реформа не должна сводиться только к вопросу о количестве учебных часов по истории. Я не безоговорочный сторонник Болонской системы потому, что не стало общих годовых университетских циклов, в ходе которых прежде можно было увидеть прогресс студентов. Если раньше в Сьянс-по было 14 учебных недель, то теперь 12, а то и 10. Я не уверен, что за 10 недель можно действительно изучить крупную историческую проблему. Хотя, с другой стороны, в нашей образовательной системе предпринято огромное усилие, чтобы освободиться от национальных рамок. Очень продвинулись мы и в плане написания учебников. Считаю, что стоит внимательнее рассмотреть проблему использования источников в преподавании истории.

**Жиль Лё Бегек:** Я не очень одобряю изменение нашей программы преподавания истории. Она мне не очень понятна. Хотя я сторонник магистерских курсов, которые требуют обязательного присутствия студентов на занятиях. Студенты явно стали более мотивированными в плане выбора специальности. В бытность свою преподавателем я читал курсы не только по политической истории Франции, но и Италии, Англии, Германии. Общие курсы у нас читаются на 1–3 годах обучения, потом идут магистерские исследовательские семинары. До прихода в Нантер я поработал профессором в университетах в Лиможе и в Нанси. Довелось мне прочесть много разных лекционных курсов для подготовки агрегаций. Мне кажется, что сейчас, с современным развитием науки, одолеть такой

объём дисциплин невозможно. Когда-то я читал лекции по экономике и даже по философии. А. Пейрефит<sup>24</sup> хотел отменить агрегации, но спас их Ж. Помпиду. Агрегации – специфика французской системы подготовки преподавателей. Хотя она и не установлена законом, но отборочные комиссии всегда смотрят на наличие сдачи агрегационных экзаменов у конкурсантов. Какое неудобство для исторической специальности несёт сейчас эта агрегация? Теперь между окончанием курса «мастер-2»<sup>25</sup> и временем для написания диссертации есть перерыв в два года на подготовку к агрегационным экзаменам. Причем это ведь надо заниматься не по теме своей будущей диссертации, то есть наступает своего рода прерывность в диссертационном процессе. Подобной процедуры не существует не только за границей; так, у наших политологов и юристов агрегация сводится к конкурсу при приёме на работу после защиты диссертации, проходящему в виде собеседования.

**Элизабет дю Рео:** В начале моей карьеры мне пришлось преподавать в средней школе, что очень помогло мне понять ее проблемы. Мне кажется, что основная трудность преподавания истории в лицах на протяжении последних двадцати лет кроется в сильном перекосе в сторону истории тематической в ущерб хронологии событий. Например, учат так: проблемы экономических кризисов, проблемы колониальной истории, проблемы политических кризисов. Все учителя говорят, что из-за такого построения учебной программы учащиеся абсолютно потеряны, так как им трудно ориентироваться и понять, как вписываются эти проблемы во временные исторические отрезки. Что касается переживших немало реформ университетов, то я принимала участие во внедрении в Сорбонну Болонской системы. Согласно ей, унифицировалась система обучения в Европе по схеме: 3 года – лицензиат, 2 года – мастер и 3 года – диссертация, хотя в этот срок мало кто ее защищает. Положительным нахожу в реформе то, что она позволила студентам поучиться в разных европейских университетах. Много наших студентов отправляется в Германию, Англию. С США пока эта система меньше действует. Основные трудности от внедрения Болонской системы проявляются на 4-м и 5-м годах обучения. Сегодня в силу разных причин, и не в последнюю очередь финансовых, после лицензиата многие студенты задаются вопросом о том, нужна ли им диссертация, перед написанием которой обязательно надо пройти программу «мастер-2», и что она дает. К тому же у меня возника-

---

<sup>24</sup> Бывший министр Национального образования в правительстве де Голля, на долю которого выпали Майские события 1968 г., повлекшие его отставку.

<sup>25</sup> Во Франции магистерские программы называются «мастерскими». Сокращённо, 1 год обучения – «мастер-1», второй – «мастер-2».

ют сомнения в том, можно ли, руководствуясь одинаковыми критериями при подготовке специалистов, скажем, в информатике и истории?

**Сабина Жансен:** Система преподавания во Франции пребывает в кризисе, что касается и истории. Историческая дисциплина не выглядит как значимая специальность, приносящая плоды в дальнейшей жизни. Поэтому нынешние студенты отдают предпочтение праву, политическим наукам, экономике. Сегодня, в условиях глобализации мы переживаем период глубокой трансформации, в результате которой исчезают старые рамки, но и новая система еще не ясна. На мой взгляд, интернационализация – это прекрасная вещь, но я не уверена в том, что лихорадочная соревновательная гонка, в которую втянуты университеты, создает благоприятные условия для продвижения исторического знания. Еще меньше восторга у меня вызывает то, что мы вступили в полосу жесткого подсчета в исследовательской деятельности. Сейчас пытаются внедрить одинаковую политику подсчета результатов для совершенно разных дисциплин. Полагают, что исследования по физике или биологии требуют значительного финансирования, а история – нет. Научная прибавочная стоимость книги отнюдь не пропорциональна её цене. Наши предшественники писали крупные труды по истории, не будучи связанными кредитами от Национального агентства исследований, созданного 7 февраля 2005 г. (ANR), или от Европейского исследовательского центра (ECR). Можно лишь порадоваться возможности получения кредитов после стольких лет пустоты, но обидно, что проблема кредитования превалирует над значимостью научного исследования.

**Морис Эмар:** Думаю, что, в принципе, у нас в школах и лицеях отводится должное место истории. В начальной школе по важнейшим событиям изучают лишь историю Франции. В лицее уже углубленно изучают историю свою и всемирную. Она преподается в сравнительной перспективе по отдельным темам. Например, история индустриализации. В университетах на исторических факультетах наряду с историей изучают много других общественных наук: социологию, политическую историю и т.д. Но такой набор дисциплин предлагается лишь тем, кто специализируется по новейшей истории, т.е. по XX веку. Не думаю, что я очень хорошо понял Болонскую систему, какой у нее смысл. Что в ней представляется мне интересным, так это система разработки лекционных курсов. В мое время общие курсы читались традиционно, в строгой хронологической последовательности, а теперь профессора проблемы трактуют по-разному. Например, в курсе по истории международных отношений в 1939 г. можно поставить проблему «истории страха», «ис-

тории детей» и т.п. Теперь преподавание истории не сводится только к изучению фактов, в нём можно затрагивать разнообразные темы.

Возвращаясь к аналогиям и сопоставив то, о чём с некоторой тревогой и сожалением поведали французские историки, касаясь существующих в системе преподавания проблем, вполне очевидно, что профессорско-преподавательское сообщество историков, как Франции, так и нашей страны переживает непростой период и сталкивается со сходными вызовами. Несомненна также и польза от диалога и взаимного обмена мнениями, в результате которого можно по-новому взглянуть и оценить собственные трудности и может быть, в будущем найти им решение. И почему-то вспомнилось выступление академика А.О. Чубарьяна (по случаю 10-летнего юбилея Французского колледжа в МГУ), процитировавшего известного британского историка Э. Карра о том, что историй должно быть столько, сколько историков.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Ваисс М.* Международные отношения после 1945. М.: Городец, 2005. 336 с.
- Канинская Г.Н.* Жизненный путь Ж-Б.Дюрозеля: выбор случайный, призвание навсегда // Французский ежегодник 2002. М., 2002. С. 101–119.
- Канинская Г.Н.* Историк и времени и о себе. Интервью с Директором центра исторических исследований Института политических наук г. Парижа профессором Ж-Ф.Сиринелли // Диалог со временем. 2009. Вып. 30. С. 275–288
- Канинская Г.Н.* Французские историки о пространстве «новой политической истории»: от становления до испытания глобализацией // Диалог со временем. 2012. Вып. 38. С. 299–323.
- Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. 2-е изд. испр. и доп. М.: ЛКИ, 2009. 320 с.
- Смирнов В.П.* Фернан Бродель: жизнь и труды // Французский ежегодник 2002. М., 2002. С. 79–100.
- Cohen Y.* Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l'autorité (1890–1940). P.: Editions Amsterdam, 2013, 871 p.

***Канинская Галина Николаевна*** – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова; [kaininsk6@mail.ru](mailto:kaininsk6@mail.ru)

# ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕВОДЫ

---

СТЕФАН ЧАРНОВСКИЙ

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ В КУЛЬТУРЕ

---

Публикуемый текст представляет собой перевод работы выдающегося польского ученого Стефана Чарновского (*Czarnowski S. Dawność a terażniejszość w kulturze // w: tegoż, Dzieła, t.1: Studia z historii kultury, Warszawa 1956. S. 100–113*). Перевод с польского на русский язык осуществлен А.Г. Васильевым<sup>1</sup>.

*Ключевые слова:* культура, прошлое, настоящее, будущее, образ героя.

---

### *От переводчика*

Стефан Чарновский – выдающийся польский ученый межвоенного периода, один из создателей польской профессиональной социологии, автор оригинальной концепции исторической социологии культуры. Благодаря его активности Варшавский университет стал вторым после Познаньского учебным заведением в Польше, которое начало подготовку социологов.

Он родился в местечке Крочев в восточной части Польши, тогда входившей в состав Российской империи 1 сентября 1879 г. С 1898 по 1902 год учился в Лейпциге и Берлине. В 1902 г. за деятельность в польских организациях был выслан из Германии и переехал в Париж. Изучал социологию в Сорбонне и Коллеж де Франс. В 1911 г. окончил Высшую школу практических исследований. В 1912 г. вернулся в Польшу и начал журналистскую и общественную деятельность в Варшаве, издавал «Польский еженедельник». В 1914 г. уклонился от призыва в российскую армию и в 1915 г. вступил в Легионы. В 1916 г. был арестован немецкими властями. До 1923 г. оставался на службе в польской армии, преподавал, готовил офицеров. В 1919 г. в Париже на французском языке вышла его завершенная еще в 1911 г. работа «Культ героев и его социальные основания. Святой Патрик – национальный герой Ирландии». Предисловие к ней написал учитель С. Чарновского, один из ведущих представителей школы Дюркгейма, А. Юбер. Эта работа сделала Чарновского известным в мировой науке в первую очередь в качестве специалиста по истории религии. После окончания военной службы Чарновский преподает в разных учебных заведениях. В 1925 г. получает хабилитацию по истории религии в Варшавском университете и с 1926 г. становится его штатным сотрудником. В 1929 г. он стал членом-корреспондентом Польской

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Память о русско-польских отношениях в Российской империи в мемуаристике межвоенного периода», проект №13-01-00070.

академии (Polskiej Akademii Umiejętności), с 1931 г. действительный член Варшавского научного общества. В 1930 г. получил кафедру истории культуры и должность внештатного профессора Варшавского университета, с 1934 г. С. Чарновский – профессор социологии и истории культуры Варшавского университета, его кафедра становится кафедрой социологии и истории культуры, первым социологическим подразделением Варшавского университета.

С. Чарновский имел большой международный авторитет. Единственный нефранцузский представитель школы Дюркгейма, в 1924 г. он был приглашен в число основателей Французского института социологии (Institut Français de Sociologie), созданного Марселем Моссом в Сорбонне. В 1928 г. Практическая школа высших исследований (École Pratique des Hautes Études) в Париже пригласила его, своего бывшего выпускника, к себе с циклом лекций. Неоднократно представлял он польскую науку на крупнейших международных исторических и религиоведческих форумах.

В своей научной методологии ученый сочетал основные положения Дюркгейма с все более усиливавшимся со временем увлечением марксистом, создав интересный творческий синтез этих подходов. Его политические взгляды прошли сложный путь от правой национальной демократии через Польскую социалистическую партию к более левым взглядам и симпатиям к рабочему движению. Чарновский был активным антифашистом. Резко выступал он против польских профашистских организаций и их попыток влиять на университетскую среду, против антисемитизма польских правых, активно участвовал в созданной польскими интеллектуалами левой ориентации Лиги защиты прав человека. За это он стал объектом травли право-националистической прессы и внезапно скончался в Варшаве 29 декабря 1937 года в возрасте 58 лет.

Изданная посмертно книга С. Чарновского, которую он писал с 1932 г. и издавал отдельными очерками, называлась «Культура» и содержала в себе анализ наиболее важных культурологических проблем.

В современной польской гуманитаристике происходит «поворот к Чарновскому». Очевидно, что только современный научный контекст создал возможность для адекватного прочтения его трудов и оценки его деятельности. Именно «культурный поворот» 1980-х гг., охвативший своим влиянием и социологию, «культурологизация» современной социологии, появление «новой культурной истории», развитие *cultural studies* создали новую ситуацию восприятия идей Чарновского. Кроме того, и это для нас особенно важно, взглянуть на них в новой перспективе стало необходимо в контексте *memory studies*, изучения коллективной/культурной/социальной памяти. С этой точки зрения, С. Чарновский предстает перед нами как один из главных создателей этой области знания в Польше и один из мировых классиков дисциплины наравне с Морисом Хальбваксом и Аби Варбургом.



Чарновский работал над проблемами коллективной памяти параллельно с Дюркгеймом. Исследование культа Святого Патрика было завершено за год до публикации «Элементарных форм религиозной жизни» (1912), и лишь вопрос с публикацией исследования растянулся на несколько лет, до 1919 г. Поэтому можно сказать, что Чарновский шел вполне самостоятельным путем, опираясь на общеметодологические положения школы Дюркгейма. Через шесть лет, в 1925 г. вышла книга Мориса Хальбвакса «Социальные рамки памяти». В ней «парадигма памяти» впервые была четко артикулирована, и стал очевиден вклад в ее формирование предшественников Хальбвакса – Дюркгейма и Чарновского. Введенное Хальбваксом понятие «коллективной памяти» обозначило предмет их исследовательских интересов.

Говоря о вкладе С. Чарновского в развитие *memory studies*, следует отметить в первую очередь его книгу о Святом Патрике и некоторые статьи, особое место среди которых занимают две его поздние работы: «Возникновение и социальные функции истории» (1937), а также «Прошлое и настоящее в культуре» (1936), перевод которой мы предлагаем сегодня читателю.

\*\*\*

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ В КУЛЬТУРЕ

Давно уже было сказано, что «человеческое общество состоит из небольшой горстки живых и огромной массы умерших». Ушедшие живут вокруг нас и в нас самих в виде своих материальных и духовных произведений. Мы смотрим на воздвигнутые ими памятники, используем изобретенные ими орудия, пашем расчищенные ими от лесов земли, засеваем их семенами выведенных и культивировавшихся ими культур. Наши институты, наши законы, моральные нормы, правила общения, эстетические вкусы были созданы в прошлом, иногда весьма отдаленном. Отдаленном настолько, что о нем исчезла уже всякая память. Лишь исследователь-специалист в состоянии открыть истоки многих из тех элементов культуры, которые современность использует, не задаваясь вопросом об их истории. Разве видя зажженные факелы, которые сопровождают процессию во время похорон в Варшаве, публика отдает себе отчет в том, что тут мы имеем дело с элементом обрядности, унаследованным от Древнего Рима? Однако это не что иное, как пришедший к нам в XVII в. из романских стран видоизмененный римский *funus* – смоляной факел, сопровождавший носилки с покойным. Украшенные зеленой растительностью пасхальные куличи происходят от культовых сирийских и финикийских «садилов Адониса Таммуса». С ними соседствуют вещи, насчитывающие едва лишь пару сотен, а то и только несколько десятилетий истории с момента своего возникновения, такие как декоративное искусство вырезания из бумаги, повсеместное исполь-

зование железного плуга и целый ряд средств коммуникации. Все они образуют наследие, все это – *прошлое*, отягощающее настоящее.

## I

Однако отягощает оно его весьма неравномерно. Не все, что было, сохранилось. Действительно, некоторые элементы культуры сохраняют неизменный на протяжении веков облик и, во всяком случае на первый взгляд, неизменное значение. Существенно больше их оказались отвергнутыми, забытыми, утраченными. Другие вещи, и даже целые комплексы вещей, увядают на наших глазах, как, например, народные украшения. Во многих случаях последний удар им нанесли исходящие из самых лучших побуждений усилия, направленные на их оживление и техническое усовершенствование. Нужно ли напоминать о том, сколько для уничтожения оригинального закопанского искусства сделала школа резьбы в Закопане, а также в дальнейшем и пропаганда «закопанского стиля» способствовала появлению серийной продукции, так называемой «закопанщины», которая своей массовостью и дешевизной душист остатки горальского производства? Вся эта «закопанщина» уходит, начинает уже уходить в качестве составной части эстетической культуры Польши так же, как миновал уже целый ряд модных течений, художественных стилей, множество технологий производства. Так ушла готика, оловянные тарелки и кубки, прядение шерсти при помощи веретена дамами из лучшего городского общества, шарманки на варшавских дворах и лук в качестве боевого оружия. То же, что сохранилось из прошлого, сохранилось определенным образом. Оно уже не является абсолютно тем же самым, чем было когда-то. Это прошлое оказалось преобразованным, изменило свое место, имеет иной вес, чем во времена своего возникновения.

Посмотрим на игры и развлечения нас самих и наших детей. Во многих из них мы узнаем древние культовые действия или магические обряды. Такова, например, игра в «чижика», в которую играли еще не так давно, а, может быть, еще и сейчас играют ученики варшавских средних школ и ребята во дворах. Эта игра является ничем иным как древним обрядом бросания жребия. Игра в мяч ногами, в той ее разновидности, которая называется сегодня *football-rugby*, происходит от шотландского языческого культового обряда, во время которого пузырь с внутренностями принесенного в жертву быка старались забросить во двор соседа, защищавшего свои ворота. На этих двух примерах мы видим, насколько далеко может зайти изменение социального характера элемента культуры. Футбол, как и «чижик», был некогда очень важным видом деятельности в жизни группы, став сегодня лишь спортом или же детской забавой. Их место в общественной жизни перестало быть центральным, они пере-

местились на ее периферию, туда, где находятся те вещи и виды деятельности, которые не считаются более важными. Использовать подобные вещи, равно как и практиковать такие виды деятельности, можно свободно, как свободно можно их игнорировать или же пренебрегать ими. Нечто подобное случилось и с целым рядом повествований, которые были некогда священными мифами, связанными с культом, а сегодня служат исключительно для развлечения маленьких детей. Не иначе обстоит дело и со многими архитектурными элементами, играющими сегодня исключительно орнаментальную роль, но бывшими некогда, при иных материально-технологических условиях, существенными структурными элементами, такими, как, например, ничего уже ныне не поддерживающие и часто гипсовые кронштейны, висящие под балконами на железных балках.

Во всех этих случаях изменилась роль элемента культуры, его вес и его значение в коллективной жизни.

Во многих случаях мы можем наблюдать не только упомянутую уже смену «места» элемента культуры, но также и смену самой его природы, одним словом, изменение не только количественное, но и качественное. Бывший трон – находящееся на возвышении божественное и королевское седалище отца рода, предводителя племени, жреца, вождя – уже давно стал обычным креслом. Становясь все более распространенным, этот предмет утратил свое символическое содержание, перестал быть средством выделения и возвышения священной особы начальника над простым народом, сидящим на скамьях, а то и просто на земле, и стал обычным предметом мебели, доступным каждому и всего лишь более удобным, чем стул. В обычаях сохранились лишь едва заметные следы давнего достоинства трона-кресла. Это проявляется, например, в том, что в помещении, в котором находится вся семья, стоит иногда всего одно кресло, предназначенное для самого старшего или же самого уважаемого человека – деда, отца, бабки. Подобные качественные изменения происходят также и с элементами духовной культуры.

«Честь» современного джентльмена не включает в себя всех тех позитивных и негативных норм, которые содержала в себе «честь» средневекового рыцаря, включая зато иные, как и сам термин «благородство» – *nobilitas, noblesse*, имевший ранее иное значение. Сегодня под «благородством» мы понимаем определенный набор моральных черт, среди которых главенствует бескорыстие. Некогда же этот термин означал определенный способ поведения и действий, образ жизни, основанный, прежде всего, на демонстрации щедрости и великолепия. Так, например, Робер де Клари, хронист Четвертого крестового похода, использует термин *noblement* – «благородно» как синоним *rikement* – «богато», «великолеп-

но»; благородство для него – прежде всего то, что сегодня обычно называется «демонстративностью», соединенной с расточительностью.

Хотя прошлое и продолжает существовать в каждом моменте современности, с ним происходят далеко идущие качественные и количественные изменения. Мы увидим, что эти изменения обусловлены тем, что в широком смысле следует называть современностью. Они связаны со спецификой жизни коллектива в данный текущий момент. Словом, обремененная прошлым современность сама преобразует прошлое, меняет уклад его элементов, отвергает одни из них и ассимилирует другие, применительно к себе самой.

## II

Попытаемся уточнить и одновременно подтвердить это утверждение путем краткого рассмотрения двух характерных фактов.

Первым из них станет история чрезвычайно широко распространенного – среди других народов и у нас самих – повествовательного сюжета о «сильном муже», иначе говоря, сюжета о Геракле. Сам сюжет не подвергся большим изменениям на протяжении нескольких тысяч лет, начиная с самых далеких исторических эпох, донесших его до нас в вавилонском, а, возможно, и в еще более древнем шумерском сказании о герое Гильгамеше. «Сильный муж», будучи младенцем и ребенком, уже отличается нечеловеческой силой, доказательством чего служат совершаемые им убийства чудовищ, чаще всего змея; затем, уже будучи юношей, он освобождает мир от диких зверей, великанов, тиранов, добывает богатства для своего народа, странствует по миру в поисках того, кого бы он мог победить, а также того, что он мог бы добыть. Никто не может противостоять ему, даже стражи царства мертвых, он входит в ад и выводит оттуда друга или же выносит сокровища, его любовные приключения неисчислимы, причем в итоге он добывается любви богини Иштар, или же ее человеческого воплощения. Погибает он вследствие коварства возлюбленной, поддавшись ее любовным чарам, или же благодаря предательскому использованию ее врагами как орудия мести; он – простой, с искренним сердцем; вся его мощь заключается в физической силе, поэтому более хитрый правитель часто ставит его себе на службу.

Как мы только что заметили, этот мотив пережил века и распространился по значительной части мира в почти совершенно неизменном виде. Отличается лишь трактовка некоторых эпизодов: так, Гильгамеш оттолкнул от себя богиню Иштар, сразу же предвидя ее будущее предательство. В то время как Самсон поддался Далиле, Геракл пал жертвой мести, для которой Кентавр использовал Деяниру. Меняется также вид побежденных существ: азиатские «могучие мужи» и Геракл разрываю

льва; северные, такие как скандинавский Тор, убивают чудовищ или душат медведя. Меняется также очевидно и фон, то западно-азиатский, то эллинский, то скандинавский, немецкий или польский. Все это, однако, имеет второстепенное значение. Важно то, что в зависимости от среды, которая питалась историями о вавилонском Гильгамеше, израильском Самсоне, греческом Геракле, римском Геркулесе, польских Покатигорошке или о Железной Палке, меняются установки, проблемы, представления, находящие свое выражение в повествовании. В результате герой становится воплощением и защитником совершенно разных ценностей. Гильгамеш – это царь города и его основатель, а история о нем – это царская легенда, рассказывающая о группе людей, которая боролась с богами и ужасными враждебными силами, а также с дикими зверями за право на жизнь и развитие. Самсон – герой борьбы Израиля с филистимлянами, он является народным героем и одновременно божьим слугой, свидетельствующим о том, что между Израилем и Предвечным установлен союз. Коварство Далилы было спровоцировано врагами израильского народа для того, чтобы погубить его, а месть Самсона, разрушающего здание, в котором собрались филистимляне, является победой над угнетателями. Следует обратить внимание на тот факт, что Самсон – «назарянин», т.е. человек, посвященный Богу, который, когда ему хитростью обрезали волосы, утратил основание своего особого, личного союза с Предвечным. Он давал обет, что железо не коснется его волос, поэтому временная утрата физических сил представляется здесь как санкция за несдержанное обещание. Самсон – герой народного религиозного союза, и в повествовании о нем в первую очередь выражаются главные социальные ценности народа, разделенного на целый ряд племен, так называемых «колен», единство которых выражается только в одном устойчивом институте – в культе Яхве. Недаром Самсон – «назарянин», человек, посвященный именно Яхве, а не иному богу.

Из всех разнообразных обликов и значений, которые приобретал образ Геракла–Геркулеса, соответствующий в греческо-римском мире Гильгамешу–Самсону, обратим внимание лишь на некоторые, особенно характерные. В Риме Геркулес, святилищем которого был Великий алтарь, Ага Махима, является в первую очередь покровителем купцов, перевозящих товары по не всегда безопасным дорогам, и вообще защитником всех путешественников от разбойничьих нападений. Это был культ купеческой корпорации, экспортеров и импортеров, которые из всех мотивов, связанных с образом Геркулеса, придали основное значение именно теме его далеких странствий, которые он совершал по неизвестным и небезопасным путям. Для этих купцов Геркулес стал своего рода сверхъестест-

венным проводником и начальником сопровождавшего их охранного эскорта. Он превратился в своеобразного «божественного полицейского». Защитником гармонии является также и позднеримский Гераклес в императорском культе верховных государственных богов. Он сопутствовал Капитолийской троице – Юпитеру, Юноне и Миневре – как воплощение божественной физической силы государства, принуждающей беспокойные элементы к повиновению закону, способной в зародыше пресечь всякую попытку бунта. Подобно тому, как Геракл–Геркулес очистил мир от чудовищ и освободил его от тиранов, Цезарь обеспечивает гармонию и порядок в государстве, карает мятежников и побеждает агрессоров. Доходит до того, что некоторые императоры, такие как Коммод и, позднее, Максимус, провозгласили себя воплощениями Геркулеса, выражая, таким образом, то, что они являются олицетворением общественной мощи, удерживающей государство в мире и безопасности.

Другой эпизод, связанный с Гераклом, несущим колонны на край света, выступил на первый план и был присвоен в культе Геракла, созданном древними мореплавателями, а также на много веков позднее, – мореплавателями Нового времени и всеми теми, кто этих мореплавателей финансировал и пользовался результатами их деятельности. Это – городские купцы, занимающиеся заморской торговлей, владыки царств, стремящиеся к открытию новых морских путей и к овладению неизвестными землями, гордый городской патрициат, обогащающийся на международной торговле. На переломе Средневековья и Возрождения (особенно в эпоху Возрождения), иначе говоря, на протяжении всего периода Великих географических открытий и первой европейской морской экспансии, Геракл, которому удалось достичь последних пределов мира и в ознаменование конца путешествия поставить там свои колонны, стал воплощением дерзновенности пускающегося в неизвестные океанские просторы мореплавателя и, одновременно, одним из символов колониальной торговли. Недаром среди изображений, украшающих свод зала Совета познаньской ратуши, мы видим Геракла. Здесь он странствует, нося подмышками две колонны, ведь среди городского патрициата Познани колониальные купцы играли не последнюю роль.

А сейчас перед нами предстанет другой Геркулес, точнее – несколько разных Геркулесов, воплощающих моральные или религиозные ценности. История о Геракле дождалась соответствующего изложения в спасительных культах мистических сект древности, а именно в орфизме и неопифагореизме. Служба Геракла у Эврисфея учила здесь тому, что человек находится в неволе собственных желаний и внешних материальных сил; труды героя, его борьба с чудовищами и тиранами, далекие странст-

вия должны были в переносном смысле означать победы, которые адепты секты одерживал над искушениями и над духовными силами, старающимися сбить его с дороги спасения; вхождение Геракла в ад и возвращение обратно с победой указывали на то, что истинно верующий, соблюдающий все предписания, побеждает саму смерть и будет жить после нее, иной, прекрасной и красивой жизнью, то есть означали уверенность в достижении спасения. В такого рода повествование и переработал всем известный эпизод «Геракла на распутье» греческий философ V в. до н.э. Продик Кеосский. Герой встречает на своей дороге двух невест. Одна, обаятельная и игривая, влечет его на удобную дорогу, в конце которой его ожидает блаженство. Другая, суровой красоты, указывает ему дорогу, усеянную камнями, полную препятствий и опасностей, дорогу утомительную и трудную; единственной наградой за труды будет на этой дороге собственное удовлетворение от одержанной победы и немного славы. К первой дороге стремятся люди, поддающиеся своим желаниям, к другой – люди чести. Геракл выбирает вторую и становится воплощением твердой, бескомпромиссной добродетели, не ждущей никакой награды. Известно, что обогащенное этим эпизодом повествование приобрело характер апологии морали, способной укреплять добродетельность и мужество, и как таковая играла не последнюю роль в Средневековье. «Геракл на распутье» в тот период является одной из излюбленных тем морализаторских фигуративных образов – миниатюр и барельефов.

Обратим также внимание на Геракла, становящегося воплощением трудящегося класса, типичным представителем народа, служащего другим, имеющим лучшее происхождение и более ловким, подобно тому, как их прототип служил Эврисфею. Часто это бывает смешной, даже карикатурный герой, такой как Геракл древнегреческого фарса или *atellany*, такой, каким в некоторых песнях «Эдды» предстает скандинавский аналог Геракла – Тор. Обжора и пьяница, неукротимый бабник, бахвал и при этом человек бесконечно добродушный, которого легко смягчить и даже растрогать, не менее легко, чем обмануть и использовать; человек, который свои силы направляет всегда на благие цели, но иногда не отдает себе отчета в последствиях их применения. В конце концов, например, в великопольской легенде о Железной Палке или в немецкой – о Сильном Муже, добрый силач осознает, наконец, что им помыкают, и наказывает своего угнетателя. Впрочем, само это наказание бывает представлено так, что добрый силач не имеет намерения убить, так, как если бы эпилог, трагичный для эксплуататора, возник только из-за безмерной силы угнетаемого. Так, эксплуатируемый и обманутый польским шляхтичем парень Железная Палка вызывает в кон-

це своего пана на поединок на кнутах. Начинает пан, и специально наносит силачу самые болезненные удары, которые, однако, Железная Палка переносит как укусы комара, после чего под кнут ложится пан, и Железная Палка, желая только слегка его ударить, разрубает пана кнутом пополам, однако не оплакивая его и вступая во владение господским имуществом и богатствами, которые когда-то сам создал и добыл для своего угнетателя, своим собственным трудом и усилиями.

### III

Образ Геракла кажется нам хорошим примером одновременно и устойчивости некоторых элементов культуры, и перемен, происходящих с ними. Образ оставался тем же самым, начиная с бронзового века, а возможно и с энеолита, в котором жили создатели эпоса о Гильгамеше, до сегодняшнего времени, ведь и сегодня он используется в литературных произведениях, примером чего служит «Gaspar Ruiz» Джозефа Конрада.

К вопросу об устойчивости мы вернемся через минуту. Что же касается изменений, то мы замечаем, что они происходят как в количественном, так и в качественном направлениях, как в отношении того места, которое эта история играет в духовной жизни питающейся ею группы, так и в характере самого повествования, попеременно то религиозного, то морального, то развлекательного, то психологического. Так, в упомянутой новелле Конрада основной темой является проблема вечной борьбы женщины с мужчиной, проблема слабости героя, физическая мощь которого, храбрость и благородство оказываются в подчинении у красоты, воплощенной в хитрой и пустой женщине. Видим мы также и то, что между этими изменениями и средой существует зависимость. Точнее, возникает она между количественными и качественными изменениями элемента культуры и организацией функции среды. Еще точнее – между ними и материальной и духовной структурой человеческой группы и функционированием этой структуры.

Несомненным фактом является то, что основная тема интересующего нас повествования – усилия, страдания и победы человека, борющегося с внешними силами за освобождение, достижение материальной и моральной свободы, *гарантии*, ревниво охраняемые материальными силами. Именно в этом заключена тайна устойчивости образа Геракла. Он так же вечен, как вечна борьба человека с тем, что его угнетает, притесняет и эксплуатирует. Однако, в зависимости от характера группы и состояния развития общей культуры общества, от уровня материального и духовного развития, меняется характер враждебных сил и сам герой становится представителем разных ценностей. В шумеро-аккадской куль-



туре Гильгамеш борется с богами, сверхприродными владыками земли и вод, урожая и засухи, здоровья и болезни, жизни и смерти, борется за саму возможность существования и развития того поселения, которое он основал, царем, вождем и естественным представителем которого он является. Он добывает у богов то, что людям необходимо для жизни, подобно подарившему им огонь греческому Прометею. Эпопея Гильгамеша – это эпопея человеческого сообщества, стремящегося создать условия для своей профанной, «обыденной» жизни наряду со сферой сакрального и определить между ними границу, за пределами которой власти богов был бы положен предел. Это – эпопея группы, устанавливающей условия заключения союза с землей и с богами в процессе совершаемого ею насильственного захвата земли и принуждения богов пойти им на уступки.

Насколько можно судить, исходя из современного состояния исследований, не иначе обстояло дело и в ранних повествованиях о Геракле, по крайней мере, о дорийском Геракле. Ведь греческое племя дорийцев – тоже захватчики. Огнем и мечом завоевали они те территории, на которых мы их обнаруживаем в исторический период времени. Прежде чем обосноваться на этих землях и подчинить себе тех, кто прибыл сюда раньше, они должны были сломить их физическое и духовное сопротивление, захватить землю, людей и их богов. Во всяком случае, очень знаменательным представляется тот факт, что дорийские династии выводили свое происхождение от Геракла.

Таким светским Гераклом – конечно, «светским» лишь в определенном значении, поскольку, будучи героями, они все же стоят выше людей и причастны божественной природе, становясь после смерти объектами религиозного культа, – этим светским героям противостоят иные герои, имеющие полностью мифический характер. У неопифагорейцев и орфиков Геракл, действительно, также является человеком, но таким человеком, который стал орудием божественной воли. Он борется не с добрыми и благосклонными богами, а с чудовищами, с миром тьмы и зла. Кроме того, история о нем не занимает центрального места в упомянутых сектах. Это место отводится здесь для историй об основателях – Орфее и Пифагоре, предшественником, и если использовать теологическую терминологию, первообразом (prefiguracjа) которых является Геракл. Иным представляется нам вновь и образ Самсона, т.е. Гильгамеша, преобразованный сообществом почитателей Яхве, приспособленный к специфическим условиям Израиля до начала царского периода.

Нужно ли еще более подробно обсуждать сословно-классовые трансформации Геракла? Одни из них возникли, несомненно, в среде людей, социально доминирующей над теми, черты которых высмеива-

ются в историях о герое выпивки и обжорства, оборванце и наивном бабнике. В «Эдде» есть место, дающее представление о разговоре изысканного, ученого Одина, бога правящих *ярлов*, знающего *руны*, с Тором, который приходит босой, в заплатанной рубашке, с остатками овсяной лепешки в мешке. Аристократичный Один вступает в полемику с этим безграмотным богом *буров*, простых крестьян, с взлохмаченной бородой и шевелюрой и изысканно над ним иронизирует. А глупый Тор все это принимает за чистую монету. Большинство этих самых черт, но, скажем так, рассмотренных с другой стороны, характерны также и для Геракла, и для всех героев того же типа, которые являются героями класса, занятого физическим трудом. Тут также выступают смешные черты, происходят юмористические эпизоды. Трудовой народ во все эпохи и во всех странах охотно смеется, охотно создает карикатуры, даже на самого себя. Во всяком случае, как мы видим в рассказах о немецком Сильном Муже, о польских Покатигорошке и Железной Палке, в характере этих народных Гераклов, с одной стороны, господствует большое добродушие, а с другой – буйность. В эпизодах повествований видна глубокая вера в творческую мощь физической силы, проявляющейся в труде и в борьбе против неправды. Сильный Муж, Железная Палка, а также, в некоторых созданных на основе «Эдды» произведениях, и Тор являются идеальными образами, соединяющими в себе те черты, которые трудящиеся классы ощущают как свои собственные, как важные для себя. Эти классы любят своих Гераклов, потому что смотрят в них как в зеркало, делающее их красивее.

#### IV

Мы рассмотрели несколько различных типов Геракла и обнаружили, что в каждом отдельном случае мы имеем дело формально с героем повествования и тем самым (образ его не меняется или меняется незначительно) на самом деле с иным героем. При этом мы пришли к выводу, что в каждом случае решающее значение для выбора направления изменения образа героя имеют социальные условия, т.е. актуальный характер человеческого сообщества, его роль и функция в социальной целостности, способ деятельности этой социальной среды. Аристократия и народ, религиозные секты, церкви, грамотные и деревенские батраки трансформируют Геракла на свой манер. Каждый в своих интересах актуализирует его образ. Именно такая актуализация является условием устойчивости этого стародавнего героя и рассказа о нем. Прошлое тут живет в настоящем как его составная часть, в зависимости от той степени, в какой оно приспособилось к настоящему, и в какой социальное настоящее его трансформировало.

С другой стороны, однако, мы заметили, что нечто из прошлого осталось неизменным в настоящем. В наших повествованиях это формальный момент, сам образ. Обстоит ли дело таким же точно или подобным образом и с иными элементами культуры, переданными из прошлого?

Да, это так и есть. Мы не можем тут вдаваться в сравнительный анализ деталей. Ограничимся здесь по необходимости лишь утверждением, что, как и в случае с повествованием о Геракле, иные литературные образы тоже характеризуются очень большой степенью устойчивости, путешествуя через моря и континенты так же, как и через века. При этом то, чем эти образы наполняются, содержание воображения и чувств, основанных на них повествований, их моральная, религиозная, эстетическая окраска, все это меняется во времени и пространстве. Именно это каждый раз и составляет ценность данного повествования для нынешней эпохи. Все же количество этих повествовательных образов ограничено и практически все они передаются как наследие прошлого. Тем не менее, каждый период времени, практически каждое десятилетие, создает новые повести, романы, поэмы, которые на самом деле являются новыми, приспособленными к потребностям, интересам, к так называемому «вкусу», писателей и читателей данной эпохи. «Творец», поэт или писатель, собственно, является переработчиком, интерпретатором прошлого в том направлении, которого требует современность, он является тем, кто художественными средствами создает современность, представляя ее в форме прошлого.

То, что мы говорим о литературном творчестве и литературной «традиции», следует распространить и на все другие сферы культуры. Не нужно доказывать, что мораль выдвигает перед личностью и обществом разные требования, в зависимости от эпохи и социального класса. Неужели же, однако, подавляющее большинство моральных максим, на которые мы ссылаемся сегодня, не было сформулировано в незапамятные времена? Неужели же, например, заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» не является очень старой заповедью? Но практическое применение этой заповеди, понимание и применение термина «возлюбить» и термина «ближний» в каждый период времени разные, они являются разными и в каждом обществе, и в каждом классе. Следует ли, например, бедному ближнему дать подаяние, или следует дать ему работу? Этот вопрос разрешался в Средние века иначе, чем сегодня. Можно ли владеть своим ближним в качестве раба? В нашем понимании нет, но добрые христиане и даже епископы и проповедники VI или VII веков нашей эры не усматривали в этом никакого противоречия с процитированной выше заповедью. Ведь аббатство и епископы позво-

ляли, чтобы их собственные *колоны*, то есть зависимые земледельцы, покупали и продавали рабов и сами покупали и имели невольников.

Наиболее, пожалуй, явно обсуждаемое здесь взаимное отношение того, что сохраняется сегодня из прошлого, и того, что остается в прошлом и заменяется чем-то другим, проявляется в сфере технической культуры. Этим понятием мы обозначаем равно как способы добывания и переработки материальных благ, так и способы их использования в смысле употребления, а также сами виды созданных и использованных благ. В этой области прошлое тяготеет над настоящим и определяет само это настоящее в той очень значительной степени, поскольку существующие во внешней реальности материальные объекты и совокупности этих объектов заставляют человека приспособляться к себе. Техника прядения шерсти на ручной прялке определяется самой ручной прялкой и не может быть другой, чем та, которую применяли предки, начиная от гречанок времен Гомера до сегодняшних кошубских селянок, прядущих в поле, выпасая стада. Чтобы в этой специфической области прошлое исчезло или оказалось измененным, требуется изменение самого инструмента, нужно, чтобы было изобретено и принято веретено, которое механически выполняет часть движений пряжи и определяет те движения, которые остается выполнить вручную. Этими переменами мы займемся в одном из следующих наших очерков. Заметим здесь только то, что произошедшее в прядении произошло также и в иных областях техники производства и потребления. Во всяком случае, старая техническая культура сохраняется до тех пор, пока не возникло обусловленное хозяйственными и социальными переменами изобретение, приводящее к замене старого орудия или ранее используемого предмета новым предметом или орудием. Дюма заняла место старой дюмницы, так же как эта последняя заняла место ранней, даже доисторической плавильной ямы. В домах больших городов центральное отопление вытеснило изразцовые печи с топкой, предназначенной для каменного угля, так же как эти печи, в свою очередь, заменили более старые, предназначенные для сжигания дров, которые когда-то вытеснили каминные, а те, последние, были еще раньше эпохальным изобретением, позволившим отказаться от разожженного на камне открытого огня. Надо ли говорить, насколько вся организация домашней жизни, ее модели и произведения отличаются в жилище, обогреваемом батареей, от тех, которые имеют место в задымленной избе, посреди которой лежит плоский камень, а на нем горит огонь? Достаточно вспомнить выражение «жрица домашнего очага», которое когда-то имело совершенно конкретное значение, а сегодня является лишь претенциозной метафорой, свойственной стилю второстепенных публицистов.

Словно чудом заключенное в материальных предметах прошлое окружает нас повсюду и определяет нашу жизнь, а тем самым и ограничивает современность тем в большей степени, чем более хорошо организованным оно является, чем более разнородным оказывается число материальных предметов и чем более одни из них зависят от других. Тут возникают два феномена, являющиеся проявлением двух противоположных тенденций. С одной стороны, организованное и функционирующее в рамках современности прошлое затрудняет возможность своего видоизменения под влиянием настоящего. Так, развитие железных дорог задержало на несколько десятилетий изобретение практичных двигателей внутреннего сгорания, а современная металлургическая промышленность для того, чтобы продолжать функционировать так, как она функционирует, не допускает производства стальных бритв с нетупящимся острием. С другой же стороны, именно разнообразие и высокая степень технической организации создает условия, в которых появляются все более многочисленные и все более разнородные изобретения и научные открытия, которые, хотя и не всегда непосредственно, находят практическое техническое употребление, возникают на пересечениях проблем, имеющих своим первоисточником технический прогресс. Достаточно вспомнить о возникновении воздухоплавания, которое стало возможно благодаря двум предшествующим изобретениям: корабельного винта, от которого происходит авиационный пропеллер, и двигателя внутреннего сгорания. Не иначе дело обстоит и с выдающимся прогрессом теоретической физики последнего времени. Она не служит технике непосредственно, однако из техники и из ее потребностей в значительной мере она и возникает, а именно – из развития электротехники, а также – производства взрывчатых веществ. В устойчивости и изменениях человеческой техники мы наблюдаем, пожалуй, наиболее ясно взаимные отношения современности и прошлого, отношения, приобретающие характер неустанной борьбы за трансформацию прошлого, за вытеснение его современностью. Борьбы, которая, кстати говоря, является условием самой жизни. Пали те великие культуры, в которых настоящее не смогло победить нагромождений прошлого. Пустыня покрывает песками руины некогда великолепных городов над Евфратом, а история средневековой и современной Европы дает нам много примеров перемещения центров культуротворчества из одних стран в другие. Из тех мест, которые оказались неспособны трансформировать груды произведений прошлого, туда, где развитие начиналось с той точки, в которой первые нашли свой конец.

## V

Мы употребили слово «борьба» вполне осознанно. Ведь каждое поколение людей, а тем более каждый возникающий социальный класс появляются на арене, заполненной идеальными и материальными произведениями, созданными старшими поколениями и благодаря прежнему социальному укладу. Они должны освободиться из-под этих завалов прошлого настолько, чтобы, по меньшей мере, овладеть ими и присвоить их, трансформировать это прошлое по своему образцу. Те элементы, которые не позволяют себя присвоить таким образом, оказываются отброшенными за рамки организованной социальной жизни, на огромную свалку отходов, составляющую маргиналии культуры и называемую «фольклором». Эта свалка становится тем богаче, чем живет в данном обществе происходят культурные изменения. Бывает так, что на протяжении долгого времени эта борьба остается мало заметной, выражаясь лишь в небольших недопониманиях между представителями младшего и старшего поколений в таких вопросах, как эстетический вкус, формы общения, одежда и косметика, приверженность тем или иным вредным привычкам. В каждый период времени отцов и матерей, а особенно — дедов и бабок, огорчает образ жизни и пристрастия молодых, танцующих румбу вместо якобы «приличного» вальса, так же огорчавшего некогда лорда Байрона, увлекающихся современной поэзией и прозой и неудовлетворенных литературой вчерашнего дня, рисующих в футуристической, а не в импрессионистской манере, которая так же в лице первых импрессионистов огорчала в свое время позавчерашнее поколение. Молодые, которым старшие кажутся посмешищем, если не прямой помехой, платят им взаимностью. Эта борьба, примеров которой история знает немало, становится подчас очень шумной. Это происходит тогда, когда она разыгрывается в правящем, задающем тон, классе. Надо ли напоминать здесь о *querelle des anciens et des modernes*, о том известном споре приверженных старым и новым образцам французских литераторов XVII века, или же те инвективы, которыми почти сто лет осыпали друг друга классицисты и романтики?

Тем не менее, эти столкновения остаются, скажем так, периферийными до тех пор, пока они не выходят за рамки духовных изменений в рамках того класса, в лоне которого они разыгрываются. Культура всего общества не испытывает от этого таких изменений, которые бы нарушали ее фундамент. Это происходит только в момент кризиса, который уже является не только духовным — настолько, насколько такой чисто духовный кризис вообще возможен, — но и социальным кризисом. Про-

исходит это тогда, когда созревают до переворота уже не просто противоречия между младшим и старшим поколением одного и того же социального класса, а между «молодыми», т.е. неполноправными, и «старшими», т.е. правящими классами. В таком случае сама основа культуры меняется, и хотя многое из прошлого осталось сохраненным, однако в этой постреволюционной культуре оно играет уже совершенно иную роль, становится чем-то другим по сравнению с прошлым. Послереволюционная демократическая Франция и сегодня еще воспитывает молодежь на Расине и Мольере. Советская Россия издает массовыми тиражами произведения классиков царских времен. Очевидно, однако, что «Федра» и «Мизантроп», «Евгений Онегин» и «Ревизор» не являются для нынешней французской или российской публики теми же самыми произведениями, какими они были в период правления «Короля Солнца» или Романовых. Можно таким образом выделить периоды относительной стабилизации культуры и периоды переворотов. Первыми следует считать те эпохи, в которых доминирует прошлое. Доминирует в том смысле, что современность преобразует его в меньшей степени, чем сама приспособляется к нему. Это происходит тогда, когда идеальные и материальные элементы данной культуры превращаются в настолько сплоченную органическую целостность, что сила ее отпора превосходит все попытки перемен. Каждое поколение вносит в эту культуру что-то новое, приспособлявая часть элементов прошлого к своим актуальным потребностям, но делает оно это, опираясь на почву культуры прошлого в ее целостности. Тут возникает явление, напоминающее то, которое сопровождает передачу собственности по наследству. Наследник становится теоретически господином своего наследства. Он имеет право и теоретическую возможность его «употребления» и «злоупотребления» им, как говорит нам принцип римского права. Фактически же наследство господствует над наследником, пожалуй, в большей степени, чем он над ним. Господствует благодаря материальным условиям, ограничивающим возможности «употребления» и «злоупотребления»; господствует оно также благодаря тому, что в психике собственника сам факт владения формирует моральные и хозяйственные установки, соответствующие интересам класса собственников, а не только лишь исключительно его собственные. Разве каждый из нас в кругу своих знакомых не наблюдал людей, которые «изменились» с того момента, когда из тех, кто зарабатывает средства к существованию собственным трудом, они превратились в собственников? Подобно этому в периоды относительной стабилизации культуры молодое поколение оказывается сформированным массой организованных в одну единую культурную целостность матери-

альных и духовных элементов, которые, с точки зрения личности, существуют объективно, так же как с точки зрения собственника объективно существует не только объект собственности, но и она сама.

Во всех известных нам обществах, а внутри организованных обществ – во всех господствующих классах и организациях собственников возникают отдельные органы или институты, функцией которых является формирование молодых поколений в соответствии с традиционной моделью, иначе говоря, удержание прошлого в настоящем. Так называемые первобытные общества воспитывают свою молодежь на культе мифологической традиции и готовят ее к служению старейшинам, которые, например, у австралийцев, являются одновременно и теми, кто управляет, и хранителями клановой традиции. Прежде чем молодой человек будет признан полноправным членом группы, он должен пройти посвящение, ритуально умереть и вновь родиться в качестве одного из предков. Он должен пройти через ряд испытаний, подобно тому, как и сегодня, молодой человек будет признан полноправным членом передовой в культурном отношении группы тогда, когда пройдет через школу и выдержит ряд экзаменов. Современные дипломы играют роль социального знака того, что их обладатель причастен к наследию, переданному прошлыми поколениями.

Характерно также то, что чем более высокое положение занимает данный социальный класс, чем дольше он занимает свои руководящие позиции в обществе, тем более он озабочен прошлым с тем, чтобы его, скажем так, монополизировать, тем более он ссылается на историю, тем дольше продолжается в нем период воспитания, тем более он старается сформировать свою молодежь по образцу того, что было, но не того, что может быть в будущем. Показательно и то, что история – форма осознания устойчивости и продолжительности существования группы – в равной степени, как легендарная история, так и история, опирающаяся на научную критику источников, возникла повсюду как выражение интересов разного рода аристократий, в то время как религиозные организации занимают в целом внеисторические позиции. В этом нет ничего удивительного. Опираясь на якобы неизменное откровение, которое произошло вне времени, либо (что в итоге приводит к тем же выводам) до начала всякого времени, они понимают современность и прошлое как содержащиеся во вневременном абсолюте. То, чем они занимаются, называя это историей, является апологией истины откровения, проявляющейся в исторических событиях. Именно такой была, например, «история» средневековых монахов. Иначе дело обстоит у аристократии. На протяжении долгих веков задачей культивируемой ею истории было



продемонстрировать превосходство, героизм, добродетель предков, представить прошлое как образец для современности. Сегодня мы ожидаем от истории генетического объяснения современности, однако многие историки и все программы обучения истории ставят перед ней иные задачи, а именно – задачи морального характера, задачи по формированию психики молодежи в направлении почтения к прошлому, любви к прошлому, его «понимания» в смысле способности его пережить. Мы не ошибемся, если будем считать эту, гуманистическую по своему духу, историю, попыткой обоснования современного положения вещей при помощи прошлого, средством оправдания, и тем самым продления, существования прошлого путем придания ему особой эмоциональной ценности. Такой истории противостоит объясняющая история. Тем не менее, история, которая занимается оправданием прошлого, психологизацией и морализаторством, выполняет социальную функцию по психологическому формированию людей в том направлении, которое требуется для господствующих групп и правителей.

Однако и эта история меняется с каждым поколением, так как с каждым поколением меняются цели и методы воспитания. Это происходит потому, что современность не теряет своих прав даже в самой традиционалистской группе. Мы постоянно меняем наше отношение к прошлому, постоянно работаем над его трансформацией, над тем, чтобы оно стало настоящим. Ибо прошлое может иметь продолжение только как настоящее, настоящее же является трансформированным и актуализированным прошлым, а также рождающимся будущим.

#### **БИБЛИОГРАФИЯ**

*Czarnowski S. Dawność a terażniejszość w kulturze // w: tegoż, Dzieła, t.1: Studia z historii kultury, Warszawa 1956. S. 100–113.*

*Перевел с польского А.Г. Васильев*

**Васильев Алексей Григорьевич**, кандидат исторических наук, зам. директора Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета; *vasal2006@yandex.ru*

Т. В. БЕЛИКОВА, М. Е. КОЛЕСНИКОВА

## ДИАЛОГ С ГОЛОСАМИ УШЕДШИХ ЭПОХ

---

Авторы рецензируют сборник документов в трех книгах «Голоса из провинции: жители Ставрополя...», подготовленный на основе методов новой локальной истории ставропольскими архивистами и учеными. Публикация архивных материалов в сборнике предложена в виде проблемного комплекса источников, объединенных не только жанром и временем создания, но и единством видového пространства.

**Ключевые слова:** исторический источник, публикация архивных документов, новая локальная история, история советского периода, история Ставрополя.

---

Архивистами государственных казенных архивных учреждений «Государственный архив Ставропольского края» и «Государственный архив новейшей истории Ставропольского края» при участии ученых ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» на основе методов «новой локальной истории» был подготовлен уникальный проект – сборник документов в трех книгах: «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах» (Кн. 1), «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах» (Кн. 2), «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах» (Кн. 3)<sup>1</sup>. Все три книги объединены не только единством замысла, структуры, которая предполагала воспроизведение ряда социокультурных процессов локального сообщества, но и принципом отбора документов, преемственностью в особенностях их видовой структуры.

Составители сборника исходили из того, что источники представляют собой «сферу коммуникации сознаний», «сферу диалога, где “другой” отвечает на вопрошание», «сферу всегда открытую и ведущую спор». Неслучайно поэтому в эпиграф к первой книге вынесены слова французского философа Раймона Арона: «Воссоздание прошлого, как и прежде, зависит от источников. Историческое познание имеет научную ценность только при условии обновления своих утверждений новыми данными. Пережитого прошлого больше нет, и никогда больше не будет; остаются следы, проявления или памятники навсегда исчезнувших жиз-

---

<sup>1</sup> См.: Голоса из провинции... 2009; Голоса из провинции... 2010; Голоса из провинции... 2011.

ней. Сегодняшний историк, как и вчерашний, не может полностью уклониться от этой зависимости»<sup>2</sup>.

Каждая из трех книг открывается вводной статьей руководителя проекта и научного редактора сборников профессора Т.А. Булыгиной. В этих вводных статьях прописана специфика книги, подчеркнута актуальность издания, обозначены приоритетные направления изучения отечественной истории, определены принципы и критерии отбора источников для публикации в данную книгу, особенности их в кругу других исторических источников<sup>3</sup>. Особо отмечается роль составителей и редакторов в создании информационного образа ставропольского общества за период с 1917 по 1964 гг., которые уже с момента поиска источников вступили в процесс их интерпретации. Исходя из тезиса Поля Рикёра о том, что вопрошание читателем остатков прошлого «поднимает след до уровня документа» составители «вели» диалог с «голосами» из ушедшей человеческой реальности.

Изданные сборники документов содержат уникальные свидетельства прошлого: письма, заявления, жалобы, прошения, корреспонденции местных газет, постановления и распоряжения органов партийно-государственной власти, акты, справки различных комиссий и инспекций, результаты проверок, обследований и реквизиций имущества, протоколы следственных опросов, уведомления и другие материалы. Все они представляют собой исторические источники, относящиеся к мало исследованным еще периодам отечественной истории. Подавляющее большинство документов вводится в научный оборот впервые. В основном это рассекреченные материалы, переведенные в последнее десятилетие на общий режим хранения и использования. Все документы сгруппированы в книгах по разделам.

В книге «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах» опубликовано около 600 документов, выявленных в 23 фондах крупнейших архивных учреждений края – «Государственный архив Ставропольского края» (ГАСК) и «Государственный архив новейшей истории Ставропольского края» (ГАНИСК). В разделе «Обращения жителей Ставрополя во власть» представлены коммуникативные практики представителей разных групп местного общества. В документах, помещенных в раздел «Рождение новой социальности» можно увидеть эволюцию социальной репрезентации различных групп населения, изменения в самоидентификации индивидов, появление новых элементов принадлежности

---

<sup>2</sup> Голоса из провинции... 2009. С. 8.

<sup>3</sup> Булыгина. 2009. С. 9–24; 2010. С. 8–23; 2011. С. 4–28.

к советскому социуму. Источники, включенные в раздел «Коммуникативные практики местных партийно-государственных структур и общественных организаций» раскрывают психологию представителей местной власти, выявляют сложные переплетения личных интересов, убеждений, традиционных представлений и образов советской пропаганды в «голосах» местных управленцев. При прочтении документов раздела «Интерпретация политики и символики Центра местной властью» можно увидеть проявления самосознания местной номенклатуры, проанализировать характер интерпретаций местными руководителями политики Центра, проследить эволюцию их взглядов и представлений о новом обществе, причем рефлексия органов местной власти не обезличена, напротив, представлена в действиях ее отдельных представителей с их личностными качествами, достоинствами и недостатками.

Отдельный раздел первой книги составляют более 50 фоторепродукций, которые не только иллюстрируют текстовые документы, но и выполняют самостоятельные информативные, изобразительные и эмоциональные функции. Шаржированные газетные рисунки за 1919 год, включенные в сборник позволяют увидеть отношение современников к событиям, отраженным в разделе «Рождение новой социальности».

Во второй книге «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах» публикуются более 500 документов. Они позволяют увидеть эволюцию отношений населения с местной властью, проявление самосознания местной номенклатуры и интерпретацию политики Центра в коммуникативных практиках региональных управленцев. Отличительной особенностью второй книги является обращение к ранее не изучавшимся в комплексе архивным источникам, которые позволяют реконструировать социокультурные процессы локального сообщества Ставрополя в довоенный период, увидеть, как менялось настроение ставропольцев в период массовой коллективизации крестьянских хозяйств, повседневность и быт в связи с новыми реалиями, как возникала новая ментальность в эпоху расцвета культа личности. Составители и редакторы сборника не обошли вниманием ни одной сферы жизнедеятельности человека, что нашло отражение в структуре издания. Его разделы охватывают реакцию населения Ставрополя на экономические процессы периода советской модернизации 1930-х гг., на коммуникативные практики политической элиты в сфере повседневности, особенности интерпретации сталинской политики региональной властью, и, наконец, взаимоотношения граждан с властью в сфере экономических и социальных прав. Источники доносят до читателя информацию о надеждах, нуждах, уровне образования, формах культурного досуга и осо-

бенностях мышления различных социальных групп населения: как крестьянина-единоличника, так и колхозника, условиях быта и специфике мировосприятия ударника-стахановца, регионального управленца, местной культурной элиты. Через эпизоды повседневной жизни отдельных конкретных людей, сведения, иллюстрирующие особенности индивидуального восприятия довоенной действительности от беспомощности и незащищенности до надежд и веры в светлое будущее, реконструируется неповторимый колорит эпохи, особенности массового сознания. Таким образом, видовой состав корпуса источников, опубликованных в сборнике, создает основательную базу для микроисторического исследования и последующего синтеза результатов исследования разных локальных исторических общностей, открывающих перспективу выхода на новый уровень познания исторического процесса.

Третья книга «Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах» содержит 477 документов. Разделы сборника охватывают предвоенный период, период войны и два десятилетия после ее завершения, а внутри каждого раздела выделяются источники, характеризующие некоторые социальные и экономические процессы в ставропольском обществе. Составители сборника сумели широко представить историческую наполненность каждого десятилетия, в то же время не упуская нить преемственности в формировании новой советской ментальности. Документы, представленные в третьей книге, выявляют как обыденность затронутых проблем, их рутинность, так и важность для существования жителей региона, в целом воссоздавая коллективную картину повседневной жизни Ставрополя. Раскрывая социальную ситуацию в городах, как страны, так и края накануне войны, документы реконструируют, каким образом шло внедрение тезиса о неизбежности войны. Благодаря безупречно профессиональной подборке материалов для данной книги, не остается ни капли сомнения в том, что война – это тяжелейшие испытания для системы и колоссальные перегрузки для каждого человека, под воздействием которых деформируется ткань социальной повседневности в локальных рамках. Представленные документы подтверждают: социальная практика военного времени не может не быть не экстремальной. Документы, сгруппированные по темам, передают в тончайших нюансах ту ретроспективную ситуацию, в которой находились люди, выявляя всю ее сложность и тяжесть, беспомощность и незащищенность многих групп населения.

Следует отметить обращение составителей сборника к таким документам, как письма граждан во власть. Как и в двух предыдущих книгах, это обеспечило составителям особое преимущество: вновь о про-

шлом говорит Человек того времени, в сравнении с которым никто так не чувствует «температуру» эпохи. Эти письма в основном представляют собой просьбы об оказании помощи в той или иной форме. Сравнивая их по времени написания невозможно не увидеть, как изменялись повседневные условия, менялась мотивация. Если до оккупации частыми были заявления о жилплощади, то после оккупации появилась целая группа запросов о судьбе своих родных, так как военные действия и оккупация на территории Ставрополя сопровождались перемещением больших масс местного населения. Письма и заявления о розыске своих родственников и близких в местные органы власти наполняют схему мобильности живым содержанием.

Подтверждением того, что составители сборника действительно преданы принципу адекватности, является присутствие в третьей книге темы коллаборационизма. Период оккупации актуализировал эту проблему, что честно и открыто показано через подборку писем о тех, кто сотрудничал с оккупантами, содержащих как фактические доносы, так и оправдания против таких обвинений.

Следует отметить подборку писем фронтовиков, вызывающих особый интерес не только тем, что они рассказывают о героизме и подвигах, но еще и тем, что они показывают сложность существования человека в военных условиях не на фронте, а в тылу. Многие из этих писем – обращения в органы местной власти в связи с бедственным положением ближайших родственников фронтовиков, за которых некому заступиться.

Мастерски выполненная репрезентативная подборка документов о повседневной жизни региона после завершения оккупации и возвращения советской власти показывает, как постепенно налаживалась производственная и частная жизнь при сохранении экстремальности ситуации. При этом составители не забыли о новом явлении социальной повседневности региона – о военнопленных.

Материалы третьей книги особо заостряют внимание на проблеме восприятия власти местным социумом. Их анализ убеждает в том, что отношение к местной власти изменилось мало, а в целом образ власти стал более расплывчатым, менее грозным и менее уважаемым. Документы сборника еще раз подтверждают положение о том, что присущие каждому черты характера и поведения в некоторой степени обусловлены внешними показателями. Каким бы сложным и многогранным ни являлся человек, любая из его составляющих – продукт его быта. Складывающаяся система знаков, меток и есть та семиотика повседневности, ниточки, дергая за которые удастся распутать сложные связи человека с бытом, отношения человека и вещи.

Изданный в трех книгах сборник документов «Голоса из провинции: жители Ставрополя...» отвечает потребностям современной исторической науки, для которой характерна тенденция переосмысления накопленного предыдущими поколениями историографического опыта. Произошедшие в обществе изменения в последнее десятилетие XX века привели к пересмотру не только пути, пройденного страной, но и концепций, идей, взглядов в области методологии, историографии и источниковедения. В исторической науке стали обозначаться иные приоритетные направления исследований, связанные с новыми тенденциями в изучении истории – развитие региональных исследований, изучение истории провинции, истории повседневности и т.д.

В центре внимания исследователей оказался человек и его место в обществе. Историки, занимающиеся новой социальной историей, на основе исследовательского подхода «история снизу» пытаются проследить исторический опыт простых людей, исключенных из политики, государственной деятельности, людей, которые являлись обычными участниками исторических событий. В подборке документов рецензируемого сборника четко просматриваются эти новые тенденции изучения отечественной истории. Подобный подход не только подчеркивает преемственность сборников, но и полностью соответствует основной идее их составителей: публикуемый материал содержит информацию, необходимую, прежде всего, для понимания людей прошлого. Понимание прошлого на основе изучения «конкретных социальных практик» раскрывает широкие возможности для реконструкции «коллективной биографии» локального сообщества и последующего синтеза результатов исследования разных локальных исторических общностей на фоне национального и мирового контекста.

В нашей стране почти не сохранилась традиция формирования семейных архивов, комплексов семейных реликвий. Поэтому в основном именно огромный пласт информации, зафиксированный в уцелевших официальных документах, позволяет восстановить картину повседневной жизни и услышать живой голос человека прошлого. Благодаря вышедшему сборнику документов исследователи, отдельно взятый человек и общество в целом получили возможность прикоснуться к прошлому. Сохраненная информация еще сослужит свою службу грядущим поколениям историков и их читателей.

Кропотливая работа составителей и редакционной коллегии по отбору документов позволит читателям проследить по ним формирование и развитие отношений простого человека с государством нового типа;

увидеть, как менялись представления различных социальных слоев населения о жизни и власти; воссоздать элементы повседневности и семейных отношений. Особенность сборника не только в тематической насыщенности документов, но и в том, что отобранные документы как бы раскрывают эпоху в нескольких плоскостях: «снизу», глазами простого человека того времени, обывателя, его языком и его представлениями, и «сверху» – восприятие этой же ситуации партийными и государственными органами власти, языком официальных документов. Тщательный отбор документов, сохранение особенностей стиля, оригинального языка позволяет увидеть за строчкой документа конкретного человека, провинциальную специфику и, в то же время, общие проблемы для всей страны. Важно отметить и то, что составители сборника попытались уйти от политической ангажированности и односторонности освещения событий, личных пристрастий и показали, что одной из основных черт рассматриваемой эпохи была ее противоречивость и многогранность. Документы сборника удачно воссоздают колорит и характерные особенности трудного периода отечественной истории 1917–1964 гг., обогащая историческую память жителей Ставрополя новыми данными о массовом сознании южнороссийской провинции.

Следует отметить, что в соответствии с приемами научно-критической передачи текста редактирование документов в сборнике не проводилось, что позволило с максимальной полнотой и точностью передать присущие им особенности. Собственные примечания авторов-составителей отражены в подстрочных сносках, они, как и комментарии представляют отдельный интерес для исследователей, так как дополняют сведения по теме и повышают информативность публикуемых документов. Для составления комментариев были использованы не вошедшие в данный сборник архивные документы, с указанием ссылок.

Самостоятельную ценность представляет и научно-справочный аппарат сборника, облегчая работу исследователя с документами. Для удобства работы и оперативного поиска сведений каждая книга сборника документов снабжена перечнем архивных фондов, географическим и именованным указателями, списком сокращений и аббревиатур, краткой хроникой основных административно-территориальных изменений на Северном Кавказе в указанный хронологический период.

Рецензируемый сборник документов, несомненно, заинтересует всех, кто занимается историей советского периода, историей государственных учреждений и историей власти в целом, специалистов по социальной истории, истории повседневности и общественного сознания.



## БИБЛИОГРАФИЯ

- Булыгина Т.А.* Говорящие» источники: Социальная история Ставрополя в измерениях «новой локальной истории» // Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах: Сб. документов. Ставрополь, 2009. С. 9–24.
- Булыгина Т.А.* Живая ткань «локальной истории» // Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах: Сб. документов. Ставрополь, 2010. С. 8–23.
- Булыгина Т.А.* Услышать голоса прошлого // Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах: Сб. документов. Ставрополь, 2011. С. 4–28.
- Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах: Сб. документов / Редкол.: Е.И. Долгова [и др.]; Науч. ред. проф. Т.А. Булыгина; Отв. сост. Г.А. Никитенко, сост. Т.Н. Колпикова. Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам архивов, 2009. 760 с., ил.
- Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах: Сб. документов / Редкол.: Е. И. Долгова [и др.]; Науч. ред. проф. Т. А. Булыгина; Отв. сост. Г.А. Никитенко, сост. Т.Н. Колпикова. Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам архивов, 2010. 560 с., ил.
- Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах: Сб. документов / Редкол.: Е.И. Долгова [и др.]; Науч. ред. проф. Т.А. Булыгина; Отв. сост. В.В. Белоконь, сост. Т.Н. Колпикова. – Ставрополь: Комитет Ставропольского края по делам архивов, 2011. 696 с., ил.

***Беликова Татьяна Викторовна***, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории России Северо-Кавказского федерального университета  
***Колесникова Марина Евгеньевна***, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Северо-Кавказского федерального университета;  
*kolesnikovam@rambler.ru*

**Рец. на кн.: Merl S. Politische Kommunikation in der  
Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich  
(Göttingen: Wallstein Verlag, 2012. 184 S.)**

---

Рецензия на книгу немецкого исследователя, специалиста по истории советского крестьянства и аграрной политики СССР Ш. Мерля «Политическая коммуникация при диктатуре. Германия и Советский Союз в сравнении» (2012).

*Ключевые слова:* диктатура, политика, Германия, СССР, сравнительный анализ.

---

Книга профессора Штефана Мерля посвящена проблеме, имеющей не только научную, но и общественно-политическую актуальность. Ученые давно выяснили, что ни одна из диктатур XX века не основывалась только на терроре и репрессиях. Концепции «консенсусной» (Детлеф Пойкерт) и «партиципационной» (Мэри Фалбрук) диктатур подчеркивают, что власть могла рассчитывать если не на активную поддержку населением своей политики, то, по меньшей мере, на терпимое отношение «молчаливого большинства» граждан к преследованиям «врагов», дефициту потребительских товаров и другим очевидным порокам системы. Необычайно устойчивыми оказались ценности, привитые населению диктаторскими режимами, что ощущается как в новых федеральных землях ФРГ, так и в постсоветской России. Это свидетельствует о важности сравнительного анализа повседневных стратегий подчинения в Германии и Советском Союзе, предпринятого автором.

Хронологические рамки книги охватывают время с начала 1930-х до конца 1980-х гг., что позволяет автору сравнить четыре диктаторских государства: Советский Союз до и после смерти Сталина, гитлеровскую Германию и ГДР. Автор намеренно не рассматривает вопрос о классификации политических режимов в СССР после 1953 г. и Восточной Германии как тоталитарных или авторитарных, применяя понятие «диктатура» только к стратегии коммуникации (S. 11). Диктатуры не допускали свободного обсуждения вопросов, которые считали политическими, и осуществляли строжайший контроль над общественной коммуникацией. Одновременно они рассматривали коммуникацию как средство легитимации собственного господства и потому придавали большое значение вовлечению граждан в контакт с режимом. На этом основан авторский подход, позволяющий исследовать способность политических систем к преобразованию с использованием политической коммуникации (S. 12). Выдвигаемая Мерлем гипотеза состоит в том, что в период своего становления диктатуры прибегали к насилию и террору, а затем оказывали

долгосрочное влияние на поведение граждан. Это давало возможность властителям укреплять свое господство и преодолевать свойственную диктатурам неэффективность организационных форм (S. 15-16).

В книге последовательно проанализированы: конструирование диктаторскими режимами коллективной идентичности; коммуникативные техники, предназначенные для защиты этой идентичности от критики; механизм укрепления диктатуры путем непубличного канала коммуникации – адресованных власти писем, прошений и доносов; способы, которыми диктатуры осуществляли передвижку границ между дозволенным и недозволенным; расстройство сложившейся системы политической коммуникации и крах коммунистических диктатур в конце 1980-х гг. Последовательность выделенных автором проблем отражает «жизненный цикл» диктатур, что дает читателю возможность отслеживать хронологию событий.

Ш. Мерль проанализировал огромный массив фактического материала, значительную часть которого составляют введенные автором в научный оборот архивные документы, относящиеся к истории Советского Союза и ГДР. Помимо коммуникационной теории пропаганды (Никлас Луман, Тимиан Буссермер), которая послужила главной теоретико-методологической основой исследования, Ш. Мерль опирается на системную теорию в политологии (Вольфганг Меркель), теорию речевых актов (Джон Остин, Джон Серл), разработанную Элизабет Ноэль-Нойман концепцию «спирали молчания», концепцию социального порядка Бернхарда Гизена и концепцию Андреаса Лангенюля о коммуникативной блокаде обучения при диктатурах. Применение междисциплинарного подхода для сравнительного анализа диктатур дало очень интересные результаты, корректирующие представления ученых-обществоведов о диктаторских режимах.

В первой главе книги рассматриваются условия формирования новой коллективной идентичности при диктатурах. К ним автор относит неуверенность людей в дальнейшем существовании, патерналистское понимание господства и убедительные сценарии внешних угроз. В начале 1930-х гг. Советский Союз и Германия переживали период хаоса, насилия и политической нестабильности, связанный для населения с заботами о собственном выживании. В СССР люди лишались прежней коллективной идентичности в связи с политикой форсированной индустриализации и культурной революцией, в Германии – вследствие острого политического и социально-экономического кризиса Веймарского государства. Новая фаза установления диктаторского господства в Восточной Европе после Второй мировой войны также характеризовалась

глубокой неуверенностью в будущем из-за военного поражения и/или подчинения советскому засилью. В этих условиях масса становилась восприимчивой к пропаганде, обещавшей не только решение текущих проблем, но и построение в отдаленной перспективе счастливого будущего, «рая». Каждому человеку предлагалось «добровольно» включиться в новую коллективную идентичность, но на практике свобода выбора была мнимой - населению было прекрасно известно, что происходит с теми, кто не входит в новое общество: в нацистской Германии жестоко преследовали коммунистов и евреев, в СССР – «кулаков» и «буржуазных» специалистов, в странах Восточной Европы – коллаборационистов и военных преступников. В этой обстановке срабатывал закон «спирали молчания» - было безопаснее пассивно подчиниться новому режиму, нежели активно сопротивляться ему (S. 27-30).

Диктатуры опирались на традиционное патерналистское представление населения о государственной власти. Например, в России традиция патерналистского господства выражалась в культе царя и мифе о справедливом властителе. Как в СССР, так и в Германии масса населения ассоциировала демократию с политической нестабильностью и не видела ничего плохого в подчинении сильному вождю. Патерналистское представление о власти помогало людям не замечать противоречия между обещаниями «райского» будущего и неспособностью диктатур удовлетворить повседневные потребности населения в настоящем (S. 31-32).

Коллективная идентичность диктатур была невозможна без веры подданных в существование врагов, которым власть всегда давала социальную маркировку и одновременно представляла их как агентов иностранных государств. Властителям легко удавалось направить массы населения на «всемирное еврейство», «кулаков», «империалистов», «поджигателей войны» или «закоренелых нацистов». Особенность коммунистических диктатур состояла в том, что в случае необходимости они превращали в козлов отпущения большую часть собственных функционеров. Подобная практика была возможна благодаря старому мифу о царе, который не может творить добро из-за некомпетентности и продажности своих слуг (S. 32-38).

Национал-социалисты предложили немцам коллективную идентичность в виде «народного сообщества», представления о котором опирались на миф о единстве немецкого народа перед лицом внешнего врага в начале Первой мировой войны. Сталин, будучи «прилежным диктатором» (Ганс Моммзен), внимательно наблюдал за Германией и осознал изъян своей диктатуры. Конституция 1936 года провозгласила формирование новой общности – «советского народа». Основой кол-

лективной идентичности ГДР служил антифашизм. Для сохранения коллективной идентичности все диктатуры осуществляли строгий контроль над общественной коммуникацией, исключая из публичного обсуждения вопросы, которые считали «политическими», и вынуждая участников коммуникативного процесса пользоваться «новоязом» (Джордж Оруэлл) (S. 39-47).

В главе, посвященной способам защиты коллективной идентичности от критического осмысления, Мерль анализирует функции ритуалов, культа вождя, собраний и выборов. Диктатуры придавали большое значение ритуалам, поголовное участие в которых свидетельствовало о включении каждого гражданина в коллективную идентичность. Ежегодную повторяемость ритуалов обеспечивал официальный календарь торжеств, состоявший из подвергшихся новому истолкованию традиционных праздников (Рождество, 1 Мая) и новых праздников, связанных с важными датами в истории правящей партии. Гитлеровская и сталинская диктатуры видели в мужчине прежде всего воина («День поминовения героев», «День Красной Армии и Флота»), но по-разному представляли гендерную роль женщины: «Международный женский день» выражал претензию на ее эмансипацию, а «День германской матери», напротив, культивировал традиционные представления. Сталин сознательно отказался от специального праздника, предназначенного для колхозников, в то время как национал-социалисты чествовали крестьянство во время «Праздника урожая». С 1965 г. особое место в советском календаре торжеств занял «День Победы», превратившийся в современной России в главный государственный праздник. Организуя такие празднования, диктатуры не считались с материальными затратами, сопровождали торжества премированием и вручением наград. Власть приурочивала к праздникам специальные достижения, причем Гитлер предпочитал внешнеполитические успехи, а Сталин делал акцент на технических рекордах. Организация празднований в СССР достигла своего совершенства при Брежневе (S. 49-58).

Сохранению коллективной идентичности способствовал культ вождя. Патерналистское представление о вожде как защитнике и благодетеле помогало населению мириться с несоответствием между обещаниями режима и реальными условиями жизни. Граждане приписывали все успехи лично вождю и верили, что он ничего не знает о недостатках и нарушениях, а когда узнаёт, сурово наказывает виновных. В нацистской Германии была широко распространена фраза «если бы фюрер знал об этом», а в Советском Союзе крестьяне ставили портрет Сталина в крас-

ном углу рядом с иконами. Культ Гитлера как избавителя и проводника в землю обетованную оказался не столь пригоден для длительного сохранения диктатуры, как посмертный культ Ленина. Поклонение уже покойному вождю позволило советскому режиму выдержать грубые просчеты Хрущева. Каждый новый советский руководитель мог преподносить изменения в политике как возвращение к ленинским нормам (S. 59-64).

С целью обсуждения политических вопросов под строгим контролем властей диктатуры организовывали собрания граждан. Эти собрания представляли собой ритуал, который заканчивался единогласным одобрением заранее предложенного «мудрого» решения вождя. Открытое голосование поднятием рук приводило в действие «спираль молчания» - ведь проголосовать против любого, пусть и малозначимого решения означало публично признать себя противником власти. Поэтому на собраниях единогласно и внешне добровольно принимались даже такие решения, которые совершенно не устраивали большинство присутствующих. Принятое решение связывало всех присутствующих независимо от того, вели они себя пассивно или с воодушевлением выражали свое одобрение. Издержкой использования механизма собраний для инсценировки коллективной идентичности была невозможность вскрыть действительные проблемы и найти способы их устранения (S. 64-72).

Для демонстрации единодушной поддержки режима населением служили выборы, тоже проводившиеся в форме ритуала. Во время выборов в магазинах появлялись дефицитные товары, власти терпимо относились к употреблению алкоголя, а «те, кто явился на избирательные участки, вознаграждались концертом детского хора и куском колбасы». В день выборов было принято публично демонстрировать свое лояльное поведение с расчетом на продвижение по карьерной лестнице: граждане выстраивались в очереди задолго до открытия избирательного участка, не пользовались кабинами для сохранения тайны голосования, писали на бланках бюллетеней слова благодарности в адрес власти, а после опускания бюллетеня в урну зачитывали стихи с похвалами партии и государству. Подобные проявления консенсуса между народом и режимом делали излишней фальсификацию результатов выборов (S. 73-77).

Анализ способов защиты коллективной идентичности подводит автора к выводу об ошибочности теории тоталитаризма, согласно которой все подданные были инфицированы господствующей идеологией и являлись убежденными сторонниками режима. Если на этапе борьбы за власть тоталитарные партии стремились приобрести массы активных сторонников, то после прихода к власти задача менялась и сводилась к

обеспечению лояльности групп населения, далеких от господствующей идеологии. Для обеспечения стабильности режима не требовалась фанатичная вера большинства в его идеалы, было достаточно беспрекословного подчинения граждан распоряжениям властей (S. 76-81).

В главе о письмах и прошениях граждан, адресованных власти, констатируется, что строгое ограничение тематики публичной коммуникации при диктатурах вызывало необходимость обсуждать в письмах вождю самые разные темы, считавшиеся «неполитическими». Этот коммуникационный канал давал твердую гарантию того, что обмен информацией между властителем и подданными будет доверительным и до всего населения через контролируемые диктатором СМИ будет доведена только избранная часть информации. Оптимально пригодной для обсуждения в письмах была тема потребления, которая считалась «неполитической». Письма вождю выполняли политическую функцию, позволяя гражданам считать, что власть интересуется не только условиями их жизни, но и их мнением. Примерно половина писем не преследовала иной цели кроме выражения благодарности властителю и преклонения перед ним. Другая половина касалась удовлетворения конкретных нужд: улучшения жилищных условий, получения места в детских яслях или запчастей для автомобиля, улучшения уличного освещения или снабжения товарами в местных магазинах, организации нового автобусного маршрута. Если же речь заходила об общих вопросах общества - пьянстве, недостаточном надзоре за молодежью, спекуляции, ужесточении наказаний для преступников и хулиганов, - то режим просто принимал эти мнения к сведению. На письма, в которых высказывалось пожелание выполнения официальных норм, давались неопределенные ответы без рассмотрения сути вопроса. Письма к власти стабилизировали диктатуру, возлагая вину за недостатки на конкретных исполнителей. Они служили каналом обратной информации о воздействии пропаганды, своевременно уведомляя властителя о том, что недовольство населения достигло опасного уровня. Письма были важным средством контроля над местными функционерами, удерживая в известных границах практику злоупотребления служебным положением и личное обогащение. Наконец, анонимные письма от имени общества (народа, рабочих), содержавшие ругательства и проклятия в адрес властителя, отнюдь не были признаком «сопротивления», а выполняли функцию отдушины, позволяя удерживать критику режима вне сферы общественного внимания. Необходимой составляющей этого канала коммуникации был произвол диктатора – границы дозволенного и не-

дозволенного были размыты, а реакция властителя в каждом конкретном случае - непредсказуема. Коммуникация посредством писем и прошений выполняла свою функцию по стабилизации диктатуры до тех пор, пока помогала удерживать население от публичной артикуляции своих интересов и сплочения для их реализации (S. 82-100).

Глава о механизме изменения границ между дозволенным и недозволенным в условиях диктатуры основана на опровержении широко распространенного представления о том, что диктаторские режимы на практике выполняли официальные правила, которые они публично пропагандировали, и жестко карали нарушителей норм. Ш. Мерль утверждает, что власть диктатора покоилась на разрыве между словом и делом: от граждан требовалось лишь обещание соблюдать нормы, после чего они могли делать недозволенное и быть уверенными, что не подвергнутся наказанию. Так диктатуры осуществляли коррумпирование населения - делая нечто запрещенное, люди закрывали глаза на серьезные преступления, совершаемые властью. Нарушение одних норм должностными лицами и гражданами было условием самого существования диктатуры. Например, катастрофическая нехватка продовольствия в советской деревне не позволяла выполнить закон о драконовских наказаниях за кражи с колхозных полей. Добросовестное выполнение директорами предприятий предписаний о наказаниях за нарушение трудовой дисциплины привело бы к остановке промышленного производства в СССР, так как масса рабочих и служащих тратила часть рабочего времени на покупку дефицитных потребительских товаров. Нарушения других норм диктатуры терпели из опасения разрушить коллективную идентичность. Так, несмотря на строжайший запрет на прослушивание «вражеских радиостанций», более половины семей в гитлеровской Германии слушали зарубежные передачи. Власти ГДР примирились с тем, что масса населения смотрит западные телевизионные трансляции, и даже отменили свой запрет на установку коллективных антенн. Лишь наказания отдельных нарушителей напоминали населению, что оно делает нечто недозволенное (S. 100-110).

Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность, диктатуры приспособивались к меняющимся условиям и передвигали границы между дозволенным и недозволенным. Диктатор осуществлял небольшую передвижку границ единоличным решением, корректируя неформальные правила, в то время как формальные нормы не претерпевали изменений. Автор считает, что особенно заметными были перемены в политике Гитлера и Сталина во время Второй мировой войны. В частности, со-



ветский диктатор выдвинул на первый план не защиту коммунизма, а защиту Родины, назвав войну с Германией «Великой Отечественной». Советские власти не опровергали слухи о намерении распустить колхозы по окончании войны, прекратили гонения на Православную Церковь и в 1943 г. заключили с ней официальное соглашение (S. 111-114).

Национал-социализм и сталинизм представляли собой «мобилизационные диктатуры», которые опирались на культ вождя и сплачивали население, постоянно демонстрируя ему грандиозные успехи. После смерти Сталина Хрущев продолжил его стратегию обеспечения стабильности режима, начав кампании по освоению целинных земель и строительству коммунизма. Необдуманное обещание советского лидера построить «рай» в обозримом будущем показало, что мобилизационная стратегия сопряжена с опасностью для диктатуры. В результате Хрущев был смещен и объявлен козлом отпущения. Попытки Брежнева мобилизовать массы населения на строительство Байкало-Амурской магистрали и подъем Нечерноземья закончились провалом. Более эффективным инструментом оказались маленькие, но осязаемые для отдельного человека успехи в улучшении условий жизни, подтверждавшие, что диктатура по-прежнему преследует цель достижения «рая». Главным брежневским нововведением было включение в число основных официальных праздников Дня Победы. Отныне стратегией сохранения коллективной идентичности стала не мобилизация, а напоминание о прошлых достижениях, особенно о победе над фашизмом. «Мобилизационная диктатура» превратилась в «диктатуру воспоминаний», которая дала населению предсказуемость и покой (S. 114-120).

Перед всеми диктатурами стояла дилемма: с одной стороны, значительная часть населения требовала строго карать отклонения от официальных норм, с другой стороны, осуществление строгих запретов могло поколебать коллективную идентичность и способствовать политизации острых вопросов. Чтобы справиться с этой непростой задачей, диктатуры овладели искусством смотреть на неконформистское поведение сквозь пальцы. Именно это искусство позволило властителям привлечь на свою сторону молодежь. Например, национал-социалисты официально подвергали резкой критике джаз как «еврейскую» и «негритянскую» музыку, сурово карали ее отдельных поклонников и одновременно позволяли выпускать массовыми тиражами грампластинки с джазовой музыкой. Аналогичной линии в молодежной политике придерживались Сталин и его преемники, а также руководители СЕПГ. Последние практиковали и иные варианты поведения – пытались поставить неконформистскую

молодежь под свой контроль или, в редких случаях, прекращали борьбу с отклонением от нормы и интегрировали его в официальное представление о коллективной идентичности (S. 120-129).

После смерти Сталина коммунистические диктатуры сохранили принцип контроля над общественной коммуникацией, но изменили его методы, совершив переход от репрессий к профилактике. Приучение к политической дисциплине потенциально опасных лиц путем бесед и угроз в учебных заведениях и на рабочих местах было весьма эффективным, причем особенно действенным оказалось лишение шансов на карьерный рост. Только тогда, когда профилактические меры не срабатывали, диктатуры прибегали к более жестким действиям, вплоть до отправки нарушителей в психиатрические лечебницы и лишения гражданства (S. 129-131).

Все диктатуры допускали существование «частичной общности» - групп населения, не полностью растворившихся в новой коллективной идентичности. В СССР такой Группой являлось крестьянство, а в нацистской Германии – католики. Будучи нейтрализованными в политическом отношении, они не представляли никакой опасности для режима. Власти нацистской Германии, Советского Союза и ГДР шли на сделку с ними: религиозные сообщества обеспечили себе терпимое отношение режима, отказавшись от нападков на диктатуру (S. 131-136).

В книге подвергается критике истолкование возможности граждан «отступить в частную сферу» как одной из причин стабильности диктатур. Частная сфера, пишет Мерль, контролировалась диктатурой, была ее частью. «Отступление в частность», создание «общества ниш» было не уступкой населению, а осмысленной стратегией режима, направленной на отчуждение подданных от решения «политических» вопросов. При диктатуре семья и частная жизнь были политизированы, а политика – «фамилиаризована». Диктатор не только брал на себя роль отца-защитника от всех невзгод и угроз. Заботливый «папочка» давал семье советы по правильному ведению домашнего хозяйства, гигиене и организации досуга. В каждом советском доме имелась сталинская кулинарная книга «о вкусной и здоровой пище» (S. 140-143).

В завершающей главе книги автор предлагает свой взгляд на причины крушения политических режимов в Советском Союзе и ГДР. Он доказывает, что диктатуры были разрушены не снизу, а сверху. Основы их существования были подорваны тогда, когда властители отказались от контроля над общественной коммуникацией и позволили населению пуб-

лично обсуждать главные политические вопросы – правила общежития и отношения власти. Осмысление допущенных в прошлом ошибок имело следствием снятие «регрессивной блокады обучения» (Лангеноль), которая прежде не позволяла гражданам замечать расхождения между словом и делом. Конец советской диктатуры Ш. Мерль датирует мартом 1989 г., когда были впервые проведены альтернативные выборы делегатов съезда народных депутатов. Если в СССР коммуникативные принципы диктатуры были разрушены самим Горбачевым, то в ГДР причиной потери режимом контроля над общественной коммуникацией стала не политика Хонеккера, а попытка руководства СЕПГ сфальсифицировать результаты коммунальных выборов в мае 1989 г. Разработка партийной верхушкой собственной концепции реформ и подготовка к свержению Хонеккера осуществлялись уже в условиях потери доверия народа к власти. Как в Советском Союзе, так и в ГДР процесс политизации общественной коммуникации развивался деструктивно и не способствовал ни трансформации экономической системы, ни созданию прочных структур демократического общества. Автор завершает свой анализ констатацией того, что конец диктатуры не является одновременно началом демократии. Из общества «тех, кто ничего не знал» о преступлениях диктатуры, внезапно возникает новая коллективная идентичность – «общество молчания», в котором наложено строгое табу на обсуждение своего собственного поведения в годы диктатуры. Вероятно, предполагает Ш. Мерль, за этим запретом скрывается подавляемый стыд (S. 144-162).

Небольшая, но чрезвычайно емкая по содержанию книга Ш. Мерля, написанная с учетом новейших методологических достижений гуманитарных наук, имеет существенное научное и познавательное значение. Как и любая серьезная работа, монография немецкого историка заставляет читателя размышлять, открывать новые исследовательские горизонты, сомневаться и подвергать критике собственные устоявшиеся взгляды. Книга, несомненно, будет полезна историкам, политологам, социологам, философам, стремящимся осмыслить не столь отдаленное прошлое и настоящее Германии и России.

*А. М. Ермаков*

#### БИБЛИОГРАФИЯ

*Merl S. Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich. Göttingen: Wallstein Verlag, 2012. 184 S.*

*Ермаков Александр Михайлович – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского; ertakov.a.m@mail.ru*

О. Б. ЛЕОНТЬЕВА

## СООБЩЕСТВО РУССКИХ ИСТОРИКОВ В ПРАГЕ В РАКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ НАУКИ

---

Рецензия на книгу М.В. Ковалева «Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.)» (Саратов: СГТУ, 2012), в которой представлена повседневная жизнь сообщества ученых-эмигрантов «первой волны», формы их научных коммуникаций, коллективные и индивидуальные представления, особенности социально-психологической адаптации в новой среде, «мемориальные практики».

**Ключевые слова:** *Русское Зарубежье, историки-эмигранты, «научный быт».*

---

Изучение истории и культурного наследия русской эмиграции «первой волны» имеет в России не столь уж давнюю научную традицию. По сути дела, условия для глубокого изучения культуры Русского Зарубежья сложились лишь на рубеже 1980–1990-х гг.: с архивных документов и зарубежных трудов по этой проблематике был снят гриф секретности, открылась возможность доступа не только в отечественные, но и в иностранные архивы, установления более широких научных связей с ученым сообществом других стран. Тема «России за рубежом» оказалась в те годы на гребне общественного интереса: массовыми тиражами издавалась мемуарная и беллетристическая, а затем – и научная литература русской эмиграции, возвращались к читателю забытые или неизвестные имена. Именно тогда, на излете советского периода отечественной истории, впервые возникла возможность «связать порванную нить родства» – воссоединить два потока русской культуры, разошедшихся в разные стороны после 1917 года.

Вслед за «публицистическим бумом» конца 1980-х гг. пришло время серьезного и основательного научного освоения темы: не только изучения истории эмиграции «первой волны», но и интеграции наследия русских эмигрантов в современную отечественную культуру. Исторический и культурологический ракурс рассмотрения темы был задан публикацией на русском языке знаменитого исследования М.И. Раева «Россия за рубежом»<sup>1</sup>: здесь предметом изучения стала не только «событийная» история Русского Зарубежья, культурные и общественные инициативы эмигрантов, но и проблемы их самосознания, рефлексии, представлений о собственной культурной миссии.

---

<sup>1</sup> Раев. 1994.

Закономерно, что особый интерес у современных историков вызывают именно судьбы российских ученых, оказавшихся в вынужденном изгнании. К настоящему времени в этой области сложились разные направления исследований; среди них – изучение вклада российских ученых-эмигрантов в развитие исторической науки (здесь следует вспомнить уже ставшие классикой современной историографии работы М.Г. Вандалковской и В.Т. Пашуто); проблемы социальной адаптации ученых-эмигрантов (недавно вышедшая книга В.Ю. Волошиной); исследования, посвященные «евразийскому проекту» (А.В. Антощенко и многие другие)<sup>2</sup>. Поэтому для исследователя, обратившегося к этому богатейшему проблемному полю, важно выбрать свой ракурс рассмотрения темы.

Монография о русских историках-эмигрантах в Праге, написанная молодым саратовским исследователем М.В. Ковалевым<sup>3</sup>, интересна прежде всего своей мультифасеточной оптикой – стремлением объединить различные подходы к многогранной теме эмиграции «первой волны», связать различные исследовательские сюжеты в единый проблемный узел. Направление, в русле которого выполнена эта книга, самим автором обозначено как социальная история науки; исследователь опирается на центральный принцип современной интеллектуальной истории, согласно которому «всякое научное произведение не должно быть изолировано от его историко-культурного контекста», а историю идей надо рассматривать «на фоне специфических условий интеллектуальной деятельности» (С. 25).

Ключевое понятие исследования, позволяющее удачно соединить историю идей и историю повседневности – «научный быт». Под ним автор понимает «повседневную, бытийственную реальность, в пространстве которой протекает исследовательская работа и происходит создание научного знания, а также организуется жизнь самих ученых» (С. 8). Само понятие (как и родственное ему, но более специфичное – «историографический быт») пришло в научный язык историков в середине 1990-х гг. благодаря междисциплинарным связям с литературоведением; оно стало аналогом теоретического конструкта «литературный быт», предложенного в 1920-е гг. Ю.Н. Тыняновым и Б.М. Эйхенбаумом<sup>4</sup>. Появление этих понятий в исследовательском арсенале гуманитарных наук стало признаком поворота к изучению социокультурного контекста интеллектуальной жизни, поведенческих и коммуникативных практик, внешних и внутрен-

<sup>2</sup> Пашуто. 1992; Вандалковская. 1997; Антощенко. 2010; Волошина. 2010.

<sup>3</sup> Ссылки на книгу даются в тексте в круглых скобках.

<sup>4</sup> Александров. 1994; Корзун. 1998; Алеврас. 2010; 2012.

них регуляторов творческого процесса – ради более глубокого понимания природы литературного и научного творчества.

Связь между литературоведением и историографией прослеживается и в анализируемой работе: М.В. Ковалев признает, сколь глубокое воздействие на него оказал труд О.Р. Демидовой «Метаморфозы в изгнании: литературный быт русского зарубежья»<sup>5</sup>. Хотя два автора совершенно по-разному структурируют свое повествование о быте творческой интеллигенции в изгнании, схож исходный посыл их работ: стремление критически взглянуть на мифологемы, сложившиеся в российской науке вокруг эмигрантской темы (и частично созданные самими эмигрантами), избавиться от упрощенного понимания феномена Русского Зарубежья как «подвига во имя русской культуры» и вынести на первый план исследования не только бытовые, но и бытийственные аспекты «жизни внутри свершившейся катастрофы».

Всем этим и обусловлен интерес исследователя к изучению уклада повседневной жизни ученых-эмигрантов, форм их научных коммуникаций, особенностей социально-психологической адаптации в новой среде: обращаясь к этим проблемам, автор стремится преодолеть «разрыв между конкретно-историческими исследованиями жизни эмигрантского научного сообщества и историографическим осмыслением его наследия» (С. 21-22).

Своеобразие выбранного автором предмета исследования определяется тем, что русские историки-эмигранты в Праге не были просто «товарищами по несчастью», случайно сошедшимися вместе на дорогах изгнания. Как известно, правительство Чехословакии во главе с президентом (и видным ученым-русистом) Т. Масариком в начале 1920-х гг. инициировало знаменитую «Русскую акцию», целью которой была адресная помощь русским эмигрантам – в том числе, среди приоритетных групп, представителям интеллигенции. Результатом стало «возникновение в чешской столице развитой сети эмигрантских учебных, научно-исследовательских и культурных организаций»; как отмечает автор, Прага приобрела статус «интеллектуальной столицы Зарубежной России», «русского Оксфорда» (С. 10, 41). Русское эмигрантское сообщество в Праге не было столь колоритным, как в Париже или Харбине (здесь не было, например, бывших русских офицеров, которые подались в таксисты), но оказалось более социально обеспеченным и менее политически ангажированным. Именно Прага в период между двумя мировыми войнами стала ведущим центром российской исторической науки в изгна-

---

<sup>5</sup> Демидова. 2002.

нии: в чешской столице жило и работало несколько десятков русских историков разных поколений, представителей различных исторических школ. Точное их число, как признает автор, по ряду причин определить затруднительно (С. 46, 51, 327), но среди них были такие крупные научные деятели, как Г.В. Вернадский, А.А. Кизеветтер, Н.П. Кондаков, С.Г. Пушкарев, П.Н. Савицкий, П.Б. Струве, Г.В. и А.В. Флоровские, В.А. Францев, М.В. Шахматов, Е.Ф. Шмурло и др. Это было компактное и достаточно тесное сообщество, обладавшее своеобразным обликом, активно продуцировавшее разнообразные культурные инициативы и пронизанное многочисленными персональными и деловыми связями.

Для воссоздания научного быта пражского сообщества русских историков автор использует широкий и разнообразный круг источников. Прежде всего, источниковую базу работы составили уникальные материалы Русского заграничного исторического архива в Праге, вывезенные после Второй мировой войны в СССР и в настоящее время частью хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации, частью – рассредоточенные по другим ведущим архивам и библиотекам нашей страны. (История создания этого архива и формирования его коллекций представляет собой отдельный сюжет рассматриваемой монографии). Кроме того, М.В. Ковалев активно использовал материалы по истории русской эмиграции, хранящиеся в чешских архивах (по авторской оценке, «колоссальные»), многие из которых впервые введены им в научный оборот. Анализ богатейших пластов документов личного происхождения, делопроизводственной документации официальных учреждений и общественных организаций, периодической печати русской эмиграции, и, конечно, научных и научно-популярных работ ученых Русского Зарубежья (а также неопубликованных трудов, выписок, исследовательских материалов из их личных фондов) позволил осветить самые разные сферы жизни и быта ученого сообщества историков-эмигрантов.

В рецензируемой монографии можно выделить несколько взаимосвязанных проблемных пластов. Первый из них – история повседневной жизни русских ученых в чешском культурном окружении. Какими путями историки-эмигранты попадали в Чехословакию? Как они обустроивались на новом месте? Как функционировала система социального обеспечения в рамках «Русской акции»? Хватало ли пособий, получаемых от чешского правительства, чтобы не просто «сводить концы с концами», но вести интенсивную научную работу? Наконец, можно ли говорить о сколько-нибудь успешной интеграции русских ученых в чешскую научную среду, или же в большинстве своем русские историки пребывали в культурной изоляции? Все эти проблемы становятся

предметом подробного рассмотрения на страницах монографии: тут и попытка определить уровень благосостояния разных групп ученых-эмигрантов, и психологические аспекты их адаптации к новой среде (в частности, «лингвистическая травма» изгнанников, оказавшихся в чужой стране, как герой известного рассказа В.Г. Короленко, «без языка»), и подробная реконструкция системы деловых и научных русско-чешских контактов, сложившихся в межвоенной Праге.

Второй проблемный пласт связан с историей «организации и институционализации научного быта»: создания русскими учеными в Праге научно-исследовательских, образовательных и культурных институтов, попыток возродить в эмиграции систему подготовки научных кадров и создать инфраструктуру, необходимую для научной работы. Перед читателями проходит галерея эмигрантских организаций, каждая из которых создавалась буквально «с чистого листа»: Русская академическая группа, занимавшаяся присуждением ученых степеней и званий; Семинарий (впоследствии – Археологический институт) имени академика Н.П. Кондакова; Русское историческое общество в Праге – профессиональная организация русских историков-эмигрантов, практиковавшая коллективные исследовательские проекты; Русский институт в Праге, занимавшийся научно-исследовательской и культурно-просветительской работой, и конкурировавший с ним Русский научный институт сельской культуры; уже упоминавшийся Русский заграничный исторический архив, а также многочисленные неформальные интеллектуальные объединения – например, домашние семинары (у Н.П. Кондакова, П.Б. Струве, А.В. Флоровского, в семье Вернадских), которые были укоренены в традициях российской дореволюционной университетской культуры, а чешским коллегам представлялись чем-то странным и непривычным. Удивительно, сколь разнообразной и насыщенной была научная жизнь каждой из этих организаций, – и насколько был тесен круг создавших их и сотрудничавших в них ученых: зачастую это были одни и те же фигуры. Важно отметить, что М.В. Ковалев не стремится идеализировать эмигрантское научное сообщество: воссоздавая сеть организационных и личных отношений внутри него, он обращается к истории не только сотрудничества и взаимопомощи, но также конкуренции и конфликтов (межинститутских, межгрупповых, межличностных), которые не всегда разрешались достойными средствами.

Судьба эмигрантских научных, образовательных и культурных учреждений прослежена в работе вплоть до конца Второй мировой войны – здесь автор осознанно перешагивает хронологические границы своего исследования. В работе освещена хроника мучительной борьбы эмиг-



рантских организаций за выживание в 1930-е гг., когда чешское правительство постепенно «свернуло» Русскую акцию (причиной тому были не только Великая депрессия и кризисное состояние экономики, но и сознательный выбор правительства Чехословакии в пользу налаживания отношений с СССР, что шло вразрез с политикой поддержки эмиграции); тягостного и рискованного существования русских научных и просветительских учреждений в условиях немецкой оккупации; наконец, последних испытаний, ожидавших уцелевшие эмигрантские организации после 1945 г.: недолгий период надежд на плодотворное сотрудничество с советскими коллегами сменился политическими репрессиями, вывозом в СССР ценных архивных и музейных собраний и вынужденной самоликвидацией последних эмигрантских научных сообществ.

При этом М.В. Ковалев не становится заложником позитивистского подхода: выбранная им исследовательская стратегия позволяет не только воссоздать событийную канву жизни русских историков-эмигрантов, но и реконструировать их «коллективные и индивидуальные представления об окружающем мире» (С. 26). Третий смысловой пласт исследования составляют проблемы исторической памяти как способа формирования коллективной идентичности русских ученых-эмигрантов; этот раздел работы написан в русле «мемориального поворота», на базе идей и подходов М. Хальбвакса, П. Нора, Я. Ассманна, Б. Андерсона.

Методы реконструкции мира исторической памяти русских ученых-эмигрантов, выбранные М.В. Ковалевым, состоят в следующем: автор анализирует «места памяти» эмигрантского ученого сообщества – разнообразные исторические праздники, юбилеи и памятные даты; воссоздает образы различных эпох отечественной истории (Киевской Руси, Московского царства, Петербургской империи) в восприятии эмигрантов; наконец, рассматривает «конфликты памяти» – ситуации, когда одни и те же события или фигуры исторического прошлого в восприятии разных групп историков-эмигрантов приобретали разное смысловое и ценностное наполнение. Эти методы достаточно типичны для исследований по «мемориальной проблематике»; но в данном случае особенность авторского подхода состоит в том, что предметом рассмотрения становится историческое сознание не просто какой-либо социальной группы, а именно историков-профессионалов. М.В. Ковалев подчеркивает, что анализирует научное наследие историков-эмигрантов не с точки зрения их вклада в науку, а с точки зрения того, на создание и поддержание каких идеологем и исторических мифов были нацелены данные труды. Как показывает автор, отличительной чертой эмигрантской исторической науки была ее идеологизация, сознательная направ-

ленность на формирование у российских изгнанников определенной коллективной идентичности; в этом отношении она, как ни странно на первый взгляд, была похожа на своего антипода, советскую историческую науку. «Евразийский вызов» в монографии М.В. Ковалева также исследуется скорее как идеологический, чем как научный проект: анализируя причины, по которым исторические построения евразийцев не нашли поддержки у большей части эмигрантского научного сообщества, автор приходит к выводу, что подспудной причиной научного и идейного столкновения стал конфликт идентичностей. В то время как большинство ученых-эмигрантов выстраивали свою идентичность вокруг идеи сохранения «кода дореволюционной культуры» (в том числе традиций позитивистской науки XIX в.) вплоть до возможного возвращения на Родину, евразийцы предлагали не просто альтернативное видение русской истории, но коренной пересмотр самой идентичности русской интеллигенции, ее базовых ценностей (С. 254, 257).

Важно, что М.В. Ковалев затрагивает в своем исследовании не только «места памяти», но и «места забвения» в историческом сознании русской эмиграции: как он показывает, историки-эмигранты в своих исследованиях, в личных воспоминаниях и в актах публичной коммеморации избегали затрагивать сюжеты, связанные с историей революции 1917 г. и Гражданской войны. С точки зрения автора, это объяснялось не только психологическим нежеланием «беречь незакрывшиеся раны», но и опасением, что обращение к таким темам разрушит устоявшуюся научно-позитивистскую картину мира: события революции и Гражданской войны невозможно было рационально объяснить в привычных категориях дореволюционной либеральной историографии (С. 323–324, 328).

Таким образом, три смысловых пласта исследования (адаптация ученых-эмигрантов в чужой стране, организация научного быта, формирование и сохранение исторической памяти) оказываются тесно взаимосвязанными и слагаются в единую сверхзадачу книги. Все те научные, бытовые, организационные, морально-этические задачи, которые приходилось решать российским ученым в изгнании, в конечном счете способствовали сохранению их индивидуальной и коллективной идентичности; разнообразные научные и общественные инициативы русских историков-эмигрантов в Праге были для них способами не просто «выжить в катастрофе», но выжить, сохранив чувство собственного достоинства и веру в социальную востребованность своего труда.

Следует отметить, что монография М.В. Ковалева читается легко и с большим интересом. Текст насыщен яркими конкретно-историческими деталями, в нем немало интересных поворотов и наблюдений, которые

могли бы стать сюжетом для самостоятельных микроисторических исследований. Таковы, например, зарисовки быта «Профессорского дома», построенного на окраине Праги «Чешско-русским профессорским строительным и квартирным товариществом» и ставшего для русских ученых местом не только проживания, но и преподавания, чтения публичных лекций, научного общения (С. 77–80); выразительные бытовые штрихи – например, мебель в профессорских квартирах, изготовленная из старых ящиков (С. 83). Без сомнения, каждому читателю запомнится трагикомическая история о том, как безвременно скончавшийся ручной заяц стал причиной выяснения отношений между историками А.В. Флоровским и Е.Ф. Максимовичем и, в конечном итоге, поводом для «грандиозного конфликта в среде пражских историков» и раскола Русского исторического общества в Праге (С. 167–172). О степени утопичности эмигрантских образовательных проектов и о реальных возможностях трудоустройства эмигрантской молодежи позволяет наглядно судить тот факт, что один из выпусков Русского Юридического факультета в Праге организовал для своих студентов краткосрочные малярные курсы (С. 190), – такие детали порой гораздо выразительнее, чем подробные социологические выкладки. Словом, фактическая точность исторического исследования сочетается в этой работе с умением автора подмечать в тексте источника наиболее интересные и яркие штрихи прошлого.

В заключение хотелось бы отметить, что монография М.В. Ковалева о русских историках-эмигрантах будет полезна читателю не только в плане обогащения наших знаний о судьбах, идеях и культурных инициативах эмиграции «первой волны». В методологическом аспекте эта книга представляет собой перспективный опыт комплексного изучения истории локального научного сообщества, многоплановой реконструкции повседневного измерения научной жизни. Надеюсь, что этот удачный опыт найдет свое продолжение – и в новых исследованиях М.В. Ковалева, и в трудах других историков.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Алеврас Н.Н.* Историографическое знание и проблема историографического быта: смысл и происхождение научной категории // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 22. С. 79–85.
- Алеврас Н.Н.* Что такое «историографический быт»: из опыта разработки и внедрения историографической дефиниции // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Отв. ред. Л.П. Репина. М.: УРСС, 2010. С. 516–534.
- Александров Д.А.* Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 3–22.
- Антощенко А.В.* «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 344 с.

- Вандалковская М.Г.* Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». М.: Памятники исторической мысли, 1997. 350 с.
- Волошина В.Ю.* Ученый в эмиграции: проблемы социальной адаптации ученых-эмигрантов сквозь призму «персональной истории». Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. 219 с.
- Демидова О.Р.* Метаморфозы в изгнании: литературный быт русского зарубежья. СПб.: Гиперион, 2002. 296 с.
- Ковалев М.В.* Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Саратов: СГТУ, 2012. 408 с.
- Корзун В.П.* Научная школа в интерьере «историографического быта» (В.О. Ключевский, П.Н. Миллюков, С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский) // Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ (XVIII–XX вв.). Т. I. Научные сообщества в социокультурном пространстве России. Омск, 1998. С. 2–5.
- Паушто В.Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. М.: Наука, 1992. 398 с.
- Раев М.И.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции: 1919–1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. 294 с.
- Леонтьева Ольга Борисовна* – доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории Самарского государственного университета; [oleontieva@yandex.ru](mailto:oleontieva@yandex.ru)

Т. Н. ИВАНОВА

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАК КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

---

Автор рецензирует учебное пособие О.Б. Леонтьевой «Интеллектуальная история России XIX – начала XX в.» (Самара, 2012), в котором представлено динамическое развитие общественно-политических течений, научных и философских школ в России от 1840-х гг. до 1917 года.

**Ключевые слова:** интеллектуальная история России XIX – начала XX в., история идей, научные школы.

---

В научных журналах не часто появляются рецензии на учебные пособия. Однако в данном случае это объяснимо вдвойне. Во-первых, сам журнал – это альманах интеллектуальной истории, которой и посвящено рецензируемое пособие<sup>1</sup>. Во-вторых, само учебное пособие – это не упрощенный реферативный обзор общеизвестных фактов, а оригинальное, авторское исследование, основанное на многолетних научных занятиях автора Ольга Борисовна Леонтьева – известный исследователь, автор целого ряда книг, тематика которых лежит в проблемном поле интеллектуальной истории<sup>2</sup>.

Общеизвестно, что научная теория становится знанием и достоянием общества через посредничество образовательных институтов и технологий. Именно в процессе преобразования постулатов высокой науки в положения университетской лекции происходит методологическая рефлексия, классификация и систематизация теорий, уточняются дефиниции. А затем студенты и магистранты, упрощая в чем-то идеи профессора, спорят о них на переменах и в социальных сетях...

В настоящее время в нашей стране интеллектуальная история как направление научных исследований развивается особенно интенсивно. В немалой степени этому способствует активная научная деятельность Российского общества интеллектуальной истории, объединяющего ученых многих вузов и научных центров почти из сорока регионов РФ. Специализированные курсы по проблемам интеллектуальной истории введены в настоящее время в учебные планы многих высших учебных заведений. Возникла насущная необходимость появления учебных пособий по интеллектуальной истории.

---

<sup>1</sup> Леонтьева. 2012.

<sup>2</sup> Леонтьева. 1998; 2000; 2004; 2011 и др.

Одним из первых подобных изданий можно считать коллективное пособие для вузов, написанное Л.П. Репиной, В.В. Зверевой, И.Ю. Парамоновой, «История исторического знания». Здесь рассматривается становление исторического сознания, эволюции исторической мысли и содержится отдельный раздел, посвященный интеллектуальной истории<sup>3</sup>. Более развернутая характеристика предмета интеллектуальной истории в современном ее понимании содержится в книге Л.П. Репиной «Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографические практики». Симптоматично утверждение автора о том, что «место интеллектуальной истории в профессионально-историческом образовании, несомненно, будет расти»<sup>4</sup>.

В этой связи представляется своевременным появление рецензируемого издания «Интеллектуальная история России XIX- начала XX вв.», допущенного учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по направлению «История». Достоинством этого пособия является сочетание логичности структуры лекционного курса, продуманного методического сопровождения и высокой научности подаваемого материала.

Книга начинается с весьма важной вводной темы «Интеллектуальная история как научная дисциплина». Давая краткий очерк становления этой отрасли исторической науки, которая изучает «историю интеллектуальной деятельности людей по познанию мира и человеческого общества» (С. 11), автор отмечает отличительные черты современной интеллектуальной истории. Это – внимание к социальному контексту интеллектуальной деятельности людей, междисциплинарный характер, стремление уловить и понять «дух времени, систему ценностей эпохи, которая могла пронизывать и литературу, и политическую мысль, и гуманитарные науки изучаемого периода». (С. 14).

Автор определяет предмет курса «Интеллектуальной истории России XIX – начала XX в.» как «мировоззренческие поиски российских мыслителей, динамическое развитие русской мысли», т.е. изучение общественно-политических течений, научных и философских школ в России на протяжении длительного исторического периода от 1840-х годов до 1917 года.

В качестве историографических констант для изучения ведущих направлений российской общественной мысли О.Б. Леонтьева выделяет

---

<sup>3</sup> Репина. 2004. С. 268.

<sup>4</sup> Репина. 2011. С. 366.

освещение мыслителями следующих ключевых проблем: формирование общественного и национального самосознания; представления о социальной справедливости, об идеале общественного устройства, о наиболее острых проблемах современного им общества и путях их решения; представления о ходе истории, о смысле жизни и идеале человека. (С. 14).

Избранные автором хронологические рамки курса включают в себя ключевой период развития отечественной мысли, когда были заложены основы ее важнейших направлений, многие из которых остаются актуальными вплоть до настоящего времени. В рамках этого периода выделены три этапа развития русской мысли. 1840-е – начало 1850-х годов – так называемое «замечательное десятилетие», время «великого спора» западников и славянофилов, когда, как отмечает автор, были «заложены основы отечественной философской традиции, исторической науки, литературной критики». Конец 1850-х – начало 1880-х годов (эпоха Великих реформ) охарактеризован как «период, когда сформировалась идеология русской интеллигенции, ее система ценностей, включающая в себя сознание долга перед народом, стремление к активному социальному служению». 1890 – 1910-е годы – «время переоценки ценностей, рефлексии интеллигенции над собственными традициями и стереотипами» (С. 16–18).

Пособие дает многостороннюю, объемную картину интеллектуальной истории России. Особые разделы посвящены таким направлениям отечественной мысли, как славянофильство, западничество, либерализм, нигилизм, народничество, позитивизм, консерватизм, марксизм, религиозная философия. Каждое из указанных направлений отечественной мысли исследуется по единой схеме: освещаются представления его сторонников о социальном идеале, о направленности исторического процесса, о роли и месте в нем России, и, наконец, о морально-этической стороне человеческой жизни. При этом многие течения интеллектуальной жизни России показаны в динамике, в эволюции: автор сопоставляет народничество, консерватизм и либерализм эпохи Великих реформ – и аналогичные направления общественной мысли на рубеже XIX и XX столетий.

Завершает пособие тема, посвященная становлению самосознания российской интеллигенции, дебатам о ее сущности и роли в отечественной истории, что представляется логично вытекающим из целей и задач курса. О.Б. Леонтьева как бы обрамляет изложение материала, начиная его с определения интеллектуальной истории (С. 11) и заканчивая обоснованием необходимости появления соответствующей научной дисциплины.

лины. Она пишет: «...определить свое место в обществе, осознать свою роль в истории России интеллигенция могла, только оглядываясь назад, подводя итоги своего исторического пути. Так родилась новая для России научная дисциплина – “история общественной мысли”, или, используя более современное понятие – “интеллектуальная история”». (С. 424).

Как несомненное достоинство пособия следует отметить то, что каждая его тема содержит краткий историографический обзор, где приводятся альтернативные точки зрения, сопоставляются различные подходы к изучению истории русской мысли. Важно отметить, что О.Б. Леонтьева, на высоком научном уровне ориентируется в течениях и направлениях дореволюционной и эмигрантской, советской и современной исторической науки, а также в зарубежной историографии проблемы. Таким образом, автор не только излагает собственное видение предмета, но и дает возможность читателю самостоятельно обратиться к анализу соответствующей литературы и выработать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Благодаря этому интеллектуальная история предстает как непрерывно развивающееся направление науки. Стоит отметить, что отдельные разделы работы по концептуальности и оригинальности авторской позиции ближе к монографическому исследованию, чем к учебному пособию. Это, например, разделы о Н.К. Михайловском (С. 163–168), о «субъективной школе в социологии» (С. 192–200) и т.д. Однако это никак нельзя считать недостатком пособия, ибо данные разделы по ясности изложения и языка не создают проблем в овладении материалом для обучающихся.

В целом следует отметить, что методическое сопровождение всех разделов продумано и отвечает современным требованиям педагогических технологий. Каждая тема сопровождается списком рекомендуемых источников и литературы, перечнем вопросов и заданий для самоконтроля, тематикой творческих заданий в виде эссе, предусматривающих самостоятельную работу студентов с источниками и научной литературой.

Можно поспорить с определением некоторых персоналий, представляющих то или иное направление общественной мысли, имея в виду расширение этого списка. Однако понятна необходимость ограниченного списка, вытекающая из заданных рамок учебного курса. На мой взгляд, при определении тем эссе не стоило ограничивать студентов жестким перечнем персоналий, предоставив им самим возможность выбирать, о каком мыслителе изученного раздела писать эссе. Например, в разделе о марксизме странным представляется отсутствие темы эссе о В.И. Ленине. По моим наблюдениям, современное студенчество, не из-



мученное конспектированием «классиков», испытывает желание непредвзято изучить кумиров советского прошлого.

Издание учебного пособия по интеллектуальной истории важно в двух отношениях: пособие знакомит студентов с методологией, подходами и проблематикой актуального научного направления и позволяет им получить основательные, глубокие знания по истории отечественной мысли.

Рецензируемое учебное пособие может быть интересно и полезно не только студентам, магистрантам, аспирантам, обучающимся по направлению «История», но и специалистам по другим дисциплинам гуманитарного профиля, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей и культурой нашей страны. Поэтому основным недостатком пособия представляется его мизерный тираж (100 экз.!). Думаю, что книга О.Б. Леонтьевой «Интеллектуальная история России XIX – начала XX в.» найдет своих читателей далеко за пределами Самарского университета и нуждается в переиздании.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Леонтьева О.Б.* Николай Александрович Бердяев: в поисках смысла истории. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1998. 176 с.
- Леонтьева О.Б.* Властители дум: интеллектуальная история России от Великих реформ до революции 1917 года. Учебное пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2000. 215 с.
- Леонтьева О.Б.* Марксизм в России на рубеже XIX–XX веков. Проблемы методологии истории и теории исторического процесса. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. 206 с.
- Леонтьева О.Б.* «Субъективная школа в русской мысли: Проблемы теории и методологии истории. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. 200 с.
- Леонтьева О.Б.* Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в. Самара: ООО «Книга», 2011. 448 с.
- Леонтьева О.Б.* Интеллектуальная история России XIX – начала XX в.: учебное пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. 428 с.
- Репина Л.П.* История исторического знания: пособие для вузов / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. 2-е изд. М.: Дрофа, 2004. 288 с.
- Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с.

*Иванова Татьяна Николаевна* – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и культуры зарубежных стран Чувашского государственного университета; [tivanovan@mail.ru](mailto:tivanovan@mail.ru)

Т. А. ПАРХОМЕНКО

## ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОРИИ КАК «RES GESTAE» И КАК «HISTORIA RERUM GESTARUM»<sup>1</sup>

---

Рецензируется монография А.В. Святославского «История России в зеркале памяти: механизмы формирования исторических образов», посвященная проблеме отражения исторических явлений в культуре, преимущественно на материале недвижимых мемориальных объектов наследия (храмы-памятники, монументы, мемориальные знаки, мемориальные комплексы, топонимика), в теоретическом (культурологическом) и историческом (история увековечения в России) аспектах.

**Ключевые слова:** исторические образы, культурная память, памятник, культура увековечения, мемориальная история России.

---

Монография кандидата исторических наук и доктора культурологии Алексея Владимировича Святославского подытоживает его многолетние труды в области изучения культуры памяти на материале отечественной истории. Результаты этих исследований нашли отражение в ранее изданных им и его соавторами книгах, посвященных отдельным аспектам мемориальной культуры (православная культура увековечения, погребальная культура, культура коммеморации в Российской империи XIX – начала XX в.). Рецензируемая монография являет собою наиболее фундаментальное исследование, где автор выступает одновременно в роли историка и культуролога. В ней прослеживаются, по крайней мере, три основных проблемно-тематических блока: 1) анализ феномена культурной (социальной) памяти на основе разнообразных исследований в области *memory studies*, предпринятых учеными России, Европы и Америки за последнее столетие; 2) подробный историко-аналитический обзор культуры коммеморации в России на материале недвижимых объектов культурного наследия; 3) анализ результатов эмпирических исследований в области культуры памяти.

Если по первому проблемному блоку уже имеется ряд работ в современной России (причем, все они датированы последними одним-двумя десятилетиями), то второй и третий разделы выглядят в значительной степени новаторскими – как попытка систематически представить историю процессов формирования образов истории и исторических представлений на стыке мемориальной политики, формируемой «сверху», и коллективной памяти, формирующейся «снизу» под воздей-

---

<sup>1</sup> Святославский. 2013.

ствием ряда факторов. При этом автор пытается охватить практически весь период письменной истории России – от граффити Киевско-Новгородской Руси до современных мемориальных акций. Позволим себе с удовлетворением отметить, что в этом смысле работа Святославского продолжает развивать темы и идеи, заложенные в вышедшей двумя годами ранее нашей монографии «Культура без цензуры. Культура России от Рюрика до наших дней»<sup>2</sup>, поскольку сам автор неоднократно подчеркивает своего рода идеологическую преемственность этих работ. Актуальность этой проблематики весьма высока.

В США еще в 1970-е гг. возник интерес к проблемам «лжи и правды» в формировании образов истории, поддержанный затем в Европе так называемым «Спором немецких историков» (Historikerstreit) вокруг проблемы отображения Второй мировой войны, а также известным проектом Пьера Нора по изучению «мест памяти» во Франции – в 1980-е гг. Отечественная наука никак не может остаться в стороне от анализа механизмов формирования исторических представлений, поскольку, как не раз отмечается в работе Святославского, именно для истории нашей страны последнего столетия характерно весьма ошутимое качание идеологического маятника, когда постоянно происходящая смена политических систем и политических лидеров вызывает резкую реакцию в формировании исторической памяти по принципу «наоборот»: так, большевики переписывают историю, написанную в империи, сталинский период переписывает троцкистскую историю революции 1917 года, хрущевские идеологи разоблачают сталинизм в истории СССР, «горбачевцы» критикуют ложь «брежневского застоя» и так далее.

Автор монографии особенно подчеркивает тот факт, что в отличие от традиционных историографических исследований (которые, конечно, есть и будут всегда), он не ставит задачу участия в споре о том, «как было на самом деле», но пытается исследовать проблему с культурологической точки зрения, то есть получить ответ на вопросы *почему, отчего и зачем* то или иное историческое явление оказывается представлено в культуре данного времени и места именно *так*, а не иначе. Притом, что завтра и в другом месте оно будет представлено совершенно иначе! И во всем этом процессе социокультурной динамики нет произвола, но есть определенные резоны и даже закономерности. Исследование этих закономерностей и составляет наиболее значимую часть книги.

Подобного рода исследования представляют собою не абстрактный научный интерес: они связаны с совершенно конкретными при-

---

<sup>2</sup> Пархоменко. 2010.

кладными задачами социального управления. Процесс «стихийного» формирования коллективной памяти при ближайшем рассмотрении оказывается полем действия целого ряда рассмотренных в монографии факторов, среди которых важное место занимает так называемая мемориальная политика, или политика памяти, как называют ее на Западе. Естественно, что осуществление такой политики как части общегосударственной внутренней политики, так же как и политики в области образования, невозможно без анализа прошлого опыта. Эмпирические социологические исследования в области выявления исторических симпатий и антипатий тех или иных социальных групп содержат в себе определенный вектор прогностики, помогающий до некоторой степени моделировать социальную ситуацию в ближайшем будущем.

В методологическом отношении автор монографии, объединяющий в себе историка и культуролога, выказывает приверженность семиотическим методам анализа, с опорой на работы признанных западных (Ч. Пирс, Ч. Моррис, У. Эко и др.) и отечественных (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский) специалистов по семиотике культуры. Нам кажется, что в области, предполагающей анализ такого феномена, как памятник – при этом взятый в аспекте так называемой намеренной мемориализации – подобный подход оправдан. В целом автором освоен большой корпус работ западных и отечественных историков, культурных антропологов, социологов культуры, работавших с конца XIX столетия до современности. Список литературы и источников содержит более 400 единиц. Среди зарубежных работ по *memory studies* наиболее основательно разобран американский опыт, причем автор подробно останавливается на анализе нескольких пока еще не переведенных на русский язык работ американских авторов (J. Olick, D. Simpson, I. Irwin-Zarecka и др.). Используется также опыт отечественной историко-философской школы начала XX века и работы современных отечественных историков и культурологов. Особо подчеркнута автором монографии методологическая значимость трудов Российского общества интеллектуальной истории, работающего под руководством Л.П. Репиной, а также трудов А.Я. Флиера и И.В. Кондакова.

Нельзя не отметить и определенного вклада монографии в теоретическую базу отечественных «мемориальных исследований». Автору во вступительной части монографии приходится взять на себя труд подробного анализа ситуации, сложившейся в отечественных и западных *memory studies* вокруг ключевых понятий данной области, а именно, понятий *социальной, культурной, коллективной памяти*. Также потре-

бовали отдельного рассмотрения понятия *памятника* и *объекта культурного наследия*, понятие «мемориальности» и некоторые другие. Отсутствие единства в данной профессиональной терминологии составляет на сегодняшний день слабое место как в самих *memory studies*, так и в теории культурного наследия. Поэтому критический анализ понятийно-терминологической сферы видится необходимым. Впрочем, за ним стоит и ряд принципиальных вопросов, вроде различения эстетической и идеологической составляющей в оценке тех или иных памятников при проведении социологических опросов, на чем также подробно останавливается автор книги.

По большому счету, весь комплекс рассмотренных в работе проблем восходит к аксиологическим аспектам культурологического исследования, к проблемам формирования конкретной системы ценностей, характеризующей данную культуру. И в этом смысле рецензируемая монография должна органично войти в круг работ, посвященных выявлению специфических особенностей русской культуры в целом – настолько, насколько они произрастают из этого аксиологического основания.

Злободневной можно назвать последнюю главу книги, посвященную той ситуации с увековечением в городской среде, которая сложилась в крупных городах современной России. Как известно, обстановка вокруг установки и демонтажа городских знаков и монументов, сложившаяся за последние два с небольшим десятилетия в Москве и Петербурге вызывает бурную общественную реакцию в связи с «энтропийными» процессами, охватившими эту сферу.

Присутствовавшими на научной дискуссии по поводу презентации рецензируемой книги в Библиотеке-музее Николая Федорова была отдельно отмечена как положительный вклад в исследование отечественной культуры глава монографии, специально посвященная процессам периода «Февральской республики», как названа она в книге. Автору удалось удачно показать целый ряд проявлений культурной деструкции на материале российской истории до октября 1917 года, которые проливают свет на объяснение многого происходившего уже после прихода к власти большевиков. Пожалуй, именно эти периоды – современность, период русских революций XX века, а также период петровских преобразований – как они отражены в рецензируемом нами исследовании – составляют наиболее интересную историко-аналитическую часть монографии с точки зрения профессионального историка.

В качестве слабых мест работы укажем на некоторую неровность в применении декларируемого автором принципа научного анализа по

культурно-историческим парадигмам — внутри глав, посвященных различным этапам и периодам истории России (при том, что сама применяемая периодизация достаточно общепринята). Хотелось бы увидеть более последовательное применение этого принципа, развитого ранее Н.А. Бердяевым и И.В. Кондаковым, в главах, посвященных Древней Руси и советскому периоду. Наиболее удачно этот принцип был применен в исследовании мемориальной ситуации Российской империи и современной России. Также можно было бы пожелать увеличить «удельный вес» главы, посвященной культуре Древней Руси. Автор, немало занимавшийся этим периодом и прежде опубликовавший ряд работ по памятникам допетровской эпохи, в данной монографии оказался более сосредоточен на советской и постсоветской культуре, которыми он занимался в прошлом незначительно.

В целом же все отмеченное нами выше позволяет надеяться, что новая книга А.В. Святославского найдет своего читателя и будет интересна широкому кругу специалистов-гуманитариев – историков, филологов, культурологов, социологов, политологов.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

*Пархоменко Т.А.* Культура без цензуры. Культура России от Рюрика до наших дней. М.: Книжный клуб «Книговек», 2010.

*Святославский А.В.* История России в зеркале памяти: механизмы формирования исторических образов. М.: «Древлехранилище», 2013. 592 с., библи., илл.

***Пархоменко Татьяна Александровна***, доктор исторических наук, зав. отделом культурологии МК РФ; [parchomenkot@yandex.ru](mailto:parchomenkot@yandex.ru)

Е. Ю. ВАНИНА

## ДИАЛОГИ С ПРОШЛЫМ В УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ НАРРАТИВАХ

---

Рецензия на монографию Е.Ю. Карачковой «Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества» (М.: Совпадение, 2013), посвященной изучению проблемы исторической памяти на материале города-музея Амбер индийского штата Раджастан – с опорой на комплексный анализ исторического дискурса устной и письменной традиции, последовательной комбинации текстологического и культурно-антропологического подходов.

**Ключевые слова:** историческая память, культурная антропология, этноистория.

---

Рецензируемая книга уникальна для отечественного востоковедения и, возможно, для историографии как таковой. Посвященная актуальной и все более привлекающей внимание исследователей проблеме исторической памяти<sup>1</sup>, она успешно соединяет в себе два подхода, которые во многих случаях бытуют как отдельные и даже считаются несовместимыми: характерное для «классической» истории исследование текстов и обязательные для культурной антропологии полевые исследования.

Такое сочетание в известной степени обусловлено научной судьбой автора. Выпускница Института стран Азии и Африки при МГУ, давшего хорошую подготовку индолога-филолога, Е.Ю. Карачкова впоследствии получила квалификацию культурного антрополога в Колумбийском университете (США). Сочетая естественную благодарность русским и американским учителям с критически-объективным восприятием позитивных и негативных сторон каждой из школ, Е.Ю. Карачкова смогла соединить в своей работе все лучшее, что дают оба подхода к изучению исторической памяти – текстологический и культурно-антропологический, исследование соответствующих исторических источников и полевая работа с живыми носителями памяти о прошлом.

Объектом исследования Е.Ю. Карачковой стал небольшой городок Амбер в современном индийском штате Раджастан, к западу от Дели. В течение почти семи столетий Амбер был столицей крупного и влия-

---

<sup>1</sup> Обширный исследовательский материал и историографический анализ на эту тему содержатся, например, в изданных под редакцией Л.П. Репиной коллективных трудах и сборниках статей: *Образы прошлого...* 2003; *История и память...* 2006; *Диалоги со временем...* 2008; *Образы времени...* 2010.

тельного княжества, созданного раджпутами – военно-феодальным союзом Северной Индии. После переноса в XVIII веке столицы княжества в специально построенный Джайпур, Амбер почти не менялся, консервируя архитектуру и атмосферу средневекового города, которые в наше время оказались востребованными для бурно развивающейся туристической индустрии.

Первая часть монографии под названием «Договоримся о терминах» знакомит читателя как с самим Амбером, так и с методологическими основами исследования. Автор подробно излагает то, что современная западная наука вкладывает в понятие «этноистория», а также рассматривает наиболее важные наработки зарубежных и российских исследователей по таким темам, как образы прошлого, коллективная память, устная и письменная история. Все это делается квалифицированно, объективно и уважительно к различным точкам зрения, что дает читателю, каковы бы ни были его научные интересы, обильную пищу для размышлений. Главный вывод – устная и письменная формы фиксации исторического прошлого не отделены друг от друга, а взаимосвязаны и переплетены<sup>2</sup>, что дает возможность исследовать и ту, и другую формы, сочетая текстовый и антропологический подходы.

Вторая часть, «Источники “обратной связи” с устными традициями о прошлом», посвящена письменным свидетельствам истории Амбера. Автор подробно и квалифицированно анализирует средневековые жанры исторических сочинений, внося тем самым заметный вклад в освобождение индологии от одной из унаследованных от ориентализма и до сих пор мешающих адекватному изучению истории Индии догм – концепции «антиисторичности» доколониального индийского общества<sup>3</sup>. Затем столь же скрупулезному исследованию подвергаются колониальный дискурс и постколониальные версии истории Амбера. Особое место в этой части занимает «туристический дискурс», который, согласно выводам автора, объединяет устные и письменные нарративы о прошлом.

Третья часть, «Культурное наследие и устные традиции о прошлом: “case studies”», представляет материалы, собранные Е.Ю. Карачковой во время нескольких экспедиций в Амбер. Здесь, по мысли автора, «стимулами для коллективного воображения» становятся сами архитектурные памятники города-музея. Информаторы Е.Ю. Карачковой принадлежали к различным кастам и религиозным общинам Амбера; среди них, что вызовет особый интерес читателя, – сохранившиеся

---

<sup>2</sup> Это взаимовлияние исследовано также в статье: Карачкова. 2007. С. 85–106.

<sup>3</sup> См. подробнее: Ванина. 2007. С. 106–147.



в наши дни традиционные хранители исторической памяти, барды (*бхаты, чараны*), которые до сих пор ведут родословные записи основных раджпутских кланов, ряда племен и мусульманских сообществ и «сказывают» исторические предания о доблестных предках. Сопоставляя зачастую несходные версии различных информаторов об истории того или иного храма, колодца, дворца, автор получает соперничающие нарративы, ибо в Индии многие сооружения такого рода являются точками конфликтов, от «холодных», до «горячих», между различными религиозными общинами, кастами, этнокультурными группами.

Устная история, которую излагали информаторы Е.Ю. Карачковой, касалась не только внутренней истории княжества, но и его взаимодействия с другими регионами Индии и с существовавшими на ее территории крупными империями – Могольской и колониальной британской. Здесь, возможно, нарушаются каноны культурной антропологии, запрещающие «включенному наблюдателю» выход за пределы изучаемой социально-территориальной единицы, но автор, с присущим ей здоровым прагматизмом, удачно сводит вместе разные методологии, что придает исследованию подлинно междисциплинарный характер.

Разумеется, автору не везде удалось четко и логично соединить все *case studies* конкретных архитектурных «мест исторической памяти» в единое полотно, да вряд ли это было бы возможно при таком разнообразии тематики и действующих лиц. Ряд проблем, конкретных текстов или исторических эпизодов только называются или кратко характеризуются. Однако это не умаляет главного качества рецензируемой книги: историческая память исследована в монографии как сложный и многогранный процесс социальных реконструкций прошлого, в котором сливаются и переплетаются устная и письменная история, «элитарные» и «массовые» интерпретации, дополняющие друг друга и конфликтующие нарративы, историографический и туристический дискурсы, «воспоминание», «забвение» и «переосмысление» прошлого в целях настоящего и будущего.

Обширный текстовый материал, дополненный столь же обширными данными полевых исследований, методологическая четкость в сочетании с прагматичным и гибким подходом к дисциплинарным рамкам, вкладка цветных иллюстраций (в основном – сделанные самим автором во время полевых исследований фотографии) делают рецензируемую монографию Е.Ю. Карачковой ярким, высокопрофессиональным исследованием, важным не только для индологов, но и для всех, кого интересуют проблемы исторической культуры и исторической памяти народов.

**БИБЛИОГРАФИЯ**

- Ванина Е.Ю.* Средневековое мышление: индийский вариант. М., 2007.
- Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. 800 с.
- История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2006. 768 с.
- Карачкова Е.Ю.* «Анналь» Джеймса Тода и устная традиция о прошлом в Раджастхане // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. 2007. С. 86–105.
- Карачкова Е.Ю.* Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества. М.: Совпадение, 2013. 248 с. + вкладки.
- Образы времени и исторические представления. Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010. 960 с.
- Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2003. 408 с.

*Ванина Евгения Юрьевна* – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН; *eug.vanina@gmail.com*

М. М. ГОРЕЛОВ

## ОБРАЗЫ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ И МИФЫ ИСТОРИИ

---

Рецензия на книгу Е.В. Калмыковой «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья» (М.: Квадрига, 2010).

*Ключевые слова:* Столетняя война, исторические представления, идентичность.

---

Столетняя война (1337–1453) является крупнейшим событием позднего Средневековья. Хотя сам термин «Столетняя война» введён в оборот историками лишь в XIX в. и, будучи искусственно созданным концептом, не отражает воззрений на неё средневековых людей, серия вооружённых конфликтов, известная современному читателю под этим названием, носила если не общеевропейский, то, по крайней мере, общезападноевропейский характер, поскольку в ней участвовали почти все значимые государства тогдашнего католического мира. Учитывая масштабность и продолжительность события (вернее – цепи событий), странно, что в отечественной историографии ему посвящено немного специальных работ. Прежде всего вспоминается, конечно, труд Н.И. Басовской «Столетняя война» (1985). Однако после этой книги в России не появлялось работ о Столетней войне, сопоставимых по насыщенности и информативности.

Рецензируемая книга восполняет этот пробел, рассматривая Столетнюю войну в ином ракурсе – в плане восприятия её событий современниками, отражения их в разных пластах средневековой ментальности, включая юридические, культурные, религиозные, этнические и другие стороны последней. Тем самым автор успешно продолжает традиции истории ментальностей, заложенные французскими медиэвистами из школы «Анналов» и плодотворно развивающиеся в настоящее время, когда в исторической науке популярны междисциплинарность, привлечение методов и арсенала смежных наук – культурологии, филологии, истории права и др., в совокупности образующих большой массив социальных наук – знания о человеке, его внутреннем мире, представлениях, взаимодействии с окружающим социумом.

В структурном отношении монография разделяется на три части. В первой речь идёт об официальной позиции средневековых английских историков, правоведов, церкви и государственной власти по поводу характера Столетней войны – её «справедливости», «праведности» в историописании и правительственной пропаганде того времени. В условиях тотально верующего средневекового общества решающее значение име-

ло религиозное обоснование правильности государственной внешней политики, придающее ей позитивный моральный характер в глазах подданных и тесно смыкающееся с правовым обоснованием, опиравшимся также на религиозный авторитет. В свою очередь, неграмотность подавляющего большинства населения предполагала эффективность воздействия на умы методами визуальной пропаганды, проповеди и общественных ритуалов. Е.В.Калмыкова подробнейшим образом рассматривает эти вопросы, раскрывая читателю механизмы средневековой пропаганды.

Вторая часть книги посвящена восприятию тогдашними англичанами собственно войны и мира, важными аспектами которых являются соответствующие представления общества о военной доблести, славе, рыцарской чести, добыче и прочих основополагающих элементах, из которых складывалась этика и ценностные приоритеты феодального правящего класса – класса профессиональных военных, для которых война была нормой жизни и естественным способом социальной самореализации. Эта тематика убедительно раскрывается на материале английских хроник и художественной литературы, в частности, придворной поэзии.

В последней главе второй части рассматривается ситуация вокруг «горячих точек» многовекового англо-французского противостояния – Нормандии и Аквитании, которые благодаря успешной династической политике английских королей стали когда-то английскими владениями на континенте, как и ряд других западно-французских регионов. Поскольку именно эта проблема, порождённая эпохой феодальной раздробленности и преобладания отношений подданства над ещё не сложившимся чувством национального единства, стала главным катализатором вооружённых конфликтов между двумя странами начиная ещё с XII в., то, вероятно, было бы логичнее поместить эту главу всё-таки в третью часть книги, где речь идёт именно о влиянии Столетней войны на формирование этнического самосознания англичан.

Вообще, можно заметить, что, поскольку Столетняя война велась в основном на территории Франции, по отношению к которой Англия в то время являлась относительно бедной экономической и культурной периферией, то историки обычно уделяют основное внимание роли событий Столетней войны в преодолении Францией феодальной раздробленности и складывании французского национального самосознания, цементирувавшегося борьбой против внешнего врага. Гораздо реже обращаются к аналогичной проблематике в отношении Англии, которая, несмотря на отсутствие феодальной раздробленности в классическом понимании этого термина, переживала глубокую раздробленность иного рода – а именно, культурный разлом, возникший во второй половине XI

века в связи с нормандским завоеванием, уничтожившим старую англосаксонскую элиту и создавшим ситуацию, при которой в стране правила новая, франкоязычная знать из числа завоевателей, а английский язык и культура оказались оттеснёнными на задний план французскими культурными эталонами, оставшись уделом простонародья. Учитывая эти обстоятельства, именно Столетняя война стала тем переломным этапом, когда франкоязычная элита, стоявшая у власти в Англии уже более 200 лет, наконец, консолидировалась с англоязычными массами в новую этническую общность – будущий английский народ, связывая свои интересы и идентичность именно с Англией перед лицом общего врага – французов. В частности, именно в это время окончательно складывается среднеанглийский язык, появляется национальная литература на нём. Таким образом, франкоязычный субстрат успешно интегрировался в английский социум, образуя с ним новую этническую общность.

Эту важную проблематику Е.В. Калмыкова и раскрывает в третьей части монографии, подробнейшим образом анализируя, во-первых, терминологию этничности в средневековых источниках изучаемого периода, во-вторых – образы «своих» и «чужих» в английской литературе того времени, в-третьих – персональные воплощения этих образов на примере двух военачальников: англичанина Ноллиса и француза Дюгеклена, прославивших свои имена различными воинскими деяниями и талантами в Столетней войне. Мифы о героях такого рода – важнейший элемент складывающейся национальной культуры, самосознания, традиций любого этноса, поскольку они служат своего рода стержнем, вокруг которого сплачиваются в единое целое коллективные переживания народа о прошлом, формирующие его историческую память.

Кроме того, автор убедительно показывает, как формирование английского национального самосознания шло рука об руку с растущей «прагматизацией» внешнеполитической деятельности; Столетняя война начиналась фактически как конфликт двух монархических домов из-за феодальных владений, по сути – как спор о сюзеренитете, логически продолжая линию прежних типично феодальных распрей такого рода, длившихся между двумя странами уже почти два века кряду, а потом постепенно превратилась в противостояние двух молодых, формирующихся национальных государств, в которых внешняя политика (в том числе война) всё больше становилась средством борьбы за общенациональные интересы прагматического характера. Чем дальше, тем больше английские короли уходили от прежней идеи создания универсалистской англо-французской державы, объединённой династически, в сторону модели замкнутого национального островного государства, рассматривающего

заморские территории как объект именно внешнеполитический, а не как спорные лены. Правда, автор отмечает, что в ритуальном смысле пережиток идеи англо-французской империи сохранялся вплоть до 1801 г. в виде титула «король Франции» в полной титулатуре английских королей.

Не ограничиваясь эпохой Столетней войны, Е.В. Калмыкова предлагает читателю подробный экскурс в историю национальных мифов английской истории, начиная с древнейших времён, чтобы проследить преемственность представлений позднего Средневековья с предыдущей многовековой традицией, запечатлённой в историописании, эпосе, литературе. Как уже отмечалось, мифы о происхождении и деяниях предков, о героях, святых, вождях и т.п. играли ключевую роль в складывании национальной идентичности. Со страниц книги предстают персонажи и сюжеты мифов, а также их творцы и интерпретаторы; здесь можно увидеть, с одной стороны, легендарные фигуры вроде короля Артура, героев античности и кельтских сказаний, а с другой – средневековых и ренессансных интеллектуалов, создававших или фиксировавших корпус литературно-исторической традиции, таких как Гильдас, Беда, Ненний, Гальфрид Монмутский, хронисты классического Средневековья и, наконец, историки тюдоровского времени. Таким образом, монография Е.В. Калмыковой выходит далеко за пределы освещения собственно реалий времён Столетней войны и её восприятия современниками, раскрывая многовековые истоки и традиции английской национальной самоидентификации, её механизмы и течения. В этой связи, пожалуй, логичнее было бы назвать данную часть книги отдельной главой, а не скромным «Приложением I», как сделала автор, поскольку объём и значение этой части значительно превосходят рамки приложения как такового.

Книга снабжена богатым библиографическим материалом, справочным аппаратом, картами, генеалогическими и хронологическими таблицами, что делает её исключительно информативной и полезной не только для специалистов, но и для всех интересующихся средневековой историей, историей культуры и проблемами этнического самосознания.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Басовская Н.И.* Столетняя война, 1337–1453 гг. М.: Высшая школа, 1985. 185 с.  
*Калмыкова Е.В.* Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. М.: «Квадрига», 2010. 664 с. + карты, илл.

**Горелов Максим Михайлович** – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; [heldenhammer@yandex.ru](mailto:heldenhammer@yandex.ru)

Е. Н. КИРИЛЛОВА

## СИЛА И МАГИЯ ЧИСЕЛ

---

Рецензируется монография А.Л. Пономарёва «Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII–XV вв.» (М.: МГУ, 2011), посвященная проблеме устройства и взаимодействия денежных систем Средневековья и предлагающая оригинальные методики исследования.

**Ключевые слова:** *денежные системы, статистические методы, Средние века.*

---

«Прозрачное» оглавление не введёт в заблуждение того, кто впервые возьмёт в руки объёмный труд А.Л. Пономарёва, – это книга чрезвычайно сложная. Она рассчитана на увлечённого, знающего и стойкого читателя, который не отступит перед собственным непониманием, не устанет возвращаться к прочитанным ранее страницам, не смутится необходимостью взять ручку и бумагу, чтобы вслед за автором и вместе с ним посчитать или построить график.

Понять и объяснить устройство и взаимодействие денежных систем Средневековья – главная цель книги. Стремление выстроить такую стратегию исследования, которая максимально полно охватывала бы всю известную сегодня массу сведений о Причерноморье и Балканах в XIII–XV вв. – сверхзадача для автора. А.Л. Пономарёву удалось создать «инструмент» (как сам автор определяет результаты своей работы в аннотации, с. 4), позволяющий изучать экономическую историю не только Леванта в Средние века (о чём также заявлено в аннотации) – но любого региона и любой эпохи, если от неё сохранилось хотя бы (!) несколько монет. Предложенные и апробированные в книге новые способы анализа традиционных нумизматических данных (металл, из которого изготовлена монета, её вес, номинал, легенда – имя, облик или символ правителя и др.) позволяют много узнать о политических традициях, династических и военных союзах, победах и поражениях, завоеваниях и границах, экономических стратегиях, явных финансовых ориентирах и скрытых денежных потоках. Такие результаты особо ценятся для тех эпох и регионов, история которых скупо отражена в письменных источниках, но они не менее значимы для решения разного рода спорных вопросов, неразрешимых другими способами.

В основе исследовательского подхода А.Л. Пономарёва лежит настойчивое и важное для автора развенчание мифа о средневековых правителях и финансистах (с. 53, 54, 99, 100 и мн. др., ос. с. 628–629) –

очень стойкого мифа, многократно повторенного в учебниках, в специальной и научно-популярной литературе – о постоянной порче монеты, о злоупотреблениях древних и средневековых правителей и их советников, их жадности и близорукости, жажде наживы и стремлении только к сиюминутной выгоде. Напротив, автор подчёркивает, что именно уверенность в мудрости венецианского дожа Энрико Дандоло, повелевшего «чеканить из венецианской марки серебра 109 5/12 грессо, крайне несуразное число монет... была едва ли не первой отправной точкой... исследования» (с. 626). А.Л. Пономарёв доказывает высочайшее мастерство и превосходные знания средневековых ремесленников и финансистов. Они могли пренебречь точностью в 0,009%, но не в 0,5% (с. 44), «оперировали весом лиры и дженовино с точностью... 0,225% (1/444), или же 8 миллиграмм» (с. 75), а используя простейшие пропорции – 1 к 2, 4 к 5, 5 к 6, 9 к 10 – добивались результата, «объяснить который сейчас требуется, используя функции и интегралы» (с. 113). Современные монеты оказываются менее «аккуратными», чем изготовленные средневековыми ремесленниками с помощью примитивных ножниц и весов (с. 91–92, 144, 233–234).

С большим увлечением автор описывает финансовые инструменты, применявшиеся в Средневековье. Хорошо известны суровые наказания средневековых фальшивомонетчиков, но принимавшиеся финансистами решения эффективно предотвращали и другие преступления, препятствуя обрезке и отбору монет, вывозу драгоценных металлов (с. 57, 87–88, 99, 211 и др.). Общие принципы монетной политики рассмотрены в разделах 1.5 и 1.6 (с. 53–59), конкретные ситуации – по ходу работы.

Важнейшим инструментом исследования здесь выступают сравнение весов средневековых монет и соотношений между разнородными мерами веса. На с. 72 А.Л. Пономарёв приводит составленную им схему «Численные и генетические связи мер веса XII–XIV вв.» (рис. 1.4), с помощью которой он реконструирует соотношения между византийскими, европейскими и мусульманскими мерами веса. В XII–XIV вв. не существовало мировых финансовых институтов, подобных современным, но международная торговля и межгосударственные отношения не могли обойтись без пересчёта одних денег на другие, без новых эмиссий, состоятельность которых основывалась на множестве факторов, не всегда очевидных сейчас.

Подчеркну, что схема наглядно представляет не просто единицы веса, но политические ориентиры Средневековья. Читатель при этом может только пожалеть, что, прекрасно разбираясь во всех этих реали-



ях, автор довольно скупо делится подробностями, ограничивая себя в широте своего полотна. И столь пристально рассмотренные пропорции в мерах веса нуждаются в более детальных пояснениях, чем те, которые даются в разделах 1.2 «Системы денежных номиналов» и 1.3 «Системы денежного счёта» (с. 40–46): почему всё же в разных регионах появились и закрепились не только соотношения, основанные на 12 и 20, но и 15 к 16-ти, а 1 к 25 или 75?

Числа и подсчёты играют в этом исследовании главную роль. Одну и ту же задачу можно решать разными способами, у каждого из которых будет своя роль и своя задача в системе не только строго математического, но общенаучного знания. Самый длинный путь не обязательно окажется худшим: он позволит решить задачу, располагая минимальными данными или с помощью простых действий, что актуально при отсутствии техники или людей, способных выполнить более сложные операции. Важно также и то, что используя простейшие действия, хорошо известные людям того времени и реально применявшиеся ими, мы можем надеяться восстановить их логику, а не навязывать им собственную, опирающуюся на сегодняшние представления или приемы – в отличие от ситуации, когда вычисления будут производиться неизвестными тогда способами.

А.Л. Пономарёв подчёркивает, что историк не может не учитывать в своих построениях консервативность счётных систем и системы номиналов (с. 42), и акцентирует разницу между современным отношением к числам и деньгам и тем, какими были представления средневековых людей<sup>1</sup>. Разные типы монет обслуживали разные сектора экономики (с. 43), что сильно затрудняет вычисления и пересчёт одних денег на другие, хотя хорошо известно, что для разных веществ использовались разные меры, даже если их названия звучали одинаково. И хотя по весу одно будет равно другому (как, например, килограмм золота и килограмм зерна), безусловной и необсуждаемой нормой для средневекового человека было знание о том, что у этих вещей разная суть.

Автор искренне уважает своего читателя, уверен в его уме и сообразительности, его способности к научному сотворчеству. Столь же искренне А.Л. Пономарёв уважает своих предшественников и оппонентов, называя авторов, впервые выдвинувших общие теории или высказавших частные идеи и соображения, использовавших новые методы

---

<sup>1</sup> «Утратив привычку жизни с деньгами из благородных металлов, нумизматическое сообщество практически забыло, что у такой монеты существовали переоценка и сеньораж»: Пономарёв. 2011. С. 628.

(прим. 83 на с. 86), обративших внимание на важные, но не замеченные ранее факты или усомнившихся в них (раздел «Историография» (с. 19–34), прим. 51 на с. 71, прим. 98 на с. 95 и др.), даже совершавших ошибки<sup>2</sup> (прим. 90 на с. 92, прим. 197 на с. 257 и др.), или тех, чьи работы прошли незамеченными (прим. 39 на с. 67).

Основываясь на общеизвестных, в том числе историкам<sup>3</sup>, статистических законах, А.Л. Пономарёв предлагает целый набор своих методов и подходов. Анализ кумулятивных распределений, методика оптимального интервала позволили выработать методику определения ухода из обращения<sup>4</sup> и в целом скорости старения монетного фонда<sup>5</sup>, соотношения монет и штампов и другие. Исследование позволяет по-новому выйти на важнейшую для науки функцию нумизматического материала – датировку исторических и археологических памятников. Здесь автор предлагает свою формулу точности датировки (с. 140–141). Ещё одним важным итогом работы А.Л. Пономарёва являются предложенные им правила для определения даты каждой монеты (с. 258–259).

Отдавая себе отчёт в уровне «ясности» математических выкладок, автор переводит некоторые «непонятные для историка формулы... словами» (с. 139), не считая лишним подчеркнуть, что по ряду позиций историка интуитивно, не имея чётко просчитанных доказательств, предполагали и использовали верные и точные параметры (с. 151).

Выбранная стратегия исследования позволяет получить то, о чём даже в статистике современности можно только мечтать – перейти от анализа выборок к анализу генеральной совокупности: то, как часто можно «найти неизвестный штамп среди монет, поступающих на исследование», даёт в итоге производительность монетных дворов – соответственно, объёмы монетного производства (с. 145). И потому для каждой отдельной исследовательской задачи становится возможным знание о её перспективах: сколько необходимо монет «если не для абсолютного, то для исчерпывающего типологического описания» (с. 156).

---

<sup>2</sup> Что естественно и неизбежно для творческого процесса: Там же. С. 29.

<sup>3</sup> «Понимание того, что вес монет определяется нормальным законом, пришло в отечественную нумизматику в последнее десятилетие; западноевропейские ученые признали это как минимум тридцать лет назад, но развивать методы, вытекающие из этого, и искать новые возможности не стали»: Там же. С. 67.

<sup>4</sup> «Ученые не знают об ещё одном важном параметре денежной массы, который определяет множество характеристик денежного обращения. Этот параметр можно определить как скорость, с которой монета исчезает из обращения...»: Там же. С. 117. Также: С. 631.

<sup>5</sup> С учетом такой актуальной и для населения, и для государства проблемы как потеря монетой веса при повседневных и крупных сделках: С. 114–116 и со с. 131.

Однако далеко не только бесчисленные подсчёты лежат в основе этой работы. Современные возможности реконструкции и оцифровки (с. 234 и др.) позволили автору учитывать и анализировать мельчайшие изменения во внешнем виде монет. Новое прочтение документов (с. 231), приложение к известным данным законов монетного производства (а не только «литературных» аналогий: с. 183) дали автору принципиально новые знания о подходах к денежным системам и средневековой экономике в целом.

«За многочисленностью числовых выкладок... стоит желание нумизматов понять экономическую составляющую жизни поволжских степей» (с. 213) – подчёркивает автор, характеризуя работу коллег<sup>6</sup>. В полной мере эта оценка может быть дана его собственному исследованию. Получив новые данные и включив их в контекст политической, экономической, социальной, культурной истории государств и государственных образований, сведения о ряде из которых отменно скупы даже в специальной литературе, А.Л. Пономарёв радикально изменяет понимание экономического развития Поволжья и Причерноморья<sup>7</sup>. А «пристальное внимание к одной-единственной денежной эмиссии, возможности детализации изображений монет, открывшиеся за последние несколько лет, и количественные методы исследования дают нумизмату и историку неизвестные до того сведения обо всей экономике Золотой Орды» (с. 255).

В фокусе интересов автора – вопросы о механизмах экономики, управления денежными системами (с. 33), о соотношении типа государственного устройства с типом финансово-денежной системы (с. 53), финансовая идеология средневековых реформаторов: «принципы функционирования, взаимозависимость и взаимодействие денежных систем Средневековья, о которой никакие летописи рассказать нам не могут, становятся очевидными благодаря определению метрологических параметров этих и синхронных им “денег”<sup>8</sup>» (с. 255).

Не случайно такое исследование родилось в византиноведении – области исторического знания, требующей высочайшей квалификации, которая даётся исключительными усилиями и многими десятилетиями

---

<sup>6</sup> И.В. Евстратова и С.В. Гамаюнова.

<sup>7</sup> Так, данные штемпельного и количественного анализа выступают «кардинальными показателями экономического развития»: «соотношение между величиной монетного фонда в двух рассматриваемых зонах обращения татарской монеты изменилось с начала века в разы. Это говорит, скорее, не об упадке хозяйства Причерноморья, а о бурной монетаризации Поволжья в первой половине XIV в.»: Пономарёв. 2011. С. 247.

<sup>8</sup> Здесь А.Л. Пономарёв имеет в виду данги Токты.

работы. Хотя автор подчёркивает, что многие подходы были опробованы и проработаны в первую очередь на античном материале, что именно антиковедение выступило экспериментальной площадкой для решения многих важнейших для европейской истории проблем<sup>9</sup>.

К монографии можно высказать ряд замечаний и предложений, которые нацелены главным образом на то, чтобы облегчить её понимание. Текст книги очень насыщен как информацией, так и идеями. Однако нельзя не отметить присущую автору сложность выражения своих мыслей, что сильно затрудняет их понимание. К столь объёмной и сложной работе вполне можно было бы добавить словарь специальных терминов, в который могли бы войти названия монет, должностей и др. Необходим и перевод цитат из источников с многочисленных иностранных языков (латинский, французский, сербский...) на русский. Что касается оформления, то было бы небесполезно уточнить подписи к иллюстрациям (начиная со с. 171), когда указания легенды («а», «б») не проставлены на самом рисунке и потому остаются неясны.

«Появлению любой новой монеты предшествовала идея финансистов» (с. 627), – делает общий вывод А.Л. Пономарёв, ещё раз подчёркивая в «Заключении» фундаментальность знаний и мастерство людей, чьё восприятие мира, столь отличное от современного, так ярко показали числа.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

*Пономарёв А.Л.* Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII–XV вв. М.: МГУ, 2011. 672 с.

*Кириллова Екатерина Николаевна*, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; *kkirilova@mail.ru*

---

<sup>9</sup> В том числе, вопрос о том, какие возможности по управлению финансами скрыты в выпуске монет из благородных металлов: *Пономарёв*. 2011. С. 32.

## SUMMARIES

---

**M.P. LAPTEVA. Timofey N. Granovsky: personality and ideas as perceived by several generations of historians.** The article demonstrates how the perception of personality and views of a well-known Russian historian, Timofey N. Granovsky, was evolving from one generation of academics to another. The author studies socio-cultural influences on historiographical evaluation.

**Keywords:** *historical views, historian's personality, generations of an academic school, evolution in perception.*

**S.L. ZHIDKOVA. «A Favourite of Berlin and Germany».** The article analyses the evidence of Russians on the personality and lectures of E. Has, a professor of the Berlin University, recorded both in memoirs and in fiction. The author draws parallels between public lectures by E. Hans and those by T. Granovsky.

**Keywords:** *T.N. Granovsky, I.S. Turgenev, University of Berlin.*

**I.YU. NIKOLAYEVA. New dialogue of history and literature in the context of methodological turn.** The article deals with the possibility of a dialogue between history and literature in the context of paradigm shifts in methodology in the field of contemporary humanities. It is shown that literature as historical source has its resources that could be used by new methodologies of historical discipline.

**Keywords:** *history, literature, polydisciplinary synthesis, mentality, identity, values, language.*

**Z.A. CHEKANTSEVA. Images of power in the context of the theory of rhythm: a view from the 21<sup>st</sup> century.** “There is an inextricable connection between power and rhythm. The thing the power imposes in the first place is the rhythm (the rhythm for every domain – life, time, thought, discourse)”, wrote Roland Barthes. In the context of the “rhythmical arrangement of the individuation process”, proposed by Pascal Michon, the power is interpreted as a “rhythmical medium”.

**Keywords:** *theory of rhythm, rhythmical organization of the process of individuation, historical anthropology of subject, power as 'rhythmical medium'.*

**A.B. SOKOLOV. Clarendon as historian.** The article analyses the context for the creation of the famous ‘History of Rebellion and Civil Wars in England’ by Lord Clarendon, and traces the evolution of scholarly interpretations of this work.

**Keywords:** *Clarendon, Civil wars in England, royalism, historiography.*

**V.V. VYSOKOVA. David Hume's concept of history: historiographical and social contexts.** The author demonstrates the impact of David Hume on the development of historicism and the key problems of historical knowledge of the Enlightenment period, i.e., the criticism of historical sources and the theory of historical process. The article deals with the ‘neo-Roman’ character of Hume’s concept of history as well as his use of logical and rational method of French Jansenists. The author’s attention is focused on Hume’s views of place and importance of history in modern society and in the political life of his country.

**Keywords:** *David Hume, 'History of England', historicism, Enlightenment, national identity, 'neo-Roman' tradition.*

**N.V. ROSTISTAVLEVA. Discourses of freedom in Max Weber's views of Russia in 1905-06.** The article is focused on the concept of freedom that formed the basis for Weber’s views of the events of the First Russian Revolution. The author shows that Weber’s family was rooted in the evangelical and liberal values, and the scholar believed in the priority of the Protestant discourse of freedom. The latter, interpreted in such way, could not be found in Russia without the break of tradition.

**Keywords:** *Max Weber, First Russian Revolution, freedom, tradition, early liberal phase, liberalism.*

**T.A. SIDOROVA. Maitland studies in Britain and the USA in the 20<sup>th</sup> century.** The article studies the emergence and development of Maitland studies as collective memory reconstructing the life and heritage of a famous British historian and lawyer, F.W. Maitland (1850–1906) in British and American historiography of the 20<sup>th</sup> c.

**Keywords:** *F.W. Maitland, British and American historiography, collective memory*

**O.L. AKOPYAN. What is 'humanism'? From the Renaissance to our days.** The article is dedicated to the historiographical debates concerning the term *humanitas*, especially between leading Italian and American specialists on the Renaissance culture, and on the transformations of humanism in modern and contemporary philosophy.

**Keywords:** *Renaissance, Humanism, Philosophy, Dignity of Man, "Prisca Theologia"*.

**A.I. KLYUYEV. A.V. SVESHNIKOV. Migration or emigration: on the geographic mobility of Soviet medievalists in 1920-30s.** The article is focused on the phenomenon of geographical mobility of the Soviet medievalists in 1920-30s. The authors have analysed the biography of c. 130 scholars and have demonstrated the main trends of mobility, the destinations and causes of migrations.

**Keywords:** *Soviet historians, geographical mobility, Medieval studies, academic community*

**A.V. KHRYAKOV. Medievalist Percy Ernst Schramm and international co-operation of historians in Nazi Germany.** Percy Ernst Schramm (1894–1970) was an expert on the history of medieval corporations and political symbolism, and one of the founders of the 'new political history'. The international co-operation of historians under the Nazi regime changed dramatically as scholarly contacts became dangerous. The communication network of the German historian was destroyed, and he was forced to sever some of his ties.

**Keywords:** *P.E. Schramm, academic community, international contacts, the Warburg library, German historical discipline.*

**V.V. TIKHONOV. «One could sense objectivism here...»: the creation of the 'Essays on the history of Bashkortostan'.** The article is dedication to the history of the creation of the 'Essays on the history of Bashkortostan' in the 1940s- early 1950s. The analysed archival documents demonstrate the process of its preparation, and the reasons why the monograph had not been published. It is shown that ideological campaigns and debates of the post-war period influenced the contents of the book.

**Keywords:** *'Essays on the history of Bashkortostan', Soviet historiography, ideological campaigns, ethnic politics.*

**N.A. SELUNSKAYA. Communications of the schools of historiography and path dependence: Russia and Italy.** The article analyses the characteristics of historiographical schools in Russia and Italy, connected although divided in space and time. The author studies both the works of Italian experts on their national history and the Russian scholars who specialized in Italian studies, the attitudes to the studies of societies of the period when mass sources emerged. Possible connections and parallels are demonstrated.

**Keywords:** *schools of historiography, academic communications, path dependence.*

**E.V. KALMYKOVA. The Image of Christ as knight in medieval English didactic literature.** The article is dedicated to the analysis of the use of popular medieval allegory of Christ as an enamoured knight in medieval English sources. The author studies the universality and stability of the metaphors of marriage, love and warfare in the context of medieval discourses of the redemptory sacrifice of Christ, writers' intentions, reasons for the use of the metaphors, their variants, and the intended audiences of the texts.

**Keywords:** *Christ the knight, redemption, beloved soul, allegory, metaphors of war and love, religious didactics.*

**I.A. KRASNOVA. The perceptions of local magistrates in the 14<sup>th</sup>–15<sup>th</sup> century Florence: reality and ideals.** The article traces the evolution of the views of podesta, from the image of the main power structure in the Florentine commune to a functionary elected to govern towns, fortresses and parishes of the contado. The author attempts to analyse cultural reflections on the podesta in chronicles, novellas, biographies, family books.

**Keywords:** *podesta, Florentine commune, territorial state, administration of contado, image of power, ideal ruler.*

**N.V. KARNACHUK. English popular ballade in the 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> centuries: text as historical source.** The article deals with the history of the genre of printed ballade, its specific, limits of its potential audience, censorship and authorship, and the dynamics of its development in the 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> cc. The author shows the process of transforming printed ballads into objects for collection and later – into historical sources. The article presents references to the main collections of Early Modern English printed ballades, an overview of historiography of the genre, and mentions the possible ways to use this type of sources.

**Keywords:** *ballade, popular literature, historiography.*

**I.I. LISOVICH. Visual representation of scientists in the Early Modern European culture.** The article analyses the dynamics of iconography and visual representation of scholars in European culture as it moved from the Middle Ages to Early Modern period. The analysis of ceremonial portraits, engravings, miniatures and illustrations in scholars texts sheds a new light on representations of scholars, which differ from those in textual sources. This allows us to complement and revise the idea of how the epoch looked at its scholars, as well as to reveal a specific tendency in the picturing of scholars and scholarly practices.

**Keywords:** *visualization, representation of a scholar, social status of a scholar, Pierre d'Ailly, Nicolaus Copernicus, John Dee, William Gilbert, Johannes Kepler, Francis Bacon.*

**E.M. KIRYUKHINA. The images and plots of medieval fairy folklore in the Modern Anglo-American art.** The article is focused on the traditional and the innovative use of fairy folklore images and plots originated from the Middle Ages by the modern Anglo-American artists. Particular attention is paid to the images of magical fairy folklore creatures, animals behaving in a fabulous way and their relationship with people.

**Keywords:** *Fairy Painting, fairy folklore images and plots, book illustration, artists.*

**G.N. KANINSKAYA. On French history and historians.** The article presents the synthesis of interviews with French historians discussing their choice of profession, and who influenced it, the state of historical discipline and the teaching of history.

**Keywords:** *political history, the 'Annales', Institut d'études politiques de Paris – Sciences Po, historical anthropology, interdisciplinarity, cultural history.*

**STEPHAN CHARNOVSKY. The past and the present in culture.** The text presents a translation of the work by a well-known Polish scholar Stephan Charnovsky (*Czarnowski S. Dawność a terażniejszość w kulturze // w: tegoż, Dzieła, t.1: Studia z historii kultury, Warszawa 1956. S. 100–113*) from Polish into Russian by A.G. Vasilyev.

**Keywords:** *culture, the past, the present, the future, image of hero.*

**T.V. BELIKOVA, M.E. KOLESNIKOVA. Dialogue with the voices of the past.** The authors review the collection of documents 'Voices of province: the people of Stavropolye...', produced by Stavropol' archivists and scholars with the use of the methods of new local history. The publication of archival documents presents a problem-based collection of sources unified by genre, period and the unity of space.

**Keywords:** *historical source, publication of archival documents, new local history, history of Stavropolye.*

**Review: Merl S. Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich** (Göttingen: Wallstein Verlag, 2012. 184 S.)

A review of the monograph 'Political communication under Dictatorship: the comparative study of Germany and the Soviet Union' (2012) by S. Merl, a German historian, an expert on the history of Soviet peasants and the agrarian policy of the USSR.

**Keywords:** *dictatorship, politics, Germany, USSR, comparative analysis.*

**O.B. LEONTYEVA. Community of Russian historians in Prague in the context of the social history of science.** Review of the monograph 'Russian émigré historians in Prague, 1920–40s' [in Russian] (Saratov, 2012) by M.V. Kovalev that presents everyday life of the community of émigré historians, the forms of their academic communications, their social and psychological adaptation to the new environment, 'memorial practices'.

**Keywords:** *Russian Emigration, émigré historians, 'everyday life of academic world'.*

**T.N. IVANOVA. Intellectual history as a component of historical education.** The author reviews a textbook 'Intellectual history of Russia in the 19<sup>th</sup>–early 20<sup>th</sup> cc.' (Samara, 2012) [in Russian] by O.B. Leontyeva that presents dynamic development of social and political movements, academic and philosophical schools in Russian between 1840s and 1917.

**Keywords:** *intellectual history, history of ideas, academic schools.*

**T.N. PARKHOMENKO. Once again on history as «res gestae» and as «historia rerum gestarum».** Review of monograph 'History of Russia in the mirror of memory: mechanisms of forming of historical images' by A.V. Svyatoslavsky [in Russian] devoted to the reflection of historical phenomena in culture, on the basis of memorial objects of heritage (memorial churches, monuments, memorials, toponymy), in their theoretical (cultural studies) and historical (history of commemoration in Russia) aspects.

**Keywords:** *historical images, cultural memory, monument, culture of commemoration, memorial history of Russia.*

**E.YU. VANINA. Dialogues with the past in oral and written narrations.** Review of monograph 'Dialogues with the past: ethno-history of a Rajput kingdom' (Moscow, 2013) by E.Yu. Karachkova [in Russian] dedicated to historical memory. The book is based on the materials from the city-museum Amber in the Indian state of Rajasthan and presents a complex analysis of the historical discourse of oral and written tradition through the combination of textual studies with the methods of cultural anthropology.

**Keywords:** *historical memory, cultural anthropology, ethno-history.*

**M.M. GORELOV. Images of the Hundred Years' war and historical myths.** Review of monograph 'Images of war in the historical views of the late Medieval Englishmen' (Moscow, 2010) by E.V. Kalmykova [in Russian].

**Keywords:** *Hundred Years war, historical views, identity.*

**E.N. KIRILLOVA. Power and magic of numbers.** Review of monograph 'The evolution of monetary systems of the Black sea region and the Balkans in the 13<sup>th</sup>–15<sup>th</sup> cc.' (Moscow, 2011) by A.L. Ponomarev [in Russian] dedicated to the emergence and interconnections of the Medieval monetary systems. The book offers original research methods.

**Keywords:** *monetary systems, statistical methods, Middle Ages.*



# CONTENTS

---

## *Jubilee*

<i>M.P. Lapteva</i> Timofey N. Granovsky: personality and ideas as perceived by several generations of historians.....	5
<i>S.L. Zhidkova</i> «A favourite of Berlin and Germany».....	15

## *History and theory*

<i>I.Yu. Nikolayeva</i> New dialogue of history and literature in the context of methodological turn.....	22
<i>Z.A. Chekantseva</i> Images of power in the context of the theory of rhythm: a view from the 21st century.....	33

## *Intellectual history today*

<i>A.B. Sokolov</i> Clarendon as historian.....	41
<i>V.V. Vysokova</i> David Hume's concept of history: historiographical and social contexts.....	70
<i>N.V. Rostistavleva</i> Discourses of freedom in Max Weber's views of Russia in 1905-06.....	88
<i>T.A. Sidorova</i> Maitland studies in Britain and the USA in the 20th century as collective memory	104
<i>O.L. Akopyan</i> What is 'Humanism'? From the Renaissance to our days.....	117

## *History and historians in the 20<sup>th</sup> c.*

<i>A.I. Klyuyev, A.V. Sveshnikov</i> Migration or emigration: on the geographic mobility of soviet medievalists in 1920–1930s.....	131
<i>A.V. Khryakov</i> . Medievalist Percy Ernst Schramm and international co-operation of historians in Nazi Germany.....	144
<i>V.V. Tikhonov</i> . «One could sense objectivism here...»: the creation of the 'Essays on the history of Bashkortostan'.....	160
<i>N.A. Selunskaya</i> . Communications of the schools of historiography and path dependence: Russia and Italy.....	169

## *Cultural history*

<i>E.V. Kalmykova</i> The image of Christ as knight in medieval English didactic literature.....	183
<i>I.A. Krasnova</i> The perceptions of local magistrates in the 14 <sup>th</sup> – 5 <sup>th</sup> century Florence: reality and ideals.....	212
<i>N.V. Karnachuk</i> English popular ballade in the 16 <sup>th</sup> – 17 <sup>th</sup> centuries: text as historical source.....	237

<i>I.I. Lisovich</i> Visual representation of scholars in the Early Modern culture of Europe.....	251
<i>E.M. Kiryukhina</i> The images and plots of medieval fairy folklore in the modern Anglo-American art.....	271
<b>Interviews</b>	
<i>G.N. Kaninskaya</i> On French history and historians.....	293
<b>Publications and translations</b>	
<i>Stephan Charnovsky</i> The past and the present in culture (transl. by A.G. Vasilyev).....	323
<b>Reading books...</b>	
<i>T.V. Belikova, M.E. Kolesnikova</i> Dialogue with the voices of the past. <i>Review</i> : Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах; Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах; Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах (Кн. 1-3. Ставрополь, 2009–2011)	342
<i>By A.M. Ermakov. Review</i> : Merl S. Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich (Göttingen: Wallstein Verlag, 2012. 184 S.....	350
<i>O.B. Leontyeva</i> Community of Russian historians in Prague in the context of the social history of science. <i>Review</i> : Ковалев М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Саратов: СГТУ, 2012.....	360
<i>T.N. Ivanova</i> Intellectual history as a component of historical education. <i>Review</i> : Леонтьева О.Б. Интеллектуальная история России XIX – начала XX в. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012.	369
<i>T.N. Parkhomenko</i> Once again on history as «res gestae» and as «historia rerum gestarum». <i>Review</i> : Святославский А.В. История России в зеркале памяти: механизмы формирования исторических образов. М.: «Древлехранилище», 2013.	374
<i>E.Yu. Vanina</i> Dialogues with the past in oral and written narrations. <i>Review</i> : Карачкова Е.Ю. Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества. Москва: «Совпадение», 2013.....	379
<i>M.M. Gorelov. Images of the Hundred Years War and historical myths. Review</i> : Калмыкова Е.В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. М.: «Квадрига», 2010.....	383
<i>E.N. Kirillova. Power and magic of numbers. Review</i> : Пономарёв А.Л. Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII–XV вв. Москва: МГУ, 2011.....	387
SUMMARIES.....	393
CONTENTS.....	397

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## *К Юбилею*

<i>М.П. Лантева</i> Личность и идеи Т.Н. Грановского в восприятии историков разных поколений.....	5
<i>С.Л. Жидкова</i> «Любимец Германии и Берлина».....	15

## *История и теория*

<i>И.Ю. Николаева</i> Новые возможности диалога истории и литературы в условиях методологической «смены вех» XX–XXI вв.....	22
<i>З.А. Чеканцева</i> Лики власти в свете теории ритма: взгляд из XXI века.....	33

## *Интеллектуальная история сегодня*

<i>А.Б. Соколов</i> Кларендон как историк.....	41
<i>В.В. Высокова</i> Историографический и социальный контекст формирования концепции истории Дэвида Юма.....	70
<i>Н.В. Ростиславлева</i> Дискурсы свободы в восприятии Максом Вебером России в 1905–1906 гг.	88
<i>Т.А. Сидорова</i> Англо-американское мейтлендоведение XX века как коллективная память	104
<i>О.Л. Акопян</i> Что такое «гуманизм»? От Ренессанса к современности	117

## *История и историки в XX веке*

<i>А.И. Клюев, А.В. Свейников</i> Миграция или эмиграция. О географической мобильности советских медиевистов в 1920-1930-е годы	131
<i>А.В. Хряков</i> Медиевист П.Э. Шрамм и перипетии международного сотрудничества историков в нацистской Германии.....	144
<i>В.В. Тихонов</i> «Тут явно сквозит дух объективизма...»: Создание «Очерков по истории Башкирии».....	160
<i>Н.А. Селунская</i> Коммуникация историографических школ и <i>path dependence</i> : Россия и Италия .....	169

## *В пространстве культурной истории*

<i>Е.В. Калмыкова</i> Образ Христа–рыцаря в английской средневековой назидательной литературе.....	183
<i>И.А. Краснова</i> Восприятие носителей локальной власти в городском обществе Флоренции XIV–XV вв.....	212

<i>Н.В. Карначук</i> Площадная английская баллада XVI–XVII вв.: текст как исторический источник.....	237
<i>И.И. Лисович</i> Визуальная репрезентация ученого в европейской культуре раннего Нового времени.....	251
<i>Е.М. Кирюхина</i> Образы и сюжеты средневекового сказочного фольклора в творчестве современных англо-американских художников.....	271
<b>Наши интервью</b>	
<i>Г.Н. Канинская</i> Еще раз о французской истории и историках.....	293
<b>Переводы и публикации</b>	
<i>Стефан Чарновский</i> Прошлое и настоящее в культуре. (Пер. с польск. <i>А.Г. Васильева</i> ).....	323
<b>Читая книги...</b>	
<i>Т.В. Беликова, М.Е. Колесникова</i> Диалог с голосами ушедших эпох. Рец. на кн.: Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1917–1929 годах; Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1930–1940 годах; Голоса из провинции: жители Ставрополя в 1941–1964 годах (Кн. 1-3. Ставрополь, 2009–2011).....	342
<i>Рец. на кн.: Мерль Ш. Политическая коммуникация при диктатуре. Германия и Советский Союз в сравнении. Гёттинген: Изд-во Вальшштайн, 2012. (А.М. Ермаков)</i> .....	350
<i>О.Б. Леонтьева</i> Сообщество русских историков в Праге в ракурсе социальной истории науки. Рец. на кн.: Ковалев М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Саратов: СГТУ, 2012.....	360
<i>Т.Н. Иванова</i> Интеллектуальная история как компонент исторического образования. Рец. на кн.: Леонтьева О.Б. Интеллектуальная история России XIX – начала XX в. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012.....	369
<i>Т.А. Пархоменко.</i> Еще раз об истории как “res gestae” и как “historia rerum gestarum”. Рец. на кн.: Святославский А.В. История России в зеркале памяти: механизмы формирования исторических образов. Москва: «Древлехранилище», 2013.....	374
<i>Е.Ю. Ванина.</i> Диалоги с прошлым в устных и письменных нарративах. Рец. на кн.: Карачкова Е.Ю. Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества. М.: Совпадение, 2013.....	379
<i>М.М. Горелов</i> Образы Столетней войны и мифы истории. Рец. на кн.: Калмыкова Е.В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. М.: Квадрига, 2010.....	383
<i>Е.Н. Кириллова.</i> Сила и магия чисел. Рец. на кн.: Пономарёв А.Л. Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII–XV вв. М.: Изд-во МГУ, 2011.....	387
SUMMARIES.....	393
CONTENTS.....	397